

А.И.
ГЕРЦЕН

А.И. ГЕРЦЕН

XX
КНИГА I

XX



АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им. А.М. ГОРЬКОГО

А. И. ГЕРЦЕН

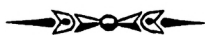


СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА · 1960

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им. А.М. ГОРЬКОГО

А. И. ГЕРЦЕН



ТОМ ДВАДЦАТЫЙ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1867-1869 ГОДОВ

ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ

КНИГА ПЕРВАЯ


ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА · 1960



А. И. ГЕРЦЕН.
С фотографии 1869 г.

Государственный литературный музей. Москва.

**ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1867 - 1868 ГОДОВ**



1867

⟨LE *KOLOKOL* PARAÎTRA LE 1^{er} JANVIER 1868
EN FRANÇAIS...⟩

Le *Kolokol* paraîtra le 1^{er} janvier 1868 en français. En changeant de langue, notre feuille reste la même quant à l'esprit et au but. C'est la continuation de la feuille russe qui a paru durant dix années de suite, depuis 1857, à Londres et ensuite à Genève; nos lecteurs étrangers ont pu la connaître par l'édition française de Bruxelles (1863—1865).

Si nos principes restent invariables, le changement de langue nous oblige à un changement radical dans l'économie intérieure. Parlant aux Russes exclusivement — amis ou ennemis — nous avons le droit de supposer qu'ils connaissent plus ou moins la Russie actuelle. En nous adressant maintenant non seulement à nos compatriotes, mais aux étrangers, nous avons encore plus le droit de supposer que — amis ou ennemis — ils connaissent peu la Russie.

C'est surtout la grande confusion des notions sur notre pays qui nous a déterminés à faire notre publication en une langue qui n'est pas la nôtre. Il nous semble qu'il est temps qu'on nous connaisse avant que s'engage une lutte possible, que l'on provoque et qui entravera toute impartialité et arrêtera toute étude.

Pour bien poser les questions, pour ne pas être dans la nécessité de rappeler, à propos de chaque fait isolé, les origines et les éléments; pour avoir enfin une base de données, sur laquelle nous puissions nous appuyer, nous nous sommes décidés à commencer par une récapitulation de tout ce que nous avons écrit sur la Russie. Une fois la situation réelle, actuelle du pays exposée, nous suivrons les événements dans leur développement.

Le *Kolokol* paraîtra le 1^{er} et le 15 de chaque mois. Chaque numéro sera de deux feuilles et aura un supplément en langue russe, en cas de besoin.

П Е Р Е В О Д

«КОЛОКОЛ» С 1 ЯНВАРЯ 1868 ГОДА БУДЕТ ВЫХОДИТЬ
НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ...

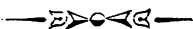
«Колокол» с 1 января 1868 года будет выходить на французском языке. Меняя язык, газета наша остается той же и по направлению и по цели. Это продолжение русской газеты, выходившей *десять лет* подряд, с 1857 года, в Лондоне, а затем — в Женеве*; наши иностранные читатели могли ознакомиться с нею по брюссельскому французскому изданию (1863—1865 годы)*.

Если принципы наши остаются неизменными, то перемена языка обязывает нас к коренной перемене внутреннего содержания. Обращаясь исключительно к русским — друзьям или врагам, — мы вправе были предполагать, что им более или менее знакома нынешняя Россия. Обращаясь же теперь не только к нашим соотечественникам, но и к иностранцам, мы имеем еще большее право предполагать, что — друзья или враги — они мало знают Россию.

Чрезмерная сбивчивость в понятиях о нашей стране главным образом и побудила нас предпринять наше издание на чужом для нас языке. Мы полагаем, что наступило время познакомиться с нами, до того как завяжется весьма вероятная борьба, которую пытаются искусственно вызвать и которая помешает всякому беспристрастию и приостановит всякое изучение.

Чтобы правильно ставить вопросы, чтобы избежать необходимости по поводу каждого отдельного факта напоминать о началах и основах, чтобы располагать, наконец, фундаментом из нужных сведений, на который нам можно было бы опереться, мы решили начать с краткого повторения всего, что написано было нами о России*. Обрисовав истинное, современное состояние страны, мы будем следовать затем за событиями в самом их развитии.

«Kolokol» будет выходить 1 и 15 числа каждого месяца*. Каждый номер будет состоять из двух листов с прибавлением на русском языке в случае необходимости.





«О ВЫХОДЕ «КОЛОКОЛА» НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ»

«Колокол» с 1-го января 1868 года будет выходить на французском языке. Нам кажется, что на сию минуту полезнее говорить о России, чем говорить с нею.

Приостановливаясь на нашем десятилетии — мы хотели не только перевести дух, но еще раз «спокойно, без развлечений взглядеться в то, что делается дома» *.

Общий вывод вовсе не ведет к тому, чтоб сложить руки, но мы сомневаемся, чтоб наше русское издание было *теперь* полезнее французского. Французский язык доступен большей части наших читателей — то, что мы пишем по-русски, не существует для Европы.

Ожесточение против нас, которое улеглось было после Крымской войны, снова усиливается и растет с польского дела не по дням, а по часам. Вместе с ненавистью — страшная смутность понятий. Наши полуофициальные защитники раздувают вражду, усиливая ошибочный взгляд, выгораживая, оправдывая все дикие меры правительства и все дикие мнения общества. Их свидетельство в Европе принимается за улику, за собственное сознание. Пусть же она услышит голос другой стороны.

Что касается до нашей русской речи, мы сказали почти все, что имели сказать, и слова наши не прошли бесплодно. Мы умеем узнавать их эхо и отражение, как бы звуки и черты ни были искажены. Одна из наших великих наград состоит именно в том, *что мы меньше нужны*.

Мы считали наше дело необходимым не только тогда, когда мы первые подняли свободную русскую речь — и были встречены общим рукоплесканием, — но и тогда, когда запутавшиеся

общественное мнение оставило нас. Мы не замолчали, потому что не утратили веры, потому что голос протеста был необходим для будущей очистки. Снова одинокие и без перебежавшего хора, мы не уступили ни йоты бесновавшейся реакции и бесновавшемуся патриотизму; на нас нет ни одного кровавого пятна... мы не оскорбили ни одной падающей жертвы. За это нас винили, это нам поставят в заслугу — в первый день полной трезвости.

Теперь надобно бороться не против кровавого патриотизма, а против патриотизма *риторического*, и с ним не так нужно препинаться дома, как показать Европе, что у нас за душою не только одна мысль о судорожном сохранении целостности государства, на которое никто не нападает, и что вообще иконописный дракон не в самом деле так страшен, как его малюют наши Мараты единой и нераздельной империи.

Пока общественное мнение не может переработать и обойти все эти бездушные теории поглощающего государства, целиком взятые из тех немецких источников, из которых вышел прусский бонапартизм, сгубивший последнюю свободу Германии ее единством, — с ним говорить трудно. Привилегированные журналисты наши похожи на уличного мальчишку, которому попался барабан, вы его ничем не остановите, пока он воображает, что его все боятся и что за ним целая армия.

По счастью, кругом, вдали, вблизи идет другая работа без шума и треска, и там в самом деле вырабатывается ткань и материал будущей истории.

Она вырабатывается трудно, иначе, чем ожидали, чем требует здравый смысл, — все идет проселками и буераками, *но идет в ту же сторону*. К неправильным, запутанным, уродливым развитиям история нас приучила. Она, как дети, любит наступать в грязь (жаль, что грязь ее всегда от дождя крови) и там, где можно сухо пройти, — а у нас везде грязь по колено и болота по пояс. Главное, лишь бы она не останавливалась.

Дело нашего *социального развития*, несмотря на все помехи и ошибки, идет своим медленным, но *безвозвратным путем*. Вместе с ним двигаются вперед политический смысл и в особенности *смысл юридический*, — в нем приходят к сознанию и выходят на свет такие народные понятия и оттенки, которые,

вырастая и окрепнув, вряд примут ли за меру справедливости юридическое *изуверство* Европы.

Правительственная реакция — груба, глупа, но не глубока. Она сама так неустроенна в убеждениях, так колеблется, снявшись с николаевского якоря, что в ней вообще ничего нет ни глубокого, ни прочного. В последнее время явился у нее товарищ, который хоть кого заведет в лес. С таким попутчиком в реакции, как дворянская партия, далеко не уедешь.

Остановить *общего прозябения* нельзя. Посев сделан, часть работы под землей, другая неуловима по своей повсюдности и рассыпчатости, потому что она лежит в необходимости нового положения, к которому Россия стремится гулом. Само правительство, не чувствуя, двигается, как лавина, по тому же склону, твердо уверенное в своей упругой неподвижности.

Многих сбивает, что прогресс *не там*, где мы привыкли его искать. Умственные и деятельные узлы переместились, и дело и мысль отступили с передовой сцены и опустились в круги несравненно большие, но не бросающиеся в глаза. Из ежедневной газеты они переходят в ежедневную жизнь, из книги — в суд, в земскую управу, в раскладку повинностей, в учет общественного достояния. В этих-то невзрачных мастерских и кухнях и заготавливаются те пышные царские обеды, которые подают потом в национальных собраниях или длинных парламентах * и о которых память, возрастая, проходит века.

Без сомнения, утренняя заря наша была ярче, эту величественную *увертюру* до сих пор никто не оценил во всем ее юном, поэтическом, широком, богатом значении. В ней слышались зародыши всей будущей оперы, все ее мотивы. Она привела к слову немую боль, она высказала наши стремления и если не нашла путей, то указала цель и поставила вехи. Масса идей, идеалов, вопросов, сомнений, фактов, ринутых в оборот, в общее брожение в продолжение семи лет, изумительна. Были промахи, но, глядя на них отступя и сквозь мрачное пятилетие, только и остается что общее благословение светлой полосе и людям утра *. Тут нечего поправлять, торговаться — и юношеский *через край* «Молодой России» нам дорог * после неистовств России не старой, но сгнившей в незрелости. Увертюра была

сыграна, когда разразился пожарный террор *. Правительство было исполнителей — звуки разнеслись, *были слышаны*. Террор только ускорил перемещение центров деятельности.

После гибели сильных деятелей и сильных органов у нас не явилось ни одного замечательного литератора, ни одного резкого самобытного произведения. Относить это исключительно к стеснительным мерам — невозможно, стоит вспомнить сороковые годы... То же в сферах академических. Университеты наши, после короткой борьбы, побледнели, ни об одном из них не гремит прежняя слава, на кафедрах не являются проповедники и полемисты. Профессора теряются в реакции, студенты сбиты с толку. В их числе, как и в числе доцентов, есть труженики науки, но они взошли в другое русло. Литературная и студентская эпохи так же миновали, как прежде их миновала эпоха гвардейских офицеров. Книги будут выходить и иметь сильное влияние, студенты и офицеры не переведутся, но вряд ли они будут подавать тон.

Общее внимание мало-помалу обращается в другие сферы, интерес сосредоточивается на судебных прениях, на земских делах, на уголовных процессах, на приговорах присяжных, потому что жизнь там.

Всего этого Запад не знает. Перед ним совершается убийство пограничного народа *; перед ним развешано выдуманное завещание Петра I*, возле которого, вроде старых драбантов, стоят, взявши на штыки, седые генералы — Катков и Краевский, воспевающие бранную царицу, стальную щетину и исполина, послушного царю...*

Немую Россию Николая не любили, не знали и боялись, как какую-то неизвестную, дикую силу, раздавившую 14-е декабря, переехавшую Польшу, враждебную всему свободному, вооруженную с ног до головы и злобно смотрящую на Европу двумя пулями вместо глаз. Под конец николаевской эпохи Европа узнала, что Россия не так сильна, как казалось. Ее стали меньше бояться, меньше ненавидеть, ее хотели узнать. Реакция в Европе еще до войны уравнивала ее с нами, хотя она и не сознавалась в этом. Это было то время, когда мы громко и гордо проповедовали Россию *возникающую* перед склонявшимся в темные тучи солнцем Запада...

Дикое усмирение Польши, добывание страны побежденной, казнь и каторга военнопленных, узаконенный грабеж, преследование языка, преследование религии, насильственное обрусение края — не русского, католического, тянущего всеми силами к Западу, вздуло во второй раз все тлевшие ненависти.

Имеет ли Запад, *именно теперь*, право бросать камни в других, садиться судьей и продолжать свой монополизм защиты угнетенных и утешителя скорбящих, — мы не станем разбирать в этой статье. Мы имеем теперь возможность говорить с ним не за глаза — и в робкой, уклончивой неоткровенности он вряд ли упрекнет нас. Дело в том, что обвинения справедливы — откуда бы они ни шли, для нас от этого не легче.

Возрожденную ненависть поддерживает и разжигает казенный журнализм. Его цинизм, его лицемерие действительно переходят все пределы. Бунтуя явно, открыто австрийских славян, турецких греков, он не только оправдывает все полицейские насилия в Польше, но *вызывает, подсказывает* меры, до которых правительство не дошло бы своим умом*. Без доносов нет статьи, нет полемики. Принимая это полуофициальное юродство и распутство за последнее слово России, на нас смотрят с ужасом и отвращением. Есть вещи, которых старая цивилизация *не говорит*, и действительно их пагубное высказывание чуть ли не хуже самого дела.

Как же не ненавидеть страну, в которой чуть ли не последний честный издатель проповедует *истребление католичества* *, в которой правительство *наказывает* «строптивых» поляков, делая их русскими, и тем же хочет *наградить* верную *прислугу* свою из немцев?

Конечно, нас трудно обвинить в любви к папству и в нежности к балтийским ритерам и бюргерам, но, читая эти православные варварства, так и желал бы, чтоб эта чудовищная империя раздробилась на части.

Оттого, что ненависть заслужена, что обвинения справедливы, оттого-то мы и хотим поднять нашу речь.

Нас душит, нам щемит сердце, что посторонние нас судят исключительно по патриотическому приаписму «Моск. ведомостей» и их переложению на петербургский *Голос с взморья* *; нам больно, мы краснеем, думая, что в православном *ебертизме*

видят не бессмыслицы прокаженного, а выражение общего мнения *. Нам досадно, что в Европе не знают, что за редакционными съезжими выслуживающихся журналистов, за схимническими чуланами богобеснующихся кликуш, за зелеными столами петербургских канцелярий и «ломберными» Английских клубов *растет другая Россия*, — Россия надежд и юных сил, которая не отвечает за черные дела, втесненные ей во время ее малолетства опекунами, ни за черные слова подкупленных ими стряпчих.

От имени входящих в совершеннолетие и не имеющих ни языка дома, ни органа за границей мы являемся с поднятой головой и с свободной речью защитниками *нашей России* перед судьями старого мира.

Ницца, 1 декабря 1867.



UN FAIT PERSONNEL

La nécessité de recommencer encore une fois une série de publications sur la Russie devenait de plus en plus évidente, lorsqu'un événement extérieur mit fin à toutes les indécisions.

J'étais loin de Genève lorsque *le Congrès de la Paix* allait s'ouvrir. Mes amis m'invitaient; des personnes que j'estime désiraient ma présence — toutes mes sympathies sont pour la paix. Mon premier élan était de faire ma malle et de partir; mais après un moment de réflexion, un tout autre sentiment commença à se faire jour.

Si j'avais été à Genève, ce doute ne se serait pas produit, il n'en aurait pas eu le temps; j'aurais agi comme mes amis, sauf à me repentir après. Me trouvant par hasard loin de là, je pouvais scruter jusqu'au fond, et après un travail pénible je me suis décidé à *m'abstenir*.

L'idée du Congrès était tellement juste que je m'empressai, un des premiers, de signer mon nom sur une liste d'adhésion. Je désirai au Congrès tout le succès possible, et je craignais sincèrement une non-réussite matérielle ou morale; je tremblais qu'on ne constatât la faiblesse numérique des adhérents, qu'on ne s'aperçût du vague des idées des vieux partis, qui souvent se bornent au dévouement, sans formuler la marche des choses, à ces sympathies généreuses, qui ont voulu tant de bien à l'humanité et ont laissé passer tant de mal.

Ces considérations ne pouvaient que m'engager d'aller à Genève.

Un tout autre scrupule m'est venu en attendant. Je trouvais une telle recrudescence d'animosité contre la Russie dans les journaux démocratiques, dans des brochures patronnées par eux, que je

m'arrêtai tout court devant une question qui me bouleversa.

Je me demandai: n'y a-t-il pas un *mensonge* involontaire, inconscient dans nos rapports avec la démocratie occidentale, un mensonge de bienveillance, de délicatesse, de ménagements d'un côté — d'égards, d'humilité de l'autre, mais toujours un *mensonge*?

Peut-être *oui*.

Après ce *peut-être* il m'était impossible d'aller à Genève, ou il fallait y aller exclusivement avec l'intention d'accuser la non-sincérité de nos rapports, et de chercher les moyens de les changer ou de les rompre. Serait-ce à propos? M'aurait-on accordé la parole sur un sujet qui sortait évidemment du programme? Si on m'invitait, ce n'est pas en qualité de Russe, mais dans la profonde conviction que je suis Russe le moins possible, et c'est ce que je ne pouvais, ne voulais, ne devais accepter.

Si j'étais comme ce bon, ce brave, cet excellent vieillard russe Chamerovzoff, qui a voué une quarantaine d'années à l'émancipation des noirs et qui vient chaque année, en qualité de président de la Société fondée à Londres du temps de Wilberforce, dont il était ami, faire son rapport et parler comme philanthrope en général et philonègre spécialement, je n'aurais eu aucun scrupule non plus d'aller au Congrès de Genève. Mais moi je ne suis pas si humanitaire, je n'ai aucune spécialité exotique, j'appartiens par toutes les fibres de mon cœur au peuple russe; je travaille pour lui, il travaille en moi, et cela n'est pas une réminiscence historique, un instinct aveugle, un lien de sang, mais la conséquence de ce que je vois dans le peuple russe, à travers l'écorce et le brouillard, à travers le sang et la rougeur des incendies, à travers l'ignorance du peuple et la civilisation du tzar, — une grande puissance, un grand élément qui entre dans l'histoire de front avec la révolution sociale, vers laquelle le vieux monde ira *volens nolens*, s'il ne veut périr ou s'ossifier.

Était-il possible d'accepter la position de *tolérance* individuelle, exceptionnelle, que nous fait l'hospitalité occidentale?

Il fut un temps où les Russes, trop écrasés, trop malheureux, paraissaient abattus et confus devant les fiers républicains futurs de la France et les profonds libres-penseurs de l'Allemagne.

Depuis, les constellations se sont fortement changées. Si nous n'avons pas eu la force et le temps de transplanter, dans notre climat âpre et dur, les frêles libertés des institutions occidentales — le despotisme militaire, le gouvernement du bon plaisir, la police souveraine et sans contrôle, l'absence de la sécurité personnelle, ont poussé de telles racines dans le sol du continent, qu'une égalité complète s'est établie entre nous, sauf la différence qui existe entre des hommes qui désirent sortir d'un enclos et d'autres qui y sont à peine entrés...

Comment donc expliquer l'acharnement redoublé avec lequel on nous jette la pierre?

Je pensai quelquefois que les anathèmes virulents qu'on fulminait exclusivement sur le despotisme russe n'étaient qu'une manière d'attaquer le monstre en général, et que n'osant s'en prendre au maître de la maison, on s'abattait sur le voisin... Mais il fallut en revenir. Les publicistes, les hommes de notre siècle, les représentants de l'opinion, les sages du temps, montrent tout indignés, au doigt, notre carcan — sans s'apercevoir que leur main porte une chaîne.

Nulle part l'aristocratie ne blesse tant que dans l'enceinte d'une prison; imitons l'égalité des condamnés devant la camisole et travaillons à nous affranchir.

Une partie de la faute, il faut l'avouer, pèse sur nous. Nous avons laissé faire, nous n'avons pas relevé des fautes criantes, nous nous sommes mollement défendus. Nous avons laissé croître les erreurs qui ont faussé le reste des notions claires sur le sujet.

L'urgence de nouvelles publications était évidente.

Je ne voulais pas laisser ignorer à mes amis les raisons de mon absence du Congrès, et j'écrivis à ce sujet à M. Barni. Dans la grande bagarre des affaires, il a oublié de mentionner ma lettre, et il a très bien fait. Le Congrès avait bien d'autres préoccupations qui prenaient ses moments orageux et comptés.

Dans cette lettre je faisais part de l'intention de remettre, encore une fois, la question russe sur le tapis, en essayant la publication d'un recueil.

Bientôt l'idée d'un recueil nous parut insuffisante, et nous nous sommes décidés, Ogareff et moi, à publier le *Kolokol* en français, avec un supplément russe.

Nous en faisons l'essai maintenant. L'accueil que trouveront nos premières feuilles décidera si nous devons continuer.

ПЕРЕВОД

ЛИЧНЫЙ ВОПРОС

Необходимость возобновления ряда изданий, посвященных России, становилась все более и более очевидной, когда одно внешнее событие положило конец всем сомнениям.

Я находился далеко от Женевы, когда готовилось открытие *Конгресса мира*. Мои друзья приглашали меня; уважаемые мною люди желали, чтобы я присутствовал*; все мои симпатии— на стороне мира. Первым моим побуждением было уложить вещи и выехать; однако после минутного раздумья совсем иное чувство стало брать во мне верх.

Если б я был в Женеве, то колебания эти не возникли бы, для них не оставалось бы времени; я поступил бы так же, как и мои друзья, чтобы впоследствии в этом раскаяться *. Случайно оказавшись вдалеке, я смог до конца все взвесить, и после тяжелой внутренней борьбы я решил *воздержаться*.

Идея Конгресса была столь справедлива, что я поспешил, одним из первых, поставить свое имя в списке его участников. Я желал Конгрессу самого полного успеха и искренне опасался материальной или моральной неудачи; я боялся, как бы не стала очевидной малочисленность участвующих в нем лиц, как бы не была замечена расплывчатость идей старых партий, которые, не понимая отчетливо хода вещей, зачастую ограничиваются приверженностью прекраснодушным симпатиям, основанным на желании сделать столько добра человечеству и допустившим столько зла.

Эти соображения могли лишь побудить меня к поездке в Женеву.

Но в это время во мне зародилось сомнение совсем иного рода. Я обнаружил в демократических газетах, в распространяемых ими брошюрах такое усиление ненависти к России, что передо мной внезапно встал вопрос, который сильно меня взволновал.

Я спросил себя: нет ли в наших отношениях с западной демократией невольной, бессознательной *лжи*, — лжи доброжелательной, мягкой, падающей с одной стороны, подобострастной, приниженной — с другой, но тем не менее — *лжи*?

Быть может, *и есть*.

После этого *быть может* мне никак нельзя было ехать в Женеву или же надлежало ехать туда исключительно с намерением обличить неискренность наших отношений и отыскать средства для их изменения или же для разрыва. Было ли б это уместно? Разве предоставили бы мне слово по вопросу, явно выходящему за пределы программы? Если меня и приглашали, то не в качестве русского, а в глубоком убеждении, что я меньше всего русский, — а именно с этим я не мог, не хотел, не должен был соглашаться.

Если б я походил на доброго, славного, милого русского старичка Шамеровцова, который лет сорок посвятил освобождению чернокожих и ежегодно появляется в качестве президента Общества, основанного в Лондоне во времена Уилберфорса, чьим другом он был, чтобы сделать доклад и выступить как филантроп вообще и филонегр в частности, то у меня насчет поездки на Женевский конгресс никаких колебаний не было бы. Но я не настолько общечеловечен, у меня нет никакой заморской специальности, я всеми фибрами своей души принадлежу русскому народу; я тружусь для него, он трудится во мне, и это вовсе не историческая реминисценция, не слепой инстинкт, не кровные узы, а следствие того, что в русском народе сквозь кору и туман, сквозь кровь и зарево пожаров, сквозь народное невежество и царскую цивилизацию я различаю великую силу, великое начало, вступающее в историю рядом с социальной революцией, к которой старый мир придет *volens nolens*, если он не желает погибнуть или же окостенеть.

Можно ли было примириться с позицией *терпимости*, проявляемой к нам лично, в виде исключения, западным гостеприимством?

Было время, когда русские, крайне угнетенные, крайне несчастные, имели приниженный и смущенный вид перед исполненными гордости будущими республиканцами Франции и глубокомысленными вольнодумцами Германии. С той поры

расположение созвездий сильно изменилось. Если у нас не было достаточно сил и времени, чтобы пересадить в наш суровый и холодный климат тщедушные свободы западных учреждений, то военный деспотизм, правительственный произвол, всемогущая и бесконтрольная полиция, отсутствие личной безопасности пустили такие корни в почву европейского материка, что между нами установилось полное равенство, с тем лишь различием, какое существует между людьми, желающими выбраться из загона, и людьми, только что в него попавшими...

Чем же объяснить то усилившееся ожесточение, с которым нас забрасывают камнями?

Мне иногда приходило в голову, что злобные проклятья, которые сыпались исключительно на русский деспотизм, были лишь средством нападения на чудовище вообще и что, не решаясь обрушиться на хозяина дома, набрасывались на соседа... Но от этой мысли пришлось отказаться. Публицисты, люди нашего века, представители общественного мнения, нынешние мудрецы с негодованием указывают пальцем на наш железный ошейник, не замечая, что у них у самих на руке цепь.

Нигде аристократизм не бывает так оскорбителен, как за тюремной оградой; возьмем же себе за образец равенство осужденных перед арестантской курткой и будем работать во имя своего освобождения.

Часть вины, надобно в этом признаться, тяготеет на нас самих. Мы сами допустили это, мы не разоблачали вопиющие ошибки, мы вяло защищались. Мы дали разрастись заблуждениям, исказившим последние ясные представления об этом вопросе.

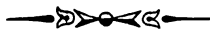
Крайняя необходимость новых изданий стала очевидной.

Я не хотел оставить своих друзей в неведении относительно причин моего отсутствия на Конгрессе и написал по этому поводу г. Барни *. В деловой суете он позабыл упомянуть о моем письме, и поступил прекрасно. У Конгресса и без того было множество забот, отнимавших его бурные и строго рассчитанные минуты.

В этом письме я поделился своим намерением снова поставить русский вопрос, сделав попытку издания сборника *.

Вскоре мысль о сборнике показалась нам недостаточной, и мы решили, Огарев и я, издавать «Колокол» на французском языке с русским прибавлением.

Эту попытку мы теперь и делаем. Прием, который встретят наши первые листы, определит, должны ли мы продолжать.





PROLEGOMENA

I

Nous n'avons rien de nouveau à dire — une partie des essais que nous avons l'intention de publier est connue; dans les autres on ne trouvera que la récapitulation et le développement de ce que nous avons dit et répété depuis au moins vingt ans.

Quelle est donc la raison de notre apparition?

L'étonnante persistance de ne voir dans la Russie que son côté négatif et d'envelopper dans les mêmes injures et anathèmes progrès et réaction, avenir et présent, détritrus et germes.

Seuls publicistes russes en Occident, nous ne voulons pas prendre sur nous la responsabilité du silence.

Le spectre russe, exploité après 1848 par Donoso Cortès en faveur du catholicisme, apparaît avec une nouvelle vigueur dans le camp opposé. On est prêt à voiler encore une fois les «droits de l'homme», que l'on a oubliés, et à suspendre la liberté que l'on n'a plus, pour veiller au «Salut de la civilisation» menacée et — refouler ces Attilas en herbe et ces Alaric futurs, au delà du Volga et de l'Oural. Le danger est si grand qu'on a hasardé de proposer à l'Autriche de donner la main qui lui reste — à la Prusse, qui a amputé l'autre... que l'on a conseillé à tous les Etats d'entrer dans une sainte ligue d'un despotisme militaire contre l'empire des tzars. On écrit des livres, des articles, des brochures en français, allemand, anglais; on prononce des discours, on fourbit les armes... et la seule chose que l'on omet, c'est *l'étude sérieuse de la Russie*. On se borne au zèle, à la ferveur, à l'élévation des sentiments. On croit que, si l'on plaint la Pologne — on connaît la Russie.

Cet état de choses peut amener des conséquences graves, de grandes fautes, de grands malheurs, sans parler du malheur très réel — d'être dans une complète erreur.

Il y a peu de spectacles plus tristes et plus navrants que celui d'une obstination sénile, qui se détourne de la vérité — par une fatigue d'esprit, par une crainte de troubler un parti pris. Goëthe a remarqué que les vieux savants perdent avec les années l'instinct de la réalité, le talent d'observation et n'aiment pas à remonter aux bases de leur théorie. Ils se sont formé des idées arrêtées, ils ont tranché la question et ne veulent pas y revenir.

Nous disions il y a dix ans¹: «Il est difficile de s'imaginer jusqu'à quel point le cercle dans lequel se meut et se débat la généralité des hommes en Occident, est hermétiquement clos. Un fait nouveau les trouble, une pensée qui n'a pas de cadre, de rubrique, les alarme. La grande partie des journaliers de la publicité ont en réserve une provision de généralités, de générosité, d'indignation, d'enthousiasme et d'adjectifs qu'ils appliquent à tous les événements. On les change un peu, on les façonne, on les illumine de couleur locale, et tout est en ordre... Les *patrons* facilitent extrêmement le travail, et sans l'intervention d'un fait rebelle, la roue va son train; aussi avec quelle colère mal cachée on rencontre ces intrus, comme on tâche de ne pas les apercevoir, de leur montrer la porte; et s'ils ne s'en vont pas — de les calomnier...»

Depuis 1848 nous avons prêché — que, au-dessous de la Russie militaire et despotique, conquérante et agressive — sauvant l'Autriche et aidant la réaction — il y a une Russie en germination, que des courants souterrains soufflent un air — tout autre que celui du Pétersbourg officiel.

Le monde se livrait au désespoir, mais il resta inattentif à cette consolation.

Ce qui paraissait paradoxal, avant la guerre de Crimée, est devenu, bientôt après, un fait évident, irrécusable. Le «*Great Eastern*» du Nord se détachait de ses glaces, prenait le large — et se heurtait contre l'insurrection de la Pologne.

¹ *La Russie et le vieux Monde*. Ed<ition> russe pub<liée> à Londres, 1858.

Les Polonais ont voulu réparer la faute de leur inaction pendant la guerre de Crimée — trop hâtivement et dans des circonstances peu favorables. Ils étaient malheureux dans leur mé-salliance; le gouvernement russe, dur, insolent même dans les concessions. Leur impatience héroïque se conçoit. Voyant avec tristesse que le mouvement ne pouvait être différé, nous leur dûmes, la veille de leur insurrection¹: «Frères, détachez-vous de la Russie, soyez indépendants, allez avec l'Occident, vous en avez tous les droits; mais en rompant avec la Russie — tâchez donc de la connaître». A cela, pas de réponse. Et il faut ajouter qu'il n'y a pas un peuple voisin qui connaisse moins la Russie que la Pologne². En Occident on ne connaît pas la Russie tout de bon. Les Polonais l'ignorent avec *préméditation*. Que de malheurs auraient été évités, si les Polonais n'eussent eu peur de trouver quelque chose de bon dans leur ennemi. Ils disaient bien en 1831: «Pour votre liberté et la nôtre!» Mais quelle est la liberté vers laquelle nous aspirons? Est-ce la même?.. Les Polonais confondent bien souvent la liberté avec l'indépendance politique. Nous l'avons, et c'est notre dernier souci; nous ne pouvons la perdre.

La lutte s'engage. La Pologne donne son sang, l'Europe — ses articles de journaux. Tristes et pleins de noirs pressentiments, nous étions les premiers Russes à saluer «ceux qui allaient à la mort». Les Polonais ne représentaient pas pour nous *le nouveau principe et l'avenir* — mais ils représentaient *le droit, l'histoire*; — *la justice* était de leur côté.

Ce n'est pas non plus avec une aspiration vers un idéal qu'ils se mirent en marche — ils voulaient revendiquer, rétablir, ressusciter. C'est précisément là que gît notre différence. Nous

¹ Conclusion d'une série d'articles sur la Pologne dans le *Kolokol*.

² Certainement il y a des exceptions: je citerai un livre très remarquable, publié à Paris en 1863 par un Polonais, sous le titre: *La Pologne et la cause de l'ordre*. L'auteur a prouvé que la haine ne perd rien par la connaissance intime de son ennemi. Dans beaucoup de cas nous partageons ses opinions, lui les nôtres; nous avons puisé aux mêmes sources. Quel plus grand criterium que cette rencontre de deux sentiments opposés! Je m'empresse d'ajouter qu'en parlant des articles sur la Russie dans les journaux allemands et français, nous avons excepté les brillants et magnifiques tableaux de Ch. Mazade dans la *Revue des Deux Mondes*.

avons beau regarder autour de nous — nous n'avons rien à revendiquer, à exhumer, nous n'avons qu'à déblayer le champ pour nos aptitudes et nos tendances. Pourtant nous étions cœur et âme avec les Polonais, et nous n'avions qu'une angoisse: nous appréhendions que leur insurrection n'entravât notre marche, sans atteindre le but. Nos prévisions se réalisèrent, et le hideux Mouravioff, après avoir fini avec la Lithuanie, fut appelé à présider une inquisition politique à Pétersbourg. L'unité de la terreur et du bourreau a confondu les martyrs de deux causes.

Lorsque les passions se calmèrent — on put aisément constater, à travers les sanglots et les cris de rage, *deux faits*. Vous êtes convaincus de l'un, nous n'avons aucun doute quant à l'autre. L'un, c'est que la Pologne polonaise n'a pas péri; l'autre, c'est que le *mouvement* russe n'a pas été arrêté. C'est un fait très grave, et nous ne demandons qu'une enquête pour constater notre erreur ou admettre que nous avons raison. Au lieu de le faire, on jette des cris d'alarme et d'exaspération; on invente des offenses ethnographiques, on accable la Russie à coups de philologie frelatée. On la chasse de l'Europe, on la chasse des Iraniens. Est-ce sérieux tout cela?

Nos braves ennemis ne savent pas même que nous sommes très peu vulnérables de ce côté; nous sommes au-dessus des susceptibilités zoologiques et très indifférents à la pureté de race; ce qui ne nous empêche nullement d'être parfaitement Slaves. Nous sommes contents d'avoir du sang finnois et mongol dans les veines; cela nous met en parenté, en rapport de fraternité avec ces races parias, que la démocratie humanitaire de l'Europe ne peut nommer sans dédain et offense. Aussi nous n'avons pas à nous plaindre de l'élément touranien. Nous avons poussé un peu plus loin que les purs Slaves de la Bulgarie, Serbie, etc.

On nous chasse de l'Europe — comme le bon Dieu a chassé Adam du Paradis. Mais est-ce qu'on est bien sûr que nous prenons l'Europe pour un Eden et le titre d'Européen pour un titre d'honneur? On se trompe fortement de temps. Nous ne rougissons pas d'être de l'Asie, et nous n'avons aucun besoin de nous annexer à droite ou à gauche. Nous nous suffisons, nous sommes une partie *du monde entre l'Amérique et l'Europe*, et c'est assez pour

nous. Peut-être les Allemands de Pétersbourg se scandalisent-ils fortement de la perte de leur slavisme pur, de leur iranisme japhétique, et sont-ils profondément offensés de ce qu'on ne veut pas d'eux en Europe.— Peut-être les enragés de Moscou, pour comble de ridicule, commenceront-ils une lutte scientifique— cela ne nous regarde pas du tout.

Et c'est grâce à vous, nos maîtres de l'Occident, grâce à votre science que nous avons tant de philosophie. Arriérés en tout, nous avons été en apprentissage chez vous — et nous n'avons pas rebroussé chemin *devant les conséquences qui vous ont fait dévier*. Nous ne cachons pas le bien que nous avons reçu de vous. Nous prîmes votre lumière pour éclairer l'horreur de notre position, pour chercher une porte ouverte, pour en sortir — et nous l'avons trouvée grâce à vous. C'est assez maintenant — que nous savons marcher seuls — de férule du maître, et si vous nous maltraitez — adieu l'école!

Mais avant de nous quitter «en cérémonie», dites-nous: pourquoi voulez-vous à toute force vous faire un ennemi *du jeune Ours*? — Est-ce qu'il ne vous suffit pas de guerroyer *avec le vieux*, qui nous est plus hostile qu'à vous et que nous haïssons plus que vous ne le haïssez? Pensez à cela que le vieux dépend beaucoup plus de vous que le jeune; il n'est pas libre moralement, vous pesez sur lui par votre autorité. Il murmure, il boude, mais il s'offense de vos critiques, parce qu'il vous respecte et vous craint — non votre force physique, mais votre supériorité intellectuelle, votre morgue aristocratique. La bosse de la vénération nous manque; nous n'avons pas le même sentiment de respect pour tout ce qui est occidental. Nous vous avons vus, dans des moments, bien faibles. La seule chose que nous estimons chez vous, sans bornes, religieusement, *c'est la science*. Mais la science, c'est tout l'opposé de vos institutions, de votre intolérance, de votre Etat, de votre morale, de vos croyances. Vous avez l'art de couvrir, par vos aspirations généreuses, par vos sublimes inconséquences, l'abîme qui sépare la vie de la science — mais l'abîme reste.

Nous vous avons vus de trop près et nous vous connaissons — nous sommes habitués à vous aimer et à vous connaître — vous nous ignorez et vous nous niez.— Nous protestons.

Sentinelles perdues à la limite de deux mondes, que l'on excite à se ruer l'un contre l'autre, appartenant par mille liens aux deux, nous ne pouvons pas nous taire et nous nous hasardons encore une fois à signaler la fausse route et à crier du haut de notre guérite: «Gare à l'erreur!»¹

II

Nous voulons commencer par dire, le plus brièvement possible, comment l'état actuel de la civilisation occidentale se reflète dans notre intelligence d'étrangers, de spectateurs, d'hommes formés par votre science, mais qui ayant une autre origine et une autre tradition — vont leur chemin très difficile — sans admirer le vôtre. Vous êtes peu habitués à entendre les opinions qui viennent du dehors. Vous avez été si longtemps *la civilisation et toute la civilisation*, la seule grande histoire et le seul grand présent, que les Anacharsis intimidés n'osaient dire franchement leur opinion; et lorsque vous vous mettez vous-mêmes dans leur rôle, en écrivant des lettres persanes, turques, américaines et autres, vous ne faites que la critique des détails. Si quelquefois vous dites une vérité désagréable, gare à celui qui touche la reine, n'étant pas de la famille!

¹ Quelquefois, bien rarement, un esprit supérieur s'arrête, étonné, et constate un fait qui cadre peu avec le tableau stéréotypé de la Russie. Le fait paraît seul, isolé, presque monstrueux — on ne va pas à la recherche de la série — et le fait se perd de vue. Un homme célèbre me disait à Veytaux, en parlant de l'émancipation des paysans en Russie avec la terre:— «La Convention de 93—et elle était bien audacieuse — aurait reculé devant une mesure taillant si profondément dans le droit de la propriété. Il me semble que l'obéissance passive de la noblesse entre, et pour beaucoup, dans la réussite de cette mesure socialiste». — «Je ne le pense pas, — dis je, — d'autant plus que la noblesse était bien loin d'une soumission passive. Cette mesure a passé parce qu'elle était parfaitement conforme au génie national et que l'émancipation, sans terre, était impossible chez nous. Elle aurait provoqué certainement une jacquerie. Une révolution sociale de cette étendue ne pouvait se faire tranquillement que chez un peuple qui possède d'autres notions sur la propriété que celles des peuples de l'Occident».

Personne n'y a songé sérieusement.

Les socialistes comme les autres.

L'ensemble de ces faits nous a déterminé à paraître encore une fois à la barre, insistant pour l'admission du témoin à décharge dans le procès d'excommunication qu'on poursuit contre la Russie.

Les temps ont changé rapidement. L'aurole qui vous entourait n'offusque plus la vue. Votre règne unitaire et incontesté est troublé par une voisine peu commode et remuante. On se tourne vers sa nouvelle maison, au delà de l'Océan — on trouve qu'elle vous continue en vous *accomplissant*; vous avez beaucoup promis, elle tient beaucoup; l'idéal est à vous, la réalisation à elle.

Votre civilisation est comme une mer qui déborde, elle ne peut ni rester dans son ancien lit, ni dépasser les limites fatales. Elle se heurte de tous côtés à des rochers qu'elle ne peut ni engloutir, ni dépasser, ni entraîner; de là une étrange confusion, une agitation stérile; on attaque — on est refoulé, et *fiasco* sur *fiasco*.

Vous ne pouvez entrer dans un nouveau lit sans jeter au loin vos vieilles hardes, et vous voulez les garder. Vous êtes trop avares pour céder une partie de l'héritage et vous n'avez, non plus, assez d'abnégation pour vous résigner au repos honorable d'une reine douairière, qui oubliant la royauté ne s'occupe plus que de son ménage. Vous restez en conséquence dans un état de fluctuation provisoire; vous êtes, sans le savoir, sincèrement hypocrites, et vous vous contentez des mots, sans avoir la réalité.

Les formes et les bases de l'organisation actuelle de l'Etat, de la société — telles qu'elles se sont élaborées, au fur et à mesure, par l'histoire, sans unité ni plan — ne correspondent plus aux exigences de l'Etat rationnel qui s'est formulé dans la science et conscience d'une minorité active et développée. Tout ce que les vieilles formes avaient d'élasticité, elles l'ont prêté; toutes les combinaisons, tous les compromis ont été faits. Les réformes ne peuvent aller plus loin sans les faire éclater, sans ébranler les bases *éternelles* de la société. Il faut que l'esprit recule et avoue, avec une humilité toute chrétienne, que son idéal «n'est pas de ce monde», ou <qu'il> se décide à briser les formes et à ne plus s'inquiéter du sort *des bases éternelles*.

Ces bases éternelles ne sont rien autre que les bases très temporelles d'une organisation bicéphale, hybride — d'un Etat féodal, bourgeois et militaire — d'un compromis flottant entre les extrêmes — d'une diagonale peu sûre entre la liberté et l'autorité, d'un éclectisme social et politique — neutralisant toute initiative. Vers ce juste milieu gravissent, en oscillant, les nations civilisées. Celles qui ont vaincu les forces perturbatrices,

comme la Hollande, se trouvent très bien. Il est possible que les peuples latino-germaniques n'iront pas plus loin, que c'est leur état définitif. Les rêves d'un passé, les rêves d'un avenir les troublent encore et ne leur permettent pas de s'asseoir carrément dans leur position. Ces remords platoniques se calmeront comme les douleurs des chrétiens se calmèrent à l'endroit des péchés du genre humain — ils resteront comme de beaux souvenirs, des *pia desideria*, comme un romantisme généreux, comme la prière du riche pour les pauvres. Il n'y a au reste aucune nécessité absolue que l'idéal formulé se réalise dans une telle localité ou dans une autre, pourvu qu'il se réalise. Est-ce que l'Inde n'est pas restée dans le rôle de Mère et la Judée dans celui de Jean le précurseur? On ne s'arrête pas où l'on veut, mais là où les forces manquent, où la plasticité, l'énergie manquent. Nous ne voulons nullement dire que le monde latino-germanique soit exclu de la nouvelle palingénésie sociale, qu'il a lui-même révélée au monde. Tous sont invités par la nature et par l'histoire, mais il est impossible d'entrer dans le nouveau monde, en portant, comme Atlas, le vieux monde sur ses épaules. Il faut mourir «dans le vieux Adam» pour ressusciter dans le nouveau—c'est-à-dire il faut passer par *une révolution réellement radicale*.

Nous savons très bien qu'il n'est pas facile de définir, d'une manière concrète et simple, ce que nous entendons par révolution radicale. Prenons encore une fois le seul exemple que l'histoire nous offre: *la révolution chrétienne*.

Le monde de la «ville éternelle» s'en allait, battu par les Barbares, par l'épuisement, succombant sous le fardeau trop lourd que Rome mettait sur ses épaules. Une grande partie de son idéal de conquérant était réalisée, le *restant* ne suffisait plus pour le pousser. Il possédait son passé, le prestige de la force, de la civilisation, de la richesse; il pouvait tout de même traîner longtemps, ramolli et fatigué. Mais arrive une révolution qui lui dit en face: «Tes vertus sont des vices brillants pour nous; notre sagesse est absurde pour toi, qu'avons-nous donc de commun?» Il fallait l'écraser ou tomber devant la croix et le crucifié.

Vous connaissez la légende (Heine s'en est si bien souvenu, dans son voyage de Helgoland) de ces bateliers retournant, effrayés, agités, de la Grèce en Italie. Ils racontaient (c'était du temps

de Tibère) qu'une nuit, lorsqu'ils touchaient la terre du Péloponèse, un homme sinistre apparaissait sur les rochers, leur faisant signe d'approcher et leur criant à haute voix: «Pan est mort!»

Il n'était pas mort alors, le vieux Pan, mais il agonisait et il n'y avait plus de remède pour le sauver que la mort. Son extrême onction durait des siècles. Il se convertit, prit l'habit et légua tout son avoir à l'Eglise. Un moine se mit à la place des Césars, l'Olympe devint un jardin de lazaret et se remplit des moribonds, des desséchés, des sans-sexes, des exécutés; un gibet avec un cadavre prit la place de Jupiter, et celle de ses joyeux convives — deux femmes en larmes. Voilà ce que nous entendons par révolution radicale.

Les restes, les fragments, les pierres désagrégées de l'ancien édifice se conservèrent, mais furent incorporées dans le nouveau, mais ne *primèrent* plus.

Le monde chrétien, de son côté, a eu ses grandes crises et ses grandes évolutions, transformations, mais pas une *radicale*. La Renaissance, la Réforme ne sortent pas de l'Eglise, elles la simplifient, l'humanisent, l'ornent et l'adorent dans la nouvelle édition. La Révolution même représente la sécularisation du christianisme et la canonisation du monde antique. Elle est chrétienne et romaine par son génie, sacrifiant sans pitié l'individu au «*salus populi*», au Moloch de l'Etat, de la république, comme l'Eglise sacrifiait l'homme vivant au «salut de l'âme, à la gloire de Dieu». La Réforme, la Révolution firent, en luttant, des pas de géant et frisèrent des principes parfaitement justes, mais irréalisables dans la condition donnée de l'Etat. Les pièces de résistance, les masses de vieilles murailles qu'elles entraînaient dans leur nouvelle cité, empêchaient chaque pas. Ils perdaient toute l'énergie en contradictions insolubles, en luttes sans issue.

Droits de la personne juridique.

Droits de l'homme.

Droits de la raison.

Liberté, Egalité, Fraternité.

Arc-en-ciel plein de promesses, touchant des deux bouts la terre sans prendre racine.

L'inviolabilité de l'individu se brisait à la protection absolue de la propriété par l'Etat. Le droit de l'homme heurtait le

droit romain. Le droit de la raison était nie par une religion armée. Et ainsi de suite. La liberté était impossible avec un gouvernement fort, avec une Eglise de l'Etat et une armée aussi de l'Etat. Pas d'*égalité* avec l'inégalité du développement, entre les sommets inondés de lumière et les masses couvertes de ténèbres. Pas de *fraternité* entre le maître qui use et abuse de son avoir et l'ouvrier qui est usé et abusé parce qu'il n'a rien. Quel est le génie qui pourrait réunir en une formule harmonique, résoudre en une équation, énoncer d'une manière intelligible le rapport et l'action mutuelle des grandes forces contradictoires, des facteurs hétérogènes qui s'entre-déchirent et restent en même temps bases de la société moderne? Est-ce qu'il y a quelque chose de commun entre la jurisprudence et la science économique, entre le tribunal et la statistique? peuvent-elles convenablement coexister? Vous le sentez, *vous le savez*, et c'est à cause de cela que vous commettez un péché contre l'esprit. Vous êtes dans l'état d'un homme qui a levé une jambe pour passer la frontière, et saisi d'un accès de nostalgie, reste dans cette position lamentable.

Personne ne vous force de vous expatrier, mais alors il faut rester tranquillement près du foyer paternel et ôter les habits d'un révolutionnaire en voyage. Le cumul de conservatisme et de révolutionarisme commence à révolter. Vous avez des remords, et pour vous justifier à vos yeux, vous répétez la vieille chanson des dangers de la morale, de l'ordre, de la famille, surtout de la religion. Et vous-mêmes, vous n'en avez pas, sauf un mince déisme impuissant et stérile. La religion vous apparaît seulement comme le grand frein pour les masses, la grande intimidation des simples, le grand paravent qui empêche au peuple de voir clair ce qui se passe sur *la terre*, en élevant ses yeux vers le ciel.

Morale, famille. Quelle morale? La morale de l'ordre, de l'ordre *existant*, la morale du respect de l'autorité et de la propriété; le reste — fioritures, ornements, décors, sentimentalisme et rhétorique.

Et quand est-ce qu'une révolution s'est présentée comme immorale? Une révolution est toujours austère, vertueuse par métier, pure par nécessité; elle est toujours dévouement, parce qu'elle est toujours danger, perte des individus au nom de la généralité.

Est-ce que les premiers chrétiens étaient immoraux? ou les Huguenots, ou les Puritains, ou les Jacobins? Ce sont les coups de main, les coups d'Etat qui ne sont pas excessivement immaculés, mais ce sont des *révolutions*. Quant à la religion, la révolution n'en a pas besoin, elle est elle-même religion.

Le socialisme même, dans ses phases les plus exaltées, juvéniles dans le saint-simonisme et le fouriérisme, n'est jamais allé ni à la communauté des biens des Apôtres, ni à la république d'enfants trouvés de Platon, ni à la négation de la famille au point de créer des institutions d'infanticide anticipé et des maisons publiques de célibat et d'abstinence...

Il ne s'agit, en réalité, ni de famille, ni de morale, il s'agit de sauver *un peu de liberté et beaucoup de propriété*; le reste, c'est de l'éloquence, de la circonlocution. La propriété, c'est le plat de lentilles pour lequel vous avez vendu le grand avenir auquel vos pères ont ouvert les portes grandes en 1789. Vous préférez l'avenir sûr d'un rentier retiré des affaires, parfaitement bien — mais ne dites pas que c'est pour le bonheur de l'humanité et le salut de la civilisation que vous le faites. Vous voulez toujours entourer votre conservatisme obstiné de signes révolutionnaires; cela offense et vous outragez les autres peuples, comme si vous étiez encore à la tête du mouvement; l'offense frise le ridicule.

Proudhon disait très inhumainement à une nation malheureuse: «Vous ne savez pas mourir». Nous voudrions vous dire: «Vous ne savez ni renaître, ni vous résigner à une vieillesse verte et franche». Notre position, à nous, est pire que la vôtre, plus grossière, mais beaucoup plus simple, et n'oublions pas que chez vous c'est *le couronnement de l'édifice*, tandis que nous sommes encore aux *pilotis de fondement*.

III

Nous sommes à la veille de notre histoire. Nous avons végété, nous avons pris corps, nous nous sommes installés, nous avons passé un rude dressage — et nous n'apportons que la conscience de nos forces, de notre aptitude. Ce sont des symptômes plus que des faits. Nous n'avons, à proprement parler, jamais vécu; nous avons été mille ans à *la terre* et deux siècles à l'école, à l'imita-

tion. Nous ne faisons que sortir de la germination, et bien nous en suit¹.

Toutes les richesses de l'Occident, tous les héritages nous manquent. Rien de romain, rien d'antique, rien de catholique, rien de féodal, rien de chevaleresque, presque rien de bourgeois dans nos souvenirs. Aussi aucun regret, aucun respect, aucune relique ne peuvent nous arrêter. Nos monuments, on les a inventés convaincu que l'on était qu'un empire comme il faut doit avoir ses monuments. La question, pour nous, ce n'est pas la conservation de nos agonisants, ni l'enterrement de nos morts, cela ne nous donne aucun embarras, mais bien de savoir où sont les vivants et combien il y en a.

Descendants de colons et non de conquérants, nous sommes un peuple de paysans, surmonté par une légère couche de *détachés*. C'est le peuple des champs qui est la base et la sève. Les torrents de Slaves, tombant dans les plaines entre le Volga et le Danube, s'assirent là, où ils se sentaient fatigués et occupèrent le sol qui leur plaisait, comme un élément qui n'appartenait à personne. Ils n'avaient pas de titres, ils avaient la faim et la charrue. Les peuplades finnoises qui vivotaient dans ces forêts, dans ces déserts, étaient englobées par les Slaves. Elles continuaient leur pauvre existence, ou se fondaient avec les nouveaux venus, en laissant quelques mots dans leur langue et quelques traits dans leur figure.

Rien d'héroïque, d'épique dans ces origines — défrichement, travail et croisement avec ces pauvres Touraniens, auxquels en veulent tant les publicistes de l'Occident.

Des villes très clairsemées surgissent, des villages fortifiés, des principautés commencent à se former en un Etat fédéral assez informe. Puis le joug des Mongols, lutte et affranchissement, unité forcée, et un Etat en croissance. Cet Etat rudimentaire se

¹ Il m'est impossible de ne pas citer encore une fois ces vers de Goethe qu'il adresse à l'Amérique:

Dich stört nicht im Innern,
Zu lebendiger Zeit,
Unnützes Erinnern,
Vergeblicher Streit.

maintient à travers toutes les vicissitudes, avec une persistance obstinée qui n'est pas dans le caractère slave. C'est peut-être le premier fruit de l'assimilation de ces races cyclopéennes, immobiles et fortes par leur persistance minéralogique, par leur adhésion élémentaire, par leur longanimité endurente. S'ils ont altéré la pureté slave de notre sang, ils ont corroboré l'Etat qui a servi de noyau à la Russie moderne.

Le peuple de paysans se transformant en un Etat, *conserva*, et c'est là que gît son avenir et son originalité, la foi que la terre qu'il cultive lui appartient, qu'elle est inaliénable tant qu'il reste dans la commune, et qu'une commune nouvelle le recevant, lui doit la terre. Le gouvernement n'y comprenait rien et laissa les us et coutumes jusqu'au temps de l'introduction du servage (XVII^e siècle), donnant alors terres et paysans aux seigneurs, à la famille régnante, à l'Etat.

Le principe du droit à la terre n'est pas discutable; c'est un fait, non une thèse. La notion originaire de la propriété a été très bien éliminée de la discussion par Proudhon. C'est une donnée primordiale, un dogme «d'origine divine», c'est une *cause première* de l'histoire. On trouve un rapport de l'homme à la propriété préexistant à l'histoire, permanent, comme celui qui c'est développé par le droit romain, les coutumes germaniques, et qui continue en Occident dans les voies de l'individualisme, jusqu'à la rencontre des idées sociales qui le nie et l'arrête. On trouve *un centre* inculte en Orient qui se développe en Russie sur une base communale, et qui va à une jonction avec le socialisme qu'il affirme *de facto*, qui lui donne des proportions tout autres, et lui ouvre un avenir immense.

Il semble que toute l'histoire sombre et lourde du peuple russe n'a été soufferte qu'en vue de ces évolutions par la science économique, de ces germes sociaux. On serait tenté d'applaudir la marche lente du développement historique chez nous.

Passant une longue série de siècles monotone et écrasante, courbé sous le joug de la pauvreté, courbé sous le fouet du servage, il conserva sa *religion de la terre*. Etrange et lugubre voie d'un développement dans lequel, très souvent, le mal apportait le bien et *vice versa*. Un des coups les plus durs qu'a subis le peuple russe était le coup de civilisation, qui tâchait de nous dénatio-

naliser sans nous humaniser, et c'est elle qui nous fit la révélation de nous-mêmes, *par le socialisme* qu'elle abhorre.

Le peuple des champs a été laissé en dehors de la civilisation imposée. Le grand pédagogue, Pierre I^{er}, se contentait de river plus fortement les chaînes du servage. Le paysan, conspué, outragé, pillé, vendu, acheté, releva la tête pour un instant, versa des fleuves de sang, fit frémir Catherine II sur son trône; et, battu par les armées de la civilisation, retomba dans un désespoir morne, passif, ne tenant plus qu'à sa terre, à cette dernière mamelle qui l'empêchait de mourir de faim et que le servage même ne savait lui arracher. C'est ainsi qu'il est resté immobile et dans un état de prostration, de désespoir, presque un siècle entier; protestant quelquefois par l'assassinat du seigneur ou de malheureuses révoltes partielles.

Pendant que le paysan armé passait les Balkans et les Aipes, remportait des victoires et élargissait les frontières de l'empire, son père, son frère mouraient sous la verge, pillés légalement par une noblesse avide, dépensière et sauvage; tout lui était ôté, sa force musculaire, sa femme, son enfant — et par un illogisme étonnant, la terre (amoindrie, écourtée, mal choisie avec intention) lui restait.

Que de larmes tombèrent sur elle faisant un nouveau lien entre elle et le pauvre patient persécuté! Personne ne saura ce qu'il a souffert pendant ces cent ans de prospérité de l'Etat. Sa plainte, son cri de douleur et d'agonie, son reproche, tout est perdu dans les archives d'une police inexorable, dans les souvenirs éparpillés de quelque servante, de quelque valet de chambre. Ce Laocoon succombait avec ses fils par une obscure nuit d'hiver, sans avoir un statuaire pour témoin de sa lutte inégale avec deux serpents — la noblesse et le gouvernement. La neige a tout couvert par son linceul, — et c'est ce crime historique, ce crime en détail, qui frappait chaque village, chaque commune, qui, en se perpétuant, en durant, a aidé le paysan malheureux à faire légaliser son droit à la terre.

Si l'émancipation était venue avant notre temps, on aurait ôté la terre au paysan sans lui donner une liberté réelle. Un demi-siècle de martyre et de douleur de plus a sauvé son grand instrument de travail. Le *droit à la terre* n'aurait pu résister à

la pression des idées économiques de l'Occident, appuyées non seulement par le gouvernement, si indifférent quant au choix des moyens, mais aussi par les «éclairés», les libéraux, les doctrinaires, les publicistes. Ce n'est qu'après la formidable critique de l'ordre des choses existant par le socialisme, que le principe vital du développement russe a pu être sauvé.

La terre a été presque partout oubliée par les révolutions en Occident; elle était au second plan, comme les paysans. Tout se faisait dans les villes et par les villes, tout se faisait pour le tiers-état, on songeait quelquefois après à l'ouvrier des villes, presque jamais au paysan. Les guerres des paysans en Allemagne font une exception, aussi demandèrent-ils à hauts cris la terre, et ils furent complètement écrasés. Il y avait sécularisation, confiscation, morcellement, changement de main, de classe, déplacement de la propriété foncière; le tout ayant des conséquences très graves; il n'y avait ni une base nouvelle, ni un principe, ni une organisation générale. Nous n'avons rien entendu, ni des hauteurs de la Convention, sauf Robespierre, qui est venu à la tribune renier ses vellétés agraires, ni des barricades de Juin. Un des hommes les plus avancés, Lassale, trouve que la terre attache trop, fixe trop, alourdit la libre individualité de l'ouvrier, retient sa marche comme un boulet attaché à ses pieds; tandis que nous aimons mieux sentir sous nos pieds le sol nourricier, que de nous balancer dans l'air, au gré des vents, sans autre appui contre la misère que la double misère de la grève.

Nous ne disons pas que notre rapport au sol soit *la solution* de la question sociale, mais nous sommes persuadés que c'est *une des solutions*. Les idées sociales, dans leur incarnation, auront une variété de formes et d'applications comme le principe monarchique, aristocratique, constitutionnel. Notre solution n'est pas une utopie, c'est une réalité, un fait naturel, je dirai physiologique. Les conditions géographiques nous sont propices. Le concours des circonstances extérieures doit correspondre à la velléité, à l'aptitude du nouvel organisme, sinon il avortera. Qu'aurait fait l'Amérique du Nord sans ses données territoriales? De l'autre côté, les meilleures conditions extérieures ne suffisent pas. Qu'ont fait les Espagnols au delà de l'Océan?

La question, pour nous, consiste non à nier ou à affirmer le droit à la terre, mais à l'élever à la conscience, à le généraliser, à le développer, à l'appliquer, à le *corriger* par l'indépendance personnelle.

La commune patriarcale concédait la terre à l'individu au prix de sa *liberté*. L'homme restait attaché au sol, à la commune. C'est avec la terre qu'il passa au seigneur, c'est avec la terre qu'il s'émancipe. Il faut l'émanciper de la terre sans qu'il la perde. Il lui faut *la Terre et la Liberté*. Il y a une opinion bien arrêtée en Occident, que chaque pas vers les droits de l'individu sera nécessairement pris sur le droit communal. D'où est-ce qu'on sait cela? C'est pour la première fois que la commune agraire se trouve enlacée dans un développement social d'un grand Etat. Or il faut attendre à quoi aboutira ce mouvement avant de tirer les conséquences. Cette observation appartient à Stuart Mill. Les faits récents prouvent qu'il n'y a rien d'incompatible dans ces termes de possession communale et de liberté individuelle. Un spectacle immense se produit à côté du monde, qui a fait infructueusement toutes les expérimentations possibles, depuis le phalanstère et l'Icarie, jusqu'aux associations égalitaires. La commune rurale et l'individu rural ont fait des pas de géant en Russie depuis 1861. Le principe rudimentaire du *self-gouvernement*¹, écrasé par la police et le seigneur, se détache de plus en plus de ses langues et de ses liens; l'élément électif s'enracine, de lettre morte devient réalité. Le maire, les juges communaux, la police rurale, tout est électif, et déjà les droits du paysan s'étendent loin au delà de la commune. Il la représente dans le conseil général de la province, dans le jury, et il faut lire les journaux pour savoir comment il s'y prend. Il acquitte quand il peut, il acquitte dans le doute. Eh bien, sa croissance n'est pas marquée, ses pas en avant ne sont pas comptés... et, loin de là, lorsque cette poussée immense d'hommes se réveille, pleine de force, de santé, les civilisés les taxent de bétail humain, d'accord en cela avec les beaux restes de nos seigneurs.

Des humanitaires, des philanthropes, des *fraternaux*, qui ont des soupirs pour les Peaux-Rouges et des sociétés pour la

¹ Si bien apprécié par le baron westphalien Haxthausen et le sociologue américain Carrey.

protection des animaux de toutes couleurs, regardent avec dédain ou ne regardent pas du tout un peuple entier qui entre dans la possession d'un terrain immense, et dont le premier mot est une *formule sociale*, non seulement réalisable, *mais réalisé*! Un peuple qui a mis à la place d'un droit vague «au travail» le droit explicite «à la terre», et qui au lieu de répéter le terrible cri du désespoir: «Qui a du plomb a du pain», est convaincu qu'il a «du pain parce qu'il a la terre».

Les renseignements ne manquaient pas, mais on ne se donnait pas la peine de se renseigner. On a entendu vaguement parler du *communisme* russe, asiatique, touranien, et l'on a fini sommairement avec lui, en disant que tous les sauvages ont *commencé* par les biens communaux pour finir avec le prolétariat civilisé; que la terre manquera un jour, que l'agronomie ne peut prospérer dans ces conditions, etc., etc. Bien avant l'émancipation des paysans, un seul homme s'aperçut de la signification de la *commune* rurale chez nous, c'est Haxthausen, que j'ai nommé plus haut. Rencontrant quelques vestiges d'institutions communales aux bords de l'Elbe et frappé de leur organisation, il s'en va, en 1846, explorer la Russie un peu au-dessous du pavé sur lequel roulait l'élégante calèche du marquis de Custine; il traversa hâtivement Pétersbourg, Moscou et s'enfonça, dans la *terre noire*. Il en revint en prêchant la *commune* russe et montrant du doigt ses éléments socialistes et *républicains*. Par un étrange hasard, c'était la veille de la révolution de 48, la veille du premier essai, en grand, d'introduire le socialisme dans l'organisation de l'Etat. L'à-propos était admirable, mais l'essai échoua et la préoccupation des esprits était telle, que le livre de Haxthausen glissa inaperçu.

Nous avons aussi essayé d'élever notre voix au milieu de l'abattement général et de la plus sombre réaction (1850 — 1855), nous n'avons pas mieux réussi que le vieux baron westphalien; on fit semblant de prendre note, on passa outre. Les événements parlèrent à leur tour. Un souffle de vie traversa la Russie: le servage tombait, la noblesse tombait, le vieil édifice du tribunal inquisitorial s'écroulait; des voix formidables se firent jour à travers les grilles de la censure; le gouvernement, entraîné pour un moment par le courant, était mal à son aise, et pas loin de faire des conces-

sions. Une doctrine réaliste, forte, jeune, se formulait de plus en plus, avec une logique inexorable et une audace de conséquences et d'applications à toute épreuve. Tout cela passa comme une ombre inaperçue... L'attention était ailleurs, le monde occidental ne regardait que l'atroce tragédie qui se déroulait en Pologne. Oui, c'était une tragédie d'autant plus atroce qu'on ne s'y attendait pas. En 1861, tout le monde, en Russie, était pour la Pologne; le gouvernement n'était pas encore décidé entre une petite charte et un gibet, entre un grand-duc ou Mouravioff,— lorsqu'une main puissante lui est venue en aide, la main de la diplomatie européenne, avec ses notes pacifiquement guerrières. A la piqure de cette intervention à main désarmée, un patriotisme farouche s'empara de la société; tout ce qui couvait encore de sauvagerie au fond de l'âme russe, surnagea avec une insolence qui n'avait pas d'exemple dans notre histoire moderne. On se rua sur la Pologne et sur la *Jeune Russie*. Ce n'est qu'alors que le gouvernement se sentit assez fort pour commencer le procès terrible de tendances, procès à cent têtes, sans fin, absorbant victime sur victime, s'étendant sur tout le pays et qui continue encore.

Ce n'est pas un reproche que nous vous adressons. Nous savons que vous n'êtes pas responsables des malheurs que vos secours diplomatiques ont fait tomber sur la pauvre Pologne, nous savons très bien que vous n'avez pas de part dans les affaires publiques. On vous passe les actes pour les discuter, comme on passe les malades des hôpitaux à la chambre de dissection,— après leur décès. Nous sommes trop dans la même position pour ne pas avoir la délicatesse du ménagement. Malheureusement vous vivez dans un monde de fictions et d'illusions, comme les descendants des ci-devant familles souveraines rêvent toujours la couronne perdue sur leur tête—vous aussi, vous rêvez à émanciper les peuples, à défendre leurs libertés comme les vôtres.

Vos libertés... et où sont-elles?

Il faut monter bien haut sur les Alpes ou traverser la mer pour en voir un petit bout.

L'orgueil d'un grand passé ne vous permet pas de voir ni votre état actuel, ni ses causes, ni le danger qui vous menace.

Votre danger n'est pas du côté de la Russie; si la Russie a été jusqu'à Paris, c'est qu'il y avait des Prussiens et autres

Allemands pour l'accompagner et lui montrer le chemin. Votre danger est dans l'avortement de la Révolution.

Il est cruel de troubler les rêves d'un vieillard que nous estimons, mais pourquoi est-il si arrogant et si aveugle, si provocateur, si intolérant? On pourrait penser qu'il parle encore de la tribune *tonans* de la Convention, fièrement appuyé sur les droits de l'homme, inviolable, libre, respecté. On pourrait penser que c'est l'Europe de Voltaire et des encyclopédistes, des jacobins et des girondins, de Kant et de Schiller.

L'Angleterre seule pourrait avoir le verbe haut, elle se tait.

La liberté est aux Etats-Unis et ce sont eux qui, bien loin d'une haine contre la Russie, lui tendent une main amicale en vue de son avenir.

Nous sommes tout prêts à honorer en vous votre passé. Nous ne demandons pas mieux que de couvrir vos plaies, par gratitude pour l'enseignement que vous nous avez donné; mais un peu de justice pour ceux *qui sont d'hier* (comme s'exprimait Tertullien) *et qui ont leur demain assuré*.

Malheur oblige, oblige au moins à ne pas jeter des pierres aux autres, à ne pas continuer le rôle impossible de régulateur et libérateur du monde entier, du grand horloger de l'univers.

Votre pendule s'est arrêtée.

IV

En bas, la *commune rurale*, tranquille dans son attente, lente, mais sûre dans son développement; conservatrice comme la mère qui garde l'enfant dans son sein, souffrant beaucoup, souffrant tout, sauf la négation de sa base, de son fondement. Élément féminin et pierre angulaire de tout l'édifice, sa monade, l'alvéole du tissu énorme qu'on appelle la Russie.

En haut, à côté de l'Etat qui écrase, du gouvernement qui *pacifie* — la *pensée libre* devient une force, une puissance reconnue par ses ennemis, signalée par l'empereur dans une épître scolastique adressée au président du Conseil d'Etat, signalée par l'Eglise myope et endormie, signalée par la police littéraire à la police chasseresse sous le nom de nihilisme.

Ce *nihilisme* n'est pourtant ni une organisation quelconque ni un complot, c'est une conviction, une opinion. Et c'est devant

cette opinion qu'Alexandre pâlit et cria à ses ministres en leur montrant «*quelques jeunes gens obscurs*» son «Prenez garde à vous!» Il avait raison ou ceux qui lui avaient soufflé la peur. Cette opinion trop libre, cette pensée sans entraves théologiques, sans considérations mondaines, sans idéalisme, romantisme, sentimentalisme, sans vertu de parade et rigorisme affecté,— ne relevait que de la science et ne marchait que dans ses voies. Cette nudité a fait peur, cette simplicité a glacé le cœur des autorités.

Une question se présente tout naturellement: où trouver un pont possible entre cette pensée, sans autre frein que la logique, et la commune affranchie; entre le savoir cru et scrutateur et la foi aveugle et naïve; entre la science adulte et âpre et le grand enfant profondément endormi, rêvant que le tzar est son bon père et la madone le meilleur remède contre le choléra et les incendies?

Rêvant aussi que la terre qu'il cultive lui appartient.

La minorité réaliste se rencontre avec le peuple sur le terrain des questions sociales et agraires. Le pont est donc tout donné.

La pensée, le savoir, la conviction, le dogme, ne restent jamais chez nous à l'état de théorie et d'abstraction, ne vont pas se confiner dans un couvent académique ou se cacher dans l'armoire d'un savant, parmi les poisons; au contraire, ils s'élancent sans être mûrs, avec trop de précipitation, dans la vie pratique, voulant sauter à pieds joints du vestibule à la fin de l'arène. Nous pouvons vivre, et longtemps, dans un état de torpeur morale et de somnolence intellectuelle, mais une fois la pensée réveillée, si elle ne succombe, tout d'abord, sous le fardeau du milieu lourd et écrasant; si elle résiste à l'offense et à la distraction, au danger et à la nonchalance, elle s'empresse d'aller hardiment jusqu'à la dernière conséquence, notre logique n'ayant pas de rétrécissement, suites et traces d'un passé cicatrisé, mais non effacé.

Le dualisme flottant des Allemands, qui savent que la vie *der* théorie *nach* ne coïncide pas avec les sphères pratiques et s'y résigne, est tout à fait antipathique au génie russe.

La société bigarrée, sans gouvernail, indifférente à la surface, blasée et naïve, corrompue et simple, a été bien loin de rester tranquille devant le nouveau creuset épuratoire de la pensée. Des femmes et des jeunes filles se jetèrent haletantes vers les

nouvelles doctrines, demandant à haute voix l'indépendance personnelle et la dignité du travail. Rien de pareil ne s'est vu depuis les premiers temps du Saint-Simonisme.

Une société dans laquelle la femme est si lasse et la pensée si impitoyable, doit avoir été profondément travaillée, errante; il faut qu'elle ait été froissée, humiliée, trompée, outragée, qu'elle ait *douté* enfin, pour se jeter sans crainte ni réserve dans la mer froide et sans limites de la vérité nue. Qui connaît l'histoire de nos âmes en peine, de nos développements malades, estropiés? Nous avons essayé de tracer le drame, le roman, la souffrance de notre embryogénie intellectuelle... Qui s'en souvient?

Arrachés par un coup de tonnerre ou plutôt de tambour, au milieu d'une vie somnolente et végétale, du sein de notre mère (pauvre et grossière paysanne, mais toujours mère), nous nous vîmes dépouillés de tout, à commencer par les habits et la barbe. On nous habitua à mépriser notre mère et à nous moquer de notre foyer paternel. On nous grava une tradition étrangère, on nous *flanqua* la science et on nous déclara, au sortir de l'école, que nous sommes des esclaves attachés à l'Etat et que l'Etat c'est une espèce de père Saturne qui, sous le nom d'empereur, nous avale au premier geste indépendant, au premier mot libre. On nous déclarait naïvement qu'on nous a civilisés dans un but d'utilité publique et gouvernementale et que, partant de là, on ne nous reconnaît aucun droit humain.

Tout ce qui aime mieux avaler avec Saturne, qu'être avalé par lui, s'est rangé de son côté, écrasant de plus en plus le rez-de-chaussée du peuple, et jetant aux travaux forcés les récalcitrants parmi les civilisés «pour cause d'utilité publique».

Un appareil si étrange ne pouvait aller à la longue, il n'avait pas de conditions sérieuses de stabilité, aussi au premier appel, les forces vives débordèrent (1812) et le lendemain de la victoire on commençait à demander des garanties d'une existence humaine. L'essai de 1825 a échoué, mais la secousse était forte. Le trône de Pierre I^{er}, à peine affermi du tremblement de terre (dernières convulsions d'un peuple qui se débattait contre l'esclavage), reçut un nouvel avertissement, venant des *siens*. Ce coup n'était pas léger. Nicolas en était à la longue crainte.

Le trouble intérieur dans lequel nous nous trouvions, pendant les trente années de ce règne, était plus douloureux que les malheurs qui tombaient sur notre tête. Nous étions dépaysés, sans racines, ignorant le peuple, détestant la maison paternelle — foyer de persécution des serfs, détestant le gouvernement comme ennemi puissant et féroce de tout développement intellectuel, de tout progrès... nous n'avions, dans notre impuissance, qu'une arme — l'étude, qu'une consolation — l'ironie.

Et c'est l'étude qui nous donna une autre patrie, une autre tradition; c'était la tradition de la grande lutte du XVIII^e siècle. Oh! que nous vous avons aimés, en puisant de toute la force de nos poumons, l'air frais soufflant pour la première fois sur le monde par la grande ouverture de 1789. Nous courbions nos têtes avec vénération devant ces figures sombres et fortes de vos saints pères du grand concile républicain, allant inaugurer l'ère *de la raison* et de la liberté.

La foi passionnée que la jeunesse russe avait pour la théorie allemande, pour *la pratique* française, semblait être justifiée et couronnée en 1848.

Vous connaissez le revers de la médaille. L'année 48 n'était pas encore terminée que nous retournâmes de la Jérusalem moderne comme Luther retournait du Vatican. Encore une fois *heimatlos*, vagabonds du monde moral, nous restâmes sans point d'appui devant la puissance de l'empereur Nicolas, qui s'était prodigieusement accrue et assombrie.

La main qui nous guidait du dehors, tremblait pour ses trésors et s'efforçait de retourner à bord. Nous l'avons lâchée. C'était notre dernière émancipation, c'était notre *nihilisme*... Laisant la main, nous nous jetâmes au large, à nos risques et périls, dans la direction qu'elle nous avait désignée.

Les déportés des journées de Juin étaient à peine arrivés à leur destination, lorsqu'une association socialiste était découverte à Pétersbourg. Nicolas sévit avec sa férocité ordinaire. Les individus périrent, les idées restèrent, germèrent. Le caractère dominant du mouvement était si évidemment *socialiste*, que les deux courants opposés de l'opinion, les deux écoles qui n'avaient rien de commun, l'école scientifique, analytique, réaliste, et l'école nationale, religieuse, historique, étaient d'accord sur

toutes les questions de la commune rurale et de ses institutions agraires.

Bientôt arriva un troisième collègue bien étrange.

Le gouvernement annonça sa ferme volonté d'émanciper les paysans. Tout le monde était d'accord que le temps d'affranchissement personnel des paysans était venu. Là n'était pas la grande question, le fond était de savoir s'il fallait les émanciper avec la terre qu'ils cultivent ou laisser la terre au seigneur et doter le peuple du droit de vagabondage et de la liberté de mourir de faim. Le gouvernement était indécis, oscillant, n'avait aucune conviction formée et stable. Le tzar penchait pour la dotation, ses conseillers étaient naturellement contre. Dans cet embarras, le gouvernement ouvrit — dans le pays des mystères de chancellerie et de mutisme — des débats presque publics sur cette question vitale. On permit à la presse d'y prendre part, jusqu'à un certain point. Toutes les nuances politiques et littéraires, toutes les écoles — sceptiques et mystiques, socialistes et panslavistes, la propagande de Londres et les journaux de Pétersbourg et de Moscou — se réunirent dans une même action pour défendre le droit du paysan à la terre, contre les prétentions d'une minorité oligarchique. La voix du peuple ne manquait non plus; il n'admettait *pas même la possibilité* de l'émancipation sans terre. Enfin le gouvernement, après de nouvelles oscillations, qui nous faisaient trembler d'anxiété, pencha de notre côté. L'émancipation avec la terre fut décidée en principe. C'est un grand triomphe et un immense pas en avant.

Depuis ce jour le gouvernement n'est plus le maître d'enrayer le mouvement. Pour rebrousser chemin, il faut avoir l'audace d'arracher la terre aux paysans. Il y eut peut-être un moment où l'on pouvait en faire l'essai — heureusement il est passé.

La noblesse, trop circonspecte pour s'avancer violemment au moment brûlant et dangereux, lente à se décider, formula son opposition d'impuissance — lorsque la terre du paysan était déjà bien loin.

Les cinq années qui s'écoulèrent depuis la mort de Nicolas et l'apparition du manifeste de l'émancipation des paysans, au mois de mars 1861, forment une grande époque non seulement dans l'histoire de la Russie, mais dans l'histoire du XIX^e siècle.

Oh! que j'ai profondément regretté et regretterai toujours qu'il m'était impossible de voir de mes yeux ce qui se passait alors en Russie.

Tout se tendait de plus en plus, tout se serrait, se resserrait encore davantage; une pression désolante, accablante écrasait sans relâche, avec une uniformité mécanique, et tout d'un coup une rupture — les cordes qui entrent dans les chaires se détendent, les prisonniers voient un beau matin que la porte n'était pas verrouillée; ils ne savent où aller, les uns vont au grand air et retournent dans les cellules. Tout le monde s'est émancipé de son propre gré. Le mot Liberté n'a été prononcé par personne et a été entendu par tout le monde, par l'empereur Alexandre comme par les autres. Il sentait aussi que la lourde surveillance a cessé de peser, oubliant que cette surveillance était lui-même.

La chose était mûre — les formes plièrent, les mots changèrent de sens; on a cessé de croire à la puissance d'institutions devant lesquelles on tremblait hier et qui restaient invariablement les mêmes. La Russie peut encore passer par des phases de tyrannie affreuse, d'un arbitraire sans bornes, mais elle ne peut retourner au régime calme et accablant de Nicolas.

Beaucoup de choses qui vinrent au jour alors, étaient précoces, quelquefois exagérées. Les jeunes forces, comprimées si longtemps, n'ayant aucune issue, aucune direction, et contenues matériellement par une discipline qui n'avait rien d'humain, débordaient; mais au milieu de cette grande orgie matinale se révélèrent des forces non soupçonnées, se conquirent des fruits, qui survivront parfaitement bien l'hiver inclément de la blanche terreur qui continue.

Un des premiers pas de la jeunesse fut l'organisation *des écoles de dimanche et des associations d'ouvriers et d'ouvrières*. L'atelier, fondé sur les bases socialistes, allait de front avec l'école et frisait naturellement la commune rurale. Le peuple des villages, vivant lui-même dans des associations agraires, avait, depuis des siècles, créé sur une très grande échelle les associations ouvrières. A côté de la commune *fixe* — l'*artel*, la commune mobile, l'association ouvrière.

Ces écoles, ces associations, étaient autant de ponts jetés entre la ville et le village, entre les deux états du développement.

Tout cela a été brisé, écrasé par le gouvernement en peur et fureur, après l'histoire de ces incendies, qui n'a jamais eu de clé. Tout cela renaîtra.

Mais en faisant monter demain cette pierre de Sisyphe, que le tzar se complaît à rouler en bas après-demain, on peut perdre des siècles sans trop avancer. Oui, mais aussi on peut réussir demain en roulant, au lieu de la pierre, le gouvernement. Nous avons trop de chaos et d'incongruités pour nous étonner des imprévus.

Les choses les plus impossibles se réalisent chez nous avec une célérité incroyable; des changements qui, par leur importance, équivalent à des révolutions, s'accomplissent sans qu'on s'en aperçoive en Europe.

Il ne faut jamais perdre de vue que, chez nous, tout changement n'est qu'un changement de décorations: les murs sont en carton, les palais en toile peinte. Ce que l'on voit sur les tréteaux du grand théâtre impérial n'est pas *tout de bon*, à commencer par les personnes. Ce grand seigneur, c'est un laquais; ce ministre, dictateur et despote, c'est un révolutionnaire; ce civilisé, ce raffiné — Calmouck par habitude et mœurs. Tout est d'emprunt. Nos rangs sont des rangs allemands, on ne s'est pas même donné la peine de les traduire en russe — le *Collegien Registrar*, le *Kanzelerist*, l'*Actuarius*, l'*Executor*, restent encore pour faire l'étonnement des oreilles des paysans et rehausser la dignité de divers copistes, scribes et autres palefreniers de la bureaucratie.

Nous autres, comme les enfants trouvés dans un hospice, nous sentons — sans connaître d'autre maison paternelle — que celle-là n'est pas à nous, et nous désirons passionnément la démolir.

Dans cet empire des façades, où il n'y a rien de vrai et de réel que le peuple en bas et la lumière en haut, il n'y a que deux éléments qui font exception, deux forces de destruction: c'est le courage militaire et le courage de la négation. Or, n'oublions pas que «la négation active est une force créatrice», comme l'a dit, il y a bien des années, notre ami Michel Bakounine. Il est impossible de parler sérieusement du conservatisme en Russie. Le mot même n'existait pas avant l'émancipation des paysans..

Nous pouvons être stationnaires comme le saint Stylite, ou marcher à reculons comme une écrevisse, mais nous ne pouvons pas être conservateurs, car nous n'avons rien à conserver. Edifice mixte, sans architecture, sans solidarité, sans racines, sans principes, hétérogène et plein de contradictions. Camp civil, chancellerie militaire, état de siège en temps de paix, mélange de réaction et de révolution, prêt à durer longtemps et à tomber en ruine demain.

Le jour où Pierre, tzar byzantin, s'est fait empereur à l'allemande et prit un gîte à Pétersbourg — le tzarisme a perdu tout terrain conservateur. Depuis ce temps, l'empereur change comme un Protée: il est femme et homme, Romanoff et Holstein. — Civilisateur le knout à la main, le knout à la main persécuteur de toute lumière, gardant les traditions, brisant les traditions, faisant la barbe à son empire par esprit révolutionnaire et époussetant la poussière d'une vieille église à barbe, pour s'opposer à la révolution.

Aujourd'hui premier *gentilhomme*, demain *premier peuple*; aujourd'hui l'idée peut lui venir de continuer le règne fou de Paul I^{er}, demain, de se proclamer Pougatcheff II. J'ai toujours admiré l'adjectif hermaphrodite que Voltaire a employé en disant *Catherine le Grand*: confusion de sexe, de fonction, cumul, absorption, promiscuité.

La noblesse voudrait bien jouer un rôle de conservatistes-tories, mais heureusement elle est arrivée à cette idée le lendemain de la perte du trésor qu'elle avait à conserver. Elle n'a pas de valeur intrinsèque; sa puissance venait du tzar — il a ôté son doigt — elle n'existe que de nom. La partie saine, jeune de la noblesse, tâche de faire oublier son origine, oublie elle-même, cherche du travail et se fond avec tout le monde. L'autre partie — obstinée, irritée, se consume en colère et perd le reste de ses forces usées à faire trois oppositions stériles. Une opposition de cupidité à la commune affranchie, une opposition hypocrite et traître à la bureaucratie — dans laquelle elle comprend le gouvernement, — et une opposition acharnée, imbécile de vengeance et de rancune à la pensée libre, aux nouvelles aspirations, à la jeunesse active et lancée dans le mouvement. Haïe par le peuple, suspectée par le gouvernement et détestée par la jeunesse

intelligente — elle rôde amaigrie, vieillie et furieuse, ne pouvant, comme Calypso, se consoler du départ du beau droit de servage au moins.

Ce que nous venons de dire de la noblesse *terrienne*, nous pouvons le dire à plus forte raison de la noblesse d'*encre*. La bureaucratie ne représente qu'un instrument: c'est un régiment civil qui ne raisonne pas *sous les plumes*; elle continuera à fonctionner, avec *zèle et vol*—sous Paul I^{er} comme sous Pougatcheff II.— Ennemie par position de la grande noblesse — elle se confond avec la petite. C'est une classe qui n'a rien à conserver, sauf les dossiers et archives.

Gouvernement, noblesse et bureaucratie se rencontrent dans une conviction qui en elle-même est tout ce qu'il y a de moins conservateur: ils sont d'accord sur la nécessité de *grandes réformes*. Une partie de la noblesse tend à obtenir une représentation parlementaire et à prendre le gouvernement sous son contrôle. Le gouvernement et la bureaucratie sont toujours à l'idée de réformer l'Etat par le despotisme civilisateur. Ils sont toujours dans le mode de Pierre I^{er}, de Joseph II: ils veulent décentraliser et donner de petites franchises, pensant que cela ôtera le goût des grandes; ils veulent céder une part de l'administration — pourvu qu'on ne touche pas aux droits sacrosaints de la souveraineté absolue. Pour un temps quelconque cela pourrait aller — avec un tzar énergique et un ministre homme de génie, les deux travaillant de toutes leurs forces à se creuser au plus vite une fosse. Des hommes médiocres ne suffiront pas à cette tâche — ils feront une réaction désordonnée, un désordre blessant, précisément ce que fait maintenant le gouvernement du Palais d'Hiver. Une constitution nobiliaire ne suffirait à personne, et le gouvernement sera toujours en mesure de l'écraser, s'appuyant sur les exclus, les mécontents et les paysans.

Reste donc la convocation du «grand concile», d'une représentation sans distinction de classes, seul moyen de constater les désirs réels du peuple et de savoir où nous en sommes. C'est aussi le seul moyen de sortir sans secousse, sans bouleversement — terreur et horreur — sans torrents de sang, de la longue introduction que l'on appelle la *période de Pétersbourg*.

La réaction aiguë qui continue n'a ni unité, ni plan, ni profondeur: elle a la force en main et le sans-gêne héréditaire; elle fera des malheurs — elle ne s'arrêtera devant rien et n'arrêtera rien non plus.

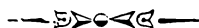
Quel que soit la *première Constituante, le premier parlement* — nous aurons la liberté de la parole, de la discussion et un terrain légal.

Avec ces données nous pouvons marcher. La route est difficile — et pour quel peuple était-elle jonchée de roses? Tous les obstacles sont extérieurs — rien ne nous retient dans notre conscience.

Nous n'aurons ni légitimistes, ni aristocrates, ni cléricaux, ni républicains antisociaux, ni démocrates centralisateurs, ni déistes intolérants, ni bourgeois souverains dans le camp du progrès.

Nous y reviendrons encore maintes fois. Mais dès à présent nous avons le droit de terminer notre article-vestibule en disant qu'il n'y a pas de raison suffisante ni de nous maudire — en nous craignant, ni de se désoler — en nous plaignant. Heureusement nous ne sommes ni si forts ni si malheureux.

1^{er} décembre 1867.



PROLEGOMENA

I

Ничего нового мы сказать не собираемся — часть статей, которые мы намерены опубликовать, уже известна; в остальных можно будет найти лишь краткое изложение и развитие того, что говорилось и повторялось нами по крайней мере в течение двадцати лет.

В чем же причина нашего появления в свет?

В поразительном упорстве, с которым видят лишь отрицательную сторону России и осыпают одними и теми же бранными словами и проклятиями прогресс и реакцию, грядущее и настоящее, перегной и молодые ростки.

Единственные русские публицисты на Западе, мы не хотим брать на себя ответственность за молчание.

Русский призрак, использованный после 1848 года Донозо Кортесом в интересах католицизма, возрождается с новой силой в противостоящем лагере *. Опять готовы прикрыть завесой позабытые «права человека» * и отменить уже несуществующую свободу, дабы бдительно охранять «Блага цивилизации», подвергающиеся угрозе, и — отбросить подрастающих Аттил и будущих Аларихов за Волгу и за Урал. Опасность так велика, что решились предложить Австрии протянуть единственную оставшуюся у нее руку Пруссии, которая уже ампутировала у нее другую руку *... что посоветовали всем государствам вступить в священный союз военного деспотизма против империи царей. Пишутся книги, статьи, брошюры на французском, немецком, английском языках; произносятся речи, начищается до блеска оружие... и упускается лишь одно —

серьезное изучение России. Ограничиваются рвением, горячностью, возвышенностью чувств. Полагают, что проявление жалости к Польше равносильно знанию России.

Такое положение вещей может привести к серьезным последствиям, огромным ошибкам, огромным несчастьям, не говоря уж о весьма реальном несчастье — находиться в полном заблуждении.

Немного есть на свете зрелищ, более печальных и душераздирающих, чем старческое упрямство, которое отворачивается от истины — вследствие умственной усталости, вследствие боязни изменить уже сложившееся мнение. Гёте заметил, что старые ученые теряют с годами чутье реального, наблюдательность и не любят возвращаться к первоосновам своей теории *. У них уже сформировались устойчивые понятия, вопрос уже разрешен ими, и они не хотят к нему возвращаться.

Мы говорили десять лет тому назад ¹: «Трудно себе представить, до какой степени наглухо замкнут круг, в котором движется и бьется большая часть людей на Западе. Новый факт сбивает их с толку, мысль, находящаяся вне рамки, рубрики, — тревожит их. Большая часть поденщиков гласности располагает для ежедневного обихода запасом общих мест, великодушия, негодования, восторгов и прилагательных слов, применяемых ко всем событиям. Они их немножко изменяют, переделывают, подкрашивают местным колоритом — и все в порядке... *Трафареты* необычайно облегчают труд, и без вмешательства непокорного факта колесо катится своей дорогой; и с какой же плохо скрытой злобой встречают этих незваных гостей, как стараются не замечать их, выпроводить за дверь; а если они не уходят, то как стараются оклеветать их...»

С 1848 года мы проповедовали, что помимо России воинственной и деспотической, завоевательной и агрессивной — спасающей Австрию и оказывающей помощь реакции, — существует Россия в периоде прорастания, что от подземных течений тянет совсем иным воздухом, нежели воздух официального Петербурга.

¹ «Россия и старый мир». Русское изд(ание), опубл(икованное) в Лондоне, 1858 *.

Мир предавался отчаянию, но этому утешению не внимал.

То, что казалось парадоксальным до Крымской войны, стало, вскоре же после нее, очевидным, неоспоримым фактом. «Great Eastern» Севера оторвался от своих льдов, вышел в открытое море — и натолкнулся на восстание в Польше*.

Поляки — чересчур поспешно и при малоблагоприятных обстоятельствах — захотели исправить ошибку своего бездействия во время Крымской войны. Они были несчастливы в своем неравном браке; русское же правительство — черство, нагло, даже когда идет на уступки. Героическое нетерпение их понятно. С горестью видя, что движение нельзя было задержать, мы сказали им накануне их восстания¹: «Братья, разорвите с Россией, станьте независимы, идите с Западом, вы имеете на это все права; однако, разрывая с Россией, попытайтесь глубже ее узнать». На это не последовало ответа. И надобно прибавить, что среди соседних народов нет ни одного, который меньше знал бы Россию, чем Польша². На Западе Россию просто не знают. Поляки же *умышленно* не желают ее знать. Сколько несчастий можно было бы избежать, если бы поляки не боялись найти в своем враге что-либо хорошее. Правда, они говорили в 1831 году: «За вашу и нашу свободу!» Но какова же свобода, к которой мы стремимся? Та ли это самая свобода?.. Поляки слишком часто смешивают свободу с политической независимостью. Последней-то мы обладаем и меньше всего о ней хлопочем; утратить ее мы не можем.

Завязывается борьба. Польша дарует свою кровь, Европа — свои газетные статьи. Опечаленные и полные мрачных предчув-

¹ В заключении серии статей о Польше в «Колоколе»*.

² Конечно, бывают и исключения: я сошлюсь на весьма замечательную книгу, изданную в Париже в 1863 году одним поляком, под названием «La Pologne et la cause de l'ordre»*. Автор доказал, что ненависть несколько не теряет от глубокого знания своего врага. Во многих случаях мы разделяем его мнения, он — наши; мы черпали из одних и тех же источников. Может ли быть лучший критерий, чем эта встреча двух противоположных чувств! Спешу добавить, что, говоря о посвященных России статьях в немецких и французских газетах, мы сделали исключение для блестящих и превосходных картин Ш. Мазада в «Revue des Deux Mondes»*.

ствий, мы, первые из русских, приветствовали «идущих на смерть» *. Поляки не олицетворяли для нас *ни нового принципа, ни будущего* — они олицетворяли *право, историю; справедливость* была на их стороне.

Ими двигало и не стремление к идеалу — они хотели требовать отнятое, восстанавливать, воскрешать. Именно в этом-то и заключается различие между нами. Мы можем сколько угодно оглядываться вокруг себя — нам нечего требовать обратно, нечего извлекать из могил, нам предстоит лишь расчистить поле для своих способностей и стремлений. Но тем не менее сердцем и душой мы были с поляками, нас тревожило только одно: мы опасались, как бы их восстание не затормозило нашего движения вперед, не достигнув своей цели. Наши предвидения правдались, и гнусный Муравьев, покончив с Литвой, был призван возглавлять политическую инквизицию в Петербурге *. Общий террор и палач слили воедино мучеников того и другого дела.

Когда успокоились страсти, легко можно было, несмотря на рыдания и крики бешенства, установить *два факта*. В первом убеждены вы, мы же нисколько не сомневаемся в другом. Один факт заключается в том, что польская Польша не погибла; другой — в том, что русское *движение* не приостановлено. Это факт чрезвычайно важный, и мы требуем лишь расследования, чтоб установить нашу ошибку или же признать нашу правоту. Вместо этого испускают вопли, исполненные тревоги и ожесточения, изобретают этнографические оскорбления, осыпают Россию ударами фальшивой филологии. Ее изгоняют из Европы, ее изгоняют из семьи иранцев *. Ну, серьезно ли все это?

Наши храбрые враги не знают даже того, что мы с этой стороны весьма мало уязвимы; мы выше зоологической щепетильности и весьма безразличны к расовой чистоте; это нисколько не мешает нам быть вполне славянами. Мы довольны тем, что в наших жилах течет финская и монгольская кровь; это ставит нас в родственные, братские отношения с теми расами-париями, о которых человеколюбивая демократия Европы не может упомянуть без презрения и оскорблений. Нам не приходится также жаловаться на туранский элемент. Мы добились

несколько большего, чем чистокровные славяне Болгарии, Сербии и т. п.

Нас изгоняют из Европы — подобно тому как господь бог изгнал из рая Адама. Но есть ли полная уверенность в том, что мы принимаем Европу за Эдем и звание европейца — за почетное звание? В этом иногда сильно ошибаются. Мы не краснеем от того, что происходим из Азии, и не имеем ни малейшей необходимости присоединяться к кому бы то ни было справа или слева. Ни в ком мы не нуждаемся, мы — часть света между Америкой и Европой, и этого для нас достаточно. Быть может, петербургские немцы сильно скандализированы утратой своего чистого славянства, своего яфетического иранства, и глубоко оскорблены тем, что их не желают признавать в Европе. — Быть может, московские одержимые, для довершения смешного, ввяжутся в ученую борьбу — нас это несколько не касается.

И только благодаря вам, западные наши учителя, благодаря вашей науке, прониклись мы такой философией. Отсталые во всем, мы побывали у вас в выучке — и не отшатнулись от выводов, которые заставили вас свернуть со своего пути. Мы не скрываем того хорошего, что получили от вас. Мы позаимствовали ваш светильник, чтобы ясно увидеть ужас своего положения, чтобы отыскать открытую дверь и выйти через нее, — и мы нашли ее благодаря вам. К чему нам теперь — раз мы умеем ходить самостоятельно — учительская ферула, и если вы помыкаете нами, — прощай, школа!

Но прежде чем «церемонно» покинуть нас, скажите-ка: отчего вы изо всех сил стараетесь сделать *молодого Медведя* своим врагом? Разве недостаточно вам воевать со старым, который нам еще более враждебен, нежели вам, и которого мы ненавидим сильнее, чем вы? Подумайте-ка о том, что старый зависит от вас гораздо больше, нежели молодой; он нравственно несвободен, вы гнетете его своим авторитетом. Он ворчит, он дуется, но оскорбляется вашими порицаниями, ибо он вас уважает и боится вас — не физической вашей силы, а вашего умственного превосходства, вашей аристократической спеси. У нас же бугор почтительности отсутствует; не питаем мы и одинакового чувства уважения ко всему, что есть на Западе. Мы видели вас в минуты

изрядной слабости. Единственное, что мы чтим у вас безгранично, религиозно, — *это наука*. Но ведь наука — это полная противоположность вашим учреждениям, вашей нетерпимости, вашему государству, вашей морали, вашим верованиям. Вы владеете искусством прикрывать своими благородными стремлениями, своими возвышенными непоследовательностями ту пропасть, которая отделяет жизнь от науки, — однако пропасть остается.

Мы видели вас слишком близко и знаем вас, мы привыкли любить вас и знать — вы же нас не знаете и отрицаете нас. — Мы протестуем.

Часовые, затерянные на рубеже двух миров, которых подстрекают к нападению друг на друга, связанные тысячьонитей с обоими, мы не можем молчать и снова решаемся сигнализировать о ложном пути, крикнув со своей сторожевой вышки: «Берегись ошибки!»¹.

II

Для начала мы хотим очень коротко рассказать о том, как нынешнее состояние западной цивилизации отражает

¹ Ипогда, чрезвычайно редко, какой-нибудь выдающийся ум в изумлении останавливается и констатирует факт, мало соответствующий шаблонным представлениям о России. Факт этот кажется единичным, изолированным, почти чудовищным — за систематическое исследование таких фактов не принимаются, и он пропадает из виду. Один знаменитый человек сказал мне в Вето, говоря об освобождении в России крестьян с землей*: «Конвент 93 года — а он отличался достаточной смелостью — отступил бы перед мерой, столь глубоко подрывающей право собственности. Мне кажется, что успех этого социалистического мероприятия во многом обязан пассивной покорности дворянства». — «Не думаю, чтоб это было так, — сказал я, — тем более что дворянство было весьма далеко от пассивной покорности. Это мероприятие прошло потому, что оно вполне соответствовало национальному духу, и потому, что освобождение без земли у нас было невозможно. Оно вызвало бы, без всякого сомнения, жакерию. Социальный переворот подобного размаха мог произойти спокойно лишь у народа, обладающего *иными понятиями о собственности*, чем народы Запада».

Никто об этом серьезно не подумал.

Социалисты так же, как и прочие.

Совокупность этих фактов вынуждает нас еще раз явиться перед судом, требуя допуска *свидетеля вациты* на процесс об отлучении, который ведется против России.

ся в наших умах чужеземцев, зрителей, людей, которые сформированы вашей наукой, но, имея иное происхождение и иную традицию, идут своим весьма трудным путем, не восхищаясь вашим. Вы не слишком-то привыкли выслушивать мнения, доносящиеся извне. Вы так долго представляли собой *цивилизацию, и всю цивилизацию*, единственную великую историю и *единственное* великое настоящее, что оробевшие Анахарсисы не смели откровенно высказывать свое мнение; когда же вы сами принимаете на себя их роль, сочиняя персидские, турецкие, американские и прочие письма*, то вы занимаетесь только критикой частных. Если же вы иногда и высказываете неприятную истину, то горе тому, кто коснется королевы, не принадлежа к ее роду!

Времена быстро переменялись. Окружавший вас ореол уже не ослепляет взора. Ваше монопольное и неоспоримое господство поколеблено докучливой и беспокойной соседкой. Обращаешь взгляд к ее новому жилищу, по ту сторону Атлантического океана, — и видишь, что она продолжает вас, *завершая*; вы много обещали, она многое приводит в исполнение; вам принадлежит идеал, воплощение — ей.

Ваша цивилизация — словно переполненное море, она не может ни ограничиться своим прежним ложем, ни выступить за его роковые пределы. Она бьется со всех сторон о скалы, которые не может ни поглотить, ни перехлестнуть, ни смыть; отсюда — странная растерянность, бесплодное волнение; нападение — отпор, и *fiasco* следует за *fiasco*.

Вы не можете занять новое ложе, не отбросив далеко свои ветхие лохмотья, вам же хочется их сохранить. Вы слишком скарены, чтобы уступить часть наследства, нет в вас и достаточного самоотвержения, чтобы удовольствоваться почетным покоем вдовствующей королевы, которая, позабыв о королевской власти, занимается только своим хозяйством. Вы пребываете вследствие этого в состоянии временной нерешительности; сами того не сознавая, вы искренне лицемерны и довольствуетесь словами, не имея ничего реального.

Формы и основы современной организации государства, общества — как они постепенно были выработаны историей, без единства и плана — не отвечают более требованиям рациональ-

ного государства, сформулированным наукой и сознанием деятельного и развитого меньшинства. Все, что было эластичного в старых формах, нашло свое проявление; все комбинации, все компромиссы были пущены в ход. Преобразования не могут развиваться, не взрывая эти формы, не распатывая эти вечные основы общества. Разум должен либо отступить и признаться с чисто христианским смирением, что его идеал — «не от мира сего», либо решиться разбить эти формы и более не заботиться о судьбе вечных основ.

Эти вечные основы — не что иное, как весьма недолговременные основы двуглавой, убудочной организации — эксфеодального, буржуазного и военного государства — компромисса, колеблющегося между двумя крайностями — малонадежной диагонали между свободой и самовластьем, социального и политического эклектизма, нейтрализующего всякую инициативу. К этой золотой середине тяготеют в нерешимости цивилизованные народы. Те из них, которые, как Голландия, победили противоборствующие силы, чувствуют себя прекрасно. Возможно, что латино-германские народы не пойдут уже дальше, что это их окончательное состояние. Видения минувшего, видения грядущего еще смущают их и не дают им прочно утвердиться в занятом ими положении. Эти платонические угрызения совести утихнут, как утихла скорбь христиан в отношении грехов рода человеческого, — они останутся как прекрасные воспоминания, как *pià desideria*¹, как возвышенный романтизм, как молитва богача о бедняках. Собственно говоря, нет безусловной необходимости в том, чтобы ясно выраженный идеал осуществился в том или ином определенном месте, — лишь бы он осуществился. Разве Индия не осталась в роли Матери, а Иудея — в роли Иоанна Предтечи? Останавливаются не там, где вздумается, а там, где не хватает сил, где не хватает пластицизма, энергии. Мы вовсе не хотим сказать, что латино-германский мир исключен из новой социальной палингенезии, которую он сам же и открыл миру. У природы и истории — все званые гости, однако невозможно вступить в новый мир, неся, подобно Атласу, на своих плечах мир-старый. Надобно умереть «в старом Адаме», чтобы воскреснуть

¹ благие пожелания (лат.). — Ред.

в новом, — т. е. надобно пройти через *подлинно радикальную революцию*.

Мы прекрасно знаем, что нелегко определить конкретно и просто то, что мы понимаем под радикальной революцией. Рассмотрим еще раз единственный пример, предлагаемый нам историей: *революцию христианскую*.

Мир «вечного города», побежденный варварами, испускал дух от истощения, изнемогая под чрезмерно тяжелой ношей, которую Рим взвалил на его плечи. Большая часть его идеала завоевателя осуществилась; того же, что *оставалось*, не хватало для движения вперед. У него было свое прошлое, престиж, силы, цивилизации, богатства; он все же мог бы еще долго влачить свое существование, расслабленный и утомленный. Но происходит революция, которая бросает ему прямо в лицо: «Твои добродетели — для нас блестящие пороки; наша мудрость — нелепость для тебя, что же общего между нами?» Следовало либо раздавить ее, либо пасть пред крестом и тем, кто на нем распят.

Вам известна легенда (Гейне так кстати вспомнил ее в своем путешествии на Гельголанд) о корабельщиках, возвращавшихся в страхе и волнении из Греции в Италию. Они рассказывали (то было во времена Тиберия), что однажды ночью, когда они приставали к Пелопоннесской земле, на скале появился зловещего вида человек, подавая им знак приблизиться и громко крича им: «Пан умер!»*

Он тогда еще не был мертв, старый Пан, но уже находился в агонии, и не было иного средства для его спасения, кроме смерти. Соборование умирающего длилось столетия. Он обратился в новую веру, принял пострижение и завещал все свое состояние церкви. Монах занял место цезарей, Олимп превратился в лазаретный сад и заполнился умирающими, иссохшими, бесполоыми, казненными; виселица с трупом заняла место Юпитера, а место его жизнерадостных сотрапезников — две женщины в слезах. Вот что мы понимаем под радикальной революцией.

Остатки, обломки, разрозненные камни древнего здания сохранились, но они были вмурованы в новое, они более не *первенствовали*.

Христианский мир, со своей стороны, пережил многочислен-ные кризисы и многочисленные преобразования, видоизмене-ния, однако ни одного *радикального*. Возрождение, Реформа-ция не порывают с церковью, они упрощают ее, очеловечивают, украшают и поклоняются ей в новом издании. Даже революция представляет собой секуляризацию христианства и канониза-цию древнего мира. Она является христианской и римской по своему духу, безжалостно принося личность в жертву «salus populi» *, Молоху государства, республики — подобно тому как церковь приносила в жертву живого человека во имя «спасения души, славы божией». Ведя борьбу, Реформация и Революция сделали колоссальный шаг вперед и затронули принципы совершенно справедливые, но неосуществимые при данном состоянии государства. Краеугольные камни, глыбы старых стен, принесенные ими в их новый град, стесняли каж-дый шаг. Они теряли всю свою энергию в неразрешимых про-тиворечиях, в безысходной борьбе.

Права юридического лица.

Права человека.

Права разума.

Свобода, Равенство, Братство.

Радуга, преисполненная обещаний, обоими концами касаю-щаяся земли, не пуская в нее корней.

Неприкосновенность личности вступала в столкновение с безоговорочным покровительством, которое государство оказы-вало собственности. Право человека сталкивалось с римским правом. Право разума отрицалось вооруженной религией. И так далее. Свобода была несовместима с сильным государством, с государственной церковью и государственной же армией. Не существует *равенства* при неравенстве развития, между вер-хами, залитыми светом, и массами, погруженными во мрак. Нет *братства* между хозяином, который пользуется и злоупот-ребляет своим правом имущего, и работником, который исполь-зуется и подвергается злоупотреблениям потому, что он не-имущий. Кто же тот гений, который сумел бы объединить в одной гармоничной формуле, разрешить посредством одного уравнения, выразить понятным образом связь и взаимодействие великих противоречивых сил, разнородных факторов, взаимно

раздираемых и в то же время продолжающих оставаться основами современного общества? Есть ли что-нибудь общее между юриспруденцией и экономической наукой, между судом и статистикой? Могут ли они сколько-нибудь сносно сосуществовать? Вы чувствуете это, *вы знаете это*, и потому-то вы совершаете грех против разума. Вы находитесь в положении человека, который занес ногу, чтобы перейти границу, но, охваченный приступом тоски по родине, застывает в этой плачевной позе.

Никто не принуждает вас покидать свое отечество, но тогда уж надобно спокойно оставаться у родительского очага и сбросить с себя одежду странствующего революционера. Сочетание консерватизма и революционности начинает возмущать. Вас мучают угрызения совести, и, чтобы оправдаться в собственных глазах, вы повторяете старую песню об опасностях, угрожающих нравственности, порядку, семье, в особенности религии. А у вас-то самих ее нет, если не считать худосочного деизма, бессильного и бесплодного. Религия в вашем представлении — это только крепкая узда для масс, самое страшное пугало для простаков, высокая ширма, которая мешает народу ясно видеть то, что происходит *на земле*, заставляя его возводить взор к небесам.

Нравственность, семья. Какая нравственность? Нравственность порядка, *существующего* порядка, нравственность почитания властей и собственности; все остальное — фиоритуры, орнаменты, декорации, сентиментализм и реторика.

И когда ж это революция была безнравственной? Революция всегда сурова, доблестна по обязанности, чиста по необходимости; она всегда — самопожертвование, ибо она всегда — опасность, гибель личностей во имя всеобщего. Разве были безнравственны первые христиане? или гугеноты, или пуритане, или якобинцы? Вот вооруженные заговоры, государственные перевороты — те и вправду не слишком-то непорочны, но ведь это *ретроволюции*. Что же касается религии, то революция в ней не нуждается, она сама — религия.

Даже социализм, в своих наиболее восторженных, юношеских фазах, в сен-симонизме и в фурьеризме, никогда не доходил ни до общности имущества, проповедовавшейся апо-

столами, ни до Платоновой республики подкидышей*, ни до полного отрицания семьи посредством создания специальных заведений для детоубийства во чреве матери и публичных домов безбрачия и воздержания...

На самом деле речь идет не о семье, не о нравственности — речь идет о том, чтобы спасти *незначительную долю свободы и значительную — собственности*; все же остальное — красноречие, иносказания. Собственность — это блюдо чечевичной похлебки, за него вы продали великое будущее, которому ваши отцы широко распахнули ворота в 1789 году. Вы предпочитаете обеспеченное будущее удалившегося от дел рантье — отлично, но не говорите же, что делаете это ради счастья человечества и спасения цивилизации. Вам всегда хочется прикрывать свой упрямый консерватизм революционными атрибутами; это оскорбляет, и вы унижаете другие народы, делая вид, будто все еще стоите во главе движения; это оскорбление почти смехотворно.

Прудон весьма негуманно говорил одной несчастливой нации: «Вы не умеете умирать»*. Мы хотели бы сказать вам: «Вы не в силах ни возродиться, ни покорно принять бодрую и откровенную старость». А наше положение хуже, чем ваше, оно грубей, но гораздо проще, и не следует забывать, что у вас это *увенчание здания*, в то время как мы вколачиваем еще *сваи фундамента*.

III

Мы находимся в преддверии нашей истории. Мы росли, созревали, укреплялись, проходили суровую выучку — и приносим с собой лишь сознание собственных сил, своих способностей. Это больше симптомы, чем факты. Мы, в сущности, никогда еще не жили; мы провели тысячу лет *на земле* и два столетия в школе, занятые подражанием. Мы только начинаем выходить из периода прорастания, и это — благо для нас¹.

¹ Не могу не привести еще раз стихи Гёте, с которыми он обращается к Америке:

Dich stört nicht im Innern,
Zu lebendiger Zeit,
Unnützes Errinern,
Vergeblicher Streit*.

Из всех богатств Запада, из всех его наследий нам ничего не досталось. Ничего римского, ничего античного, ничего католического, ничего феодального, ничего рыцарского, почти ничего буржуазного нет в наших воспоминаниях. И по этой причине — никакое сожаление, никакое почитание, никакая реликвия не в состоянии остановить нас. Что же касается наших памятников, то их придумали, основываясь на убеждении, что в порядочной империи должны быть свои памятники. Вопрос для нас заключается не в продлении жизни наших умирающих, не в погребении наших мертвецов, — это для нас не представляет никакого затруднения, — а в том, чтоб узнать, где находятся живые и сколько их.

Потомки поселенцев, а не завоевателей, мы — народ крестьянский, над которым находится тонкий слой *отщепенцев*. Жители полей и представляют собой основу и нравственную силу. Бурные потоки славян, обрушившиеся на равнины между Волгой и Дунаем, осели там, где почувствовали усталость, и заняли земли, которые им пришлось по вкусу, как стихию, никому не принадлежащую. Законных прав у них не было — ничего, кроме голода и плуга. Финские племена, кое-как перебивавшиеся в этих лесах, в этих пустынях, были поглощены славянами. Они продолжали влачить свое жалкое существование или же смешивались с пришельцами, оставив им несколько слов из своего языка и кое-что в чертах лица.

Нет ничего героического, эпического в этом происхождении — распашка нови, труд и скрещивание с бедными туранцами, к которым питают такую неприязнь публицисты Запада.

Возникают далеко расположенные друг от друга города, укрепленные деревни; княжества начинают складываться в довольно бесформенное федеральное государство. Потом монгольское иго, борьба и освобождение, принудительное объединение и растущее государство. Зачаточное государство это цепко держится, несмотря на все превратности, с упорной настойчивостью, вовсе не свойственной славянскому характеру. Быть может, это первый плод ассимиляции с циклопическими расами, недвижимыми и сильными своей минералогической устойчивостью, своей первобытной цепкостью, своим выносливым долготерпением. Если они и нарушили славянскую чистоту нашей

крови, то зато укрепили государство, которое послужило ядром современной России.

Крестьянское население, превратившись в государство, *сохранило* — и в этом-то заключалось и его будущее и его самобытность — веру в то, что обрабатываемая крестьянином земля принадлежит ему, не может быть отчуждена, пока он остается в общине, и что новая община, принимая его, обязана наделить его землей. Правительство в этом ничего не смыслило и сохранило эти обычаи до самого введения крепостного права (XVII век), когда оно передало земли и крестьян помещикам, царствующей фамилии, государству.

Принцип права на землю неоспорим; это факт, а не тезис. Изначальная идея собственности была блестящим образом исключена из обсуждения Прудоном*. Это заранее данная величина, догма «божественного происхождения», это *первопричина* истории. Полагают, что связь между человеком и собственностью существовала еще в доисторические времена, постоянно, подобно той, которая развилась под воздействием римского права, германских обычаев, и которая существует еще и поныне, продолжая свое развитие на Западе путями индивидуализма — до самой встречи с социальными идеями, ее отрицающими и кладущими ей конец. На Востоке находят непросвещенный *центр*; он развивается в России на общинной основе и готов к слиянию с утверждаемым им *de facto* социализмом, которому он придает совсем другие пропорции и открывает перед ним необъятное будущее.

Создается впечатление, будто вся мрачная и тяжелая история русского народа была выстрадана исключительно ради этого прогрессивного развития экономической науки, ради этих социальных зародышей. Испытываешь искушение рукоплескать медленному ходу исторического развития в нашей стране.

Пройдя через длинный, однообразный и изнурительный ряд столетий, согбенный под ярмом нищеты, согбенный под бичом крепостного права, он сохранил *религию земли*. Станный и скорбный путь развития, при котором зачастую зло приносило с собою добро и *vice versa*¹.⁹ Одним из самых жестоких ударов,

¹ наоборот (лат.).— *Ред.*

перенесенных русским народом, был удар цивилизации, которая пыталась лишить нас национальности, не делая нас гуманными, и она-то нам открыла нас самих *посредством социализма*, к которому она питает отвращение.

Жители полей были оставлены вне насильственно навязанной цивилизации. Великий педагог Петр I удовольствовался тем, что скрепил еще сильнее цепи крепостного права. Крестьянин, оплеванный, поруганный, ограбленный, продаваемый, покупаемый, приподнял на мгновение голову*, пролил потоки крови, заставил содрогнуться от ужаса Екатерину II на ее престоле; и, побежденный армиями цивилизации, он снова впал в угрюмое, пассивное отчаяние, держась лишь за свою землю — за этот последний сосец, который не давал ему умереть с голоду и который даже крепостное право не сумело у него вырвать. Так он и оставался, неподвижный и в состоянии изнеможения, отчаяния, почти целое столетие, выражая иногда свой протест убийством помещика или же неудачными местными бунтами.

В то время как вооруженный крестьянин переходил Балканы и Альпы*, одерживал победы и расширял границы империи, его отец, его брат умирали под розгами, законным образом ограбленные алчным, расточительным и диким дворянством; все у него было отнято: сила его мускулов, его жена, его дитя, — но по странному отсутствию логики — земля (в уменьшенном количестве, урезанная, умышленно дурно выбранная) оставалась за ним.

Сколько пролилось на нее слез, образуя новую связь между нею и бедным преследуемым страдальцем! Никто не узнает, сколько вытерпел он за эти сто лет процветания государства. Его жалоба, его крик боли и агонии, его упрек — все затеряно в архивах безжалостной полиции, в отрывочных воспоминаниях какой-нибудь служанки, какого-нибудь камердинера. Этот Лаокоон погибал со своими сыновьями темной зимней ночью, и ни один ваятель не был очевидцем этой неравной борьбы его с двумя змеями — дворянством и правительством. Снег все окутал своим саваном — и это историческое преступление, это преступление, совершавшееся по мелочам, поражавшее каждую деревню, каждую общину, непрерывно про-

должаясь, сохраняясь, помогло несчастному крестьянину узаконить свое право на землю.

Если б освобождение пришло прежде нашего времени, у крестьянина отняли бы землю, не предоставив ему подлинной свободы. Лишних полвека мученичества и страданий спасли его великое орудие труда. *Право на землю* не смогло бы устоять под напором экономических идей Запада, поддерживаемых не только правительством, столь безразличным к выбору средств, но и «просвещенными людьми», либералами, доктринерами, публицистами. И только после сокрушительной критики существующего порядка вещей, произведенной социализмом, жизненный принцип русского развития смог быть спасен.

О земле почти повсюду забывали во время революций на Западе; она находилась на втором плане, так же, как и крестьяне. Все делалось в городах и городами, все делалось для третьего сословия, потом изредка вспоминали о городском работнике, но о крестьянине — почти никогда. Крестьянские войны в Германии являются исключением, и потому-то крестьяне, с громкими криками требовавшие земли, были совершенно раздавлены. Производились секуляризации, конфискации, дробления, перемены владельцев, классов, перемещения поземельной собственности; все это имело чрезвычайно важные последствия; не было только ни новой основы, ни принципа, ни общей организации. Мы ничего не слышали ни с высот Конвента, если не считать Робеспьера, который поднялся на трибуну, чтобы отречься от своих аграрных проектов, — ни с Июньских баррикад. Один из самых передовых людей, Лассаль, находит, что земля слишком связывает, слишком прикрепляет к месту, отягощает свободную личность работника, задерживает его движение, словно ядро, прикованное к его ногам, тогда как мы предпочитаем чувствовать под своими ногами кормилицу-землю, вместо того чтобы раскачиваться в воздухе, по воле ветров, не имея иной опоры против нищеты, кроме двойной нищеты забастовки.

Мы не говорим, что наше отношение к земле является *разрешением* социального вопроса, однако мы убеждены, что это *одно из решений*. Социальные идеи, в своем воплощении, будут обладать многообразием форм и применений, как принципы

монархический, аристократический, конституционный. Наше решение — не утопия, это реальность, факт естественный, я скажу даже — физиологический. Географические условия нам благоприятствуют. Совокупность внешних обстоятельств должна соответствовать стремлениям, способностям нового организма, иначе он зачахнет. Что совершила бы Северная Америка без своих территориальных пространств? С другой стороны, наилучшие внешние условия бывают недостаточны. Что совершили испанцы по ту сторону Атлантического океана?

Вопрос для нас состоит не в том, чтобы отрицать или утверждать право на землю, а в том, чтобы осознать его, обобщить, развить, применить, *исправить* его личной независимостью.

Патриархальная община предоставляла землю отдельному лицу в обмен за его *свободу*. Человек оставался прикрепленным к земле, к общине. Именно с землей перешел он к помещику, именно с землей он и освобождается. Необходимо освободить его от земли, но таким образом, чтобы он ее не потерял. Ему нужны *Земля и Воля*. На Западе прочно установилось мнение, будто каждый шаг к расширению прав личности неизбежно будет сделан за счет прав общины. С чего это взяли? Сельская община оказалась впервые вовлеченной в социальное развитие огромного государства. И надобно выждать, к чему приведет это движение, прежде чем извлекать выводы. Замечание это принадлежит Стюарту Миллю *. Недавние события доказывают, что нет ничего несовместимого в терминах «общинное владение» и «личная свобода». Грандиозное зрелище возникает по соседству с тем миром, который бесплодно проделывал всевозможные опыты, начиная от фаланстера и Икарии — до уравнительных ассоциаций *. Сельская община и личность сельского жителя чрезвычайно далеко шагнули вперед в России с 1861 года. Находившийся в зачаточном состоянии принцип *самоуправления*¹, раздавленный полицией и помещиком, начинает все более и более избавляться от своих пеленок и свивальников; избирательное начало укореняется, мертвая буква становится реальностью. Староста, общинные судьи, сельская полиция —

¹ Так хорошо оцененный вестфальским бароном Гакстгаузеном и американским социологом Кэри *.

все избирается, и права крестьянина простираются уже далеко за пределы общины. Он является ее представителем на общегубернских собраниях, в суде присяжных, и надобно читать газеты, чтобы знать, как он там действует. Он оправдывает, когда это возможно, он оправдывает в сомнительных случаях. И что же, рост его не отмечен, его достижения не изучены... и более того, когда эта огромная человеческая масса пробуждается, исполненная силы, здоровья, то образованная часть общества расценивает ее как людское стадо, в совершенном согласии с последними представителями нашего былого барства.

Человеколюбцы, филантропы, *сторонники братства*, вздыхающие о краснокожих, и общества покровительства животным всех мастей презрительно смотрят или совсем не смотрят на целый народ, который вступает во владение огромной территорией и чье первое слово является *социальной формулой*, не только осуществимой, но уже осуществленной! Народ, который поставил на место неопределенного права «на труд» отчетливое право «на землю» и который вместо того, чтобы повторять ужасный вопль отчаяния: «У кого есть пуля — у того есть хлеб» *, сохраняет убеждение, что «у него есть хлеб, потому что у него есть земля».

В сведениях недостатка не было, однако никто не взял на себя труд ознакомиться с ними. Слышались туманные речи о русском, азиатском, туранском коммунизме, но с ним сразу же покончили, заявив, что все дикари начинали с общинного владения, чтобы прийти в конце концов к образованному пролетариату; что когда-нибудь земли не хватит, что агрономия не может процветать в подобных условиях и т. п., и т. п. Еще задолго до освобождения крестьян один-единственный человек осознал значение сельской общины у нас — это Гакстгаузен, о котором я упомянул выше. Обнаружив некоторые следы общинных установлений на берегах Эльбы и пораженный их устройством, он отправляется, в 1846 году, исследовать Россию несколько поглубже той мостовой, по которой катилась изящная коляска маркиза де Кюстина *; торопливо проехал он Петербург, Москву и углубился в черноземье. Возвратился он оттуда, расхваливая русскую общину и указывая пальцем на ее социалистические и республиканские начала. По странному

совпадению, это произошло накануне революции 48 года, накануне первой попытки ввести, в большом масштабе, социализм в государственное устройство. Момент был весьма подходящий, но попытка провалилась, а настроение умов было таково, что книга Гакстгаузена промелькнула незамеченной.

Мы также пытались поднять голос среди всеобщего уныния и мрачайшей реакции (1850—1855), но успели не больше, нежели старый вестфальский барон; сделав вид, что все это принято к сведению, прошли мимо нас. События заговорили в свой черед. Веянье жизни пронеслось по России: крепостное право отмирало, дворянство отмирало, старое здание инквизиционного суда рушилось; грозные голоса пробились наружу сквозь решетки цензуры; правительству, на миг увлеченному этим течением, было как-то не по себе, и оно готово было пойти на уступки. Реалистическое, сильное, молодое учение находило свое выражение все более и более отчетливо, с неумолимой логикой и смелостью выводов и применений к любым обстоятельствам. Все это прошло незамеченной тенью... Вниманию отвлечено было иным, западный мир смотрел во все глаза на ужасную трагедию, развернувшуюся в Польше. Да, то была трагедия тем более ужасная, что ее не ожидали. В 1861 году все в России стояли за Польшу; правительство еще колебалось между малой хартией и виселицей, между великим князем и Муравьевым, когда могучая рука пришла ему на помощь, — рука европейской дипломатии, с ее миролюбиво-воинственными нотами. От укулов этого вмешательства невооруженной рукой свирепый патриотизм овладел обществом; все, что еще таилось дикого в глубинах русской души, обнаружилось с наглостью беспримерной в нашей новой истории. Набросились на Польшу и на *Молодую Россию*. И только тогда правительство почувствовало себя достаточно сильным, чтобы начать ужасный судебный процесс над идеями, процесс стоголавый, бесконечный, поглощавший жертву за жертвой, распространившийся на всю страну и продолжающийся еще и поныне.

И не с упреком обращаемся мы к вам. Мы знаем, что вы не ответственны за бедствия, которые ваша дипломатическая помощь навлекла на бедную Польшу *, мы прекрасно знаем, что вы не принимаете участия в общественных делах. Вам пере-

дают акты для обсуждения, как передают больных из госпиталей в прозекторскую — после их кончины. Мы находимся в слишком сходном положении, чтобы не уметь заботливо щадить других. К несчастью, вы живете в мире вымыслов и иллюзий, подобно тому как потомки некогда царствовавших фамилий постоянно мечтают о свалившейся с их головы короне, и вы — вы также мечтаете об эмансипации народов, о защите их свобод, словно это ваши свободы.

Ваши свободы... да где ж они?

Надобно подняться высоко в Альпы или же переплыть море, чтоб увидеть там крошечную частицу их *.

Вы гордитесь великим прошлым, и эта гордость мешает вам видеть нынешнее ваше состояние, и его причины, и угрожающую вам опасность.

Опасность грозит вам не со стороны России; если Россия дошла до Парижа, то потому только, что нашлись пруссаки и другие немцы, чтобы проводить ее и указать ей дорогу. Опасность для вас заключается в неуспехе Революции.

Потревожить грезы старца, почитаемого нами, — жестоко, но отчего ж он так заносчив и так слеп, так дерзок и так нетерпим? Можно подумать, что он все еще выступает с *tonans*¹ трибуны Конвента, гордо опираясь на права человека, неприкосновенный, свободный, уважаемый. Можно подумать, что это Европа Вольтера и энциклопедистов, якобинцев и жирондистов, Канта и Шиллера.

Одна лишь Англия могла бы сказать свое веское слово, но она молчит.

Свобода — в Соединенных Штатах, и они, далекие от всякой ненависти к России, протягивают ей дружескую руку, провидя ее будущее *.

Мы полностью готовы чтить в вас ваше прошлое. Мы только того и желаем, чтобы прикрыть ваши язвы из благодарности за науку, которую вы нам преподали; но воздайте же хоть немного справедливости тем, *кто родился вчера* (как выражался Тертуллиан) * и у кого есть *обеспеченное завтра*.

Несчастье обязывает, обязывает по крайней мере не

¹ громовой (лат.). — Ред.

швырять в других камнями, не продолжать невозможной роли распорядителя и освободителя целого мира, великого часовщика вселенной.

Ваши часы остановились.

IV

Внизу *сельская община*, застывшая в ожидании, медлительная, но уверенная в собственном развитии, консервативная, как мать, несущая младенца в своем чреве, и много переносящая, переносящая всё, кроме отрицания своей основы, своего фундамента. Это женское начало и краеугольный камень всего здания, его монада, клетка огромной ткани, именуемой Россия.

Наверху, бок о бок с государством угнетающим, государством *усмиряющим*, *свободная мысль* становится силой, властью, признанной ее врагами, — властью, на которую указывает император в своем схоластическом послании председателю Государственного совета*, указывает близорукая и сонная церковь, указывает литературная полиция полиции преследующей — под именем нигилизма.

Нигилизм этот однако не какая-то организация, не заговор — это убеждение, мнение. И от этого-то мнения Александр побледнел и закричал своим министрам «Берегись!», указывая на *нескольких молодых людей темного происхождения*. Были ли он прав или же были правы те, кто нагнал на него страх? Это слишком свободное мнение, эта мысль без богословских пут, без светской осмотрительности, без идеализма, романтизма, сентиментализма, без показной добродетели и притворного ригоризма, — превозносило только науку и следовало только по ее путям. Нагота эта вызывала страх, эта простота оледенила сердца властей предрежащих.

Совершенно естественно возникает вопрос: каким же образом перекинуть мост между этой мыслью, не имеющей другой узды, кроме логики, и свободной общиной; между беспощадным, исследующим знанием и слепой и наивной верой; между возмужалой и суровой наукой и погруженным в глубокий сон взрослым младенцем, которому грезится, что царь — его добрый батюшка, а богородица — лучшее средство от холеры и пожаров?

Которому грезится также, что обрабатываемая им земля принадлежит ему.

Реалистическое меньшинство встречается с народом на почве социальных и аграрных вопросов. Мост, таким образом, уже наведен.

Мысль, знание, убеждение, догмат никогда не остаются у нас в состоянии теории и абстракции, не стремятся заточить себя в академический монастырь или же спрятаться в шкафу ученого, среди ядов; напротив, не достигнув зрелости, они бросаются с чрезмерной стремительностью в практическую жизнь, желая допрыгнуть, со связанными ногами, от прихожей до конца арены. Мы можем жить — и продолжительное время — в состоянии нравственного оцепенения и умственной спячки, но стоит только пробудиться мысли — и, если она не погибает сразу же под тяжелым и давящим бременем среды, если ей удастся устоять перед оскорблением и пренебрежением, перед опасностью и безразличием, она смело старается дойти до крайнего вывода, ибо логика наша не знает ограничений — следствий и следов зарубцевавшегося, но отнюдь не стершегося прошлого.

Расплывчатый дуализм немцев, которые знают, что жизнь *der theorie nach*¹ не совпадает со сферами практической деятельности, и мирятся с этим, в высшей мере антипатичен русскому духу.

Разношерстное общество, лишенное руля, внешне равнодушное, пресыщенное и наивное, развращенное и простосердечное, отнюдь не оставалось спокойным перед новым очистительным горнилом мысли. Женщины и девушки жадно устремились к новым учениям, громко требуя личной независимости и достоинства труда. Ничего подобного не было видано со времени появления сен-симонизма.

Общество, в котором женщина так изнемогает, а мысль так неумолима, неизбежно оказалось глубоко истерзанным и в состоянии разброда; оно должно было быть раздавлено, унижено, обмануто, оскорблено, оно должно было, наконец, сомневаться, чтобы броситься без страха и оглядки в холодное и безбрежное

¹ согласно теории (нем. и франц.). — *Ред.*

море голой истины. Кто знает историю наших пострадавших душ, наших болезненных, искалеченных развитий? Мы попытались обрисовать драму, роман, мýку нашей умственной эмбриогении... Кто помнит об этом?

Вырванные ударом грома или, вернее, барабана, из сонной и растительной жизни, из объятий матери (бедной и грубой крестьянки, но все-таки матери), мы увидели, что лишены всего, начиная с платья и бороды. Нас приучили презирать собственную свою мать и насмеяться над своим родительским очагом. Нам навязали чужеземную традицию, нам *швырнули* науку и объявили нам, по выходе из школы, что мы рабы, прикованные к государству, и что государство — это нечто вроде отца Сатурна, который, под именем императора, заглатывает нас при первом же независимом жесте, при первом свободном слове. Нам наивно заявляли, что цивилизовали нас ради общественной и правительственной выгоды и что отныне за нами не признают никаких человеческих прав.

Все, что предпочитает заглатывать вместе с Сатурном, не жели быть им проглоченным, выстроилось рядом с ним, усиливая давление на нижний слой народа и бросая на каторгу строптивых — из числа тех, кто получил образование, «ради дела общественной пользы».

Столь странная система не могла долго продержаться, она не имела необходимых условий для устойчивости, поэтому при первом же призыве живые силы вышли из берегов (1812 год) и на следующий день после победы начали требовать гарантий для человеческого существования. Попытка 1825 года провалилась, но толчок был силен. Престол Петра I, едва успевший утвердиться после землетрясения (последние судороги народа, сопротивлявшегося рабству), получил новое предупреждение, идущее от *своих*. Удар этот был не из легких. Долго внушал он страх Николаю.

Внутренняя тревога, снедавшая нас в течение тридцати лет этого царствования, была мучительней, чем все несчастья, которые падали на нашу голову. Мы были сбиты с толку, лишены корней, не знали народа, ненавидели родительский дом — очаг преследования крепостных, ненавидели правительство — как могущественного и свирепого врага всякого умственного

развития, всякого прогресса... У нас при нашем бессилии имелось лишь одно оружие — ученье, лишь одно утешение — ирония.

И именно ученье даровало нам иную родину, иную традицию; то была традиция великой борьбы XVIII века. О, как мы любили вас, изо всех сил вбирая в свои легкие свежий воздух, впервые повеявший на мир через огромную пробойну 1789 года. Мы с благоговением склоняли головы перед мрачными и сильными личностями ваших святых отцов великого республиканского собора, пришедшими водворить эру *разума* и свободы.

Страстная вера, которую питала русская молодежь к немецкой теории, к французской *практике*, казалось, была оправдана и увенчана в 1848 году.

Вы знаете обратную сторону медали. 48-й год еще не закончился, а мы уж возвратились из современного Иерусалима подобно Лютеру, возвратившемуся из Ватикана *. Снова *heimatlos*¹ бродяги нравственного мира, мы остались без точки опоры перед могуществом императора Николая, которое гигантски усилилось и приобрело еще более мрачный характер.

Рука, направлявшая нас извне, дрожала за свои сокровища и силилась вырваться. Мы выпустили ее. То было наше последнее освобождение, то был наш *нигилизм*... Выпустив эту руку, мы бросились в открытое море на собственный страх и риск, в том направлении, которое она указала нам ранее.

Не успели отправленные в ссылку участники Июньских дней добраться до места своего назначения, как в Петербурге было обнаружено социалистическое общество *. Николай действовал с обычной своей жестокостью. Личности погибли, идеи сохранились, дали ростки. Преобладающий характер движения был настолько явно *социалистическим*, что оба противостоящих умственных течения, обе школы, не имевшие между собой ничего общего, — школа научная, аналитическая, реалистическая и школа национальная, религиозная, историческая — сошлись во всех вопросах, касавшихся сельской общины * и ее аграрных учреждений.

Вскоре появилось третье и очень своеобразное училище.

¹ лишенные родины (нем.).— *Ред.*

Правительство объявило о своем твердом намерении освободить крестьян. Все были согласны с тем, что время личного освобождения крестьян наступило. Но не в этом заключался основной вопрос, суть была в том, чтоб определить — надобно ли освобождать их с землей, которую они обрабатывают, или же оставить землю помещику, а народ наделить правом бродяжничества и свободой умирать с голоду. Правительство было в нерешительности, колебалось, не имело никакого сложившегося и твердого мнения. Царь склонялся к тому, чтобы наделить землей, советники же его, естественно, были против этого. Находясь в таком затруднении, правительство начало — в стране канцелярских тайн и немоты — почти публичное обсуждение этого жизненно важного вопроса. Печати было разрешено, в известных пределах, принимать в нем участие. Все политические и литературные оттенки, все школы — скептические и мистические, социалистические и панславистские, лондонская пропаганда и петербургские и московские газеты, — соединились в общем деле защиты права крестьянина на землю, против притязаний олигархического меньшинства. Не молчал больше и народ; он не допускал *даже возможности* освобождения без земли. Наконец, правительство, после новых колебаний, заставлявших нас дрожать от беспокойства, склонилось на нашу сторону. Освобождение с землей было в принципе решено. Это было крупным торжеством и огромным шагом вперед.

С того дня правительство уже не в состоянии затормозить движение. Для возвращения вспять надобно решиться вырвать землю у крестьян. Вероятно, был такой момент, когда возможно было попытаться сделать это, — к счастью, он был упущен.

Дворянство, слишком осмотрительное, чтобы действовать путем насилия в столь горячий и опасный момент, медлительное в решениях, выразило свою оппозицию бессилия, когда крестьянская земля от него уже ушла.

Пятилетие, протекшее между смертью Николая и появлением манифеста об освобождении крестьян в марте 1861 года, образует великую эпоху не только в истории России, но и в истории XIX века.

О, как глубоко я сожалел и всегда буду сожалеть, что мне нельзя было увидеть собственными глазами все происходившее тогда в России.

Напряженность становилась все более и более заметной; все сжималось и стягивалось с еще большей силой; томительный, тягостный гнет давил непрерывно, с механическим однообразием, и вдруг — перелом: веревки, впившиеся в тело, ослаблены, арестанты в одно прекрасное утро видят, что дверь не заперта; они не знают, куда идти, некоторые выбегают на волю и возвращаются в казематы. Каждый освобождался на свой лад. Слово «Свобода» никем произнесено не было, но его услышали все, император Александр так же, как и остальные. Он тоже чувствовал, что тягостный надзор перестал давить, забывая, что надзором этим был он сам.

Событие назрело — формы поддались, слова переменили значение; утрачена была вера в могущество установлений, перед которыми трепетали накануне и которые продолжали оставаться неизменными. Россия может еще пройти через фазы ужаснейшей тирании, безграничного произвола, но к мертвенному и давящему режиму Николая возвратиться она не может.

Многое из того, что явилось тогда на свет, было преждевременно, иногда — преувеличенно. Юные силы, так долго подавляемые, лишенные всякого выхода, всякого направления и физически сдерживаемые дисциплиной, в которой не было ничего человеческого, теперь переливались через край; но в разгаре этой великой утренней оргии проявились никем не подозревавшиеся ранее силы, завязались плоды, которые отлично перенесут немилосердную зиму все еще продолжающегося белого террора.

Одним из первых шагов молодежи была организация *воскресных школ и ассоциаций работников и работниц*. Мастерская, основанная на социалистических принципах, сопутствовала школе и естественным образом соприкасалась с сельской общиной. Деревенские жители, сами состоя в аграрных ассоциациях, создали, века тому назад, в весьма широких масштабах, работничьи ассоциации. Рядом с *постоянной* общиной — *артель*, подвижная община, работничья ассоциация.

Эти школы, эти ассоциации являлись в то же время и мостками между городом и деревней, между двумя ступенями развития. И все это было разбито, раздавлено правительством, охваченным страхом и бешенством, после истории с пожарами, ключ к которой так и не был найден. Все это возродится.

Но, поднимая завтра этот Сизифов камень, который царю благоугодно будет сбросить вниз послезавтра, можно потерять целые столетия, не слишком-то продвигаясь вперед. Все это так, но завтра же, может быть, удастся сбросить вместо камня правительство. У нас слишком много хаоса и несообразностей, чтоб удивляться неожиданностям.

Самые невозможные вещи осуществляются у нас с невероятной быстротой; перемены, равные по своему значению революциям, совершаются не замеченные Европой.

Никогда не следует упускать из виду, что у нас каждая перемена — только перемена декораций: стены сделаны из картона, дворцы — из размалеванного холста. То, что видишь на подмостках большого императорского театра, — *не настоящее*, начиная от людей. Этот вельможа — лакей; этот министр, диктатор и деспот — революционер; этот образованный, утонченный господин — калмык по привычкам и нравам. Все заимствовано. Наши чины — чины немецкие, их даже не потрудились перевести на русский язык — Collegien Registrator, Kanzelarist, Actuarius, Executor сохранились и поныне, чтобы поражать слух крестьян и возвеличивать достоинство всевозможных писцов, писарей и прочих конюхов бюрократии.

Мы же, словно подкидыши в воспитательном доме, чувствуем — не зная другого родительского очага, что этот дом — не наш, и страстно желаем его уничтожить.

В этой империи фасадов, где нет ничего подлинного и реального, кроме народа внизу и просвещения наверху, существует лишь два начала, представляющих собой исключение, две разрушительные силы: военная отвага и отвага отрицания. Не забудем, что «дейтельное отрицание — это созидательная сила», как сказал много лет тому назад наш друг Михаил Бакунин *. Нельзя говорить серьезно о консерватизме в России. Даже самое слово это не существовало до освобождения крестьян. Мы можем стоять, не трогаясь с места, подобно святому столп-

нику, или же пятиться назад подобно раку, но мы не можем быть консерваторами, ибо нам нечего хранить. Разностильное здание, без архитектуры, без единства, без корней, без принципов, разнородное и полное противоречий. Гражданский лагерь, военная канцелярия, осадное положение в мирное время, смесь реакции и революции, готовая и продержаться долго и на завтра же превратиться в развалины.

В тот день, когда Петр, византийский царь, сделался императором на германский лад и поселился в Петербурге, царизм утратил всякую консервативную почву. С той поры император изменчив, как Протей: он и женщина и мужчина, Романов и Голштейн. — Цивилизатор с кнутом в руке, с кнутом же в руке преследующий всякое просвещение, охраняющий традиции, ломающий традиции, бреющий бороду своей империи из революционных побуждений и выколачивающий пыль из старой бородатой церкви, чтоб оказать сопротивление революции.

Сегодня — первый *дворянин*, завтра — *первый из народа*; сегодня ему может прийти в голову мысль продолжать безумное царствование Павла I, завтра — объявить себя Пугачевым II. Я всегда восхищался гермафродитическим прилагательным, которое Вольтер употребил, говоря: *Екатерина Великий* — смешение полов, функций, совокупность, поглощение, смесь разнородных элементов.

Дворянство сильно желало бы играть роль консерваторов-тори, но, к счастью, оно пришло к этой мысли на следующий день после утраты сокровища, которое должно было предать консервации. Дворянство не обладает действительной ценностью; своим могуществом оно обязано было царю — царь отнял свой палец, и оно существует только по названию. Здоровая, молодая часть дворянства старается, чтобы позабыли о ее происхождении, забывает о нем сама, ищет работы и сливается с остальным населением. Другая же часть — упрямая, раздраженная — изнуряет себя озлоблением и теряет последние силы, истощившиеся в трех бесплодных оппозициях. В корыстолюбивой оппозиции раскрепощенной общине, в лицемерной и предательской оппозиции бюрократии, под которой она подразумевает правительство, и в ожесточенной, тупоумной, мстительной и злопамятной оппозиции свободной мысли, новым

стремлениям, деятельной и устремившейся в движение молодежи. Ненавидимая народом, подозреваемая правительством и презираемая образованной молодежью, она бродит, изнуренная, постаревшая и озлобленная, и не может утешиться, хотя бы как Калипсо, от разлуки с прекрасным крепостным правом.

То, что мы сейчас сказали о *земельном* дворянстве, мы можем с еще большим основанием сказать о дворянстве *чернильном*. Бюрократия представляет собой только орудие: это гражданский полк, который не рассуждает *под перьями*; она будет продолжать действовать, с *усердием и воровством*, при Павле I, как при Пугачеве II.— Будучи по своему положению врагом крупного дворянства, она сливается с мелким. Это класс, которому нечего хранить, кроме папок и архивов.

Правительство, дворянство и бюрократия сходятся в одном убеждении, которое само по себе менее всего консервативно: они согласны в том, что необходимы *значительные реформы*. Часть дворянства стремится получить парламентское представительство и взять управление под свой контроль. Правительство и бюрократия всегда испытывают желание реформировать государство посредством цивилизующего деспотизма. Они всегда действуют в духе Петра I, Иосифа II: им хочется децентрализовать и дать маленькие свободы, полагая, что это отобьет вкус к большим; они хотят уступить часть управления — лишь бы не тронули пресвятые права неограниченного самодержавия. В течение некоторого времени это могло бы еще продолжаться — при энергичном царе и одаренном министре, если бы оба трудились изо всех сил, чтобы поскорей вырыть себе могилу. Люди же посредственные не годятся для этой задачи — они создадут беспорядочную реакцию, оскорбительный беспорядок, именно то, что производит в настоящее время правительство Зимнего дворца. Дворянская конституция никого не удовлетворила бы, и правительство всегда сумеет раздавить ее, опираясь на отстраненных, на недовольных и на крестьян.

Итак, остается созыв «великого собора», представительства без различия классов, — единственное средство для определения действительных нужд народа и положения, в котором мы находимся. К тому же это и единственное средство выйти без

потрясения, без переворота — террора и ужаса — без потоков крови из длинного предисловия, называемого *петербургским периодом*.

Длящаяся и поныне жестокая реакция не обладает ни единством, ни планом, ни глубиной: у нее в руках сила, наследственная бесцеремонность; она натворит беды — она не остановится ни перед чем, но также ничего и не остановит.

Каково бы ни было *первое Учредительное собрание, первый парламент* — мы получим свободу слова, обсуждения и законную почву под ногами.

С этими данными мы можем двигаться вперед. Дорога трудна — но у какого народа была она усыпана розами? Все препятствия вне нас — внутренне нас ничто не удерживает.

У нас в лагере прогресса не будет ни легитимистов, ни аристократов, ни клерикалов, ни антисоциалистических республиканцев, ни демократов-централизаторов, ни нетерпимых действий, ни царствующих буржуа.

К этому мы будем возвращаться еще неоднократно. Но уже теперь мы имеем право закончить нашу статью-преддверие, сказав, что нет достаточной причины ни для того, чтобы осыпать нас проклятиями — страшась нас, ни вдаваться в скорбь — сожалея о нас. К счастью, мы не так сильны и не так несчастны.

1 декабря 1867.





В. И. КЕЛЬСИЕВ

Одно из замечательных событий прошлого года — это возвращение Кельсиева в Россию. Чуть ли он не первый деятельный русский эмигрант, добровольно возвратившийся и с которым поступлено человечески. Историю его внутренней борьбы, его сомнений, мучений, отчаяний мы знаем. Если он, усталый, без веры и средств, бездомный и одинокий, *одним доверием* к правительству вызвал небывалую льготу, мы не станем его осуждать. Действие правительства относительно его не только хорошо, но умно. Так следовало поступить с несчастным Мартьяновым, замученным и убитым на каторжной работе *.

Положение Кельсиева трудно. У него натура увлекающаяся, он может, как часто бывает с людьми, переходящими от одного крайнего воззрения в другое, уйти слишком далеко, а на той стороне, на которую он склоняется, — *падать мягко и безопасно*. Тут не возьмешь ни умом, ни талантом; тут надобен верный и сильный нравственный такт. Мы уверены, если Кельсиев вышел без угрызения совести из шуваловских любопытств *, — что он найдется в мудреном положении. Мы ему искренно желаем этого и прибавим в виде напутственного совета талейрановское: «*Pas trop de zèle!*» *

Мы еще воротимся к нему в другом месте. Теперь, когда довольно верная биография Кельсиева (в 273 № «Голоса») в руках наших русских читателей * и сам он налицо в Петербурге, невольно спрашиваешь: где же эта черная тульчинская агенция, которая получала через нас деньги лондонского банкира Т., агента Маццини? Где же это «гнездо зажигателей», чуть не фальшивых монетчиков?.. И что подумать о Каткове,

который, обвиняя Кельснева в зажигательстве, сделал «Русский вестник» его органом и печатал его статьи?*

Что это за полицейская проделка?

Катков знал, что ни Кельсиев, ни мы никогда ни в каких пожарах не участвовали, что это нелепость, которой можно было пугать дураков. Партия же *дураков* тогда была в пущей силе. Он лгал сознательно, он клеветал предумышленно. Он мог знать истину по своим глубоким связям с полицией, но это не входило в его интригу. Вот потому-то, что этот человек употреблял такие военные стратагемы, мы и презираем его гораздо больше всех доносчиков III отделения.

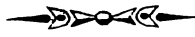
Делать фальшивые обвинения стоит фальшивых бумажек — разница в том, что за последнее идут на каторгу, а за первое доползают до попечительства, до министерского товарищества даже.





**<«ГОЛОС» ПОЛУЧИЛ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ЗА СВОЙ ЛИБЕРАЛИЗМ...>**

«Голос» получил предостережение за свой либерализм в итальянском деле*. Они уже перестают понимать друг друга — до смешного! А впрочем, «свой своему поневоле брат».



REPONSE A L'APPEL DU CENTRE REPUBLICAIN POLONAIS AUX RUSSES

Il y a quelque temps, nous avons reçu du Département polonais de l'Alliance républicaine universelle une invitation fraternelle de former un Département russe dans l'Alliance républicaine européenne.

Voilà ce que nous répondons à cette offre qui nous honore, que nous apprécions pleinement, mais que nous ne pouvons que décliner.

Chers citoyens,

Nous avons reçu votre appel. C'est bien d'avoir pensé à nous. Nous vous remercions et nous voulons vous dire toute notre pensée. Les réticences, les ménagements mutuels, les points indécis, les pensées sous-entendues ne nous vont pas. Les temps sont graves; chaque erreur peut lourdement tomber sur nos têtes.

Vous nous invitez à former, avec nos amis, un *Département russe* au giron de l'Alliance républicaine européenne.

Est-ce comme profession de foi que nous devons le faire, ou pour travailler en commun?

Quant à la profession de foi, nous sommes tout prêts à dire hautement, encore une fois, qui nous sommes. Oui, citoyens, nous sommes républicains et républicains conséquents — c'est-à-dire *Socialistes*. Nous le sommes, nous l'avons été depuis le commencement de notre activité. C'est dans ce sens que nous avons fait toute notre propagande. Il n'y a pas un écrit, pas un acte de notre vie publique qui ne soit conforme à nos principes. Nous avons pu varier sur l'application, sur l'opportunité ou l'intem-

pestivité, sur les formes ou les modes. Nous *n'avons jamais varié sur le fond*. Socialistes avant tout, nous sommes profondément convaincus que le développement social n'est possible qu'avec la plénitude de la liberté républicaine, qu'avec la plénitude de l'égalité démocratique. La République qui ne mènerait pas au socialisme nous paraît absurde; une transition qui se prendrait pour un but, un socialisme qui voudrait se passer de la liberté politique, de l'égalité du droit — dégènerait vite en communisme autoritaire.

Vous voyez donc que, par rapport à la profession de foi, il ne peut y avoir de doute.

Reste la coopération. C'est plus compliqué.

L'Alliance *universelle* est bien vaste — et nous craignons qu'un grand nombre de cadres ne restent vides ou n'aient une existence illusoire.

Prenons la seule partie de l'univers que nous connaissons le mieux. Quel travail républicain peut se faire actuellement en Europe, sinon un travail historique, rétrospectif? L'Europe continentale n'a rien à faire dans une association républicaine — sauf à la dissoudre comme illicite, comme dangereuse à ses tendances prononcées; il n'y a, en Europe, qu'une république qui existe sous l'égide d'un croisement des envies opposées — et qui se fait oublier par son effacement.

Et non seulement il n'y a pas de républiques; mais il n'y a nulle part en Europe de tendances républicaines — viables, constituant une force, une base d'espérance. Deux essais de républiques s'arrêtèrent au seuil du socialisme et rebroussèrent chemin. Depuis, les peuples ont d'autres préoccupations, qui les éloignent de tout ce qui est républicain — comme liberté de conscience, autonomie locale, fédéralisme, inviolabilité de l'individu. — Ce ne sont là que des anachronismes pour l'Europe, des réminiscences. Et, certes, dans un avenir *commensurable* — l'idée républicaine n'a aucune chance dans le vieux monde.

S'il y a un pays possédant quelques éléments républicains en Europe, c'est l'Angleterre. Et, convenez-en, c'est à elle qu'on pense le moins. L'Italie peut y être jetée par le joug étranger; mais cette fois il est soutenu par une armée bien plus dangereuse que l'armée autrichienne, et qui aurait bientôt raison des aspira-

tions républicaines. Une grande nation monarchique et militaire comme la France, ne pourra jamais souffrir une république à ses frontières — qui ne soit pas Suisse.

Quant aux républicains — il y en a partout; il y en a toujours eu depuis Athènes et Rome. Forts de leur foi, ils espèrent, comme les Israélites, reconstruire leur temple. Grands par la vérité de leur idéal, ils nous réconcilient avec les temps durs que nous passons, consolent les âmes en deuil et...passent sans influence sur la marche des choses, même s'ils prennent une part active dans les événements. Ce n'est pas dans un sens républicain que se développe, par la pression des circonstances, le résultat de leur participation. Le plus grand républicain de notre temps se proposait une république à Rome— et a créé une vice-royauté à Florence.

Les républicains en Europe me l'ont involontairement penser à leurs amis, à ces généreux *apôtres de la paix*, qui prêchent contre le fléau sanguinaire de la guerre, le lendemain d'une bataille et la veille de deux. C'est beau comme cri de conscience, comme protestation — mais ne cherchons pas de résultat pratique. Le problème théorique de la paix a été résolu depuis des siècles; il n'y a pas matière d'investigation et d'enquête;— ce qui manque, c'est la puissance de la réalisation, c'est la possibilité de l'application.

Hors du petit groupe de nos «Saints», comme Cromwell appelait ses républicains d'alors, regardez d'un bout à l'autre de l'Europe, de l'Irlande jusqu'à Cadix,— il n'y a pas un seul élément républicain qui ait de l'avenir. Reculant devant le socialisme, on est entré dans une tout autre voie et on a perdu la trace de la *Via sacra* de 1789. La France, revenant à sa nature militaire, il était de toute nécessité que tous les autres États de l'Europe devinssent aussi militaires. L'Allemagne s'est fondue en une caserne. De nécessité on a fait vertu. On aime le pouvoir fort, on adore la gloire, on aime l'Etat menaçant, on admire les splendeurs royales, les revues militaires — et on a une aversion prononcée de la simplicité démocratique, de l'austérité républicaine. Le sens politique s'est changé en un sens national. Le patriotisme borné et exclusif — c'est la seule passion politique qui ne se soit pas éteinte.

Rien ne réussit en histoire que ce qui va avec le courant et, chemin faisant, s'en empare. Or, le courant militaire et despotique de l'Europe domine; il l'entraîne vers les agglomérations de races, vers l'absorption monarchique. Pour atteindre ce but, tout est sacrifié: le bien-être du peuple, les droits acquis, les libertés auxquelles on tenait. L'individu, pour l'autonomie souveraine duquel ont travaillé les révolutions, se fond et disparaît dans ces empires d'alluvions, entourés de baïonnettes. Donc la route est toute tracée.

Ce n'est pas contre le principe républicain que nous parlons. L'intelligence, la vérité, la moralité — sont évidemment du côté des républicains et des missionnaires de la paix. Mais ni la vérité, ni la moralité, encore moins l'intelligence, ne sont obligatoires et ne peuvent s'imposer par la violence; elles n'ont pas de titre à une acceptation forcée, à une prise de possession contre le gré des nations.

Nous avons construit et reconstruit la société humaine, nous avons voulu la recréer d'après la raison, à *priori*; c'était nécessaire comme émancipation du droit divin, de l'autorité transmondaine, imposant l'obéissance *d'en haut*. Une fois la souveraineté transportée du ciel dans la raison humaine, — il est de toute nécessité d'examiner plus attentivement ce que l'on veut *en bas*. Il y a un suffrage universel que l'on ne peut ni récuser ni falsifier. Il vote par les événements; son protocole, c'est l'histoire. Eh bien, ce vote est contraire aux républicains en Europe. Vote d'ignorance, vote de corruption, de décadence — nous admettons tout cela — mais toujours *vote contre nous*.

On tâche, non de s'émanciper, mais de s'agrandir, de s'emparer des frontières ethnographiques, de se souder, de s'armer, de s'affirmer comme force — envers le voisin, c'est-à-dire *l'ennemi*. La fraternité se réalise d'une manière étrange, On ne désarme pas Caïn massacrant, mais on donne une massue à Abel massacré, de manière qu'il y aura toujours deux Caïns en face; et, à dire vrai, ce n'est pas un désavantage pour le pauvre Abel.

Tout le monde vit sur le qui-vive, tout le monde se met en état de défense; ce fait est trop général pour qu'il n'ait pas une cause générale. Il est évident qu'il y a danger permanent, qu'on s'attend à être attaqué, et on sacrifie tout pour se trouver en mesure.

— Est-ce par crainte de la République future?

— Vous ne le pensez pas.

— Est-ce sérieusement par crainte de la Russie?

Nous ne le croyons pas. La Russie n'est puissante que lorsqu'elle se défend. Comment peut-elle menacer toute l'Europe?

C'est donc par crainte mutuelle qu'on s'arme?

Peut-être; mais avant tout par une nécessité impérieuse. On s'arme devant une armée — qui est toute prête à fondre, avec sa bravoure historique, avec son obéissance aveugle — sur chaque peuple qui se meut, sur chaque armée qui s'ébranle.

C'est en vue de la France armée que l'Allemagne se changea en colonie militaire, de colonie philosophique qu'elle était. Entre ces deux armées, nous ne voyons pas de place pour une république. On ne délibère pas sous les armes.

Or, pour que cette tension militaire aboutisse au profit du progrès et de la liberté, il faut prêcher la guerre et non la paix. Nous l'eussions fait, si nous avions votre foi.

Nous ne l'avons pas — et nous pensons que la République, le Socialisme sont de grands rêves... saints, transcendants, rêvés par une minorité prenant le devant, et léguant, abandonné des siens, son idéal à ceux qui viendront après elle.

La République se réalise au delà de l'Océan.

Les éléments socialistes, longtemps méconnus, enfouis, foulés aux pieds dans le monde slave, fermentent en Russie.

L'Amérique, forte, rude, puissante, persistante, énergique, sans ruines d'un passé qui encombreraient la route du présent, l'Amérique *fara da se*. — Laissons-la aux Américains.

Le monde slave commence à sortir du brouillard; on ne voit que quelques points lumineux, quelques contours à peine marqués; tout est informe ou faible, hors les possibilités, les aptitudes. La récolte peut être grande, mais elle n'est pas garantie par la germination; il faut soigner la poussée si l'on veut moissonner.

Laissons donc les vénérables vieux à leur vénérable vieillesse, les forts à leur force, et, Slaves nous-mêmes — consacrons nos efforts et nos labeurs aux germes de nos champs.

Florence, 29 novembre 1867.

ОТВЕТ НА ПРИЗЫВ К РУССКИМ ПОЛЬСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА

Некоторое время тому назад мы получили от Польского отдела Всемирного республиканского союза братское приглашение — образовать Русский отдел в составе Европейского республиканского союза.

Вот что отвечаем мы на это почетное для нас предложение, которое мы полностью оценили, но не можем не отклонить.

Дорогие граждане!

Мы получили ваш призыв. Как хорошо, что вы о нас подумали. Приносим вам свою благодарность и хотим откровенно высказать вам всю свою мысль. Умолчания, взаимная осторожность, неразъясненные вопросы, невысказанные мысли нам не к лицу. Время теперь серьезное; каждая ошибка может тяжело пасть на наши же головы.

Вы предлагаете нам образовать, совместно с нашими друзьями, *Русский отдел* внутри Европейского республиканского союза.

Должны ли мы это сделать как провозглашение своего символа веры или же во имя совместной работы?

Что касается нашего символа веры, то мы вполне готовы еще раз громко заявить, кто мы такие. Да, граждане, мы республиканцы, и республиканцы последовательные, т. е. *социалисты*. Мы социалисты, мы были ими с самого начала нашей деятельности. Именно в этом духе и вели мы всю свою пропаганду. Нет ни одной статьи, ни одного поступка в нашей общественной жизни, которые не отвечали бы нашим принципам. Мы могли варьировать их применение к делу, определять их своевременность или несвоевременность, изменять формы или средства. *Основ же мы никогда не меняли*. Социалисты прежде всего, мы глубоко убеждены, что общественное развитие возможно только при полной республиканской свободе, только при полном демократическом равенстве. Республика, не ведущая к социализму, кажется нам абсурдной; промежуточная ступень,

которая принимала бы себя за цель, социализм, который пытался бы обойтись без политической свободы, без равенства в правах, быстро выродился бы в авторитарный коммунизм.

Вы видите, таким образом, что наш символ веры не оставляет места для сомнения.

Теперь о сотрудничестве. Это более сложно.

Всемирный союз чрезвычайно обширен — и мы опасаемся, как бы не оказались незанятыми или же обреченными на призрачное существование многие из его отделений.

Возьмем ту единственную часть мира, которая нам лучше всего знакома. Какого рода республиканская деятельность может иметь место сейчас в Европе, если не историческая, ретроспективная деятельность? Континентальной Европе нечего делать в республиканской ассоциации — разве только распустить как недозволенную, как представляющую опасность для ее ярко выраженных тенденций*; в Европе есть лишь одна республика*, которая существует благодаря столкновению противоположных интересов и заставляет забывать о себе вследствие своего старания казаться незаметной.

И не только нет республик, но нигде в Европе нет и республиканских тенденций — жизнеспособных, представляющих собой силу, основание для надежды. Две попытки создания республики остановились на пороге социализма и воротились вспять*. С той поры у народов появились иные заботы, отдаляющие их от всего республиканского, например, от свободы совести, местной автономии, федерализма, неприкосновенности личности.— Для Европы это только анахронизмы, воспоминания. И, конечно, в *обозримом* будущем республиканская идея не имеет никакой надежды на успех в старом свете.

Если и есть в Европе страна, обладающая кое-какими республиканскими началами, то это Англия. И согласитесь — именно о ней-то меньше всего и думают. Италию может толкнуть на республиканский путь иностранное иго; однако на сей раз иго это поддерживает армия, гораздо более опасная, чем австрийская*, — армия, которая вскоре же уразумеет смысл республиканских стремлений. Такая огромная монархическая и военная нация, как Франция, никогда не потерпит

близ своих границ республики, которая не являлась бы Швейцарией.

Что касается республиканцев — то они встречаются повсюду; они встречались всегда со времен Афин и Рима. Сильные своей верой, они надеются, как израильтяне, восстановить свой храм. Великие правдой своего идеала, они примиряют нас с жестоким временем, переживаемым нами, утешают души, проникнутые скорбью и... исчезают без влияния на ход вещей даже и в том случае, если они принимают активное участие в событиях. Результат их деятельности, под давлением обстоятельств, получает совсем не республиканское направление. Самый великий республиканец нашего времени собирался создать республику в Риме — а создал вице-королевство во Флоренции*.

Республиканцы в Европе невольно наводят меня на мысль об их друзьях, об этих благородных *апостолах мира*, проповедующих против кровавого бича войны на следующий день после одного сражения и накануне двух других*. Это прекрасно как крик совести, как протест — но не ищите здесь практического результата. Теоретически проблема мира была решена столетия тому назад; нет недостатка в изысканиях и расследованиях; недостает лишь силы для воплощения, возможности для применения.

За исключением маленькой кучки наших «святых», как называл Кромвель республиканцев своего времени, вы, рассмотрев Европу вдоль и поперек, от Ирландии до Кадикса, не найдете ни одного республиканского элемента, которому принадлежало бы будущее. Отступая перед социализмом, они встали на совсем иной путь и потеряли след *Via sacra*¹ 1789 года. Поскольку Франция вернулась к своей воинственной природе, то и все остальные государства Европы неизбежно стали воинственными. Германия превратилась в казарму. Из необходимости сделали добродетель. Преисполнились любовью к сильной власти, боготворят славу, души не чают в угрожающем государстве, восхищаются королевским блеском, военными парадом — и испытывают откровенное отвращение к демократиче-

¹ Священного пути (лат.). — *Ред.*

ской простоте, к республиканской строгости. Политическое направление превратилось в национальное направление. Ограниченный и исключительный патриотизм — единственная политическая страсть, которая не угасла.

В истории удается только то, что движется по течению и попутно овладевает им. А в Европе главенствует военное и деспотическое течение; оно увлекает ее к агломерациям народностей, к монархическому поглощению. Для достижения этой цели пожертвовали всем: благополучием народа, приобретенными правами, свободами, которыми прежде дорожили. Личность, во имя суверенных прав которой совершались революции, растворяется и исчезает в этих напосных империях, окруженных штыками. Итак, путь полностью обозначен.

Мы выступаем не против республиканского принципа. Разум, истина, нравственность явно находятся на стороне республиканцев и миссионеров мира. Но ни истина, ни нравственность, ни тем более разум не являются обязательными и не могут навязываться силой; у них нет права на насильственное признание, на вступление во владение против воли народов.

Мы построили и перестроили человеческое общество, мы хотели воссоздать его в соответствии с разумом, *априорно*; это было необходимо как освобождение от божественного права, от потусторонней власти, навязывающей послушание *сверху*. Как только владычество было перенесено с неба в человеческий разум — явилась прямая необходимость исследовать более внимательно то, чего хотят *внизу*. Существует такая всеобщая подача голосов, которую нельзя ни отвергнуть, ни подделывать. Она вотирует событиями; ее протокол — история. А этот вотум — против республиканцев в Европе. Вотум невежества, вотум продажности, упадка — допустим всё это, — но все же *вотум против нас*.

Делаются попытки не освободиться, а раздаться вширь, завладеть этнографическими границами, слиться, вооружиться, утвердиться в качестве силы — против соседа, т. е. *врага*. Братство осуществляется поразительным образом. Не разоружают Каина избивающего, а вручают дубину Авелю избиваемому — так что друг против друга всегда будут стоять два

Каина; и, по правде говоря, это небезвыгодно для бедного Авеля.

Все живут настороже, все находятся в состоянии самообороны; факт этот имеет слишком общее значение, чтобы не иметь общей причины. Ясно, что существует постоянная опасность, поскольку ждут нападения и всё приносят в жертву, чтобы быть в полной готовности.

— Из страха ли это перед будущей республикой?

— Этого вы не думаете.

— Действительно ли из страха перед Россией?

Этого мы не думаем. Россия только тогда сильна, когда она защищается. Как может она угрожать всей Европе?

Значит, вооружаются вследствие взаимного страха?

Быть может; но прежде всего вследствие повелительной необходимости. Вооружаются перед лицом армии, которая уже готова ринуться, исполненная исторической доблести, со слепым повиновением, на каждый народ, приходящий в движение, на каждую армию, охваченную замешательством.

Именно перед лицом вооруженной Франции Германия из философского лагеря, каким она была ранее, превратилась в военный лагерь. Между этими обеими армиями мы не видим места для республики. На военной службе не рассуждают.

Итак, чтобы это военное напряжение разрешилось в пользу прогресса и свободы, надобно проповедовать войну, а не мир. Мы бы сделали это, если бы обладали вашей верой.

У нас этой веры нет — и мы думаем, что Республика, Социализм — это... великие, святые, возвышенные грезы идущего впереди меньшинства, покинутого единомышленниками и завещающего свой идеал *тем, кто явится после него*.

Республика *осуществляется* по ту сторону Атлантического океана.

Социалистические начала в течение долгого времени не узнаваемые, скрытые, погребенные в славянском мире, находятся в России в состоянии брожения.


Америка, сильная, грубая, могучая, настойчивая, энергичная, без руин прошлого, которые загромождали бы дорогу настоящему, — Америка *fara da se**. — Предоставим ее американцам.

Славянский мир начинает проступать из тумана; видно лишь несколько светящихся точек, несколько едва обозначающихся очертаний; все бесформенно или тщедушно, за исключением возможностей, способностей. Урожай, быть может, будет велик, но прорастание не обеспечивает его; надобно позаботиться о всходах, если хочешь собрать урожай.

Предоставим же почтенных старцев их почтенной старости, сильных — их силе и, будучи славянами, посвятим свои усилия и труды всходам собственных полей.

Флоренция, 29 ноября 1867.





LA LOI GENERALE ET LE GENERAL POTAPOFF

Le général Potapoff, très connu en Russie comme policier sous deux espèces: comme maître de la police officielle à Moscou et chef de la police secrète à Pétersbourg — a été nommé, pour récompense de ses services occultes et manifestes, — Hetman des Cosaques du Don. Il a inauguré dans le pays une méthode, parfaite et très franche, de protéger en même temps la liberté des élections et les intérêts du gouvernement. Il a notifié aux Cosaques, réunis pour élire leur chef — qu'il leur faciliterait d'une manière extraordinaire le choix des candidats. Après cette introduction, il tira de sa poche une liste toute faite, et ajouta que le ministre de l'Intérieur l'avait déjà approuvée... On peut s'imaginer avec quel sentiment de reconnaissance les braves Cosaques ont reçu cette nouvelle marque de la sollicitude maternelle du gouvernement. Le ministre grand-électeur s'appelle *Valouieff*.

ПЕРЕВОД

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН И ГЕНЕРАЛ ПОТАПОВ

Генерал Потапов, широко известный в России как полицейский чиновник двоякого рода: начальник официальной полиции в Москве и глава тайной полиции в Петербурге, — был назначен, в награду за свои тайные и явные услуги, гетманом донских казаков*. Он ввел в этом крае превосходную и весьма откровенную методу покровительства свободе выборов и выгодам правительства в одно и то же время. Он объявил казакам, собравшимся для избрания начальника, что он чрезвычайным

образом облегчит им выбор кандидатов. После этого вступления он вытащил из кармана совсем готовый список и присовокупил, что министр внутренних дел уже одобрил его...* Можно себе представить, с каким признательным чувством славные казаки приняли это новое доказательство материнской заботливости правительства. Фамилия этого министра — верховного избирателя — *Валуев*.



SOMMES-NOUS POUR LA GUERRE?

«L'Allemand et le Français savent que chacun d'eux désire la paix; les voisins de la Russie peuvent-ils en dire autant des Russes?»— demande M. Gustave Vogt dans une des feuilles des *Etats-Unis de l'Europe*, et continue: «A en juger par Haxthausen, on a bien le droit d'attendre d'eux que le premier usage qu'ils feraient de leur liberté, si on leur enlevait le tzar, serait de le rétablir sur le trône et de le revêtir de son ancien pouvoir absolu».

Nous avouons que la question n'est pas tout à fait claire pour nous.— Sur quoi doivent donc répondre les voisins de la Russie? Sur le mal chronique du tzarisme ou sur les passions belliqueuses du peuple russe? Dans l'embarras du choix, nous tâcherons de répondre aux deux questions posées à nos voisins.

Le baron westphalien était ultramontain et ultramonarchique; il trouvait le défunt roi de Prusse trop libéral et était *touché* de l'autocratie de Nicolas. Cela explique très bien de quel côté devait pencher, dans le cas donné, sa balance si juste, si admirable lorsqu'il s'agissait des questions agraires et communales. Pourtant, il l'a dit non comme prophète, mais comme un homme qui faisait une induction historique. Les annales de l'Occident ne lui donnaient pas d'autres exemples. Ici un Stuart incapable, déloyal, traître à sa parole, traître à sa patrie, venait triomphalement remplacer le grand homme. Là, on décapitait un roi pour couronner un empereur. N'a-t-il pas vu, *la veille* de la chute de Napoléon, Paris acclamer Louis XVIII, et Louis-Philippe, roi citoyen, prendre le lit tout chaud du roi chasseur et chassé? N'a-t-il pas vu enfin, après 1848, cette fièvre ardente de soumission, d'obéissance, cette abdication passionnée de tous

s droits, de toutes les libertés, pourvu que l'on ait un pouvoir fort, illimité.

Il n'y a donc rien d'étonnant que le peuple russe, moins développé politiquement, soit aussi maniaque du tzarisme que les autres peuples de l'Europe, à l'exception de la Suisse.

La cause de ce désir d'une tutelle, d'un maître, a sa raison d'être assez compliquée. D'un côté, les masses prolétaires ne tiennent pas à des formes gouvernementales qui ne leur donnent rien pour alléger leurs maux. De l'autre, les gens aisés ne tiennent pas à la liberté, croyant leur *Avoir* menacé, et cherchant dans un pouvoir absolu le protecteur de leurs intérêts.

La révolution anglaise donna immensément de nourriture spirituelle, la plus grande liberté de prêcher. Quant à la nourriture matérielle, elle ne s'en soucia pas.

La révolution française commença par la proclamation solennelle des droits de l'homme, et finit par le cri lugubre de Prairial: «Du pain! du pain!» Lorsque le peuple a vu qu'il ne l'aurait pas de la Convention, le trône était rétabli.

Or, voilà notre pauvre avantage de retardataires, avantage prosaïque, presque culinaire. Notre révolution commence *par le pain*, par l'impossibilité d'un prolétariat. Une fois notre pain (la terre) mis à l'abri de toute éventualité, nous passerons aux autres questions.

Quant à la guerre, nous sommes sûrs que le peuple russe n'y pense pas, et qu'il ne désire que la paix et le travail. Il est plus que probable que son désir restera stérile, comme le désir du Français et de l'Allemand, cité par l'auteur. La guerre en Europe sera le signal d'une guerre en Orient. La question de l'Orient, cette longue, interminable grossesse sans accouchement, sera enfin résolue de manière ou d'autre.

Dans ce dernier acte de *l'Ours et le Pacha*, nous autres nous resterons spectateurs, mais nous n'embrasserons nullement la cause de l'islamisme. Quel intérêt sérieux peut nous pousser à soutenir cet anachronisme oriental en Europe? Un Etat qui se repose sur des contre-forces et soutiens venant du dehors, n'a pas de vitalité. Les trônes entretenus, comme les femmes dans

la même position, n'ont pas de véritable stabilité sociale, et leur avenir est très problématique. Pape ou sultan, cela ne change rien à la chose... Ils ont toujours à craindre quelque hospice pour leur dernier refuge.

ПЕРЕВОД

ЗА ВОЙНУ' ЛИ МЫ?

«Немец и француз знают, что каждый из них хочет мира; могут ли то же самое сказать о русских их соседи?» — вопрошает г. Густав Фогт в одном из номеров «Etats-Unis de l'Europe» и продолжает: «Если судить об этом по Гакстаузену, то можно от них с полным правом ожидать, что первое употребление, которое они сделают из своей свободы, если их избавят от царя, будет заключаться в том, что они восстановят его на престоле и облечат его прежней самодержавной властью».

Сознаемся, что вопрос для нас не совсем ясен.— О чем же должны сказать в своем ответе соседи России? О хроническом бедствии царизма или же о воинственных наклонностях русского народа? Чтобы выйти из этого затруднения, мы попытаемся ответить на оба вопроса, поставленных нашим соседям.

Вестфальский барон был ультрамонтаном и ультрамонархистом *; он находил покойного прусского короля чересчур либеральным * и был *тронут* самовластием Николая. Это очень хорошо объясняет, в какую сторону должны были в данном случае склониться его весы, столь точные, столь превосходные, когда дело касалось земельных и общинных вопросов. Однако он об этом сказал не как пророк, а как человек, делающий историческое заключение. Летописи Запада не представляли ему иных примеров. Здесь бездарный, вероломный Стюарт, изменявший своему слову, изменявший своей родине, торжественно появляется, чтобы занять место великого человека *. Там обезглавливают короля, чтобы короновать императора *. Не видел ли он, накануне падения Наполеона, как Париж радостно приветствует Людовика XVIII и как Луи-Филипп, король-

гражданин, ложится в совсем еще теплую постель изгнанного короля-охотника? * Не видел ли он, наконец, после 1848 года, эту горячку покорности, послушания, это страстное отречение от всех прав, от всех свобод — во имя установления сильной, неограниченной власти?

Поэтому нет ничего удивительного в том, что русский народ, менее развитый в политическом отношении, является таким же маньяком царизма, как и другие европейские народы, исключая Швейцарии.

Причина этой потребности в опеке, в господине довольно сложна. С одной стороны, пролетарские массы не придают большого значения правительственным формам, ничем не облегчающим их бедственного положения. С другой стороны, люди обеспеченные не особенно держатся за свободу, опасаясь, что она угрожает их *Имуществу*, и видя в самодержавной власти покровителя своих интересов.

Английская революция дала неизмеримо много духовной пищи, наибольшую свободу для проповеди. Что же касается материальной пищи, то о ней она заботы не проявила.

Французская революция началась с торжественного провозглашения прав человека, а закончилась зловещим криком прериала: «Хлеба! Хлеба!» * Когда народ увидел, что он не получит хлеба от Конвента, трон был восстановлен.

И вот в чем заключается наше убогое преимущество запоздавших, преимущество прозаичное, почти кулинарное. Наша революция начинается с хлеба, с невозможности появления пролетариата. Как только наш хлеб (земля) будет защищен от всякой случайности, мы перейдем к другим вопросам.

Что касается войны, то мы уверены в том, что русский народ о ней не помышляет и что он желает лишь мира и труда. Более чем вероятно, что его желание останется столь же бесплодным, как и желание француза и немца, отмеченное автором. Война в Европе явится сигналом для войны на Востоке. Восточный вопрос, эта продолжительная, нескончаемая беременность без родов, будет, наконец, тем или иным путем разрешен.

В этом последнем акте «Медведя и паши» * мы останемся зрителями, но несколько не проникнемся интересами исламизма. Какая серьезная выгода может побудить нас к

поддержке этого восточного анахронизма в Европе? Государство, которое держится на конترفорах и на поддержке извне, лишено жизнеспособности. Троны, находящиеся на содержании, как и женщины в том же положении, не имеют настоящей социальной устойчивости, и будущее их весьма проблематично. Папа ли, султан ли — это ничего, в сущности, не меняет... Им всегда следует опасаться, что какая-нибудь богадельня станет их последним пристанищем.



LES FEUILLES DE VIGNE DU *NORD*
ET LES BRANCHES DE BOULEAU
DE L'ADMINISTRATION RUSSE

Les paysans d'un village appartenant à un certain baron Medem, refusèrent comme illégale une partie du travail exigé par l'intendant. Les injonctions de l'autorité locale ne les firent pas changer d'opinion. De là, répression *militaire* et un procès dans lequel on a enveloppé *cinquante quatre* paysans sous l'inculpation *de révolte*. Le procureur concluait aux travaux forcés et à la Sibérie. Mais grâce aux défenseurs des paysans, prince Ouroussoff (avocat célèbre de Moscou) et Soloviouff, le jury *acquitta* tout le monde (sauf un seul qui a été condamné à 10 roub<les> d'amende). Le *Nord* du 15 janvier, après avoir raconté toute l'histoire, termine par une scène sentimentale et touchante: «Les paysans agenouillés, chantant, les larmes aux yeux, un *Te Deum* pour le tzar libérateur», etc., etc. Tout cela est très beau, mais le *Nord* a, par un sentiment très compréhensible de pudeur, *omis* un petit détail caractéristique que nos journaux russes, moins pudiques, ont imprimé en toutes lettres (*Ex. gr.*, le *Golos*, N° 355): «*Le gouverneur de Riazan* (sur le refus des paysans d'obtempérer aux ordres de la police) *introduisit lui-même les troupes dans le village et commença l'exécution...*» — *Exécution* veut dire dans la langue de la jurisprudence de Pétersbourg, *faire passer par les verges* tous les récalcitrants, et c'est tellement vrai, que le correspondant du *Golos* continue: «*Passés par les verges* (сеченные), les paysans ne tinrent plus», etc.

Or, dans un procès, qui a été terminé par l'*acquiescement* des accusés, il y avait eu antérieurement à toute enquête une punition féroce et arbitraire, ordonnée par un gouverneur civil

et exécutée par l'autorité militaire. Dans ce fait, tout est ignoble, infâme, jusqu'au rôle qu'on inflige aux soldats-rosseurs.

Et dire que les punitions corporelles sont abolies, qu'il faut nécessairement être *innocent* ou non-condamné pour avoir le droit de subir une correction policière par des branches de bouleau.

Mais aussi est-ce que nous ne voyons pas des hommes fusillés d'un bout de la Russie jusqu'à l'autre? Des hommes qui n'ont rien de militaire, condamnés à cette peine *par des conseils de guerre*, comme si chaque scélérat devenait *eo ipso* militaire. Et pourquoi? — C'est que le tribunal ordinaire ne peut condamner à mort.

Pauvre malheureux peuple! — Et il remercie encore «des larmes aux yeux» pour l'acquittement.

P. S. Nous prions nos confrères de reproduire cet article. Nos sauvages ont une sainte frayeur de paraître sans masque devant l'opinion publique en Europe.

П Е Р Е В О Д

ФИГОВЫЕ ЛИСТКИ «LE NORD» И БЕРЕЗОВЫЕ ПРУТЬЯ РУССКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Крестьяне одной деревни, принадлежащей некоему барону Медему, отказались выполнять — как незаконную — часть работы, которую требовал от них управляющий. Предписания местных властей не заставили их изменить свое решение. В результате — *военные* репрессии и судебное дело, в котором оказались замешанными *пятьдесят четыре* крестьянина, обвиненных *в бунте*. Прокурор высказался за каторжные работы и за Сибирь. Но благодаря защитникам крестьян, князю Урусову (знаменитому московскому адвокату) и Соловьеву, суд присяжных *оправдал* всех (кроме одного, приговоренного к 10 руб⟨лям⟩ штрафа). «Le Nord» от 15 января, рассказав всю эту историю, заканчивает сентиментальной и трогательной сценкой: «Крестьяне, коленопреклоненные, поют, со слезами на

глазах: „Тебя, бога, хвалим“ за царя-освободителя» и проч., и проч. Все это прекрасно, но «Le Nord», из вполне понятного чувства целомудрия, *опустил* характерную маленькую подробность, которую наши русские газеты, менее целомудренные, напечатали без сокращений (Ех. гр., «Голос», № 355): «*Рязанский губернатор* (вследствие отказа крестьян выполнять приказания полиции) *сам ввел войска в деревню и начал экзекуцию...*» — *Экзекуция* на языке петербургской юриспруденции значит *порка розгами* всех непокорившихся, и это настолько верно, что корреспондент «Голоса» продолжает: «*Сеченные* крестьяне не сопротивлялись более» и проч.

Итак, еще до суда, который закончился *оправданием* обвиняемых, еще до всякого следствия было наложено жестоко и самоуправное наказание, предписанное гражданским губернатором и произведенное военными властями. В этом факте все гнусно, отвратительно — вплоть до роли, навязываемой солдатам, которые секут крестьян.

И говорить после этого, что телесные наказания отменены, что непременно нужно быть *невинным* или неосужденным, чтоб иметь право подвергнуться полицейскому наказанию безрезовыми прутьями:

Но разве мы не видим также, как расстреливают людей во всех концах России? Людей, в которых нет ничего военного, приговоренных к этому наказанию *военными советами*, словно каждый злодей стал *eo ipso*¹ военным. И почему же? — Потому что обыкновенный суд не может приговорить к смерти.

Бедный, несчастный народ! — И он еще благодарит «со слезами на глазах» за оправдание.

P. S. Мы просим наших собратьев перепечатать эту статью. Наши дикари испытывают священный ужас при мысли о появлении без маски перед общественным мнением в Европе.

¹ тем самым (лат.).— *Ред.*



«ПРИМЕЧАНИЕ К ФРАНЦУЗСКОМУ ПЕРЕВОДУ
«ДОКТОРА КРУПОВА»»

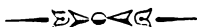
Il y a quelques mois, j'ai lu dans une réunion d'amis, à Florence, la traduction de mon *Docteur S. Kroupoff*. Cette plaisanterie, qui a eu quelque succès en Russie, a été très amicalement accueillie, et de tous côtés on m'en demande la réimpression.

Cela m'a décidé à reproduire, après avoir fait quelques corrections indispensables, l'excellente traduction de M. Axenfeld, qui a paru dans la *Revue Française*, il y a dix ans.

П Е Р Е В О Д

Несколько месяцев тому назад я прочел в дружеском кругу, во Флоренции, перевод моего «Доктора С. Крупова». Шутка эта, имевшая некоторый успех в России, была весьма благожелательно принята, и со всех сторон меня просят ее перепечатать.

Это заставило меня решиться переиздать, сделав несколько необходимых исправлений, превосходный перевод г. Аксенфельда, появившийся в «*Revue Française*» десять лет тому назад.





〈VERS LA FIN DE L'ANNEE 1867...〉

Vers la fin de l'année 1867, il est arrivé un cas assez extraordinaire à l'Université de Moscou. M. Tchitchérine, professeur de droit, devait quitter l'Université et prononcer son discours d'adieu le 20 décembre. Esprit éminemment conservateur, certes il a fallu une réaction insupportable pour que M. Tchitchérine se soit décidé à quitter l'Université et à renoncer à sa vocation. Mais le recteur de l'Université, M. Barscheff, fit, pour deux jours, la clôture de l'Université la veille de la dernière leçon d'adieu de M. Tchitchérine, en disant tout simplement que c'était pour que cette leçon n'eût pas lieu. Le professeur paraissait trop libéral à ce recteur, plus royaliste que le roi.

ПЕРЕВОД

〈В КОНЦЕ 1867 ГОДА...〉

В конце 1867 года в Московском университете произошел довольно необычный случай. Г-н Чичерин, профессор права, вынужден был покинуть университет и 20 декабря произнести свою прощальную речь. Будучи человеком весьма консервативных взглядов, г. Чичерин мог решиться покинуть университет и отказаться от своего призвания, конечно, только вследствие самой невыносимой реакции. Однако ректор университета г. Баршев приказал закрыть на два дня университет накануне последней прощальной лекции г. Чичерина, просто-напросто заявив, что сделал это для того, чтобы лекция не состоялась. Профессор показался слишком либеральным ректору, большому роялисту, чем сам король.



⟨NOUS LISONS AUSSI DANS LA *GAZETTE*
DE LA BOURSE...⟩


Nous lisons aussi dans la *Gazette de la Bourse* une opinion assez extraordinaire sur la *rapidité*. On y écrit de Kiev que la vente des propriétés foncières *avance d'une manière rapide*. — «Hier, — y est-il dit, — un Allemand, ou plutôt un Juif, a fait à un propriétaire des propositions d'acheter un terrain pour y planter des choux; *mais le marché n'a pas été conclu*».

П Е Р Е В О Д

⟨В «БИРЖЕВЫХ ВЕДОМОСТЯХ» МЫ ЧИТАЕМ
ТАКЖЕ...⟩

В «Биржевых ведомостях» мы читаем также весьма своеобразное высказывание о *быстроте*. Там пишут из Киева, что продажа имений *подвигается быстро*. «Вчера, — говорится там, — какой-то немец, или, вернее, еврей, торговал у одного помещика землю под капусту; *торг, однако, не состоялся*».





⟨L'EMPEREUR A FAIT CADEAU DE DIVERSES
PROPRIETES FONCIERES...⟩

L'empereur a fait cadeau de diverses propriétés foncières, dans le royaume de Pologne, à des généraux russes, tant de race russe que de race allemande. Sans parler d'illégalité de la chose, de l'absence de tout droit, nous aurions bien voulu savoir le but. Est-ce encore la russification de la Pologne? Mais tous ces généraux de race russe et allemande jouiront du revenu sans jamais quitter Saint-Pétersbourg. Donc, c'est un moyen de russification impossible, et le but est manqué. Il n'y a que l'injustice de faire cadeau de ce qui ne nous appartient pas qui soit atteinte. Nous pensons que tout ce que le gouvernement a droit de faire, c'est d'accorder le droit de possession des terres inoccupées au *peuple polonais*, qui en manque, aussi bien que de lui accorder le droit d'acheter les terres confisquées ou mises en vente publique.

П Е Р Е В О Д

⟨ИМПЕРАТОР ПОДАРИЛ НЕСКОЛЬКО ИМЕНИЙ...⟩

Император подарил несколько имений в Царстве Польском русским генералам как русского, так и немецкого происхождения. Не говоря уж о незаконности такого поступка, об отсутствии всякого права, мы хотели б узнать, в чем его цель. По-прежнему ли в русификации Польши? Но ведь все эти генералы русского и немецкого происхождения будут пользоваться доходами, никогда не выезжая из Санкт-Петербурга. Значит, это средство не годится для русификации, и цель не достигнута.

Налицо только беззаконие — дарить то, что нам не принадлежит. По нашему мнению, единственное, что имеет право сделать правительство, — это предоставить право владения незанятыми землями *польскому народу*, которому не хватает земли, а также предоставить ему право покупать земли, конфискованные или продающиеся с публичного торга.





APHORISMATA

ПО ПОВОДУ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ Д-РА КРУПОВА

Сочинение Профессора
и Адъюнкт-Профессора Тита Левиафанского

Милостивый Государь и Господин Редактор (имени и отчества, извините, не знаю).

В заграничной периодике, издаваемой вами, я с удовольствием прочитал введение в Психиатрию добрейшего наставника и товарища моего д-ра Крупова*. Я Семена Ивановича знал лично, любил, уважал и, могу сказать, отдал ему последний дружеский долг, т. е. вскрыл после кончины его тело и обнаружил хроническую болезнь в печени, которой он и не предполагал, но которая свела его в могилу.

Увлекательная теория покойного, во время ее появления, сильно подействовала на меня. Я долгое время был под ее влиянием, и сам везде — на практике, в житейских отношениях и в книге — приискивал новые факты и свидетельства в подтверждение главных положений ее. Так, например, я в одном английском авторе, Бироне, нашел замечательную по верности мысль, что «если б из Бедлама выпустить больных, а здоровых, вне Бедлама находящихся, запереть, то значительной перемены не было бы заметно» (vid. *Don Juan*, cap. XIV, v. 87*). Другой английский писатель, Вильям Шекспир (читанный мною в переводе одного из моих сотоварищей, Н. Хр. Кетчера*), намекнул на это, говоря, что «сумасшедшего датского принца затем и посылают в Англию, чтоб его состояние не было заметно в стране, где все поврежденные»*. Неудивительно, что именно на этом острове и выразился первый свободный, энергический

протест одного лично поврежденного, который, содержась в больнице, сказал врачу: «Весь свет меня считает поврежденным, а я весь свет считаю таким же. Беда моя в том, что *большинство* со стороны всего света»*.

Но не буду наполнять моего письма цитатами; скажу, напротив, что впоследствии во мне возникли некоторые сомнения, не в главном положении д-ра Крупова, однако же в вещах очень важных.

Летами гораздо постарее меня, С. И. принадлежал еще к слушателям знаменитого профессора М. Я. Мудрова, в силу чего и получил несколько религиозно-мистическое и отчасти франмасонское направление.

Я же, как студент Дядковского и М. Г. Павлова, ими был наведен на направление более философское. Наведен, но не удовлетворен, а оставлен на собственные силы.

Некоторые возражения я тогда пометил и для большей доступности написал их по-латыне. Но не только не дал им никакого развития, но даже не привел в систематический порядок.

По обязанностям моего служения я посвящаю время свое людям, уже кончившим свою жизнь, и так как долг относительно их и мой интерес собственно начинаются с полицейского удостоверения о приключившейся кончине, — то и нетрудно понять, что, имея большую практику как от университетской больницы, так и от военного госпиталя, поставляющего нам в обилии трупы, я занимался психиатрическими возражениями, в ферирах и каникулах, не как моим специальным делом, но скорее отдохновительным *extra*¹.

Впоследствии, при возрастающих занятиях, благодаря акклиматизации холеры и укоренению простого и возвратного тифа, я забыл о моей тетради, как вдруг один из коллегов, ездивший в Германию, привез с собой номер издаваемой вами периодики (имя его, по причинам, понятным вам, я считаю долгом, до поступления его в прозекторскую, умолчать) — в нем я нашел сочинение учителя и наставника моего д-ра Крупова вулгаризированным на французский язык. Невольно вспомнил я тетрадку свою, перечитал ее, исправил, местами перебелил и, пользуясь отправлением за границу нашего до-

¹ дополнением (лат.).— *Ред.*

брейшего Килиана Вильгельмовича, профессора теологической экзегезы и автора известного сочинения об отношении богословия к анатомии и христианства к терапии, — решился послать вам. Если вы не найдете ничего неприличного в помещении сего слабого, но искреннего опыта (мое уважение к памяти Семена Ивановича не допустило бы меня ни в каком случае до выражений, лишенных урбанности*), то сочту это для себя одолжением, ибо в отечестве нашем, после уничтожения цензуры и увеличения ответственности, не полагаю, чтоб это сочинение было к печати допущено; особенно при нынешнем теократическом направлении полиции и администрации и полицейской тенденции православных служителей алтаря.

Пожелаете ли перевести или напечатать по-латыне мои *афоризмата*, это совершенно зависит от вас. Полагаю, латинский язык — популярнее.

Позвольте, М. Г., г. Редактор,
засвидетельствовать о чувствах

глубокоуважения, с которыми
пребываю

Тит Левиафанский,

Prosector et anatomiae professor adj.

P. S. Адреса не пишу, так как ответа по почте получить не желаю, по обстоятельствам, моего уважения к вам не уменьшающим...*

T. L., pr.

...Левиафанский, Левиафанский, да еще Тит! Я думал, с Титом Каменецким, издавшим тридцать тиснений всеобщей, пространной и краткой географии*, Титы в России кончились. Верно, псевдоним — тоже «по обстоятельствам, не уменьшающим уважение». Что касается до фамилии — семинария за такими безделицами не останавливается: разве нет у нас разных Крестовоздвиженских, Федоростудитенских, Гефсиманийских, Ризоположенских, не говоря о старых знакомых Круциферском и Кофернауоме?*

При письме была тетрадь, написанная мельчайшим прифтом, семинарским почерком и медицинской латынью. Я по-

латыни никогда хорошо не знал, да и то, что знал, забыл. По счастью, теперь во всех городах игорных, гидротерапевтических и гидроминеральных заводят православные часовни. Перевод сделан мною сообща с одним священником; усердно благодаря его, я должен в очистку его сказать, что он стал мне помогать только после явственного удостоверения с моей стороны, что все, относящееся до религии у Тита Левиафанского, как и д-ра Крупова, относится к лжекатолической религии и к Лютеровым ересям, а не к православной церкви, о которой никогда никто не думает.

Когда я перевел первый афоризм, я испугался, но вскоре догадался, что прозектор «лично» сумасшедший, в доказательство чего и печатаю переводный отрывок. Батюшка полагает, что в прозектора вторгся Вельсеул — тот самый, который некогда был сослан в свиней. Может быть! Спорить не стану, — а я все думал, что он давно истрочен на *трихины*.

APHORISMATA

I

Верность, с которой многоуважаемый автор разбираемой мною диссертации определил *родовое* единство двух видов помешательства, повального и личного, составляет неоспоримую заслугу д-ра Крупова.

Он был весьма близок к тому, чтобы вывести прочный фундамент для медицинского понимания *всемирной истории*. Но, по несчастью, он, как многие из великих врачей до него, отступая от опыта, допустил преждевременные заключения о *цели* и через то запутался в религиозно-метафизические фантазмагории.

Автор в «историческом безумии» видит *средство* (кем взятое?), «благодетельную горячку», как он выражается, для излечения от «животности» и видит его медленное, но верное уменьшение, а посему и ожидает *перерождения рода человеческого*, что многие делали и прежде него, но главное состоит в том, что он на *этом свете* ждет свою метемпсихозу.

Допуская это, мы из преддверья науки уносимся в пучину мистических волн и возвратимся к младенческим степеням ума и понимания, которые и были, может быть, полезны и необходимы для мозгового роста, как прорезывание зубов, но которые в совершеннолети без уродства повторяться не должны. Сюда мы причисляем всякого рода *ожидания* — пророков, мессий, пятого царства, второго пришествия, братства, справедливости и других предназначенных прогрессов.

Притом заметим, что все последовательные богословы, храмовые¹, церковные и академические, ставили всегда отвлеченный идеал свой, как бы они его ни понимали, вне исторической жизни, что значительно уменьшает погрешность их.

Так язычники искали его в доисторическом времени, в диком состоянии, называемом *золотым веком*, в него переносили свои мечты о непорочности, незнании, простоте и других отрицательных добродетелях и положительных неразвитиях, которыми преисполнены и поднесь орангутанги и лемуры. Так христианство ожидало, в сущности, царства небесного, а не земного. Оно сеяло *здесь* для предвечного жнитва *там*. Церковь считала здешнюю жизнь, которой надобно было пройти, дурной дорогой и старалась слегка и немного посыпать ее щебнем, нисколько не думая об окончательном ее устройстве. Для христианства смерть — главное и счастливое событие, оттого оно, в свое цветение, никогда не отказывало ни в благословении войнам, ни в сожжении, гарротировании и иных казнях еретикам. Смерть для христиан была выпускным экзаменом низших учебных заведений, с правом на вступительный экзамен заведений высших и загробных.

Остальные теологи бесцерковные, как Вольтер и Руссо и другие бого- и антропотеофилы прошлого века и нашего, все принимали для исполнения идеала своего *иной свет*, или так называемый *тот свет*, о котором, по занятиям моим в прозекторской, я всего меньше имел случай сделать какие-нибудь наблюдения, и действительно не знаю, существует он или нет, и если существует, то как к нашему прилагается. Для меня

¹ Т. е. не templeиры, а язычники, молитву творившие в капищах, божницах и «храмах», в прогивуположность христианам, молитвословящим в церквах. (*Примечание батюшки, помогавшего в переводе.*)

всегда было неясно (и я смиренно в том вижу отсутствие высших способностей), как может привычка к существованию переживать существующего. Но в настоящем случае дело идет не об объективном бытии, т. е. о бытии в самом деле того света, но о логичности его постановления у теологов бесцерковных и церковных.

Даже те из богословов, которые, как *деисты*, сознают, что они постичь не могут высшее существо и только чтут его, не понимая — сознаясь, что ничего, ни хорошего, ни дурного, о нем не знают, — и они приняли несовместимость понятия здешней жизни с освобождением от ее условий. В силу чего они, допуская прогресс, допустили «бесконечность» его, т. е. поставили целью усилий человеческих поступательное движение без достижения, что совершенно подходит к психиатрической диагнозе безумия, блестяще чиноположенной нашим автором.

Как же он, сей¹ врач, постигнувший, что люди действуют только под влиянием известного состояния мозга, называемого нами патологическим или фантазмагорическим, — как же он не понял, что другого, чистого мозга вовсе нет и быть не может, как чистого (математического) маятника, как нормально здорового человека. Он думает, что это будет по излечении, а мы спрашиваем, как же постоянное состояние какого-нибудь животного рода или вида может излечиться, хотя бы оно имело свои неудобства, как слепота крота, — это не болезнь, а особенность, признак.

Как же, повторяю, врач, чиноположивший отличительные свойства того, что называется безумием, в силу которого окружающие предметы сознаются неправильно, но и не произвольно, в болезненном упорстве сохранить это сознание, даже при вреде себе, в стремлении к целям несуществующим, с упущением целей действительных, — мог усомниться в его вечной необходимости для истории и прогресса.

Семен Иванович, проследивший свою мысль у постели больного, у своего очага (с кухаркой Матреной Бучкиной), в доме

¹ Батюшка непременно просил оставить «сей»; он находил, что *этот* — «указательно», а *сей* — «сугубо указательно».

друзей своих (у Анны Феодоровны), в присутственных местах своего города, в «Всеобщей Аугсбургской газете», в путешествиях от Магеллана, Васко де Гама, Марка Поло «до Дюмон-Дюрвиля», в бытописаниях от Геродота, Тита Ливия «до отечественного Карамзина», — как же он, видя так много, не усмотрел главного (не будем упрекать человека, сделавшего много, за то, что он не сделал всего, — силы человека сочтены): что без хронического, родового помешательства прекратилась бы всякая государственная деятельность, что с излечением от него остановилась бы история. Не было бы ей занятия, не было бы в ней интереса. Не в уме сила и слава истории, да и не в счастье, как поет старинная песня, а в *безумии*.

Без него мы были бы сведены на логику и математику.

Оставим же навсегда детскую кичливость, с которой швед Линней, лучше знавший воспроизводительные части растений, чем мозги человеческие, назвал человека (как Правительствующий сенат императрицу Екатерину II) *мудрым*, homo sapiens, и противопоставим ему человека безумного — homo insanus, — человека, с бесконечным творчеством меняющего *idées fixes* и пункты помешательства и постоянно пребывающего верным безумию. Если у людей являлась редкая мания жить по чистому разуму и по разуму устроиться, то она количественно всегда так была незначительна, что ее можно отнести к личным умопомешательствам, а не к тем, которыми зиждутся царства и империи, народы и целые эпохи.

Умом и словом человек отличается от всех животных. И так, как безумие есть творчество ума, так вымысел — творчество слова.

Одно животное пребывает в бедной правдивости своей и в жалком здравом смысле. Природа молчит или звучит бесвязно, ибо она-то и находится под безвыходным самовластьем разума — в то время как человек городит целые Магабараты и Урвазии. Все сковано в природе железною необходимостью, она не усовершенствуется, не домогается, не ждет обновления и искупления, она только перерабатывается, «не ведая, что творит», — и в эту-то кабалу, в этот дом без хозяина, без добродетелей и пороков, толкают человека под предлогом излечения?

Отнимите у людей сказки и бредни, библии и апокалипсисы, веру в пришествие вечного мира и такового же братства — и род человеческий, как Калигула, возжелает иметь едину главу и едину каротиду, чтоб перерезать ее одним ударом бистурия*.

Посему и неудивительно, что все пророки и законодатели ставили в основу своей проповеди и закона какое-нибудь страшное безумие или фантазию, что все моралисты соединяются на том, что самый необходимый дар есть *дар веры*, а верить только в то и надобно, чего доказать нельзя.

Жидовствующий французский богослов Ренан¹ сказал, что «человек, по инстинкту, плетет религию, как паук паутину». Метко, но с той разницей, что паук плетет паутину для прокормления и от голода, а человек начинает плести, когда наестся досыта; что паук тянет нить из себя, чтоб осетить муху, а человек тянет религию, чтоб уловить ум свой как начало анти-социальное и разъедающее.

Необходимость фантазии, сказки, лжи, религии и неотрицаема, и дело вовсе не в основах, не в теодицеях, не в догматах (и в личном безумии, главное — совсем не в пункте помешательства; патологическое состояние может быть одно и то же, воображает ли себя больной сверчком в щели или шавкой на дворе). Только поверхностные и сентиментальные наблюдатели могли, негодуя, удивляться, что человека третьего дня травили львами и тиграми за то, что он не верит в громовержца, а верит в спасителя, вчера жгли за то, что он верит в спасителя, но не верит в заведующего делами его — папу, а сегодня убивают французами за то, что он верит в папу как в управителя Христова, но не верит в него как в царя итальянского*.

Посему-то я всегда и оправдывал самого последовательного религиозного инквизитора и гонителя — Максимилиана Робеспьера; он стоит гораздо выше Диоклециана, Кальвина, Филиппа II и др., чему, конечно, обязан успехам философии и гуманности в XVIII веке. Те жгли своих противников — он рубил головы людям не за то, что они *не так* верили, как он, а просто за то, что они не верили ни во что, кроме разума. Он

¹ Батюшка было поставил, как в тексте, «Ренанус», но я просил его отнять «ус», а то пришлось бы Кине называть Квипетусом и Оливье — Олеариусом.

очень последовательно казнил Анахарсиса Клоца и его товарищей, понимая, что как только из-под ног человека выдернуть треножник мистики, так он и падет в самое жалостное положение*.

Все, что нам дорого и из-за чего мы так обильно льем кровь ближнего, а иногда и свою, все имеет глубокие корни в безумии и не имеет *их разве его...* Бесконечность и бессмертие, честь и слава, воля человеческая и воля божия, обе свободные, одна подчиненная другой и *обе друг другу не мешающие, несмотря на необходимость*, в коей обе движутся¹. Будто это можно понять не сойдя с ума?.. Да и зачем воздерживаться, когда все зовет к безумию, все жило и живет им.

В самом деле, кто настроил величественные храмы и воздвиг целые леса мрамора и порфира для славы божией? Кто одержал все победы, которыми гордятся века? Кто надевал лавровые венки на свирепых, окровавленных бойцов, стоявших на горах трупов? Кто отводил руку народа от сохи, дал ему вместо ее меч и сделал его из пахаря земли пахарем смерти, убийцей по ремеслу, победителем и завоевателем, без которых не было бы ни Ассирии, ни Пруссии (привычка к цензуре постоянно заставляя меня умалчивать о любезном отечестве)?.. Кто?.. Будто разум?.. Кто позволяет богатому наслаждаться всеми дарами и благами жизни возле масс голодных, холодных, оборванных? Кто вешает для порядка и кто ведет человека на казнь с поднятым челом и гордостью, все равно, умирает ли он (по выражению одного немецкого стихотворца) за императора в красных штанах или за императора в белых штанах?..*

Пусть же великое и покровительствующее безумие, хранящее и утешающее, исправляющее и ведущее нас чрез века и океаны, пусть же оно и впредь сопровождает нас во веки веков. пока род человеческий не поглотится геологическим переворотом. И пусть перед его торжественным шествием несется, как и прежде,— то лучезарное, то в облаках, то полное, то с ущербом, *светило разума*, пребывающее, как луна, все в том же расстоянии от земного шара, как бы он ни торопился.

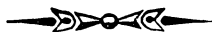
¹ Насчет замечательного остро безумного сочетания совершенного произвола с совершенной необходимостью как о сильнейшем признаке пишу особый аргумент.

...А посему, наставник и друг, Семен Иванович, воскликнем вместе с латинским классиком, по относя слова его к святому безумию рода человеческого. «Tu urbes peperisti, tu homines dissipatos in societates convocasti!»*

Т. Левиафанский.

Не знаю, помнит ли теперь кто-нибудь небольшую повесть мою «Доктор Крупов». Она была напечатана в 1847 году в «Современнике» и имела некоторый успех. Несколько лет тому назад «Крупов» явился во французском переводе в одном парижском Revue *. *Двадцать* лет спустя, в 1867 году, меня просили прочесть что-нибудь в близком кругу друзей, собиравшихся то у нас, то у известного физиолога *Шиффа* во Флоренции. Я вспомнил перевод «Крупова» и прочел его. Слушатели были очень довольны, Шифф настоятельно требовал, чтобы я перепечатал его. Один итальянский литератор просил текст для перевода на итальянский язык. Мой Крупов, как Лазарь, снова ожил. Перечитывая его, мне пришли в голову «рефлексии и контроверзии» прозектора Левиафанского, и я их написал собственно для Шиффа.

Карл Фогт, смеясь, требовал ответа Левиафанскому, обвиняя его в скрытом деизме, на том основании, что он своего бога спрятал в *фонаре*, которого вовсе нет. Но я побоялся, что одна и та же шутка утомит.





L'IMBROGLIO

Nous autres Russes, nous sommes dans une position tout à fait exceptionnelle envers nos ennemis — *les amis de la fraternité des peuples*. Ils ont, contre nous, une arme invincible. Classiques en tout et toujours Romains, ils ferment les yeux, à l'instar des *patres conscripti* dans l'affaire Scipion, et ne prennent aucune connaissance des documents.

Nous autres, nous nous évertuons, avec toute la naïveté des frères cadets, à produire nos titres, nos droits. Nous écrivons des brochures, nous traduisons des articles, nous rédigeons une revue, et nous invitons humblement les *aînés* à descendre, pour un instant, de leur pinacle et à voir un peu nos affaires.

Non, dit l'Esprit-Saint, je ne descends pas!

La généreuse rhétorique leur suffit. L'excès de liberté et de droits dont ils jouissent chez eux les rend fiers et durs.

Un «contemporain», comme disent les Anglais, un «contemporain» sérieux, informe que le parti *«communiste et invasionnaire* en Russie a une grande influence sur le gouvernement». — Voilà que nous sommes devenus militaires comme les Français, et l'empereur Alexandre — communiste, comme Louis Blanc. Mais cela n'est rien encore, et nous ne demandons pas mieux que d'avoir beaucoup d'influence sur la marche du gouvernement de Pétersbourg. La feuille sérieuse ajoute que le véritable chef, le père suprême, «l'incitateur» de tout le mouvement en Russie, c'est *Katkoff* — Katkoff, cette triste figure du journalisme policier que nous avons fait connaître à l'Europe comme l'ennemi le plus acharné du mouvement socialiste et libéral en Russie¹; cette vessie gonflée par le sang polonais, qui se dégonfle;

¹ *Nouvelle phase de la littérature russe*, par Iscander. 1864.

ce dénonciateur, ce calomniateur — qu'il soit le chef du parti d'action en Russie. Allons donc!¹

Tout ce qu'il y a en Russie de jeune, de fort, de dévoué; tout ce qui a un avenir sérieux, tout ce qui va à l'accomplissement des grandes destinées, appartient, d'une manière ou d'autre, à ce parti *communiste* auquel vous donnez ce titre *par haine pour le socialisme*, auquel vous mêlez les Mouravioff et les Kaufmann par haine pour la Russie; auquel vous donnez pour chef Katkoff par haine pour nous, — c'est-à-dire pour la minorité qui travaille pour l'émancipation du peuple russe, et qui ne renie pas son origine. Et qu'entendez-vous par communisme russe? Est-ce celui de Gracchus Babœuf — ou de Thomas Morus — ou du père Cabet?

Faut-il, encore une fois, vous dire qu'il n'y a rien de commun entre les rêves de vos utopistes et notre *droit réel à la terre*. Nous n'avons jamais nié la propriété, comme nous n'avons jamais fait un article de foi, un dogme de théologie du droit absolu, *affranchi de tout devoir* d'en user et abuser.

Nous ne pouvons pas forcer à lire ce que nous publions, mais nous protesterons chaque fois que la haine ou le manque de savoir dépassera toutes les bornes.

Il y a quelques jours, j'ai écrit à un homme pour qui j'ai une estime sans bornes: «Il n'y a pas de spectacle plus triste que de voir frapper les hommes qui ne répondent pas. Ce n'est pas une lutte — mais une punition».

Les temps où l'on parlait de la Russie comme d'un scélérat absent — et que l'on condamnait par contumacé — sont passés.

П Е Р Е В О Д

ПУТАНИЦА

Мы, русские, находимся в совершенно исключительном положении по отношению к нашим врагам — *друзьям брат-*

¹ Si M. Thiers — avec cette omniscience qui le distingue — pensant que Katkoff soit une «intelligence éminente» — vient en faire l'éloge dans une séance de la Chambre des députés, en France, c'est son affaire; mais faire de lui un représentant, voire même un chef du mouvement en Russie, c'est trop fort.

ства народов. У них есть против нас непобедимое оружие. Классики во всем и, как всегда, римляне, они закрывают глаза, наподобие *patres conscripti* в деле Сципиона, и совсем не знакомятся с документами*.

Мы же стараемся, со всей наивностью младших братьев, предъявлять наши грамоты, наши права. Мы пишем брошюры, мы переводим статьи, мы издаем журнал и смиренно приглашаем *старших* на минутку спуститься со своей вершины и хотя бы поверхностно ознакомиться с нашими делами.

Нет,— говорит дух святой,— я не спущусь! *

Им достаточно возвышенной реторики. Преизбыток свободы и прав, которыми они пользуются у себя на родине, делает их высокомерными и черствыми.

Некий «современник», как говорят англичане,— некий серьезный «современник», — сообщает, что «коммунистическая и захватническая партия в России пользуется большим влиянием на правительство». Ну вот и мы превращены в военщину, наподобие французов; а император Александр — в коммуниста, наподобие Луи Блана. Но это еще пустяки, мы лучшего и не желаем, как оказывать большое влияние на деятельность петербургского правительства. Серьезная газета прибавляет, что подлинным руководителем, отцом всевышним, «возбудителем» всего общественного движения в России является *Катков* — Катков, эта плачевная фигура полицейского журнализма, с которой мы ознакомили Европу как с самым ожесточенным врагом социалистического и свободолобивого движения в России¹; этот прыщ, раздувшийся от польской крови и понемному опадающий; этот доносчик, клеветник — руководитель прогрессивной партии в России. Да полноте же!²

Все, что есть в России юного, сильного, преданного; все, что обещает серьезное будущее, все, что устремлено к сверше-

¹ «Новая фаза в русской литературе» Искандера. 1864.

² Если г. Тьер — со свойственным ему всеведением, — воображал, что Катков является «выдающимся умом», — недавно восхвалял его на заседании Палаты депутатов во Франции, это его дело; но делать из него представителя и даже главу общественного движения в России — это уже слишком.

нию великих судеб,— связано, тем или иным образом, с коммунистической партией; название это вы присваиваете ей из ненависти к социализму, к ней вы припутываете Муравьевых и Кауфманов из ненависти к России; ей вы в качестве вождя приписываете Каткова из ненависти к нам—т. е. к меньшинству, работающему для освобождения русского народа и не отрекающемуся от своего происхождения. Что подразумеваете вы под русским коммунизмом? Коммунизм ли это Гракха Бабёфа — или Томаса Мора — или же отца Кабэ?

Надобно ли повторить вам снова, что нет ничего общего между мечтами ваших утопистов и нашим реальным правом на землю? Мы никогда не отрицали собственности, подобно тому как мы никогда не превращали в догмат веры, в богословское учение абсолютное право, освобожденное от всякого долга, пользование и злоупотребление этой собственностью.

Мы не можем заставить читать то, что мы издаем, но мы будем протестовать каждый раз, когда ненависть или невежество перейдет все границы.

Несколько дней тому назад я писал одному человеку, к которому питаю безграничное уважение: «Нет грустнее зрелища, чем видеть, как бьют безответных людей. Это не борьба — это наказание»*.

Времена, когда о России говорили как об отсутствующем злодее и выносили ей приговор заочно,— уже миновали.



COMMUNISME RUSSE

A propos de l'*Imbroglia* et du communisme, nous croyons bien faire en publiant une lettre que nous avons adressée, il y a quelques mois, à un jeune ami tudesque.

Cher ami,

Je vous aime beaucoup; mais, enfin, franchement parlant, vos lettres ne me désennuient pas.

Il y a près de dix ans que vous me faites les mêmes questions, les mêmes objections. Vous recevez de moi les mêmes réponses et les mêmes réfutations. J'ai pensé que vous alliez m'oublier amicalement dans ma retraite italienne; pas du tout, vous me déterrez pour me lancer une épître sur votre *semper idem*, sur le *communisme* russe.

Parlons donc, de grâce, sur notre *touranisme* — c'est plus récent et cela prête mieux à la poésie; Henri Martin en a fait une *Henriade*, une épopée de l'avenir, presque une croisade turque.

Votre mal périodique me fait penser à un vieux général que je connaissais à Moscou (j'ai déjà raconté cette histoire). Il avait un intendant qui, faisant une affaire pour son propre compte, eut un procès avec la couronne et le perdit. Lui n'ayant pas d'argent, on s'en prit au général, et le Sénat décida: «Comme le général... un tel a donné une procuration à un tel, il est responsable de la perte telle, et conséquemment doit payer...» Le général répondit que, comme il n'avait pas donné de procuration pour aucune affaire pareille, il ne paierait pas. Le Sénat reçut la réponse, et, un an ou deux après, envoya, par la police, une notification au vieux général, dans laquelle il était dit: «Comme le général... un tel a donné une procuration... etc.» — Le général répondit:

«Comme je n'ai pas donné de procuration..., etc.» — Ce jeu durait encore lorsque j'ai quitté la Russie.

C'est le type de nos discussions avec vous et vos amis.

Voyons, encore une fois, de quoi s'agit-il?

Vous ne pouvez nous pardonner la facilité d'une solution simple, venant, pour ainsi dire, tout naturellement de notre sol,— d'une des plus grandes questions de l'ordre social.

Cela ne vous va pas que la Russie, le pays classique du despotisme, possède des éléments dans son organisation rudimentaire, dans sa manière traditionnelle de vivre,— des éléments qui, légalement sanctionnés et scientifiquement développés, donnent une possibilité palpable de réduire le prolétariat à un minimum, qui se perd dans le nombre, et cela sans secousse ni cataclysme.

Eh bien! *caro mio*, accoutumez-vous à cela. On a assez cité la Russie pour le knout et le tzar, citez-la maintenant pour son droit à la terre, pour son organisation agraire. Comme consolation, nous vous recommandons de la nommer thuranienne, asiatique.

Que voulez-vous? *Tempora mutantur*. Il y a vingt, trente ans de cela, tout le monde prenait encore l'Albion pour *perfide* et la France pour révolutionnaire, voire même républicain.— Qui le pense maintenant? On se corrige d'après les événements, et voilà tout.

Personne ne nie que le prolétariat ne soit un mal,— mais beaucoup de personnes nient que cela soit un mal curable. Ceux qui ne partagent pas leur opinion essaient deux voies de médication: la chirurgie des insurrections et la chloroformisation, ou le narcotisme des utopies.

Comme les insurrections ne font que détruire, et que les utopies ne construisent rien, vous êtes venus tout naturellement à la critique de l'ordre existant, et là vous avez été grands, là vous avez été nos maîtres. La critique sociale, c'est la grande œuvre de notre siècle, l'expiation des temps misérables dans lesquels nous vivons.

La critique, comme de raison, ne vous suffit pas, et vous cherchez des solutions par la dialectique, la controverse, la scolastique et la métaphysique sociale, ce qui n'amène pas à grand,

chose, la logique n'étant pas une institution reconnue par l'Etat et obligatoire pour lui.

L'incertitude devient encore plus grande par les habitudes historiques que vous avez. Vous restez presque toujours fidèles à votre religion de l'Etat traditionnelle, et vous ne poussez que rarement le doute au delà du catéchisme politique. Précisément, comme dans le protestantisme, on scrutait les vérités jusqu'à une certaine profondeur — et pas plus.

Ayant, pour ainsi dire, ces obstructions mentales, ces éléments irréductibles, vous posez des questions qui ne peuvent se résoudre. Vous demandez, par exemple, «si l'Etat a l'obligation de pourvoir aux besoins du prolétariat, d'être le commanditaire suprême et le nourricier, ou non?» Et vous demandez, bien rarement, si un Etat pareil, avec une telle force ne serait pas un énorme danger? Cette question pourrait bien en amener une série d'autres et aboutir à celle-ci: «Ne faut-il pas commencer par se défaire de l'Etat existant pour guérir la grande plaie du prolétariat?»

Votre critique est arrivée à la constatation du fait qu'un Etat qui rend une classe nombreuse plus misérable que l'état sauvage — est une absurdité, un non-sens, et porte en lui-même le germe de sa destruction; qu'il y a évidemment une contradiction entre *le but* de l'Etat et la position fatale du prolétariat. Partant de là, il est évident qu'une telle organisation sociale ne peut durer *qu'autant qu'on ne s'en aperçoit pas*.

Et ne dites pas que j'exagère en écrivant «position plus misérable que l'état sauvage». Le sauvage fait impunément la maraude de l'animal; s'il a faim, il va chercher quelque chose pour manger; mais le prolétaire doit choisir, s'il n'a pas de travail — entre le martyre de la mort et la flétrissure d'une condamnation. La jurisprudence est si peu physiologique, que je ne connais aucune législation, pour absoudre un homme mourant de faim, s'il mange un morceau de viande appartenant à un autre. On peut seulement le gracier!

Or, voilà des hommes, des touraniens qui, au milieu de vos difficultés et de vos recherches — vous apportent un exemple, *un élément* pour une solution, pour une étude comparée. Cet élément est d'autant plus important qu'il est contemporain, qu'il

est hors du monde que vous connaissez si bien — et pourtant assez à votre portée pour pouvoir vérifier, constater.

Il ne s'agit ni d'une utopie, ni d'une Icarie, il ne s'agit ni de métaphysique sociale, ni même de ces formules grandes et vagues «à chacun selon ses besoins»; il s'agit d'un simple fait de l'organisation communale et agraire, qui se développe, qui est déjà en fonction — et qui prétend exclure, autant que *le gouvernement ne l'en empêchera pas*, l'existence du prolétariat.

Et cela, dans un pays qui, ma foi, n'est pas trop petit pour un exemple, ayant ses soixante millions de paysans. «Mais — mais ce pays c'est la Russie; elle a égorgé la Pologne, elle a pendu des martyrs, elle a peuplé la Sibérie».

Tout cela est vrai; je pense que nous en savons quelque chose — mais tout cela ne va pas à l'affaire. Un tel est un assassin, et moi je dis qu'il a une magnifique chevelure blonde-cendrée. — Mais c'est un assassin. — Eh bien, est-ce que ses cheveux ont perdu pour cela leur couleur? Cette confusion d'idées me donne sur les nerfs. Encore un exemple. On vous dit que les fusils Chassepot ont fait merveille, que la France est fière de cette invention et de cette application. Et vous — vous nierez les merveilles homicides de ces fusils, — parce que la cause du pape ne vous plaît pas.

Cher ami, fils de la contrée qui a produit les Kant et les Hegel — soyez un meilleur dialecticien.

C'est bon, c'est généreux d'avoir le cœur plein d'indignation contre les méfaits de l'absolutisme — mais il ne faut pas que la compassion déborde l'intelligence.

Enfin — dites-vous un peu impatienté — quelle est donc cette fameuse organisation communale?

Ah! cher ami — vous voilà enfin dans le vrai, vous voulez savoir avant et après fulminer; c'est très bien, c'est un pas en avant.

Je vous envoie, en conséquence, le premier numéro du *Kolo-kol* de cette année; vous y trouverez, dans l'article magnifique de mon collègue, tout ce que vous voulez savoir. Si quelque chose n'est pas clair, nous y sommes pour donner des explications.

Mais, faisons un compromis: avant d'avoir lu l'article vous pourrez m'écrire sur tous les sujets possibles, sur la loi de la

double presse, sur Bismark faisant la cuisine pour Karl Schurz — mais vous ne m'écrirez pas sur le communisme russe.

ПЕРЕВОД

РУССКИЙ КОММУНИЗМ

По поводу «Путаницы» и коммунизма, мы, как нам кажется, поступаем правильно, предавая гласности письмо, с которым несколько месяцев тому назад обратились к одному нашему молодому немецкому другу*.

Дорогой друг!

Я вас очень люблю, но все же, откровенно говоря, письма ваши удовольствия мне не доставляют.

Лет десять уже вы обращаетесь ко мне все с теми же вопросами, с теми же возражениями. От меня вы получаете всё те же ответы и те же опровержения. Я думал, что вы вскоре подружески забудете обо мне в моей итальянской глуши; но нет, вы отыскиваете меня, с тем чтобы метнуть в меня посланием, посвященным вашему *semper idem* — русскому коммунизму*.

Поговорим-ка лучше о нашем *туризме* — это посвежей, и в этом больше поэзии; Анри Мартен создал из этого «Генриад», эпопею грядущего, почти турецкий крестовый поход*.

Периодические приступы вашей болезни заставляют меня вспомнить о старике-генерале, которого я знал в Москве (я уже рассказывал эту историю)*. У него был управляющий, который, занимаясь устройством своих личных дел, вступил в тяжбу с казной и проиграл ее. Поскольку денег у управляющего не было, то взялись за генерала, и Сенат постановил: «Так как генерал... такой-то дал доверенность такому-то, он несет ответственность за такие-то протори, и, следовательно, должен уплатить...» Генерал ответил, что так как он не давал доверенности на ведение подобного рода дела, то платить он не будет. Сенат получил этот ответ и, год или два спустя, отправил, через полицию, старику-генералу извещение, в котором было сказано: «Так как генерал... такой-то дал доверенность...» и т. д.

Генерал отвечал: «Так как я не давал доверенности...» и т. д. Эта игра продолжалась еще и тогда, когда я покидал Россию.

Вот образчик наших споров с вами и вашими друзьями.

Посмотрим же еще раз, о чем идет речь.

Вы не можете извинить нам легкость простого решения, вырастающего, так сказать, естественным образом из нашей почвы, — решения одного из самых значительных вопросов социального устройства.

Вам не по себе от того, что Россия, классическая страна деспотизма, в своем зачаточном устройстве, в своем традиционном обиходе обладает началами, которые, будучи утверждены законом и научно развиты, дают ощутимую возможность свести пролетариат к минимуму, теряющемуся в общей массе населения, — и все это без потрясений, без катаклизма.

Ну что ж, *саго шю*, постарайтесь привыкнуть к этому. Достаточно ссылались на Россию в связи с кнутом и царем, ссылайтесь же теперь на нее в связи с *ее правом на землю, с ее земельным устройством*. Для самоутешения мы рекомендуем вам называть ее туранской, азиатской.

Что поделаешь? *Tempora mutantur**. Двадцать, тридцать лет тому назад все еще считали Альбион *коварным*, а Францию — революционной, даже республиканской. — Кто придерживается этого мнения теперь? Точка зрения меняется в зависимости от событий — вот и всё.

Никто не отрицает, что пролетариат — это зло, но многие отрицают, что это зло исцелимое. Те же, кто не разделяет этого мнения, предлагают два пути к излечению: хирургию вооруженных восстаний и хлороформирование или наркотизм утопий.

Поскольку вооруженные восстания только разрушают, а утопии ничего не создают, вы самым естественным образом пришли к *критике* существующего порядка, и в этом вы были велики, в этом вы были нашими учителями. Социальная критика — это великое творение нашего века, искупление жалкого времени, в которое мы живем.

Одной только критики, как и следовало ожидать, для вас недостаточно, и вы ищете решений в диалектике, в богословских спорах, в схоластике и социальной метафизике, что не приводит к значительным результатам, поскольку логика не является

установлением, признаваемым государством и обязательным для него.

Чувство неуверенности еще более увеличивается вследствие ваших исторических привычек. Вы почти всегда остаетесь верны своей религии традиционного государства и только изредка простираете сомнение за пределы политического катехизиса. Точно так же, как в протестантизме, истины подвергались исследованию до известной глубины — но не далее.

Страдая подобным, если можно так выразиться, засорением мозгов, находясь во власти подобных неискоренимых начал, вы ставите вопросы, которые разрешены быть не могут. Вы спрашиваете, например: «Обязано ли государство печься о нуждах пролетариата, быть верховным подателем благ и кормильцем или же не обязано?» И вы спрашиваете — весьма, впрочем, редко — не представляло ли бы подобное государство, наделенное такой силой, огромной опасности? Этот вопрос мог бы повлечь за собою целый ряд других и завершиться следующим: «Не следует ли вначале развязаться с существующим государством, чтобы залечить огромную язву пролетариата?»

Критика ваша пришла к утверждению факта, что государство, доводящее многочисленный класс до состояния более бедственного, чем состояние дикарей, есть нелепость, бессмыслица и несет в самом себе зародыш своего разрушения; что существует явное противоречие между *целью* государства и роковым положением пролетариата. Вследствие этого становится очевидным, что подобное общественное устройство может существовать *лишь до той поры, пока этого не замечают.*

И не говорите, что я преувеличиваю, когда пишу: «Состояние более бедственное, чем состояние дикарей». Дикарь бездельничает безнаказанно, подобно животному; если он голоден, то ищет чего бы поесть; пролетарий же должен выбирать, если у него нет работы, между мученичеством смерти и позором наказания. Юриспруденция до такой степени малофизиологична, что мне не известно такое законодательство, которое смогло бы оправдать человека, умирающего с голоду, если б он съел кусок мяса, принадлежавший другому. Его могут только помиловать!

И что же — эти люди, туранцы, среди ваших затруднений и поисков, являют вам пример, *элемент* для решения, для сравнительного изучения. Этот элемент тем более важен, что он современен, что он находится вне столь хорошо знакомого вам мира, — и однако так близко от вас, что вы можете удостовериться в нем, констатировать его.

Речь идет не о какой-нибудь утопии, не о какой-нибудь Икарии, речь идет не о социальной метафизике и даже не о великих и расплывчатых формулах «каждому по его потребностям»; речь идет о простом факте общинного и земельного устройства, которое развивается, которое действует уже и надеется исключить, если только *правительство не помешает этому*, — самую возможность существования пролетариата.

И это в стране, которая, право, не слишком-то мала для образца, со своими шестьюдесятью миллионами крестьян. «Но — но ведь эта страна — Россия; она задушила Польшу, она повесила мучеников, она заселила Сибирь».

Все это правда; думаю, что нам кое-что об этом известно, — но к делу это сейчас не идет. Такой-то человек — убийца, а я утверждаю, что у него великолепная пепельного цвета шелвелюра. — Но ведь он убийца. — Так что же, разве волосы его утратили от этого свой цвет? Это смешение понятий действует мне на нервы. Еще один пример. Вам говорят, что ружья Шаспо творили чудеса, что Франция гордится этим изобретением и его применением. Вы же станете отрицать поразительные человекоубийственные свойства этих ружей — потому только, что вам не по душе дело, отстаиваемое папой.

Дорогой друг, сын страны, давшей жизнь Кантам и Гегелям, будьте же лучшим диалектиком.

Похвально, великодушно — возмущаться до глубины души злодействами самодержавия, но сострадание не должно выходить за пределы разума.

В конце концов, — говорите вы с некоторым нетерпением, — какова же эта хваленая общинная организация?

Ах! дорогой друг, — вот вы, наконец, на правильном пути, вы прежде намерены узнать, а затем уже метать громы и молнии; это прекрасно, это шаг вперед.

Посылаю вам поэтому первый номер «Kолокол» за текущий год; вы найдете там в великолепной статье моего сотоварища все, что хотите узнать *. Если что-нибудь окажется неясным, мы готовы разъяснить вам.

Но договоримся об одном: до прочтения этой статьи вы можете писать мне на всевозможные темы, о законе двойной прессы, о Бисмарке, готовящем обеды для Карла Шурца *, — но не станете писать мне о русском коммунизме.





ARTHUR BENI

La *Gazette de Pétersbourg* du 7/19 février, donne la nouvelle de la mort d'Arthur Beni — tué à la bataille de Mentana dans les rangs des garibaldiens. La nouvelle n'est pas exacte — mais ce qui est malheureusement vrai, c'est qu'il a été grièvement blessé à la main.

A. Beni était au camp de Garibaldi en qualité de correspondant de deux feuilles de Londres. Blessé, il a été porté à Rome. Une vingtaine de jours après la bataille, il nous a envoyé une lettre à Florence; la lettre était écrite de sa main gauche, et parfaitement bien. Il nous parla d'une opération qu'il attendait. Si Beni a succombé — c'est donc après l'opération.

Vu les allusions de l'article de la *Gazette de Pétersbourg*, nous croyons de notre devoir de dire que tous les nuages qui étaient entre A. Beni et nous, se sont complètement dissipés.

ПЕРЕВОД

АРТУР БЕНИ

«Петербургские ведомости» от 7/19 февраля извещают о кончине Артура Бени *, убитого в сражении у Ментаны в рядах гарибальдийцев. Известие неточное, — но что, к несчастью, верно, — он был тяжело ранен в руку.

A. Бени находился в лагере Гарибальди в качестве корреспондента двух лондонских газет *. Получив ранение, он был отправлен в Рим. Дней через двадцать после сражения он послал

нам во Флоренцию письмо *; письмо это было написано им левой рукой, и написано превосходно. Он сообщил нам, что ожидает операции. Если Бени скончался, то, значит, после этой операции *.

Ввиду намеков, содержащихся в упомянутой статье «Петербургских ведомостей», мы считаем своим долгом заявить, что все недоразумения, существовавшие между А. Бени и нами, полностью рассеялись.



LE MAL DES PASSEPORTS

Voici ce que nous lisons dans le *Siècle*:

On parle beaucoup en ce moment d'un conflit qui se serait élevé ces jours-ci entre l'ambassade anglaise et la police de Saint-Pétersbourg. Il s'agit d'un ouvrier mécanicien anglais qui aurait été retenu en prison pendant quatre mois parce qu'il n'avait pas de passeport.

Cet ouvrier avait perdu son passeport quelques années auparavant dans un incendie; l'ambassade anglaise en informa le ministère de l'intérieur et donna provisoirement une carte de séjour à cet individu. Il y a quelques mois, le mécanicien entra à l'hôpital et comme après sa guérison il était hors d'état de payer les frais qu'avait nécessités sa maladie, on lui retint sa carte de séjour.

Le jour même de la sortie de l'hôpital, il fut arrêté par la police comme n'ayant pas de passeport, et fut incarcéré.

Ce n'est qu'au bout de quatre mois que l'ambassade anglaise fut informée de ce cas par l'aumônier anglais, qui était allé visiter la prison. On s'informa à la police et on apprit que le commissaire avait renvoyé le prévenu le jour même devant le juge d'instruction. Celui-ci prouva, de son côté, qu'il avait ordonné la mise en liberté de cet individu, parce qu'il s'était réclamé du consulat anglais.

Malheureusement, la sentence du juge était restée dans les bureaux du commissaire, et l'ouvrier mécanicien n'avait pas quitté la prison. Sans doute le grand maître actuel de la police, le général Trépoff, a réalisé bien des améliorations depuis deux ans qu'il occupe ses fonctions; mais il reste encore beaucoup à réformer en ce qui concerne les mesures de sûreté contre les gens sans passeport, ainsi que la détention préventive.

Le rapport dressé par le consul anglais qui était allé à la prison réclamer le détenu contient les détails les plus révoltants sur la prison où était le malheureux ouvrier.

Sur un espace de deux mètres de long sur un mètre et demi de large il avait trouvé renfermés trois individus, qui lui dirent que, pendant la nuit,

ils étaient six au lieu de trois, ce qui les forçait de se tenir debout sans pouvoir dormir.

Tout commentaire est superflu. C'est un fait du royaume de Dahomey, d'Abyssinie.

Un jeune Suisse que nous avons rencontré il y a deux semaines dans un wagon, nous racontait avec étonnement qu'on lui avait demandé *cinq ou six fois* son passeport de Verjbolovo à Pétersbourg, et pas une seule fois dans toute l'Allemagne.

Cette manie policière est odieusement ridicule.

П Е Р Е В О Д

ПАСПОРТНАЯ БОЛЕЗНЬ

Вот что мы читаем в «Le Siècle»: *

В настоящее время много говорят о конфликте, будто бы возникшем на днях между английским посольством и санктпетербургской полицией. Речь идет об английском рабочем-механике, которого продержали в тюрьме в течение четырех месяцев из-за того, что у него не оказалось паспорта.

Этот рабочий потерял свой паспорт несколькими годами ранее во время пожара; английское посольство известило об этом министерство внутренних дел и дало этому человеку временный вид на жительство. Несколько месяцев тому назад механик этот попал в больницу, и так как после своего выздоровления он не в состоянии был оплатить расходы, связанные с его болезнью, то ему не возвратили вид на жительство.

В самый день выхода из больницы он был арестован полицией как беспаспортный и посажен в тюрьму.

И только спустя четыре месяца английское правительство было поставлено в известность об этом случае английским священником, посетившим тюрьму. Навели справки в полиции и узнали, что пристав в тот же самый день направил обвиняемого к судебному следователю. Последний засвидетельствовал, со своей стороны, что он отдал распоряжение об освобождении этого человека, так как тот сослался на английское консульство.

К несчастью, решение следователя завалилось в канцелярии пристава, и рабочий-механик остался в тюрьме. Без сомнения, нынешний владыка полиции, генерал Трепов, сделал множество улучшений за те два года, что он исполняет свои обязанности; но остается еще преобразовать

многое в отношении мер предосторожности против людей, не имеющих паспорта, так же как и в вопросе о предварительном заключении.

Рапорт, составленный английским консулом, который отправился в тюрьму, чтобы потребовать освобождения арестованного, содержит самые возмутительные подробности о тюрьме, где находился несчастный рабочий.

На пространстве в два метра длины на полтора метра ширины он нашел трех заключенных, которые сказали ему, что их по ночам вместо троих бывает шестеро и поэтому они вынуждены стоять на ногах, не имея возможности уснуть*.

Всякие комментарии излишни. Это случай, который мог бы произойти в Дагомейском королевстве, в Абиссинии.

Молодой швейцарец, которого мы две недели тому назад встретили в вагоне, с изумлением рассказывал нам, что у него *пять или шесть раз* требовали паспорт по пути от Вержболова до Петербурга и ни разу во всей Германии.

Эта полицейская мания отвратительна и смехотворна.





ПИСЬМО НЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ

С месяц тому назад редакция «Колокола» получила правоучительное письмо, в том роде как наши соотечественники их пишут, т. е. вроде начальнического внушения и с той наивно-стью в выборе выражений, которая свидетельствует о молодости образования. Письмо автор назначал *не для печати*, а для моего назидания, но *адресовал его в редакцию*. Не имея никакого права на интимную переписку с незнакомым, я сообщил его нашим друзьям в Италии (письмо мне было переслано из Женевы в Италию). Они просили меня поместить их ответ. Я не вижу причины отказать им в этом, тем больше что письмо и ответ присланы М. А. Бакуниным.



◁ LA GAZETTE DE LA BOURSE
DE SAINT-PÉTERSBOURG ▷

La *Gazette de la Bourse*, de Saint-Pétersbourg¹, propose la création d'un nouveau journal international dévoué aux intérêts de la Russie. L'auteur de l'article met en évidence la rédaction insuffisante de la *Gazette française de Saint-Pétersbourg*, qu'il appelle, non sans raison, *feuille sans tête ni cœur*. Le nouveau journal, au contraire, aura comme l'aigle russe *deux têtes*, au moins deux buts. D'un côté, celui de faire connaître les bonnes intentions de la Russie et tranquilliser par cela les autres peuples; de l'autre, celui d'écraser et anéantir le *Kolokol* français. Le moyen le plus sûr, et peut-être unique, de nous mater, suppose la *Gazette*, serait la création d'un organe international rédigé en français par des Russes *pur sang*, et tout à fait libre de tout soupçon *d'influence officielle* ou de quelques rapports avec le gouvernement ou l'administration. Le *Kolokol* russe, continue l'article, n'avait de l'influence en Russie qu'autant que les journaux russes manquaient de liberté de discussion. Le *Kolokol* français cessera d'être lu en Europe dès qu'un organe international élèvera sa voix libre et indépendante, «fera connaître les perfections et les imperfections de la vie russe, *ses nobles élans*, ses erreurs et ses fautes». «Aux calomnies et aux agressions du journalisme *libre* de l'Occident, il faut opposer la *libre* défense d'une feuille *absolument indépendante*. Si un journal pareil est rédigé en Occident, cette liberté lui est acquise; mais si l'on préfère le ré-

¹ Il est bien dommage que, sur les trois articles qui ont paru dans l'honorable feuille de la Bourse de Saint-Pétersbourg, nous n'ayons lu que le dernier. Nous n'avons pas pu nous procurer les n^os 307 et 310.

diger en Russie, il faudra lui donner solennellement *la liberté complète de la pensée et de la parole!*»

Excusez du peu!

Dès que *le poète* de la Bourse aura cette *magna charta solennellement jurée* par l'empereur de toutes les Russies, au nom de toutes les polices, il n'aura aucun besoin de nous combattre, car nous solliciterons une petite place dans sa rédaction, et nous attacherons notre cloche au grand clocher international.

L'auteur continue: «Il n'y a qu'un pareil journal qui soit capable d'acquérir la confiance des lecteurs occidentaux et de mener, avec espérance de succès, une lutte contre le *Kolokol* et d'autres feuilles occidentales, qui se font un plaisir, sans empêchement, d'imprimer des calomnies et de fausses dénonciations (oh! le jargon de la bonne ville de Pétersbourg!) à l'endroit de la Russie... Mais on dira que, pour faire un journal pareil, il faut de grands moyens matériels, de grands subsides! Sans doute; mais ces subsides ne doivent, dans aucun cas, être reçus des mains du gouvernement; ils doivent être offerts, et nous sommes sûrs qu'ils le seront, par la *société russe* elle-même. Elle a fait tant de sacrifices d'argent et de sang pour la défense matérielle de la patrie, qu'elle ne refusera sans doute pas sa sympathie, ni les moyens aux personnes qui rédigeront le journal international».

Tout cela est très bon, très impossible et pas tout à fait nouveau. Le *Nord* est un journal puissamment international et *pas du tout hostile* à la Russie, mais il n'a pas fait grand'chose. Nous n'avons, au reste, qu'à désirer, sans crainte ni terreur, l'apparition d'une nouvelle feuille russo-française indépendante et libre... La terre est grande, les points de vue variés, il y aura assez de place pour nous deux. Mais il y a une chose contre laquelle il nous est impossible de ne pas protester.

L'auteur de l'article dit tout franchement que le but véritable auquel il vise serait la neutralisation, autant que possible, *du mal* que nous répandons en Europe *au détriment de la Russie*.

Telle est encore chez nous l'absorption d'une partie des esprits par le gouvernement, qu'ils pensent franchement que, d'être ennemi du gouvernement actuel de Russie, c'est être ennemi du peuple russe et agir «au détriment du pays».

Vu cette naïveté, sentant de loin le nègre non-affranchi; vu cet asservissement intellectuel, nous ne pouvons augurer de grands succès internationaux à la feuille future et indépendante.

Ces gens, peu acclimatés à la liberté, pénétrés de respect religieux pour leur maître, pensaient toujours et pensent encore que faire de l'opposition au gouvernement c'est une trahison et un crime; et c'est au moment où ils veulent faire preuve d'indépendance que les galons de la livrée se montrent.

Pensez-vous donc, philosophe de la Bourse de Saint-Pétersbourg, qu'être de l'opposition, voire même révolutionnaire, veut dire *détester* sa patrie? En êtes-vous encore là? Pensez-vous que les *fénians* aient en aversion l'Irlande et qu'ils se font pendre au «détriment» de leur île d'émeraude?

C'est pardonnable lorsque quelque prêtre ivre, lâché par le sacré Synode, imprime contre nous des libelles destinés pour on ne sait quel public, et dans lesquels il nous traite en fraticides, parricides, traîtres à la patrie, voleurs et brigands. Mais la rédaction d'une feuille non cléricale, d'une feuille de la Bourse, n'a pas autant de droits qu'un serviteur de Dieu à la simplicité de l'âme et à la grossièreté du langage.

Où, quand, comment avons-nous agi au *détriment du peuple russe*? Nous ne voulons pas même parler des *fausses dénonciations* et des *calomnies*.

Est-ce en fondant la première presse russe libre à Londres?

Est-ce pendant la guerre de la Crimée, où tous vos organes *in partibus*, terrifiés par l'hostilité de l'opinion publique, se taisaient et s'effaçaient — et *nous seuls*, nous parlions en faveur du peuple russe, non seulement dans les journaux, mais dans les meetings, à Londres?

Est-ce après la mort de Nicolas, lorsque l'*Etoile Polaire* et après le *Kolokol* demandaient dans chaque feuille l'émancipation des paysans, l'abolition de la censure, des peines corporelles, et un tribunal oral et public?

Choses à demi accomplies maintenant.

Est-ce quand nous vous avons procuré un peu de liberté de la presse? — Vous le savez parfaitement bien: si on vous a permis de dire *un quart*, c'est pour détourner les yeux des *trois quarts* que nous disions.

De grâce, n'allez pas nous parler de notre rôle pendant l'insurrection polonaise. «De grâce pour vous-même», comme l'on chante dans *Robert*.

Ce rôle, c'est notre meilleur titre à la reconnaissance de la Russie. C'est parce que nous sommes restés fidèles à nos convictions, à notre foi, à la liberté, à la justice, à la vérité, qu'il y avait une *voix russe* qui protestait à chaque martyr tombé, à chaque férocité perpétrée, à chaque acte bestial de Mouravioff, à chaque article sanguinaire de la *Gazette de Moscou*.

C'est à nous que vous devez que l'Europe connaît qu'il y a en Russie des hommes qui n'ont pas applaudi les bourreaux, qui regardaient avec horreur les banquets que l'on donnait aux généraux qui se vantent d'avoir pendu le plus de Polonais¹, qu'il y a en Russie des hommes qui désirent franchement, sincèrement l'indépendance d'un peuple *qui n'a rien de commun avec nous*.

Et, cher orateur de la Bourse, vous appelez cela agir *au détriment du pays?*.. et cela lorsque le *Kolokol* français nous attire, par son caractère russe, par sa propagande, la colère des hommes prévenus en France et les jurons vulgaires de la scribaille allemande.

Non, vous ne voulez aucun organe indépendant, vous n'en comprenez pas les premières conditions!

П Е Р Е В О Д

〈САНКТПЕТЕРБУРГСКИЕ «БИРЖЕВЫЕ ВЕДОМОСТИ»〉

Санктпетербургские «Биржевые ведомости»² предлагают создать новую международную газету *, преданную интересам России. Автор статьи ставит на вид неудовлетворительность

¹ En l'an de grâce 1868, dans une taverne qui porte le nom de London-House, dans une ville sous les Alpes, et non loin de la mer, à un dîner, en présence d'une douzaine de personnes, un *général* russe se vantait, en pleine Europe, d'avoir pendu des Polonais pendant la guerre.

² Очень жаль, что из трех статей, появившихся в этой почтенной петербургской биржевой газете, мы прочли только последнюю. Нам не удалось достать н(омер)ов 307 и 310.

состава редакции *французской петербургской газеты*, которую он, не без основания, называет *листком безголовым и бессердечным* *. Новая же газета, напротив, будет иметь, как и российский орел, *две головы* или по меньшей мере — две цели. С одной стороны — знакомить с добрыми намерениями России и успокаивать тем самым остальные народы; с другой — раздавить и уничтожить французский «Колокол». Самым верным и, быть может, единственным средством обуздать нас, как предполагают «Ведомости», явилось бы создание международного органа, издаваемого на французском языке *чистокровными* русскими и совершенно свободного от всякого подозрения в *официальном влиянии* или в каких-либо связях с правительством или администрацией. Русский «Колокол», — продолжает статья, — имел влияние в России только до тех пор, пока русским газетам не была предоставлена свобода суждений. Французский «Колокол» перестанет читаться в Европе, как только международный орган поднимет свой свободный и независимый голос, «познакомит с совершенствами и недостатками русской жизни, с ее *благородными порывами*, с ее заблуждениями и ошибками». «Клеветам и нападениям *свободной западной публицистики* нужно противопоставить *свободную защиту абсолютно независимого журнала*. Если такой журнал будет издаваться на Западе, то свобода эта ему обеспечена; но если бы нашли более удобным вести подобное издание внутри России, то ему нужно было бы дать торжественно *полную свободу мысли и слова!*»

Только и всего!

Едва лишь *поэт биржи* получит эту *magna charta* *, торжественно провозглашенную императором всея Руси от имени всех полиций, ему совсем не нужно будет сражаться с нами, ибо мы тогда ископчем себе местечко в ее редакции и подвесим наш колокол к великой международной колокольне.

Автор продолжает: «Только такой журнал способен приобрести доверие западных читателей и *вести с надеждою на успех* борьбу с „Колоколом“ и другими западными газетами, охотно и беспрепятственно теперь печатающими клеветы и *фальшивые доносы* (о, жаргон милого города Петербурга!) на Рос-

сию... Но скажут, что для издания подобного журнала нужны большие материальные средства, большие пособия! Согласны, но только пособия эти ни в коем случае не должны идти от правительства; их должно дать и, мы уверены, даст само *русское общество*. Оно столько жертвовало и деньгами и кровью своею на материальную защиту отечества, что не откажет, без сомнения, ни в своем сочувствии, ни в пособии лицам, которые стали бы издавать международную газету».

Все это совершенно замечательно, совершенно невозможно и не совсем ново. «Le Nord» — газета в высшей степени международная и *отнюдь не враждебная* России, однако она не очень-то много сделала. Нам остается, впрочем, только желать, без опасений и без страха, появления новой русско-французской независимой и свободной газеты... Земля велика, точки зрения многообразны, места хватит нам обоим. Но есть нечто, против чего мы не можем не протестовать.

Автор статьи с полной откровенностью говорит, что подлинная цель, в которую он метит,— это наивозможнейшая нейтрализация *зла*, распространяемого нами в Европе *в ущерб России*.

Поглощение некоторой части умов правительством у нас еще так велико, что они чистосердечно полагают, будто быть врагом нынешнего русского правительства — значит быть врагом русского народа и действовать «в ущерб родине».

При виде подобной наивности, еще издали попахивающей неосвобожденным негром, при виде подобного умственного порабощения мы не можем предсказать больших международных успехов замышляемой независимой газете.

Эти люди, мало приспособленные к свободе, исполненные религиозного уважения к своему барину, всегда думали, и думают еще и теперь, что оппозиция правительству — это то же предательство и преступление; и именно в то мгновение, когда они желают предъявить доказательство своей независимости, внезапно проступают галуны их ливреи.

Неужели вы полагаете, философ санктпетербургской биржи, что находиться в оппозиции, даже в революционной оппозиции, значит *ненавидеть* свою родину? Продолжаете ли вы еще так думать? Полагаете ли вы, что *фени* питают

отвращение к Ирландии и что они готовы идти на виселицу «в ущерб» своему изумрудному острову?

Еще простительно, когда какой-нибудь пьяный поп, натравленный святейшим Синодом, печатает против нас пасквили, предназначенные бог весть для какой публики, и изображает нас братоубийцами, отцеубийцами, изменниками родины, ворами и разбойниками*. Но редакция не клерикальной, а биржевой газеты, не имеет столько прав на простодушие и на грубость языка, как служитель божий.

Где, когда, в чем действовали мы *в ущерб русскому народу?* О *фальшивых доносах и клеветах* мы не хотим даже и говорить.

Не тогда ли, когда мы создавали первый русский вольный печатный станок в Лондоне?

Не во время ли Крымской войны, когда все ваши органы *in partibus* *, испуганные враждебностью общественного мнения, погрузились в молчание и ступевались — и мы, *мы одни*, говорили в защиту русского народа не только в газетах, но и на митингах, в Лондоне?

Не после ли смерти Николая, когда «Полярная звезда», а затем «Колокол» требовали в каждом номере освобождения крестьян, уничтожения цензуры, отмены телесных наказаний и введения гласного и открытого судопроизводства?

Требования эти теперь наполовину выполнены.

Не тогда ли, когда мы добились для вас некоторой свободы печати? — Это отлично вам известно: если вам позволили сказать *одну четвертую часть*, то для того только, чтоб отвлечь внимание от тех *трех четвертей*, которые высказаны нами.

Смилуйтесь, не вздумайте говорить нам о нашей роли во время польского восстания. «Смилуйся над самим собою», как поется в «Роберте»*.

Эта роль — наш самый почетный диплом на признательность России. И объясняется это тем, что мы остались верны своим убеждениям, своей вере, свободе, справедливости, истине, что нашелся *русский голос*, который протестовал против гибели каждого мученика, против каждого совершенного злодеяния, против каждого зверства Муравьева, каждой кровавой статье «Московских ведомостей».


Именно нам обязаны вы тем, что Европа знает о существовании в России людей, которые не рукоплескали палачам, которые с ужасом смотрели на банкеты, даваемые в честь генералов, похваляющихся тем, что они повесили больше поляков, чем другие¹, — что Европа знает о существовании в России людей, чистосердечно, искренно желающих независимости для народа, *ничего общего с нами не имеющего*.

И это, дорогой биржевой оратор, вы называете *действовать в ущерб родине?*.. и в то время, когда французский «Колокол» навлекает на нас своим русским характером, своей пропагандой злобу предубежденных людей во Франции и вульгарную брань немецких борзописцев*.

Нет, вам вовсе не нужен независимый орган, вы не понимаете, что является самым необходимым условием для его существования!

¹ В 1868 году после рождества Христова, в таверне, называющейся «London-House», в городе у подножия Альп и псевдалеке от моря, во время обеда, в присутствии дюжины человек, один русский *генерал* хвастался, в центре Европы, что во время войны он вешал поляков.





ETUDES HISTORIQUES SUR LES HEROS DE 1825
ET LEURS PREDECESSEURS, D'APRES
LEURS MEMOIRES

ЗАПИСКИ ДЕКАБРИСТОВ: И. Якушкина, князя Трубецкого, Лондон, 1862, Вольная русская типография.— Статьи «Полярной звезды»: о Рылееве, Бестужеве, Н. Муравьеве, «Император Александр I и В. Каразин»

MEMOIRES DES DECEMBRISTES: Mémoires de J. Yakouchkine, du prince S. Troubetzkoï, Londres, 1862, Imprimerie russe.—Mémoires et articles sur Ryléieff, Bestoujeff, N. Mouraviouff, l'Empereur Alexandre Ier et V. Karazine, insérés dans l'*Etoile Polaire*, etc., etc.).

Le mouvement politique non officiel et gouvernemental, ne date réellement, en Russie, que du règne d'Alexandre I^{er}, et principalement de 1812.

Les dernières années du règne de Catherine II, l'atmosphère de Saint-Pétersbourg était lourde et suffocante; c'était une atmosphère sénile, invalide, dans laquelle on sentait partout la vieille femme dépravée, naguère encyclopédiste, maintenant terrifiée devant la Révolution française, et trahissant toutes ses convictions, comme elle trahissait tous ses amants. Autour du trône silence complet, oriental. Çà et là il y avait des loges maçonniques, des martinistes; elle commençait déjà à les poursuivre. Çà et là quelques boutades libérales, même un livre entier, le célèbre *Voyage de Pétersbourg à Moscou*, par Radichtcheff, qui prêchait l'émancipation des paysans et l'horreur de l'absolutisme. Elle exila l'auteur en Sibérie. C'est tout; pas d'ensemble, pas de suite, de concentration de forces, d'organisation.

La grande folie de Paul I^{er} était la haine de la révolution et la crainte que ses principes ne pénétrassent dans son empire.

L'intelligence s'arrêta durant son règne, la pensée était paralysée. Le complot tramé contre lui et sa mort ne prouvent pas le contraire. Ce complot n'avait aucune signification sérieuse ou générale. C'était une affaire personnelle ou de famille entre Paul et les amants de sa mère, destitués faute d'emploi et persécutés par rancune. C'était une affaire de conservation pour ces gens, qui tremblaient, jour et nuit sous la menace d'une *kibitka* de Damoclès, tout attelée pour Irkoutsk ou Ner-tchinsk.

Alexandre I^{er} enjamba le cadavre tout chaud encore de son père, et monta sur le trône plein de rêves et de bonnes intentions. Il avait dans une poche le projet de l'émancipation des paysans, et dans une autre le projet d'une organisation quasi-constitutionnelle de l'Etat. Il ne réalisa presque rien, il *ne put* presque rien réaliser.

Dès les premiers jours de son règne, le jeune empereur s'entoura de jeunes gens très distingués; le comte Strogonoff, le prince Adam Czartorisky, le comte Kotchoubey, Novossiltzoff, etc. L'autocrate conspire avec eux dans un cabinet du Palais d'Hiver! Il est très content qu'on donne dans les salons le nom du «Comité de salut public» à ses conciliabules, et ne s'aperçoit pas que, de tous les Saint-Just et Couthon de son comité, il n'y a que le comte Strogonoff qui le soutient dans la question de l'émancipation des paysans.

La police, la bureaucratie veillent autrement à *la sûreté de l'empire*; elles prennent les mesures nécessaires pour neutraliser l'ardeur révolutionnaire sous la couronne de Monomakh, et faire de manière que le jeu impérial reste dans le comité et ne perce pas. Il y a eu rarement une position plus tristement ridicule. Pendant des années, Alexandre ne le savait pas.

Un mur infranchissable s'élevait entre le palais et le peuple. La contrée était ensevelie dans un morne silence et dans des ténèbres obscures. En général, il n'y avait de lumière qu'aux plus hauts sommets.

Toute l'activité, tout le remue-ménage politique et réformateur partaient du Palais d'Hiver et n'allaient pas plus loin que quelques salons du grand monde. Les salons étaient aussi fermés que les loges maçonniques, plus encore; aucun mérite ne les

ouvrait. — Pour y être admis, il fallait une naissance aristocratique, une grande richesse et un rang au moins de général pour *le civil*. Les officiers de la garde faisaient exception.

Non seulement le peuple des villages, peuple *hors la loi*, n'existait pas, mais tout le reste, à l'exception de la *haute société*. Ni les négociants qui roulaient des millions, ni les employés de l'Etat (sans naissance), qui en volaient autant. On les laissait vivre et s'engraisser, à condition de parler entre eux de leurs affaires, et cela à voix basse. Pénétrer dans les hauts parages sans être un parent éloigné, un étranger titré ou un militaire victorieux, était presque impossible.

Les exceptions sont les meilleures preuves.

La grande difficulté de la position de Spéransky était son origine: il était fils d'un prêtre. L'empereur Alexandre le prit comme secrétaire lorsqu'il alla à Erfurt, apprécia ses talents et en fit son ministre sans portefeuille. S'il avait été bâtard d'un grand seigneur, il aurait eu toutes les facilités pour réaliser ses réformes. Mais, fils d'un prêtre, secrétaire d'Etat et ami de l'empereur, cela crevait l'œil aux grands seigneurs, et non seulement aux vieillards arrogants et demi-sauvages du temps de Catherine II, mais à l'esprit fort du temps, au voltairien comte Rostoptchine, qui finit par le perdre en faisant une fausse dénonciation.

Il était plus facile pour le Palais d'Hiver de faire une trouée d'en haut pour laisser passer quelques idées révolutionnaires dans ce monde claquemuré et calfeutré — que de faire une fente en bas. Aussi le premier noyau se fit à côté de l'empereur et dans les casernes de la garde impériale. Les premiers révolutionnaires appartenaient à la plus haute aristocratie. Il n'y a pourtant rien d'étrange en cela. C'était le seul milieu qui fût à l'abri de la police, qui possédât les lumières et les richesses.

Déjà vers la fin du règne de Catherine II, les grands seigneurs envoyaient leurs fils à Paris et à Londres, même dans quelques Universités d'Allemagne, comme à Gœttingue, pour terminer leur éducation; d'autres faisaient venir de la France des instituteurs, des gouverneurs. Dans ce nombre, il n'y avait pas seulement des émigrés (et ceux-là même étaient très utiles par leur inconséquence: catholiques-voltairiens et royalistes-frondeurs, ils n'éveillaient aucun soupçon et faisaient la propagande dans la

gueule du lion), mais des hommes éminents et de grand mérite, des hommes historiques.

Au temps le plus beau de la Révolution, on voyait chez la célèbre Théroigne de Méricourt un de ses amis, l'austère, le grave, le grand Romme, «un des derniers Romains», d'après l'expression d'Edgar Quinet, un des sombres héros de prairial. Il venait chez elle avec un jeune élève, qu'il aimait avec tendresse. Ce jeune homme le suivait partout — dans les séances de la section que Romme présidait, et cela pendant les journées les plus orageuses.

Romme le regardait souvent avec une grande affection, et lui disait: «Cher ami, n'oublie jamais ce que tu vois ici: garde ton cœur, garde tes convictions, elles sont bonnes».

Or, cet élève, c'était le comte Strogonoff, si je ne me trompe, le seul membre du comité de salut impérial qui soutenait l'empereur dans son projet de l'émancipation des paysans.

Avec tout cela, l'empereur et son entourage, ayant une puissance sans bornes lorsqu'ils voulaient faire le mal, étaient complètement impuissants pour faire quelque chose de réellement bon. L'orage qui allait réveiller le géant en léthargie se préparait. La nouvelle Russie date de 1812.

Avant de passer aux mémoires des hommes héroïques qui firent la grande conspiration de 1825, nous nous arrêterons sur la figure caractéristique de *V. Karazine*¹.

CHAPITRE I

L'EMPEREUR ALEXANDRE I^{er} ET V. N. KARAZINE

I

Don Carlos

Pendant les premières années du règne d'Alexandre I^{er}, c'est-à-dire à l'époque où il se souvenait encore des leçons de Laharpe et n'avait pas encore oublié la leçon donnée à Paris aux

¹ Cet article, publié dans le 7^{me} volume de l'*Etoile Polaire*, a été composé sur des mémoires, notes et lettres inédits de M. Karazine.

monarques en général, et dans le palais Michel¹ aux autocrates russes en particulier, — il y avait chez l'empereur Alexandre I^{er} une *soirée littéraire*.

Cette fois, la lecture se prolongea plus que de coutume; on lisait une nouvelle tragédie de Schiller.

Le lecteur s'arrêta à la fin de la pièce.

L'empereur resta silencieux, les yeux baissés. Peut-être pensait-il à sa propre destinée, qui avait frisé de si près la destinée de *Don Carlos*; peut-être pensait-il à la destinée de son Philippe? Quelques minutes s'écoulèrent dans un silence complet que rompit le premier le prince Alexandre Galitzine. — Penchant sa tête à l'oreille du comte Victor Kotchoubey, il lui dit à demi-voix, mais assez haut pour être entendu de tous:

— Nous avons notre marquis Poza à nous!

Kotchoubey lui fit en souriant un signe de tête. Tous les regards se portèrent sur un homme de trente ans assis à quelques pas de là.

L'empereur tressaillit, examina les personnes qui l'entouraient, arrêta son regard méfiant et scrutateur sur l'homme qui était devenu l'objet de l'attention générale, fronça les sourcils, prit congé de ses hôtes et sortit.

Le prince Galitzine se prit à sourire; le futur ministre de l'instruction publique et des cultes, inquisiteur et franc-maçon, protecteur de Magnitzky² et de Rounitch, chef de la Société biblique et du département des postes, ami de l'empereur Alexandre, qui le sacrifia sans pitié à Araktchéieff; ami de l'empereur Nicolas, qui ne lui confia jamais aucune affaire sérieuse, — le prince était content. Connaissant le caractère soupçonneux d'Alexandre, il était bien sûr que la parole qu'il venait de prononcer germerait — et il ne se trompait pas. Pourquoi cherchait-il à nuire à cet homme? Il ne le savait pas lui-même: c'était dans sa nature de courtisan; en tout cas, il était toujours bon d'éloigner un homme superflu.

Assurément, parmi toutes les personnes qui assistaient ce soir-là à la lecture, il n'y en avait que deux qui voulussent alors

¹ C'est au palais Michel que Paul I^{er} a été tué.

² Curateur de l'Université de Kazan, inquisiteur infâme, abandonné par le gouvernement même et mort en exil du temps de Nicolas.

sincèrement et ardemment le bien de la Russie: l'empereur et *Karazine*, celui qu'on avait appelé le marquis Poza.

Ces deux hommes — l'un, couronné dans la cathédrale de l'Assomption par le métropolitain Platon; vainqueur de Napoléon, mais vaincu lui-même par sa propre gloire et par une autocratie sans issue comme sans base; — l'autre, travailleur infatigable pour le bien commun, accumulant entreprises sur entreprises avec une énergie extraordinaire, frappant à toutes les portes, et ne rencontrant partout que résistance, obstacles et impossibilité de produire rien de bon dans un pareil milieu; — ces deux hommes projettent deux tristes rayons sur la surface monotone et glacée des marécages de la Russie, au sein desquels disparaissent l'énergie et la volonté, les talents et les forces, enfoncés à jamais dans des profondeurs bourbeuses, comme les pilotis sur lesquels est bâti Saint-Pétersbourg.

Le caractère de l'empereur Alexandre I^{er} a été peu approfondi. Nos historiens n'ont pu rien en dire, et les étrangers n'ont pu et ne peuvent encore aujourd'hui en comprendre le côté tragique. Or, on ne trouve l'explication de ce côté tragique du caractère d'Alexandre ni dans ses actes comme tzar, ni dans ses malheurs personnels. Il a été, au contraire, singulièrement heureux comme tzar, heureux même après sa mort. Il est impossible à un prince d'occuper dans l'histoire une place qui ait plus de relief que la sienne. Il ne manquait à l'héritier de Paul que d'avoir Nicolas pour successeur. Entre le tigre de Gatchina, qu'on a étouffé comme une bête enragée, et le boa boutonné du haut en bas qui étouffa la Russie durant trente années, — la figure voûtée de l'empereur Alexandre se détache entourée d'une auréole d'humanité et de bonté, tantôt éclairée par les lueurs rougeâtres de l'incendie de Moscou, tantôt illuminée par les lampions parisiens, — retenant la main des petits voleurs couronnés de l'Allemagne, et arrêtant la vengeance sauvage des vainqueurs se ruant sur la capitale ennemie.

Et cependant cette figure d'Agamemnon, du pacificateur de l'Europe, tout élevée qu'elle paraisse, se ternit, s'obscurcit visiblement, s'efface de plus en plus derrière l'ombre horrible d'Arak-tchéïeff, puis va mourir solitairement sur les bords de la mer Noire, en tendant la main (signe de réconciliation bien tardif)

à la femme dont toute la vie fut une longue suite d'afflictions cachées sous la pourpre impériale, et qui, à l'heure de sa mort, resta seule agenouillée à son chevet pour lui fermer les yeux et ne pas lui survivre.

C'est une tragédie d'un bout à l'autre.

Ne cherchez pas le mot de l'énigme dans la mort de Paul I^{er}; cette mort a pu ajouter un fil noir à la vie d'Alexandre, mais le *fond* de sa tristesse est plus loin, plus profond. Un élément implacable et fatal s'empare de cette existence et l'emporte. On sent dans ce milieu un souffle de mauvais augure, on sent la présence du *crime*, non du crime accompli, mais du crime *continu*, consolidé, involontaire; il coule dans les veines avec le sang, il suinte des murailles. Le sang est empoisonné dans les veines avant la naissance, l'air qu'on respire dans ce palais est corrompu. Tout homme, en entrant dans ce milieu, est entraîné de gré ou de force dans un abîme de folie, de perdition et de fautes. La route du mal est ouverte dans toute sa largeur. Le bien est impossible. Malheur à qui s'arrêterait pour réfléchir et se demander *ce qu'il fait, ce qu'on fait autour de lui*,— il y perdrait la raison; malheur à qui, dans l'enceinte de ces murailles, ouvrirait son cœur à un sentiment humain,— il serait brisé dans une lutte inutile.

Parmi les souverains russes qui ont succédé à Pierre I^{er}, il en est un qui s'est arrêté devant la fatalité: c'est l'empereur Alexandre I^{er}. Aussi, de tous les Romanoff, il a été le seul *puni*, puni humainement par une lutte intérieure, puni avant sa faute, *mais arrivé plus tard à la hauteur de cette faute*.

Comparez sa destinée à celle de Pierre III, de Paul, et même de Nicolas, et vous comprendrez pourquoi cet homme, qui a été appelé «le Béni», qui est mort dans son lit et que personne n'a vaincu, est une figure infiniment plus tragique que tous ses prédécesseurs. Qu'y a-t-il de tragique dans ce fait qu'une femme dépravée a tué et dépouillé un ivrogne idiot? Cela arrive tous les jours dans les maisons enfumées des sombres ruelles de Londres. Ou bien dans cet autre fait qu'un homme, pour se défendre d'un fou, l'a frappé à la tempe d'un coup de tabatière, laissant à d'autres le soin de l'achever? Ce ne sont pas là des catastrophes tragiques, ce sont des affaires qui regardent la justice criminelle et les bagnes; mais rien de plus.

Une maladie à la suite d'un empoisonnement, des plaies et des coups de poing ne sont pas des faits de nature à constituer l'élément tragique. Il prend, au contraire, sa source dans des collisions intérieures, indépendantes de la volonté humaine, en opposition avec l'esprit, et contre lesquelles l'homme se débat sans pouvoir en triompher;— il doit céder devant la fatalité et se laisser écraser contre les arêtes granitiques des antinomies irréductibles. Pour succomber dans des luttes semblables, un homme doit posséder un certain degré de capacités morales; il faut qu'il ait reçu en naissant une *onction* spéciale. Il est des natures tellement communes et routinières, tellement étroites et médiocres, que leur bonheur et leur malheur sont toujours triviaux, ou du moins ne sont jamais intéressants. Les yeux froids de Nicolas, sa manie prosaïque d'absolutisme et sa passion des manœuvres militaires, ses idées bornées et sans cesse appliquées à des détails, sa ponctualité de subalterne, enfin sa prédilection pour les lignes droites et les figures de géométrie, excluent forcément de son existence tout élément poétique. C'est en vain qu'on veut répandre sur ses derniers jours une teinte de majestueuse et sombre affliction. Cet homme ne s'arrêtait devant rien, ne doutait de rien; l'irrésolution lui était inconnue; il n'avait ni remords ni idéal; il savait qu'il régnait par la volonté de Dieu, que le métier d'empereur est un métier militaire, et il était extraordinairement content de lui-même; il ne soupçonnait guère qu'il avait abaissé le niveau de la vie morale de tout un empire, et que, volé et trompé par son entourage, il avait amené la Russie sur le bord d'un abîme. En reconnaissant cette dernière vérité, il a montré qu'il n'était pas en état de supporter le premier insuccès de sa vie, et il est mort d'un accès de rage impuissante. C'est une leçon, un exemple, une menace, mais ce n'est pas une tragédie. S'il en était autrement, on pourrait faire un type tragique, non seulement du premier brigand venu, châtié pour ses crimes, mais aussi du lâche et bilieux Araktchéïeff, mourant haï et abandonné de tous, près de la tombe d'une mégère assassinée, qui était sa concubine.

L'empereur Alexandre était un autre homme. L'impératrice Catherine concentra sur lui tout l'intérêt de sa dynastie et lui témoigna des sentiments maternels qu'elle n'eut jamais pour son fils; elle lui donna une éducation propre à développer en lui

des sentiments d'humanité, et, comme il arrive souvent aux vieilles pécheresses, l'éleva dans l'ignorance des intrigues qui se passaient autour de lui. Alexandre était un jeune homme rêveur, plein d'idées romanesques, et disposé à cette vague philanthropie qui commençait à s'emparer des esprits, et était comme l'aurore boréale ou le reflet froid et affaibli de la philanthropie *plus chaude* qu'on prêchait alors à Paris.

C'est avec la mémoire encore pleine de leçons de Laharpe que nous le voyons apparaître sur le trône des tzars, autour duquel il allait trouver la dépravation caduque et corrosive des dernières années du règne de Catherine.

...«Je ne suis nullement satisfait de ma position,—écrivait le grand-duc à V. P. Kotchoubey, le 10 mai 1796, c'est-à-dire lorsqu'il avait dix-huit ans¹.— Je suis très heureux que la conversation soit tombée d'elle-même sur ce sujet, car j'aurais été fort embarrassé de l'y amener. Oui, mon cher ami, je vous le répète: ma position ne me satisfait nullement. Elle est trop brillante pour mon caractère, qui n'aime exclusivement que la tranquillité et le calme. La vie de cour n'est pas faite pour moi.

Je souffre tous les jours d'être obligé de paraître en scène avec les gens de cour, et je ne peux m'habituer à considérer froidement toutes les bassesses que les courtisans font à chaque instant pour obtenir des distinctions extérieures, qui, à mes yeux, n'ont pas la valeur d'un copeck. Je me sens malheureux dans la société de pareils hommes *que je ne voudrais pas avoir chez moi pour laquais*; et cependant ils occupent ici les plus hautes fonctions, comme, par exemple, Z....., P....., B....., les deux S....., M..... et tant d'autres, qui ne valent même pas la peine d'être nommés, et qui, hautains vis-à-vis de leurs inférieurs, rampent devant ceux qu'ils craignent. En un mot, mon cher ami, je reconnais, que je ne suis pas né pour la haute dignité dont je porte aujourd'hui le fardeau, et encore moins pour celle qui m'est destinée dans l'avenir, et que je me suis juré de refuser d'une manière ou d'une autre.

Voilà, mon cher ami, le grand secret dont je voulais vous faire part depuis longtemps; je crois superflu de vous prier de n'en rien dire à personne, car vous comprendrez vous-même qu'il

¹ K o r f . *Avènement de Nicolas*, pages 228—229.

pourrait m'en coûter bien cher. J'ai prié M. Garrik de brûler cette lettre, s'il ne pouvait vous la remettre personnellement, et de ne la confier à personne pour vous la faire parvenir.

J'ai jugé la question sous toutes ses faces. Je dois vous dire, du reste, que la première pensée m'en est venue avant de vous connaître, et que je n'ai pas été long à prendre la décision dont je vous parle aujourd'hui.

Un désordre incroyable règne dans nos affaires; on pille de tous les côtés; tous les services sont mal dirigés; il semble que l'ordre soit banni de notre pays, — et cependant l'empire tend toujours à reculer ses limites. En présence d'un pareil état de choses, est-il possible à un homme de gouverner l'empire, et, qui plus est, de redresser les abus qui y sont enracinés? C'est une œuvre trop grande, non seulement pour les forces d'un homme doué — comme je le suis — de capacités ordinaires, mais même pour les forces d'un génie, et j'ai toujours eu pour principe qu'il valait mieux ne pas entreprendre une chose que de la faire mal. C'est en raison de ce principe que j'ai pris la résolution dont je vous ai parlé plus haut. Mon plan consiste à renoncer à cette difficile carrière (je ne puis encore fixer définitivement l'époque à laquelle j'y renoncerai), et à m'établir avec ma femme sur les bords du Rhin, où je vivrai tranquillement en simple particulier, mettant tout mon bonheur dans la société de mes amis et dans l'étude de la nature.

Vous êtes libre de vous moquer de moi et de dire que mon projet est impossible; mais attendez-en la réalisation pour porter votre jugement. Je sais que vous me blâmerez, mais je ne puis agir différemment, parce que je considère le repos de ma conscience comme la première loi à observer; et ma conscience pourrait-elle être tranquille si j'entreprenais une œuvre au-dessus de mes forces? Voilà, mon cher ami, ce dont je voulais vous faire part depuis si longtemps. Maintenant que je vous ai tout confié, il ne me reste plus qu'à vous affirmer qu'en quelque endroit que je me trouve, heureux ou malheureux, riche ou pauvre, votre amitié pour moi sera toujours l'une de mes plus grandes consolations; croyez bien que la mienne, à votre égard, ne finira qu'avec ma vie.

Alexandre».

Catherine mourut. Paul transporta, par un des froids les plus rigoureux de l'hiver, le corps de Pierre III dans la forteresse de Pétropavlovsky pour qu'il partageât la sépulture de son épouse, et força les régicides A. Orloff et Bariatinsky à porter sa couronne. Alexandre approchait chaque jour davantage de ce sommet sur lequel planait la corruption qu'il déplorait dans sa lettre. Cependant, il eut lieu de regretter ces dignitaires qu'il ne voulait pas avoir pour laquais. Les courtisans rassasiés et corrompus de l'ancienne maîtresse furent remplacés par les capitaines d'armes et les valets de chambre de son successeur, qui firent du palais de la Cléopâtre à cheveux blancs — une caserne et une antichambre. A la place des voleurs au ton arrogant, on vit paraître les voleurs-espions, à la place des laquais, des bourreaux; le palais qui, la veille, était une maison publique, devint, le lendemain, une chambre d'inquisition. La corruption sensuelle céda la place à une débauche de cruautés et de supplices.

Le Césarévitch se tenait aux pieds de ce trône farouche, accablé d'effroi, et le cœur plein d'angoisse et de tristesse: n'ayant pas la force d'agir et ne pouvant s'en aller. Le prince Alexandre, comme le prince Hamlet, errait dans ces salles sans savoir à quoi se décider — d'autres se décidèrent pour lui.

C'est dans cet état d'angoisse et de tristesse, et, de plus, avec une tache noire sur la conscience, qu'il arriva lui-même au sommet de ce rocher terrible d'où l'on venait de précipiter le cadavre défiguré de son père assassiné. Il voulait le bien et on croyait en lui. On jetait des regards d'espoir sur ses traits doux et juvéniles; il espérait lui-même faire de la Russie un paradis, il espérait lui donner des années meilleures et des forces nouvelles; le peuple le bénirait, il rachèterait la faute de sa participation à un crime sanglant.— Nouveau Trajan et nouveau Marc Aurèle, il accomplirait le projet dont il avait parlé à Kotchoubey, et irait se faire oublier au milieu des jardins qui bordent le Rhin¹.

Alexandre était sincère dans ces rêves, il y croyait et n'était pas le seul à y croire;— la Russie y croyait aussi, c'est-à-dire la Russie *des gens comme il faut*, la Russie *reconnue humaine*, en un mot; quant à la Russie *noire*, à la Russie qui payait les

¹ Le rêve de son abdication le préoccupa jusqu'à sa mort.

impôts, cela ne la regardait pas; là, comme dans les solennités et dans les fêtes, elle était exclue de l'allégresse publique et elle n'essayait même pas d'y prendre part, se souvenant de sa bonne mère l'impératrice, et comme pressentant que le nouveau règne paierait par les colonies militaires le sang sacrifié par le peuple pour la gloire du pays.

Il était facile d'inaugurer une nouvelle époque en s'appuyant sur un pareil amour, sur une pareille confiance, sur une pareille allégresse accueillant la mort d'un prédécesseur criminel... Alexandre pouvait prier avec Philippe II:

Maintenant, Créateur, donne-moi un homme...

Tu m'as donné beaucoup: maintenant

Je ne te demande plus *qu'un homme*...

Je te demande un ami; je ne suis pas

Comme toi qui sait tout. Les serviteurs

Que tu m'as envoyés — tu sais toi-même

Comment ils me servent.

Oh! que j'ai besoin de savoir la vérité...

(Schiller. *Don Carlos*)

Dix jours après la mort de Paul, il y avait une grande réception au palais; une foule de personnages habillés en grand deuil, mais portant la joie sur le visage, entraient, sortaient, saluaient profondément, et répétaient des séries de phrases serviles. Le timide Alexandre, peu habitué à une pareille exhibition et à ce rôle de dieu devant qui tout se prosterne et en qui tout espère, — entra dans son cabinet après la réception, accablé de lassitude, et se jeta sur un fauteuil, devant son bureau de travail. Sur sa table, dans son cabinet, où personne n'osait entrer, se trouvait une lettre cachetée et portant son adresse.

Il brisa le cachet et déplia la lettre; à mesure qu'il lisait, ses yeux se remplissaient de larmes et ses joues s'animaient; il posa la lettre... de grosses larmes roulaient le long de ses joues. Le comte Palen et Trochtchinsky en furent témoins. «Messieurs, — leur dit l'empereur, — un inconnu a déposé cette lettre sur ma table; elle n'est pas signée, il faut que vous me trouviez absolument celui qui l'a écrite».

La lettre que l'empereur lut, pouvait, à juste titre, le faire pleurer.

Pleine d'un amour ardent pour sa personne, très exaltée, très dévouée, cette lettre exprimait l'espérance que tout le monde avait dans le jeune souverain — mais avec une beaucoup plus grande clarté que le sentiment vague qui se faisait jour dans la société. — Elle formulait un programme entier de réformes, tendant à un régime constitutionnel.

En voici quelques fragments :

C'est en passant la nuit le long de Ton palais que m'est apparu ce taureau béni de Ta situation politique et je me suis pris à méditer sur la voie que Tu allais suivre.

Non, — me suis-je dit, — il ne voudra pas rompre l'accord exceptionnel que le ciel et la terre ont conclu en Sa faveur et renoncer à féconder les semences précieuses amassées pendant un demi-siècle. Il ne sacrifiera pas de sang-froid aux vulgaires jouissances de l'autocratie l'espoir de ses peuples, une gloire immortelle et cette récompense morale qu'une longue existence tranquille et féconde en joies domestiques, réserve aux monarques bienfaisants dans un pays dont ils ont fait le bonheur.

Non! Il ouvrira enfin ce grand livre de nos destinées et de nos descendants que le doigt de Catherine lui a montré dans le lointain. Il nous donnera des lois immuables, Il les sanctionnera de génération en génération par le serment des diverses races qui lui sont soumises. Il dira à la Russie: «Voilà les limites infranchissables et éternelles de Ma puissance et de celle de Mes héritiers!» Et la Russie sera enfin rangée parmi les puissances monarchiques; et le sceptre de fer du caprice ne pourra plus briser les tables de Sa Loi...

Il convoquera, au nom de la Patrie, un conseil composé des hommes sages que notre bonne étoile a placés autour de Lui, et d'autres hommes dont la voix peut Lui apporter la vérité des régions les plus lointaines de Son empire. Il les interrogera en couvrant Ses questions *du voile de la modestie la plus sévère*; Il composera secrètement, mais il publiera solennellement devant l'univers attentif le Code de l'Empire, les bases de la législation, dont la publication peut être précédée de la promulgation des lois partielles qui en seraient, pour ainsi dire, la préparation. Il fera enfin choisir, par toute la Russie, des anciens dignes de la confiance illimitée de leurs concitoyens; Il les élèvera au-dessus de la sphère de l'ambition et de la crainte; Il déposera entre leurs mains tout le superflu de sa puissance et leur confiera la garde du sanctuaire de la Patrie... Le premier parmi les souverains, Il fera servir l'autocratie à la répression de l'autocratie; le premier, Il sacrifiera ses propres intérêts à l'humanité, en obéissant à la seule impulsion de Son cœur! Et l'humanité, pleurant de joie, élèvera Sa statue plus haut que les statues des autres tzars, et la foule des peuples étrangers viendra en masse baiser Son piédestal et savourer la félicité parmi nous!..

Assurément Notre Alexandre, l'ami de l'humanité, sait que la confiance qu'inspire le gouvernement, confirmée par la notoriété des principes

invariables, peut seule enfanter la confiance réciproque des citoyens entre-eux, qu'elle est la vie de l'industrie, la mère des vertus sociales et la source de la prospérité...

Sur le même rang que la confiance que doit inspirer le gouvernement, Il placera la *confiance en la distribution de la justice*. Sans ces deux principes, ces mots admirables: le citoyen et la patrie, ne représentent que des sons vides de sens dans la langue d'une nation!..

Après avoir confié l'administration entière de la justice *aux élus du peuple*, Il les garantira de la corruption, non au moyen des lois, pour la plupart du temps muettes, mais en assignant aux juges un traitement large et proportionné à leur désintéressement et à leur amour du bien public. A cet effet, Il soumettra la conduite des juges au tribunal de l'opinion publique, qui a été toujours plus impartiale que les tribunaux supérieurs, souvent entraînés à violer la loi parce qu'ils tiennent au principe de l'arbitraire. Un tribunal siégeant en présence de tous et donnant aux parties le droit de publier ses sentences, sera l'un des plus sûrs remparts de la justice.

Il fixera une fois pour toutes d'une manière certaine, les bases du patrimoine de l'Etat. Il calculera les richesses de ses vastes possessions. Il répartira les impôts parmi ses sujets dans une proportion immuable et inaccessible aux variations que peut causer le flux et le reflux *des signes représentatifs* de la richesse.

Il restreindra en particulier les dépenses qui ne sont pas profitables à l'Empire et qui n'ajoutent pas à l'éclat de sa couronne; Il réduira sa Cour, Il en chassera cette foule de flatteurs et de courtisans serviles qui se figurent impudemment que la fortune de l'Empire leur appartient et qu'ils ont droit avant tous les autres hommes à la faveur de l'Empereur, par cette seule raison que le hasard les a placés près de Sa personne.

Il modèrera le goût frivole du luxe dans les constructions, c'est-à-dire le goût des embellissements des rues et des places dans les capitales, quand on ne voit encore dans tout le reste de l'empire que des *cabanes sans toitures*. Il ne fera pas appel aux arts pour se faire élever des monuments; mais Il trouvera des monuments plus solides dans l'extrême sagesse de ses institutions et dans l'amour de son peuple: ceux-là ne peuvent être détruits par le temps, et au lieu d'inspirer la vaine admiration de la curiosité, ils excitent le respect de tous les siècles et de tous les peuples!

En général, Il considèrera le produit de la sueur sanglante de ses sujets comme dédié au bien commun et Il recherchera, avant tout, ce qui est beau *moralement*.

Il négligera de s'occuper de détails et de dépenser à des riens le temps précieux qui peut à peine suffire aux préoccupations *générales* du souverain du plus vaste Empire du monde. Il embrassera d'un coup d'œil des masses entières, donnera une impulsion régulière aux roues principales de la grande machine de l'Etat -- et toutes les autres marcheront régulièrement!

Comme les lois les plus parfaites seraient inutiles à un peuple corrompu, et resteraient inintelligibles pour un peuple d'ignorants. Il donnera sans

doute toute son attention à l'éducation de ses sujets, conformément aux besoins locaux et individuels de chacun d'eux.

D'un autre côté, Il travaillera également à moraliser ce qu'on appelle les dernières classes. Il assurera les droits de l'humanité aux paysans des seigneurs; Il les fera participer à la propriété et fixera des limites à leur dépendance.

J'ai entendu dire que notre jeune souverain recevait avec indifférence les acclamations uniformes de ces poètes qui récitent leurs flatteries apprises par cœur à tous les tzars, sans exception, et affirment à chacun d'eux qu'il vaut mieux que son prédécesseur; c'est ce qui m'a inspiré la hardiesse d'émettre ces pensées...

O Toi que mon cœur adore! ne rejette pas cette offrande que je Te fais sincèrement et dans le but le plus désintéressé...

Sire! je me prosterne à Tes pieds et je les arrose des larmes du dévouement éternel le plus pur!.. Tu es le génie bienfaiteur de ma chère Patrie!..

II

〈Le marquis Poza〉

Le lendemain, Trochtchinsky annonça à l'empereur qu'il amenait avec lui l'auteur de la lettre, et que c'était un employé de ses bureaux, nommé *Vassily Nazarovitch Karazine*. L'empereur, après avoir congédié Trochtchinsky, fit appeler Karazine dans son cabinet et, lorsqu'ils furent complètement seuls, lui dit:

— C'est vous qui m'avez écrit cette lettre?

— C'est moi qui suis le coupable, Sire,— répondit Karazine.

— Laissez-moi donc vous embrasser; je vous remercie, je voudrais avoir beaucoup de sujets comme vous. Continuez à me parler toujours aussi franchement, continuez à me dire toujours *la vérité!*

L'empereur le pressa contre sa poitrine, et Karazine, pleurant comme un enfant, se jeta à ses pieds en disant:

— Je jure de Vous dire toujours la vérité.

Alexandre le fit asseoir, causa longtemps avec lui, lui ordonna de lui remettre ses lettres à lui-même.— Les portes du cabinet de l'empereur furent ouvertes pour lui...

*Laissez entrer chez moi le marquis Poza
Sans aucune formalité préalable.*

...Notre marquis Poza avait commencé déjà sa carrière politique deux ans auparavant. A vingt-cinq ans il avait abandonné le service militaire. Plein d'instruction et doué d'une rare variété d'aptitudes, il avait pris congé du régiment Séménovsky pour étudier la Russie et s'occuper des sciences exactes. La frénésie de Paul avait alors atteint à son plus haut degré de violence. Lorsque le jeune homme avait envisagé la situation de la malheureuse Russie, tiraillée tantôt à droite, tantôt à gauche, et sans discernement par ce maniaque, une telle horreur, une telle indignation et un tel désespoir s'étaient emparés de son âme qu'il avait résolu de partir à tout prix pour l'étranger.

Il était défendu de délivrer des passeports, et l'on n'avait pas permis à Karazine de quitter la Russie. Il avait alors résolu de passer la frontière sans passeport. Au passage du Niémen, il avait été pris par des dragons et conduit à Kovno.

La perte de Karazine était inévitable. Il eut recours au moyen de salut le plus dangereux et présentant le moins de chances de succès; — ce fut ce moyen qui le sauva. Pour prévenir le rapport officiel de l'autorité, il envoya, le 14 avril 1798, par estafette, la lettre suivante à Paul:

Sire,

Un criminel infortuné prend la hardiesse de T'écrire: son crime est d'avoir désobéi à Tes ordres, autocrate de la Russie, mais non d'avoir violé les lois de l'honneur, de la conscience, de la religion et de la patrie. Daigne l'écouter avant de le condamner. Qu'un seul rayon de Ton esprit tombe sur moi avant que l'éclair de Ta colère m'anéantisse!

J'ai voulu abandonner ma patrie, le grand pays sur lequel s'étend Ta domination; j'ai tenté d'enfreindre Ta volonté qui m'avait été *doublement* exprimée, c'est-à-dire à la fois d'une manière générale, comme à tous les Russes, et individuellement. Pendant la nuit du 3 de ce mois, j'ai été arrêté par une patrouille du régiment de grenadiers de Catherine, au moment où je traversais le Niémen à Kovno: un rapport officiel ne tardera pas à Te parvenir à ce sujet.

Vraisemblablement on va chercher des renseignements sur moi à Saint-Pétersbourg, où j'ai résidé pendant quelque temps, et dans la province de l'Ukraine, où je suis né et où j'ai des biens. J'ose affirmer ici à l'avance que ces renseignements ne fourniront pas de nouveaux chefs d'accusation contre moi. Je n'avais nullement besoin de chercher mon salut dans la fuite, et le motif réel de ma fuite restera un problème pour mes juges.

Reçois donc ici ma confession: j'ai voulu me mettre à l'abri de Ton gouvernement, parce que ses rigueurs m'ont épouvanté. De nombreux exemples de sévérité, colportés par la renommée d'un bout à l'autre de Ton empire, et sans doute exagérés par elle, poursuivaient jour et nuit ma pensée et mon imagination. Je ne me connaissais pas de crime. Au milieu de l'isolement de la vie champêtre, je ne pouvais avoir ni occasion ni sujet de T'offenser. Mais l'indépendance seule de mes idées pouvait être déjà un crime...

Maintenant Tu es libre de me punir et de justifier mon effroi, ou de me pardonner et de me forcer à verser des larmes de repentir en reconnaissant que j'ai conçu une si fausse idée d'un empereur grand et clément!

Il n'arrivait pas souvent à Paul de lire de pareilles lettres. L'idée de son despotisme avait épouvanté un jeune homme au point de le décider à fuir, et l'ingénuité avec laquelle ce jeune homme avouait son crime, le surprirent à l'improviste. Prenant la troisième position de la danse et s'appuyant avec pédanterie sur sa canne, Paul dit, de sa voix rauque, au *criminel* amené en sa présence: «Je te montrerai, jeune homme, que tu te trompes, et que le service peut être tolérable en Russie, même sous mon règne. Auprès de qui veux-tu prendre du service?» Bien que l'intention qu'avait eue Karazine de passer la frontière ne témoignât pas précisément un violent désir de goûter aux charmes du service de Paul, il n'y avait pas à réfléchir, et Karazine nomma Trochtchinsky. Paul ordonna de l'inscrire au nombre des employés de Trochtchinsky, et de ne plus l'inquiéter.

Un pareil homme était un trésor pour Alexandre; il semblait qu'il l'eût compris. L'activité infatigable de Karazine et son savoir aussi profond que varié étaient faits pour frapper l'empereur: en effet, il était à la fois astronome, chimiste, agronome et statisticien; ce n'était pas un rhéteur comme Karamzine, ni un doctrinaire comme Spéransky, c'était un homme d'un esprit vivant, qui jugeait toutes questions à un point de vue nouveau et proposait pour chacune une solution parfaitement juste.

Tout d'abord, l'empereur envoie sans cesse chercher Karazine et lui écrit des billets de sa propre main ¹. Karazine, enivré par ses succès, sent ses forces se décupler; il compose des projets, et entre autres le projet d'un ministère de l'instruction publique;

¹ Nous aurions bien désiré voir ces billets. De semblables trésors appartiennent à l'histoire et ne doivent pas rester cachés.

il présente un mémoire sur l'*extirpation de l'esclavage* (c'est-à-dire du servage) dans le peuple; en même temps il rédige des notes sur les écoles populaires et compose lui-même deux catéchismes, l'un *laïc* et l'autre spirituel, puis tout à coup, au moment même où sa faveur est à son comble, il prend son congé et va se perdre dans la Petite-Russie, son pays. Ne croyez pas qu'il est allé se reposer et rassembler de nouvelles forces; non, de tels hommes ne se fatiguent pas, et il revient à Pétersbourg au bout de quelques semaines avec 618 000 roubles argent, qu'il a obtenus, à force de prières et de larmes, de la noblesse et des marchands de Kharkov et de Poltava, pour la création d'une université à Kharkov. L'empereur veut le récompenser, mais Karazine refuse et lui répond: «Sire, je me suis mis aux genoux des nobles et des marchands, j'ai obtenu d'eux de l'argent par mes larmes et mes prières, et je ne veux pas qu'il soit dit que j'aie fait tout cela dans le but d'obtenir une récompense».

Alexandre est content de lui et tout va bien, mais on sent déjà les effets d'une certaine influence malveillante qui tantôt sème des pierres sur son chemin, et tantôt enraie ses roues...

Le projet du ministère de l'instruction publique est confirmé, mais il n'est déjà plus le même; le projet de l'université de Kharkov est aussi confirmé, mais le plan colossal de Karazine est réduit aux proportions médiocres d'une université provinciale (*Hochschule*) allemande. Karazine rêvait une école centrale destinée non seulement à la Petite-Russie, mais aussi aux Slaves du Sud-Ouest et même aux Grecs. Il voulait y attirer les noms les plus illustres et les plus distingués du monde savant. Laplace et Fourier avaient consenti à se rendre à son appel, mais le gouvernement les trouva trop chers pour sa bourse.

Remarquant à peine l'*insuccès de ses succès*, Karazine fait venir de l'étranger à Kharkov, à ses propres frais, trente-deux familles de typographes, de relieurs et d'autres ouvriers, et se fait voir au palais de l'impératrice-mère, pour qui il écrit un traité sur l'éducation des femmes, des articles sur l'éducation des enfants, etc. Cependant, tout cela ne le détourne nullement des autres occupations que lui a confiées Alexandre, ni des autres travaux qu'il a entrepris. Dans l'espace de deux ans et indépendamment de ce qui précède, il trouve le temps de composer des statuts pour l'Académie,

pour les universités et les écoles, de réunir des matériaux pour l'histoire des finances et pour l'histoire de la médecine en Russie, de s'occuper à rassembler les premières données statistiques et de mettre en ordre les archives de l'Empire.

En 1804, Karazine revint d'une enquête qu'il avait dirigée conjointement avec Derjavine, contre le gouverneur Lopoukhine. Les abus de cet homme, qui avait trouvé de puissants protecteurs, furent découverts et on le mit en jugement. Il restait à récompenser les fonctionnaires qui avaient mené le procès; mais le marquis Poza était arrivé au bout de sa laisse, et l'on ne devait pas lui permettre d'aller plus loin.

Sans se douter de rien, il se présenta à l'empereur, l'empereur le reçut les sourcils froncés. Karazine resta comme trappé par la foudre.

— Tu te vantes des lettres que je t'écris?

— Sire...— Mais l'empereur ne lui permit pas de répondre.

— Des étrangers savent des choses que je n'ai écrites qu'à toi et dont je n'ai fait part à personne. Tu peux t'en aller.

Karazine sortit et tout fut fini entre eux. Karazine présenta sa démission, qui fut acceptée par l'empereur.

Ainsi, en 1804, l'empereur ne savait pas que le contenu des lettres peut aussi être connu des *fonctionnaires de la poste et de la police secrète*.

Cela nous rappelle une triste anecdote que racontait N. J. Tourguéneff. Alexandre se trouvant à je ne sais quel congrès, reçut une supplique d'un paysan qui avait été vendu par son propriétaire, et demanda à Tourguéneff «si la loi permettait de vendre des paysans sans la terre qu'ils cultivent, et si la vente d'un paysan, séparément de sa famille, était tolérée?» Tourguéneff, qui connaissait l'obscurité du Code sur ce chapitre voulut profiter de la question de l'empereur pour abolir la vente forcée des paysans, et il va sans dire qu'il n'y réussit pas. Après une séance du Conseil d'Etat, dans laquelle Tourguéneff s'était échauffé à ce sujet; V. Kotchoubey, le président, s'approcha de lui et lui dit en souriant avec amertume: «Vous croyez donc qu'il en résultera quelque chose?.. *Etonnez-vous plutôt d'une chose, c'est que l'empereur, qui règne depuis vingt ans, ignorait qu'on vendit chez nous les paysans à la pièce!*»

Le péché originel

Le gouvernement institué par Pierre I^{er} est singulièrement *indépendant*. Il a des vues, des intérêts, des rapports, mais il n'a pas d'*obligations morales*.

En s'affranchissant des traditions surannées de la maison paternelle, il a en même temps rompu tous les liens du sang qui l'enchaînaient et ne s'en est pas imposé de nouveaux; il a livré en servitude sa propre mère à un beau-père étranger, mais sans vouloir se soumettre lui-même à qui que ce soit.

Il a fait un choix dans les éléments complexes et dans les principes si variés de la vie occidentale, et il a escamoté ceux qui ne lui convenaient pas. Dans le thème de l'organisation européenne, où les contradictions même servent à adoucir les parties saillantes et à corriger les points extrêmes, de manière à en faire un certain ordre de choses — il n'a choisi que des sons partiels qui perdaient leur harmonie et leur sens. Il a pris tout ce qui rehaussait le pouvoir et tout ce qui écrasait l'homme; — il a laissé de côté tout ce qui protégeait les individus; il a complété le système religieux de l'inquisition par des tortures d'invention tartare, la hiérarchie allemande par la prosternation byzantine.

La *parole* humaine, écrasée et méprisée de la manière la plus absolue, n'a reçu de lui une force d'*action* quelconque que lorsqu'elle promettait la délation; alors il lui a donné le pouvoir de menacer, de frapper implacablement!

Un pareil gouvernement, s'affranchissant de tous principes moraux et de toute obligation autre que celle de sa propre conservation et de la garde des frontières — n'existe pas dans l'histoire. Le gouvernement de Pierre I^{er} est l'abstraction la plus monstrueuse à laquelle puisse s'élever la métaphysique germanique dans la conception d'un *Polizeistaat*. Ce gouvernement n'existe que pour lui-même, la nation n'est qu'un instrument pour lui. Il n'a égard en aucune façon ni à l'histoire, ni à la religion, ni aux habitudes, ni aux aspirations du cœur humain; la force matérielle est son seul idéal, la puissance matérielle est la seule intelligence qu'il reconnaisse.

Admettons que la Russie eût été conquise par la Pologne, par exemple,— il y aurait eu lutte. La noblesse polonaise aurait apporté ses traditions de libre arbitre seigneurial, et l'on aurait vu surgir du sein de la nation offensée, comme on l'a vu dans la Petite-Russie et dans la Grande-Russie du temps des faux Démétrius,— des Liapounoff, des Minine, des Pojarsky ou des Khmielnitsky. Deux éléments opposés en seraient venus aux prises. Le vainqueur aurait regardé le vaincu et se serait demandé en quoi consistait son originalité, en quoi consistait sa nationalité. Mais la conquête de la Russie par Pierre I^{er} ayant été consommée sans invasion de soldats de race étrangère, sans apparition d'un drapeau ennemi et enfin sans batailles, a surpris tout le pays à l'improviste. La nation a commencé à deviner qu'elle était vaincue, lorsque toutes ses places fortes étaient déjà au pouvoir de l'ennemi. Aux yeux des *vainqueurs*, la nation vaincue n'avait même pas l'attrait de la nouveauté et de l'inconnu; au contraire, l'opresseur avait appris, en se détachant de la vie nationale, à mépriser la *plèbe* russe; il croyait fermement la connaître et sentait bien qu'il était de son sang et de sa chair, mais il se croyait lui-même affiné par la civilisation et appelé à gouverner cette *plèbe*.

Autour de Pierre vient se grouper une foule bigarrée, composée d'aventuriers, de gentilshommes vagabonds, d'étrangers, de soldats de fortune sans patrie; ces nouveaux venus se confondent pêle-mêle avec les descendants des anciens seigneurs russes et avec des intrigants appartenant à cette race éternelle, qui a pour vocation de ramper aux pieds de tous les pouvoirs et de profiter de toutes les faveurs. Cette foule croît et se multiplie avec rapidité, laissant partout après elle ses rejetons parasites.

Petit à petit cette moisissure se répand par toute la Russie, elle se traîne dans la boue et sur la neige, ayant à la main un diplôme d'officier, un décret de nomination à des fonctions quelconques, ou un contrat d'achat ¹; affamée et avide, cruelle vis-à-vis du peuple, bassement servile vis-à-vis de l'autorité, elle forme comme un vaste filet gardé par des soldats — se terminant en haut par un nœud qui est le Palais d'Hiver, et retenant en bas,

¹ Un contrat d'achat de serfs ou de terre.

dans chacune de ses mailles, les paysans et les villages. C'est un empire éparpillé de seigneurs-fonctionnaires et d'une soldatesque effrénée. Dans cet empire, tout est rasé, — la barbe, l'autonomie des provinces, l'individualité de chacun. Il s'habille à la mode allemande et s'efforce de parler français.

Le peuple regarde avec horreur et indignation ceux qui l'ont trahi, mais la force est de leur côté, et il a beau gémir et se révolter, la capitation et les recrutements, les corvées et les tributs, le bâton et les verges n'en continuent pas moins à fonctionner. Il a murmuré, il a tenté des soulèvements partiels; il a conspiré avec les cosaques et les Tatares, et une fois même tenté un soulèvement général... On a envoyé des troupes et encore des troupes... et le knout a recommencé à rendre ses arrêts comme auparavant. Etourdi par la souffrance, écrasé sous le désespoir, le peuple a fini par tomber lourdement à terre, et il y est resté engourdi pendant près de cent ans.

C'est seulement à partir de ce moment-là que la Russie de Pierre I^{er} est devenue cette mer morte et muette, que les plus violents ouragans n'auraient pu soulever.

Jusqu'en 1770 environ, les soldats de fortune et les sergents de Pierre I^{er} ne vécurent pas sous la loi commune. Ces hommes ivres de vin et de sang, habitués à la hache du bourreau et aux gémissements des victimes, léchant le pouvoir qui les rossait à coups de bâton, pleins d'une arrogance hautaine et absolument étrangers à tout sentiment d'honneur, — se souvenaient trop bien combien il est facile, dans un empire où la nation n'est rien, de placer sur le trône le premier venu et de l'en chasser quand on n'en veut plus.

Ils savaient bien qu'ils avaient leur part dans le «Nous, par la grâce de Dieu» impérial... Les plus clairvoyants d'entre eux voulurent restreindre l'autocratie à leur profit, mais les vrais *sergents* prétoriens préférèrent étouffer les tzars et faire asseoir leurs maîtresses à leur place. Cette livrée arrogante était dangereuse et exigeante. Le prince Grégoire Orloff trouva que c'était trop peu de posséder Catherine, et il voulut être son mari. Catherine, sachant combien il était facile de porter les liens du mariage, y consentit, mais les autres soldats de fortune et les autres *sergents* ne voulurent pas le permettre. Le nom du prince

Jean Antonovitch fut prononcé — elle le fit tuer comme un chat; le nom de la princesse Tarakanoff fut mis en avant, elle la fit voler comme on vole un petit chien.

La terreur était le mobile de tous ces crimes. Une terreur fébrile et invincible s'emparait de l'homme dès qu'il était assis sur le trône de Pierre, souillé de taches de sang. Il était difficile de se reposer sur des sujets de l'espèce des soldats de fortune et des aventuriers allemands; quant à compter sur le peuple, sur ce peuple qui avait été foulé aux pieds dans la boue, puis donné à la noblesse, il y fallait songer encore moins — ce peuple n'existait pas. Les monarques cherchèrent à s'étourdir dans la débauche et s'efforcèrent d'oublier leur situation, mais la terreur prit le dessus malgré tout et ils furent tout à coup saisis d'épouvante, comme un homme debout sur une corde tendue: au-dessous d'eux, ils voyaient ondoyer une foule de têtes, qui restaient baissées vers la terre et qui étaient si loin que le son de la voix ne pouvait arriver jusqu'à elles; à côté d'eux... un complet isolement eût été préférable... à côté d'eux, des soldats de fortune, des complices, et c'était tout... Ils s'effrayèrent de leur propre stérilité et envoyèrent chercher partout, chez les landgraves et les archevêques allemands, une goutte du sang de Pierre I^{er} dans les veines d'un collatéral d'une parenté de la quatrième ou de la cinquième génération, ou bien *commandaient à la hâte* des enfants, comme Elisabeth en commanda à Catherine ¹, et en attendant ils tremblaient devant tout, redoutaient tout, voyaient partout un soldat ivre... portant le grand-cordon de Saint-André et une grande corde de chanvre.

Quelqu'un a passé — et tout a changé. Les nuages se sont dispersés et les alliés naturels ont pu se reconnaître. Le monde a pu considérer le tableau d'un bonheur domestique suprême; il a vu Catherine — la divine *Felicia* de Derjavine — «la mère de la patrie», trôner avec calme au sommet de la force et de la puissance, souriant avec bienveillance aux soldats de fortune et aux sergents, aux sénateurs et aux chevaliers prosternés à ses pieds, jouissant enfin d'une adoration et d'un respect universels. Parée de verroteries imitant les diamants *encyclopédiques*, elle brillait

¹ Voir les *Mémoires de Catherine II*, Londres, 1860.

de la sagesse de Beccaria et de la profondeur de Montesquieu; elle adressait des discours à l'antique aux propriétaires-seigneurs des steppes et coiffait ses *balafrés* de casques romains... Elle appelait à elle des législateurs qui regardaient *sa volonté* comme une *loi*... Ses capitaines lui remportaient des victoires sur terre et sur mer. Derjavine la célébrait dans ses lourdes strophes, et Voltaire l'exaltait dans sa prose légère; et elle — enivrée de sa puissance et aimante — donnait tout à *son* peuple: son corps, les âmes des cosaques libres et les biens des couvents. «Gloire à toi, gloire à toi, Catherine!»

Qui avait fait ce miracle? Qui avait enchaîné au char de la Russie ces rénégats et ces Allemands? Qui avait soudé à la *Felicia*¹ tous ces aventuriers turbulents et ces sergents sanguinaires?

C'était une vieille femme dans le genre de la Korobotchka de Gogol, possédant quelques serfs au milieu de la steppe, qui les avait *ensorcelés*.

Voici comment se passa la chose: Pougatcheff s'arrêta un jour dans sa propriété; la vieille dame eut peur et sortit pour inviter Sa Majesté à manger chez elle «le pain et le sel».

— Eh bien,— demanda aux paysans l'empereur cosaque,— comment se comporte-t-elle à votre égard?

— Votre Majesté, nous ne voudrions pas charger notre âme d'un péché, nous sommes très contents de notre maîtresse, c'est une mère pour nous.

— C'est bien, ma bonne vieille, j'irai chez toi et je boirai de ton eau-de-vie, tes gens disent du bien de toi.

La vieille le traita de son mieux. Pougatcheff prit congé d'elle et se disposa à remonter dans son traîneau. Le peuple l'attendait. Les visages étaient mécontents.

— Qu'avez-vous donc? Parlez hardiment?

— Mais, Votre Majesté, alors nous allons donc... c'est-à-dire nous serons donc obligés à rester comme nous sommes?

— Eh bien?

— Cependant, père, quand tu étais là-bas, dans l'autre village, tu y as pendu un propriétaire avec tous ses petits enfants, et alors nous... c'est-à-dire, que feras-tu pour nous?

¹ *Felitza*, nom de fantaisie; c'est le titre d'une ode du poète Derjavine en l'honneur de Catherine II.

— Mais vous dites, enfants, que la vieille est une brave femme?

— C'est vrai, Votre Majesté, c'est une bonne femme, mais cela ne fait rien, il vaut toujours mieux en finir.

— Eh bien, soit, mes amis, comme il vous plaira, finissons en.

— C'est dommage, bien dommage, mais il n'y a rien à faire,— dirent les paysans en le remerciant et se dirigeant vers la vieille, qui rangeait tranquillement sa vaisselle en se réjouissant de ce que le tzar lui avait *pardonné*; et ils la pendirent tranquillement à une traverse, à son très grand étonnement. — Je pense que c'est cette vieille dame qui a jeté un sort aux soldats de fortune mutins et aux sergents ambitieux.

Ils se sont pris à réfléchir en voyant cet exemple de justice *impartiale* et cosaque.

«Est-ce donc ainsi que nous l'avons fouetté à mort, lui, le peuple? — se dirent-ils.—La justice *impartiale* peut donc arriver à chacun de nous? Non! assez de complots, nous ne pouvons rien sans le secours de l'impératrice».

Et c'est ainsi que finit la querelle domestique.

A partir de cette époque, le gouvernement n'a plus osé tendre la main aux paysans en aucune occasion. La noblesse a perdu à la fois tout sens de dignité civique devant le gouvernement et tout sentiment de pudeur morale vis-à-vis des paysans. Il s'est formé dès lors deux Russies bien distinctes qui ont cessé définitivement d'avoir rien de commun l'une avec l'autre. Chacune a eu sa morale et sa croyance personnelle. Le paysan, épouvanté, s'est réfugié dans son village, craignant son seigneur, craignant le bailli, craignant la ville, où tout le monde pouvait le battre, où son kaftan et sa chemise rouge le faisaient mépriser, où enfin il ne voyait de barbe que sur les images du Christ. Le propriétaire-seigneur, tout en versant des larmes sincères à la lecture des contes de Marmon- tel, faisait rosser dans son écurie, avec la plus parfaite indiffé- rence, le paysan qui ne pouvait payer ses arrérages. Le paysan s'est mis à tromper son propriétaire et le juge avec la plus parfaite tranquillité de conscience.— «Tu es donc un seigneur,— di- sait une vieille femme à un cocher de profession,— pour manger gras en carême? Un seigneur peut manger à son idée, mais toi, pourquoi n'obéis-tu pas à la loi divine?»

On ne saurait imaginer une ligne de démarcation plus nette.

Le peuple était brisé. Sans murmurer, sans se révolter, sans espérer, il subit, en serrant les dents, les *coups de verges* par lesquels on faisait passer une génération après l'autre. Le calme se fit par tout l'empire, les paysans payèrent leur tribut à leurs maîtres et s'acquittèrent de leurs corvées; on put sonner l'hallali, les cerfs étaient à bout—le cœur maternel de l'impératrice put tressaillir d'allégresse.

Le trône de Saint-Pétersbourg se consolida. La chaîne aux quatorze anneaux de la table des rangs, fixée au sol par les baïonnettes et les crosses des fusils, lui servit de point d'appui, et la noblesse des provinces lui vint encore en aide en suçant le sang des paysans. Une pâle et froide lumière de l'Occident promena sa lueur sur le sommet de la pyramide, éclairant l'un de ses côtés de ses vagues rayons, et laissant l'autre côté dans des ténèbres où il était impossible de distinguer autre chose qu'un corps mutilé, couvert de nattes grossières et attendant *celui* qui devait décider s'il était mort ou vivant... Il semblait que la victoire fût complète.

Mais la révolution opérée par Pierre I^{er} introduisait dans la vie de la Russie noble un nouvel élément qu'on pourrait comparer à une arme à deux tranchants. Pierre fut séduit par le côté matériel de la civilisation et par le côté pratique de sa science; il vit dans la richesse de ses ressources une mine féconde à exploiter au profit de la puissance impériale; mais il ne savait pas quelles épines étaient cachées sous les roses de l'Occident, ou bien encore il méprisait trop son peuple pour supposer qu'il songerait à emprunter à l'Occident autre chose que l'art de faire des fortifications et de construire des navires, ou son organisation administrative. Mais la science est comme un ver, elle ronge jour et nuit jusqu'à ce qu'elle arrive à la surface, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle se fasse jour dans les esprits, jusqu'à ce qu'elle devienne une conviction; or *il est des convictions* qui, semblables à un remords de conscience, fermentent au sein des peuples jusqu'à ce qu'elles soulèvent la masse entière.

Voici ce qui arriva en 1789: un jeune homme sans importance, après avoir soupé à Saint-Pétersbourg avec ses amis, partit pour

Moscou dans une kibitka attelée de chevaux de poste. Il dormit jusque passé le premier relais. Au second, à Sophia, il dut faire toutes sortes de démarches pour obtenir des chevaux, et sans doute cette circonstance le réveilla tout à fait, car lorsqu'il fut emporté par trois chevaux frais, faisant sonner leurs grelots, il se mit, au lieu de dormir, à écouter la chanson du postillon, en respirant l'air frais du matin. Alors d'étranges idées s'emparèrent de cet homme. Voici ses paroles :

« Mon postillon a entonné, comme à l'ordinaire, une chanson pleine de mélancolie. Quiconque connaît les chansons populaires russes comprend bien qu'elles révèlent une secrète douleur morale. La musique de presque toutes ces chansons exprime la tendresse. *Cette disposition musicale du peuple renferme peut-être de profonds enseignements pour ceux qui tiennent les rênes du gouvernement. On y trouve l'expression réelle de l'état de l'âme du peuple. Considérez attentivement un Russe, et vous le trouverez triste. Pour dissiper son ennui, il va au cabaret... Le pauvre diable de paysan qui va au cabaret en branlant la tête et qui en revient couvert de sang et de meurtrissures, peut servir à expliquer bien des points de l'histoire russe qui, jusqu'à présent, sont restés à l'état de problèmes.* »

Le postillon continue sa chanson mélancolique; le voyageur suit toujours son idée, et avant d'arriver à Tchoudovo, il se rappelle tout à coup qu'un jour, à Saint-Pétersbourg il a frappé son domestique Pétrouchka pour s'être grisé; il se met alors à pleurer comme un enfant et, sans égard pour l'honneur de la noblesse, il a l'impudeur d'écrire cette phrase : « Oh ! s'il m'avait rendu mes coups ! »

Dans cette chanson, dans ces larmes, dans ces paroles perdues sur une grande route entre deux relais de poste — il y avait un *punctum saliens* — un premier cri de conscience.

L'impératrice Catherine avait compris la chose, elle daigna dire « avec chaleur et *sensibilité* » à Khrapovitsky : « *Radichtcheff est un rebelle plus dangereux que Pougatcheff !* »

Il serait puéril de s'étonner qu'elle l'ait envoyé chargé de chaînes à la prison d'Ilimsk. Il faut bien plutôt s'étonner que Paul l'en ait fait sortir; mais il ne le fit que par haine pour sa défunte mère...

A partir de ce moment, on voit de temps en temps briller quelques éclairs sans tonnerre qui se perdent de suite dans les ténèbres du firmament. On voit surgir quelques hommes qui semblent la vivante incarnation d'un remords historique, rédempteurs impuissants, victimes innocentes souffrant le martyre pour les péchés de leurs pères. Beaucoup d'entre eux étaient prêts à tout donner, à tout sacrifier, mais il n'y avait ni autels ni prêtres pour recevoir leur sacrifice. Les uns frappèrent aux portes du palais des tzars et les supplièrent à deux genoux de faire un retour sur eux-mêmes; leurs paroles semblèrent impressionner les monarques, mais il n'en résultait rien; les autres frappèrent à la porte des chaumières, mais ils ne purent faire rien comprendre au paysan tant leur langage était différent du sien. Le paysan regarda d'un air refrogné et méfiant «ces *Danaos* lui apportant des présents», et ils s'éloignèrent de lui le cœur gonflé d'affliction et de regrets en reconnaissant qu'ils n'avaient plus de patrie.

Orphelins de la pensée, étrangers dans leur propre pays, isolés les uns des autres, ces quatre ou cinq héros de la Russie périrent dans l'oisiveté, entourés d'indifférence, de haine et d'ignorance. Novikoff et Radichtcheff, mis en liberté — virent la *Russie de Paul I^{er}*. Beau spectacle — en vérité!

...Il n'est donc nullement étonnant que tous aient levé des regards d'espoir vers Alexandre.

Jeune, beau de sa personne, Alexandre avec son air doux et rêveur, avec son extrême affabilité, était fait pour les charmer. Ne souffrait-il pas comme eux des maux de la Russie? Ne voulait-il pas comme eux les guérir?.. Et *qui plus est, il pouvait* les guérir, comme ils le croyaient.

Et Radichtcheff, qui avait payé d'un si long emprisonnement sa compassion pour le peuple russe, va avec la même foi que Karazine offrir le secours de ses forces au jeune empereur, qui l'accepte. Radichtcheff se met à l'œuvre avec ardeur et il compose toute une série de projets de lois devant conduire à l'abolition du servage et des peines corporelles. Puis tout à coup il rencontre sur son chemin, non pas un postillon cette fois, mais le comte Zavadovsky, qui lui conseille «de ne plus rêver»; il reste court, le doute et l'effroi s'emparent de lui; il réfléchit, réfléchit toujours, et enfin se verse un verre de vitriol et l'avale. Alexandre lui envoya

Willier, son propre médecin, mais il était trop tard. Willier se borna à dire en voyant les traits de l'agonisant: «Cet homme devait être bien malheureux!»

— Oui, bien malheureux en effet!

C'était pendant l'automne de 1802, Karazine était alors *dans toute sa force*; il avait très bien connu Radichtcheff, à qui il avait même un jour égaré tout un cahier de projets, mais la fin tragique de Radichtcheff n'était pas faite pour l'effrayer. Exilé du palais, il y revient cinq, dix, vingt et même *trente* ans plus tard avec son projet d'affranchissement des paysans et de représentation de la classe noble, qui devait révolutionner l'empire *du haut en bas*. Enfin, sans s'apercevoir que Nicolas règne déjà, il frappe aussi à sa porte et explique à ce brave caporal «qu'il s'élève des tempêtes, qu'il peut arriver des malheurs et qu'il faut faire des concessions pour sauvegarder le trône». Et il ne peut arriver à comprendre pourquoi Alexandre l'a fait jeter, en 1820, dans une forteresse et pourquoi Benkendorf, le chef de la police, l'a fait chasser de l'antichambre de Nicolas par des gendarmes.

Spéransky aurait pu lui dire comment les collines escarpées de la plate ville de Pétersbourg éteignent l'ardeur du meilleur coursier, et font de lui une vénérable rosse d'attelage se prélassant gravement sous le harnais.

Mais comment ces gens pouvaient-ils se tromper à ce point, ou pourquoi Alexandre les trompait-il? Alexandre ne les trompait pas. Nous n'avons aucun droit, au moins jusqu'à 1807, de douter de son désir sincère d'améliorer le sort de ses sujets et de protéger les paysans contre les *abus* des propriétaires, contre les *abus* des fonctionnaires, contre la prévarication des juges et contre l'injustice des forts. Alexandre ne considérait pas exclusivement comme le but de son règne le maintien et l'augmentation de sa puissance, comme aurait pu le faire un Nicolas quelconque. Il ne voulait pas que sa parole produisît l'effet d'une dose de strychnine, il voulait être craint, mais aussi être aimé. Dans les instants même où il était le plus surexcité, il était capable non pas seulement d'écouter l'avis d'autrui, mais encore de l'accepter. En 1812, après avoir décidé que Spéransky, très innocent, serait fusillé dans les vingt-quatre heures, il lui fit grâce de ce supplice insensé à la suite d'une conversation avec l'académicien Parrot.

Tout cela est vrai, mais quant à faire quelque chose de bon dans l'intérêt du peuple russe, *il ne le pouvait pas*. C'est cette impuissance qui constitue le côté tragique de son rôle.

Et qui sait d'ailleurs s'il ne s'est pas lancé dans des guerres extérieures parce qu'il commençait à voir distinctement le cercle de fer qui l'entourait, s'élargissant quand il ordonnait une levée de troupes ou quand il augmentait les charges du peuple, et se rétrécissant immédiatement dès qu'il faisait quelque chose *pour* le peuple? Il devient indécis, un sentiment de méfiance à l'égard des autres et de lui-même pèse sur lui; son hésitation croît après chaque défaite et après chaque victoire. Il revient de Paris plein d'un sombre mysticisme, — il ne voulait plus réformer ni améliorer; il rappelle Spéranski, mais ses projets restent relégués dans les archives, et lorsque Engelhardt lui parle de certaines mesures d'ordre à introduire dans l'administration civile, il lui répond tristement: «Où trouverons-nous des hommes?»

Il était fatigué de la puissance; il n'avait plus besoin de gloire, il ne demandait plus que la tranquillité, et parmi tous ses ministres et ses dignitaires, parmi ses généraux couverts de gloire, parmi tous ceux qui l'approchaient, il a choisi un bourreau sans âme, Araktchéieff, et lui a livré la Russie... Il s'est même arrangé pour qu'après la mort de ce bourreau elle passât entre les mains d'un *autre* Araktchéieff.

Il ne croyait pas à la noblesse et il ne connaissait pas le peuple. Comment s'en étonner si l'on considère qu'il avait à ses côtés des hommes comme Spéransky et son adversaire Karamzine, comme Chichkoff, le précurseur du slavisme, qui tous pouvaient *connaître le peuple, mais qui ne le connaissaient pas?* Comment s'en étonner lorsque les hommes les plus sages de l'empire, comme Mordvinoff, parlaient de la noblesse comme de l'unique soutien du trône; lorsque des sénateurs honnêtes, comme Lopoukhine, se révoltaient à la seule idée de l'*affranchissement des paysans?*

Il est fâcheux qu'Alexandre ait été un peu sourd et qu'il n'ait pas eu le goût de voyager seul en poste sur les grandes routes; peut-être lui aussi aurait-il été réveillé un matin par la chanson d'un postillon et peut-être y aurait-il trouvé ce qu'il ne trouvait pas dans l'Eckartshausen, c'est-à-dire *la clé des mystères du peuple.*

...Alexandre devait, pour connaître le peuple russe, faire plus que de tuer son père, il devait aussi renier la «très sage Catherine» et «Pierre le Grand»; renier enfin toute sa parenté et toute sa race. Il devait encore — c'est dur à avouer — il devait renier Laharpe, qui avait, il est vrai, le désir d'en faire *un homme*, mais qui n'aurait jamais compris «*que le pauvre diable de paysan qui va au cabaret d'un air morne et qui en sort le visage ensanglanté, peut fournir plus de données sur l'histoire de la Russie que l'ensemble de tous les faits politiques de son gouvernement*».

IV

Faremo da noi

Lorsque les portes du cabinet de l'empereur furent fermées pour Karazine, il fit encore une tentative et profita du droit qui lui restait de lui écrire. Mais le marquis Poza n'avait plus d'intérêt pour notre Don Carlos couronné; en outre, des questions d'une autre importance absorbaient et occupaient alors Alexandre: il se mesurait avec Napoléon et se préparait à la guerre qui devait finir par Austerlitz.

Karazine, de son côté, se met à s'occuper d'autre chose et, comme un amant repoussé, se jette *par dépit amoureux* dans des travaux de toute sorte pour tromper et lasser son activité. Dans son esprit ardent et inquiet passent, se succèdent et se combinent des mondes de pensées, des plans politiques et agronomiques, des théories scientifiques, des observations, des projets de machines et d'appareils, des procédés nouveaux pour la distillation de l'eau-de-vie et le tannage perfectionné des cuirs, des essais d'agriculture à l'aide de la colonisation étrangère, un moyen facile de conserver les fruits par la dessiccation, etc. La guerre commence, Karazine écrit aussitôt un mémoire sur les moyens d'augmenter la production du salpêtre; il fait des conserves de viande et en même temps s'efforce d'établir des observatoires d'astronomie pour toute la Russie. En 1808, il pose dans les termes les plus précis et les plus conformes aux données scientifiques, des problèmes de météorologie que la science actuelle n'a pas encore pu résoudre; il cherche les moyens d'utiliser l'électricité de l'atmosphère;

il fonde une société polytechnique en Ukraine, s'occupe de son université de Kharkov, etc., etc.

Mais la pensée principale, le grand tourment et le mobile réel de sa vie ne sont pas là.

En perfectionnant la fabrication de l'eau-de-vie et en s'efforçant de trouver l'emploi de l'électricité, Karazine suit à la piste avec passion d'autres événements, cherche d'autres paratonnerres... et le temps marche, marche toujours.

Il y a déjà vingt ans qu'Alexandre est monté sur le trône. Que de choses se sont passées depuis le jour où il lisait avec des larmes aux yeux la lettre de Karazine... Tilsit et l'année 1812, Moscou et Paris, le congrès de Vienne et Sainte-Hélène. L'opinion publique, éveillée par le fracas de tant de coups de canon et de tant de luttes, s'est mise à marcher en avant et le gouvernement s'est laissé distancer. Alexandre n'a pas tenu ses promesses. Le mécontentement se fait sentir. La nation, désappointée de n'avoir reçu que la lourde prose du manifeste de Chichkoff comme prix de tant de sang versé par elle, murmure en apprenant qu'on va faire une nouvelle levée de troupes destinées à soutenir une guerre insensée pour le maintien du joug autrichien en Italie, et à recommencer la glorieuse mais absurde campagne de Souvaroff.

La jeunesse énergique et éclairée jette des regards mornes vers l'avenir. Karazine voit tout cela et continue à croire qu'Alexandre *peut et veut* prévenir l'orage qui se forme à l'horizon.

Au commencement de l'année 1820, Alexandre fit remise au beau-père de Karazine d'une dette vis-à-vis du trésor. Karazine sollicita la permission de venir en témoigner lui-même sa reconnaissance à l'empereur, — on lui répondit par un refus. Karazine écrivit alors à l'empereur une lettre dont voici un passage:

«Je n'ai aujourd'hui rien de particulier à écrire à Votre Majesté; je la prierai seulement de demander au comte Kotchoubey une note de quelques pages que j'ai écrite pour lui, le 31 mars, à l'occasion d'une conversation que nous avons eue ensemble, et aussi au conseiller d'Etat actuel, prince Viazemsky, une lettre que le marchand Rogoff lui a écrite, le 1^{er} avril, et qu'il m'a lue il y a peu de jours. Je n'ai pu voir sans effroi entre moi et *un homme aussi éloigné de moi sous tous les rapports*, une aussi parfaite similitude

de pensées sur tous les points qui me préoccupent sans cesse *depuis* 1817, c'est-à-dire depuis l'époque où j'ai eu la hardiesse d'avouer mes préoccupations à Votre Majesté dans la lettre que je lui ai adressée de l'Ukraine. Je me suis souvenu malgré moi que, *de même* en France, on a entendu retentir de tous les côtés, comme un écho, la voix des hommes bien intentionnés, à l'approche du terrible bouleversement, et que *de même* cette voix a été méprisée! „Il est singulier que, dans ce siècle de lumières, les souverains ne voient venir l'orage que quand il éclate“, disait Napoléon à Las Cazas à Sainte-Hélène (p. 93, § CCCLVII). Un si étrange accord d'esprits différents et n'ayant rien de commun entre eux, mérite l'attention; *il doit* y avoir dans ces prévisions quelque chose de juste, d'autant plus que, depuis quelque temps, on voit les mêmes sentiments se manifester distinctement dans les sociétés des deux capitales de la Russie! Il suffit que la moitié, ou seulement *une partie quelconque* de semblables prévisions soit fondée!

«...Le temps, — dit-il, — dans la note remise à V. P. Kotchoubey par ordre de l'empereur, — le temps raffermira l'édifice aujourd'hui ébranlé de notre empire, le temps remplacera le respect *religieux* pour le trône par un autre respect fondé sur les lois.

Sans doute les choses traîneront en longueur un ou deux ans encore, peut-être même plus longtemps, mais c'est pour cela même que j'écris aujourd'hui, *c'est cela même qui me donne la hardiesse de tout dire*. Mon sort doit être ou d'aller en exil au delà du Baïkal pendant qu'on peut encore exiler, ou de mourir les armes à la main en défendant la dernière porte des appartements de mon souverain. Alors je n'écrirai plus».

Karazine supplie l'empereur «de ne pas ajouter foi aux gouverneurs de provinces qui lui disent *que tout va bien, que tout est comme par le passé*. Un grand changement, — dit-il, — s'est fait et se fait tous les jours dans les esprits...» Dans l'histoire du régiment Séménovsky, où il justifie et admire les soldats, il voit clairement «un degré de l'échelle que dresse *pour nous l'esprit du siècle*».

Mais quels sont ses moyens de conjurer la foudre? Les voici: «Affranchir graduellement les paysans et convoquer une réunion

de députés élus par toute la noblesse, pour représenter l'opinion publique dans le conseil privé du gouvernement». Karazine croit que ce conseil «pourra tout sauver sans que le pouvoir monarchique ait à souffrir aucune atteinte, si toutefois on s'y prend à temps. Ainsi, mon pays, tu peux, du bord de l'abîme, être sauvé par une sincère et fraternelle alliance de ton empereur avec sa noblesse! Que la volonté de Dieu soit donc faite!

...Que peut d'ailleurs risquer l'autocratie à se confier à une classe dont les destinées sont si étroitement unies aux siennes?

...Toutes les mesures dont peuvent disposer la censure de la police et la censure cléricale sont impuissantes à étouffer les idées qui se répandent aujourd'hui. Une rigueur excessive ne fait que révolter le cœur de l'homme. Une corde trop tendue finit par rompre subitement. Je vois d'avance dans beaucoup de nos roturiers et de nos affranchis des scélérats qui dépasseront Robespierre. Il existe même parmi les nobles des hommes qui, ayant dissipé leur fortune, élevés dans le vice et dans de mauvais principes et mécontents de leur sort, sont naturellement tout prêts à se joindre à la populace. L'époque de Pougatcheff, de la révolte de Moscou sous Eropkine, et les germes d'anarchie qui se sont manifestés lors de l'invasion, en 1812, dans diverses localités des gouvernements de Moscou et de Kalouga (?), suffisent pour faire prévoir ce que sera notre populace lorsqu'elle aura la liberté d'abuser de l'eau-de-vie! Malheur à nous! le trône sombrera dans le sang de la noblesse!»

A ce cri d'effroi et d'alarme, l'empereur Alexandre ordonna à V. P. Kotchoubey de demander à Karazine «des détails, des preuves, des noms», en d'autres termes une dénonciation. «Le Trajan et le Marc-Aurèle» se démasquait après vingt ans de règne!

Karazine refusa. L'empereur le fit emprisonner dans une forteresse, puis lui fixa comme résidence sa propriété de la Petite-Russie.

Pourquoi?

«Parce qu'il s'était mêlé de ce qui ne le regardait pas»; mais Karazine ne pouvait pas comprendre cela. «Depuis quand,— dit-il,— les affaires du pays où je vis, où vivront mes enfants et mes petits-enfants, ont-elles cessé d'être mes propres

*affaires?*¹ A quel système asiatique a donc été empruntée une idée pareille? *Instruire le gouvernement*, c'est une expression inventée pour blesser l'amour-propre des personnes qui composent le gouvernement et rien de plus. Dans ce cas, on doit considérer comme encore bien plus coupables les auteurs qui font des livres sur le meilleur système de législation et de finances. La vie de tous les hommes se passe à distribuer des enseignements et à en recevoir. Le gouvernement est un centre vers lequel doivent nécessairement confluer toutes les idées ayant trait au bien commun. *Malheur à nous si nous nous mettons à disserter sur la place publique*, comme les autres peuples!.. Y a-t-il donc aujourd'hui tant de gens en Russie *qui veulent, qui sachent et qui osent* dire quoi que ce soit au gouvernement? Il peut être tranquille à cet égard-là: *on ne l'importunera pas!*»

Quoi qu'il en soit, Karazine fut jeté en prison et put y méditer à loisir cette vérité: qu'il est plus dangereux de sauver les puissants de ce monde que de les pousser dans l'abîme.

Pendant les nuits sans sommeil que Karazine passait à écrire ses rapsodies politiques — d'autres hommes à l'esprit actif veillaient aussi dans les casernes de la garde, à l'état-major du deuxième corps d'armée et dans les anciennes maisons seigneuriales de Moscou. Ils devinaient qu'Alexandre s'arrêterait après avoir bégayé deux ou trois phrases libérales, et qu'il n'y avait place au Palais d'Hiver ni pour un marquis Poza, ni pour un Struenzée; ils comprenaient que le salut du peuple ne pouvait lui venir de cette chambre, d'où partait l'institution des colonies militaires. Ils n'attendaient rien du gouvernement et voulaient essayer leurs propres forces; grâce à eux, la bande lumineuse qui éclairait la

¹ Le naïf Nicolas ne partageait pas l'opinion de Karazine. Voici en quels termes le gouverneur de Kharkov lui notifia, le 24 novembre 1826, la permission que lui accordait l'empereur de sortir de sa propriété: «Le chef de l'état-major général de S. M. I. m'a appris que S. M. l'empereur daignait vous accorder le droit de résider où bon vous semblerait et même à Moscou; le séjour de la seule ville de Saint-Pétersbourg vous est interdit jusqu'à nouvel ordre: toutefois, la permission de demeurer où vous voudrez ne vous est accordée qu'à la condition de vous abstenir de toute critique sur les choses qui ne vous regarderont pas!» — Quel langage et quelles idées!

pyramide s'abaissa au contraire, et le sommet de cette pyramide commença à se ternir dans le brouillard. Les lumières, l'esprit, la soif de liberté, tout cela avait déjà passé dans une autre zone, dans un autre milieu qui n'était plus celui de la cour, mais où se trouvait de la jeunesse, de la hardiesse, des idées larges et de la poésie; où l'on voyait Pouchkine, des cicatrices de l'année 1812, des lauriers encore verts et des croix blanches de St-George. De 1812 à 1825 s'est développé toute une pléiade féconde en talents, en caractères indépendants et en vertus chevaleresques (choses complètement nouvelles en Russie). Elle s'est appropriée tous les côtés de la civilisation occidentale que le gouvernement avait défendu d'introduire en Russie. L'époque de Pierre I^{er} n'a produit rien de meilleur; et, en dépit de la faux fatale qui les a moissonnés tous à ras de terre, l'influence de ces hommes s'est fait sentir en Russie pendant la triste époque de Nicolas, de même que les flots du Volga se distinguent longtemps après qu'ils se sont jetés dans la mer.

A mesure que le temps marche, l'épisode des décembristes devient chaque jour davantage pour nous le prologue triomphal à partir duquel nous comptons tous notre existence, notre généalogie héroïque. Quels Titans, quels géants, quelles individualités poétiques et sympathiques! Rien n'a pu les amoindrir, rien n'a pu les entamer: ni la potence, ni les travaux forcés aux mines de la Sibérie, ni le rapport d'enquête de Bloudoff, ni l'oraison funèbre du baron Korf.

Oui, c'étaient des hommes!

Lorsqu' au bout de trente ans quelques vieillards qui avaient survécu à Nicolas revinrent de leur long et douloureux exil, voûtés et s'appuyant sur des béquilles, la génération abattue, atrabilaire et désillusionnée de Nicolas regarda avec stupeur cette *jeunesse* qu'ils avaient conservée dans les casemates et dans les mines de la Sibérie, l'ancienne chaleur du cœur, les espérances, l'amour immuable de la liberté et ses principes inflexibles — cette *jeunesse* aux cheveux blancs, où se voyaient les traces de la couronne d'épines qui avait déchiré leurs têtes pendant plus d'un quart de siècle. On ne vit pas ces hommes s'accroupir près de leur foyer refroidi pour y chercher le calme et le repos — non — aussitôt arrivés, ils se mirent à consoler les faibles, ils tendirent la main

aux enfants malades, les encourageant et soutenant leurs forces et leurs espérances!

La période pétersbourgeoise est purifiée par la sainte phalange des décembristes; la noblesse ne pouvait aller plus loin sans se faire peuple, sans déchirer ses titres.

Cette phalange, c'est son Isaac offert en sacrifice de réconciliation avec le peuple. L'Abraham couronné n'a pas entendu a voix de Dieu et a abaissé son glaive...

Le peuple n'a pas pleuré.

Le sacrifice a été réellement complet, et il a été complet précisément à cause de *l'indifférence du peuple*.

Ce n'est qu'alors qu'une issue et une réconciliation sont devenues possibles. L'apostasie était expiée par l'amour et le dévouement — c'était une rédemption. La conduite de cette poignée de nobles et d'aristocrates, prêts non seulement à céder d'injustes privilèges reçus par héritage et à se faire, suivant l'expression du comte Rostoptchine, *des gentilshommes roturiers* — mais encore à affronter les galères et la mort pour cette idée — cette conduite efface le *grand péché historique*

V

De l'autre côté des monts Ouraliens

...Lorsqu'en 1826 Yakoubovitch, condamné lui-même aux travaux forcés, vit le prince Obolensky portant sa barbe et revêtu de la capote de bure du soldat, il ne put s'empêcher de s'écrier: «Allons, Obolensky, si je ressemble à Stenka Razine, tu dois infailliblement ressembler à Vanka Kaïnn ¹!» Le commandant entra alors; on enchaîna les prisonniers et on les envoya en Sibérie.

Le peuple ne saisit pas cette ressemblance et la foule regarda avec indifférence les forçats lorsqu'ils passèrent à Nijni-Novgorod au moment même de la foire. Ils se disaient: «Les pauvres diables de notre condition s'en vont là-bas à pied, tandis que les seigneurs y vont en kibitka, escortés par des gendarmes!»

De l'autre côté de la chaîne de l'Oural commence pour tous la *triste égalité* devant les mines et devant le malheur. Tout change. Le petit employé que nous étions habitués à considérer comme

¹ Un brigand très populaire.

un rançonneur ignoble et sans pitié, supplie avec des larmes dans la voix les exilés d'Irkoutsk d'accepter de lui un peu d'argent; les cosaques brutaux qui les escortent ont pour eux toute la complaisance possible; les marchands les régalaient à leur passage. De l'autre côté du Baïkal, quelques uns d'entre eux s'étant arrêtés pour changer de voitures à Verkhné-Oudinsk, les habitants apprirent qui ils étaient: aussitôt un vieillard leur envoya son petit-fils avec du pain blanc et des gâteaux dans une corbeille, et le grand-père lui-même se traîna jusqu'à eux, pour causer avec eux du pays situé *de l'autre côté des montagnes* et leur demander des nouvelles de ce qui se faisait dans le monde.

Lorsque le prince Obolensky était encore à l'usine d'Oussolsk, il partit un matin de bonne heure pour fendre du bois à un endroit qu'on lui avait désigné. Pendant qu'il travaillait, un homme sortit de la forêt, le regarda attentivement et avec affabilité, puis poursuivit son chemin. Le soir, en retournant chez lui, Obolensky le rencontra de nouveau; l'homme lui fit des signes et lui montra la forêt. Le matin du jour suivant il sortit d'un fourré et fit encore signe à Obolensky de le suivre. Le prince lui obéit. L'inconnu, après l'avoir conduit au plus profond du bois, s'arrêta et dit d'un air triomphant: «Nous vous connaissons, il est parlé de vous dans la prophétie d'Ezéchiël. Nous vous attendions; nous sommes très nombreux ici, *fiez-vous à nous, nous ne vous trahirons pas!*» C'était un sectaire exilé.

Depuis longtemps Obolensky désirait vivement avoir des nouvelles de sa famille par la princesse Troubetzkoï, qui était arrivée à Irkoutsk. Mais il n'avait aucun moyen de lui faire parvenir une lettre. Obolensky pria le sectaire de lui venir en aide. Celui-ci ne réfléchit pas longtemps. «Demain, à la brune,— lui dit-il,— je serai à tel endroit; apportez-moi votre lettre, elle sera remise!..» Obolensky lui remit une lettre et le sectaire partit la même nuit pour Irkoutsk; deux jours après Obolensky avait une réponse.

Que lui serait-il arrivé si on l'avait pris?

Le sectaire payait pour le peuple la dette qu'il devait à Radichtcheff et ses descendants.

Ainsi ce fut dans les forêts et les mines de la Sibérie que, pour la première fois, *la Russie de Pierre I^{er}, la Russie des seigneurs,*

des fonctionnaires et des officiers,— et la Russie noire, c'est-à-dire la Russie des paysans, toutes deux exilées, enchaînées, portant toutes deux la hache à la ceinture, s'appuyant toutes deux sur la pioche et essuyant la sueur qui coulait de leur front, se regardèrent face à face et reconnurent mutuellement sur leurs visages des traits de famille depuis longtemps oubliés. Il est temps que cette reconnaissance se renouvelle au grand jour, à la face de tous, ouvertement et partout.

Il est temps que la noblesse, qui a été hissée artificiellement par des machines allemandes au-dessus du niveau commun, ouvre les écluses et confonde ses eaux avec celles de la mer qui l'entoure. On est trop habitué aux jets d'eau pour pouvoir encore les admirer, et le Samson de Péterhoff n'étonne plus ni par sa colonnade d'eau, ni par sa gueule de lion — quand on voit l'immensité de la mer.

...La fête impériale de Péterhoff est finie, l'intermède en costume est joué, les lampes grailonnent et fument, les jets d'eau sont épuisés.— *Allons-nous-en chez nous!*

— «Tout cela est vrai, mais... mais... ne vaudrait-il pas mieux élever le peuple?» — On le peut, seulement il faut savoir que pour l'élever il n'y a qu'une seule méthode sûre, c'est de le hisser sur la machine de la torture — c'est la méthode de Pierre I^{er}, de Biron, d'Araktchéïeff. C'est pour cela que l'empereur Alexandre n'a rien fait de Karazine ni de Spéransky, mais qu'une fois Araktchéïeff trouvé, il s'en est tenu à lui.

Au fait, le peuple est trop nombreux pour qu'on puisse l'élever à la 14^e classe et à la noblesse.

Tant que nous considérerons le peuple comme une masse d'argile, et nous-mêmes comme des statuaires; tant que nous voudrons, du haut de notre orgueil, modeler avec cette terre une statue à l'antique dans le goût français, à la manière anglaise, ou sur un moule allemand, nous ne rencontrerons dans le peuple qu'une indifférence obstinée ou qu'une obéissance passive et outrageante.

La méthode pédagogique de nos civilisateurs est détestable. Elle procède de ce principe que nous savons tout et que le peuple ne sait rien. Comme si c'était nous qui lui avions appris *le droit à la terre*, à la possession en commun, à l'organisation, à l'association du travail!

Le peuple s'obstine dans sa manière de vivre, et il y croit, mais nous ne nous obstinons pas moins dans nos théories, et nous croyons les bien *posséder*; nous croyons qu'elles établissent des faits bien réels. Lorsque nous répétons dans un langage de convention une chose que nous avons apprise dans les livres, nous sommes désespérés de voir que le peuple ne nous comprend pas, nous nous affligeons de la stupidité du peuple — de même qu'un écolier rougit de sa pauvre mère parce qu'elle ne sait pas où il faut mettre quelquefois un *s* au lieu de *c*, ne s'étant jamais demandé pourquoi on employait deux lettres pour exprimer un seul son.

Nous voulons le bien du peuple et nous cherchons des remèdes à ses maux dans les pharmacies étrangères, nous n'y trouvons que des herbes exotiques — il est plus facile de chercher des herbes dans les livres que dans les champs. Nous devenons plus facilement libéraux, constitutionnels, démocrates et jacobins que populaires. On peut se mettre, sans grand effort, au courant de toutes ces nuances politiques, tout cela est commenté, expliqué, mentionné, imprimé et relié... Mais ici il faut marcher à l'aventure. La vie russe est une forêt comme celle où Dante s'était égaré; elle est aussi peuplée de *bêtes féroces*, mais on n'y trouve pas de Virgile; nous y avons rencontré seulement quelques Soussanine moscovites qui, au lieu de nous emmener dans une maison de paysan, nous ont conduit à une chapelle de cimetière...

Quiconque ne connaît pas le peuple, peut l'opprimer, l'assujettir, le conquérir, mais *ne peut pas l'affranchir*.

Ni le tzar aidé de ses scribes, ni la noblesse aidée du tzar, ni la noblesse sans le secours du tzar, n'affranchiront le peuple sans la participation du peuple lui-même.

Ce qui se passe aujourd'hui en Russie doit ouvrir les yeux aux aveugles. Le peuple a supporté le terrible fardeau du droit de servage sans avoir jamais reconnu ce droit comme légal. En voyant qu'il avait la force contre lui, il s'est tû. Mais aussitôt qu'on a voulu l'affranchir sans le consulter, il a commencé par murmurer, puis il a opposé aux nouvelles mesures une force d'inertie significative, et enfin a fini par en arriver presque à la rébellion ouverte. Et pourtant évidemment sa position s'est améliorée. Quels signes nouveaux nos civilisateurs attendent-ils encore?

Celui-là seul sera *le fiancé de l'avenir* qui, lorsqu'il sera appelé à agir, saura à la fois comprendre la vie du peuple et utiliser les enseignements de la science, qui étudiera les tendances du peuple et consacrera à leur réalisation son influence dans les affaires générales du pays.

De nombreux exemples sont là pour nous prouver surabondamment la vérité de cet enseignement: c'est d'abord la figure mélancolique d'Alexandre I^{er}, qui semble porter difficilement le poids de la couronne impériale; c'est Radichtcheff avec son verre de poison; c'est Karazine traversant le Palais d'Hiver comme un météore en feu; c'est Spéransky, brillant pendant des années entières d'une lumière pâle, sans chaleur ni reflets; ce sont enfin nos saints martyrs du 14 décembre.

Qui donc sera ce prédestiné?

Sera-ce un empereur qui, rejetant les moyens de Pierre I^{er}, se posera à la fois en tzar et en Stenka Razine? Sera-ce un nouveau Pestel ou un autre Emilien Pougatcheff, cosaque, tzar et schismatique, ou un prophète insurgé, comme Antoine, le paysan fusillé de Bezdna?

C'est difficile à dire, *c'est un détail*. Qui que ce soit, *notre devoir est de marcher à sa rencontre et de lui souhaiter la bienvenue!*

CHAPITRE II

UN CONSPIRATEUR DE 1825

(JEAN YAKOUCHKINE)

Nous prions nos lecteurs de bien se rappeler que ces *études* ne sont nullement une *histoire* de la grande conspiration de 1825. Ce ne sont que des fragments, des traits isolés des esquisses, des pages détachées des mémoires et des notes écrites par J. Yakouchkine, Bestoujeff, les princes Troubetzkoï, Obolensky, etc. Nous n'avons fait qu'ajouter quelques détails et quelques généralités. Autant que possible, nous avons tâché de conserver les propres paroles de ces hommes héroïques, qui les écrivaient, d'une main enchaînée, au fond de la Sibérie orientale.

C'est dans ce but que nous n'avons pas fondu en une monographie les divers mémoires; au contraire, nous leur avons con-

servé leur individualité, quoique cela nous entraînaît parfois à des répétitions.

Le chapitre présent est extrait de la *première partie* des mémoires de Jean Yakouchkine. Nous ne sommes jamais parvenus à avoir la *seconde*, qui nous a été positivement promise par nos amis, plus riches en amitié qu'en exactitude.

Il y a d'étranges accapareurs, qui pensent naïvement que des mémoires pareils peuvent être une *propriété privée*. Non seulement des parents et des héritiers, mais des personnes qui ont obtenu, par un hasard heureux, une copie, la mettent sous clé, jouant ainsi le rôle peu généreux du caniche qui gardait avec une avarice jalouse le foin dont il ne se servait pas.

I

Les destinées de l'Empire russe s'accomplirent le jour de l'entrée triomphale d'Alexandre I^{er} à Paris, escorté par une escouade de princes, parmi lesquels il y avait un empereur d'Autriche et un roi de Prusse.

Nec plus ultra!

Dès ce jour, *l'empire pour l'empire* était fini, il fallait chercher d'autres bases pour le soutenir, d'autres éléments pour le développer, et ils commençaient à poindre.

L'Empire russe, habillé à l'allemande par Pierre I^{er}, heurta longtemps aux portes de l'Europe, en demandant une place au banquet de ses souverains, avant de les voir s'ouvrir. Les Bourbons regardaient avec dédain l'hyperboréen parvenu. Cent ans après, les mêmes Bourbons allaient être remis sur leur trône par un tzar russe et une armée russe. L'empire ne voulait que s'affirmer, être reconnu, il s'imposait maintenant comme force majeure et protectrice.

L'œuvre de Pierre I^{er} était consommée. L'autocratie de Pétersbourg avait encore une chose à accomplir, elle l'a accomplie à demi beaucoup plus tard. Sa tâche est épuisée, elle ne peut continuer à exister qu'en se métamorphosant. La guerre même ne serait qu'un palliatif.

Immédiatement après la victoire, un vide accablant, inquiétant se fit sentir autour du trône. L'âme était tourmentée. Alexandre le sentit le premier; il était loin d'être seul. Il devenait

rêveur et triste, un remords, des mécomptes, un pressentiment le troublaient. Il abandonnait furtivement l'armée, le conseil de rois, les fêtes du congrès, et courait s'agenouiller en une prière d'extase avec la baronne Krüdner, qui d'amie de m-me Tallien, devint illuminée, exaltée, fanatique.

La jeunesse militaire devenait pensive et préoccupée au milieu des lauriers et des ovations. Il y avait quelque chose de douloureux dans le contraste de la patrie victorieuse au dehors et écrasée au dedans. La comparaison de la Russie avec la France et les autres pays se présentait tout naturellement. En deux ans de guerre, l'éducation des jeunes officiers fit un progrès immense; ils grandirent d'une tête et revenaient plus sérieux que leurs vieux pères, courtisans frivoles et serviles, qui ne les comprenaient pas et les regardaient avec étonnement. C'est qu'ils étaient non seulement plus sérieux, mais plus susceptibles, plus irascibles et moins endurants — bien loin de cet esprit d'obéissance passive et d'adoration perpétuelle du pouvoir qui distinguait si bien la noblesse russe.

Ils n'avaient pas oublié leur patrie, ils ne lui avaient pas préféré d'autres pays; au contraire, ce sont eux qui aimaient la Russie... «mais d'un étrange amour», comme dit le poète. Ils ont appris sur les champs de bataille à reconnaître l'homme dans le soldat; ils rougissaient de lui appliquer la bastonnade, ils rougissaient d'avoir des serfs, ils frémissaient d'indignation qu'eux-mêmes n'avaient absolument aucun droit humain à opposer à la toute-puissance du pouvoir.

La même secousse qui réveilla et grandit les officiers agit d'une manière funeste sur l'empereur. Plus sombre et plus méfiant que jamais, son cœur se gâta; son mysticisme noir tournait à la manie et n'empêchait en rien les mauvais penchants de son cœur. Un mépris profond, une haine prononcée pour tout ce qui était russe s'emparait de lui. Libéral, humain en Europe, en Pologne, il devenait en Russie un despote implacable, mesquin et fatigué. «Il était dépaysé à la maison, il était hors de son élément». Il ne comprenait pas la Russie et commençait à s'en apercevoir. Il voulait jadis sincèrement le bien de son peuple et ne put rien faire. Pour se venger, il l'humiliait de toutes les manières, sans cacher son dépit.

Le duc de Wellington, à la revue sur la plaine des Vertus, ayant fait un compliment au tzar sur la tenue irréprochable des troupes russes, Alexandre lui répondit: «J'ai beaucoup d'étrangers à mon service, je leur dois cela».

L'aide de camp comte Ogérovsky racontait avec étonnement à ses collègues qu'en présence de quelques personnes l'empereur s'était écrié: «Lorsqu'un Russe n'est pas un imbécile, c'est un coquin». Et cela à Paris, en 1814.

Voyant que tout ce qu'il faisait ne laissait pas de racines, que la seule chose qui lui avait réussi c'était la guerre, Alexandre avait une rancune profonde, non contre la bureaucratie cupide, corrompue, non contre la noblesse ignare, avide et puissante, qui paralysaient tout ce qu'il voulait faire, mais contre le peuple, le *grand inconnu*, muet, malheureux, inerte, passif, qui n'acceptait rien des *Danaos dona ferentes*. Dégouté de tout cela, Alexandre se détourna des affaires et se jeta avec frénésie dans la *marsomanie* des parades, uniformes, évolutions, exercices militaires à pas accéléré et à pas de cigogne,— maladie héréditaire dans la famille Holstein-Gottorp depuis le *Gamaschen* caporal et empereur Pierre III.

Nous allons voir dans le récit d'un jeune officier de la garde, rentrant en Russie après la campagne de 1814, où en était déjà l'empereur.

Cet officier, c'est l'excellent, l'énergique JEAN YAKOUCHKINE lui-même.

La première chose qui le frappe à son retour en Russie, c'est qu'au moment du débarquement des troupes à Oranienbaum, la police, pour faire place aux bataillons, donne des coups de poing à droite et à gauche aux hommes accourus pour souhaiter la bienvenue aux soldats. Le cœur du jeune homme *se serra*. Tel était — *le premier accueil*.

Le *second* ne tarda pas à arriver. Yakouchkine alla en habit civil avec le comte Tolstoï voir l'entrée triomphale de la neuvième division de la garde impériale. L'impératrice-mère attendait dans une voiture de parade avec une des grandes-duchesses près d'un arc, expressément construit pour cette solennité. L'empereur sortit lui-même à la rencontre des troupes pour se mettre à leur tête. Yakouchkine était à deux pas de la voiture impériale,

des flots de peuple couvraient la route et les abords. L'empereur parut enfin devant les régiments, monté sur un cheval magnifique; il s'approchait, beau et rayonnant, l'épée nue à la main. Mais au moment où il voulait saluer sa mère en baissant l'épée, un malheureux paysan, poussé par derrière et voulant mieux voir, rompit la haie et traversa en courant la rue à quelque distance devant l'empereur. Alors celui-ci, hors de lui, piqua son cheval et s'élança l'épée levée sur le paysan; la police, comme de raison, se rua sur le pauvre diable, faisant pleuvoir sur lui des coups.

«Nous ne pouvions croire nos propres yeux et nous nous détournâmes tout honteux,— continue Yakouchkine;— c'était le commencement de mon désillusionnement sur le compte de l'empereur, et je pensais involontairement à la chatte métamorphosée en belle femme, qui ne pouvait pourtant voir une souris sans se jeter dessus».

Encore un fait: en 1817, les dernières troupes rentrèrent de la France. Alexandre alla à la rencontre de ces hommes, qui endurèrent plus de cinq ans les fatigues d'une campagne éloignée; les voyant *en mauvaise tenue*, il les chassa de la place d'armes et cassa un des régiments de chasseurs.

Sur une dénonciation faite par un mauvais drôle, le colonel d'artillerie Taube, que les officiers *ne sont pas polis*, lui, Alexandre, sans enquête, sans avoir demandé ni les motifs ni les excuses, punit tout le corps des officiers de l'artillerie de la garde et en renvoya cinq des meilleurs à l'armée.

La jeunesse murmurait, était exaspérée. Des hommes sérieux commencèrent à réfléchir non seulement sur la triste position du pays, mais à l'urgence de trouver les moyens d'en sortir.

Un soir, c'était en 1816, quatre officiers étaient réunis dans la chambre des Mouravioff-Apostol. On discutait de la position difficile dans laquelle on entrait, de l'état malheureux du pays. Survinrent encore deux Mouravioff. L'un de ces derniers proposa de se liguier contre le parti allemand. Yakouchkine refusa sa participation, déclarant qu'il était tout prêt d'entrer dans une société ayant pour but non de contrecarrer quelques Allemands, mais l'amélioration générale du sort de la Russie. Les Mouravioff-Apostol étaient de son avis. Alors les Mouravioff avouèrent que la,

ligue contre les Allemands n'était qu'un essai et que c'est une tout autre société qu'ils voulaient proposer. Ils tombèrent de suite d'accord sur les bases de l'association.

Voilà le point de départ, le *punctum saliens* de la grande lutte, du travail souterrain pendant les trente années qui suivirent 1825 et du réveil qui se fit après la mort de Nicolas.

Ces *six noms* appartiennent à l'histoire. Les voici: *Serge*¹ et *Mathieu Mouravioff-Apostol*, *Alexandre et Nikita Mouravioff*, *le prince Serge Troubetzkoï et Yakouchkine*.

Les *six* décidèrent de n'affilier aucun membre sans le consentement unanime de tous.

La vie de Pétersbourg paraît insupportable à Yakouchkine, il quitte la garde et va servir dans un simple régiment de chasseurs. Chemin faisant, il va voir son oncle, qui gérait son patrimoine, situé dans le gouvernement de Smolensk, et lui annonce qu'il est fermement décidé à émanciper ses paysans. L'oncle l'écoute, triste et silencieux, mais sans faire la moindre objection. Le vieux était convaincu que son neveu était fou. A peine arrivé dans le 37^e chasseurs, il fait une infraction flagrante au règlement des *six* et une acquisition superbe pour la société: il y affine le colonel de son régiment, *Von Wiesen*, homme d'un haut mérite.

Un an après, nous voyons déjà parmi les membres de la société le célèbre colonel Pestel, écrivant le premier règlement de la société qu'il nomma «*Alliance du bien-être*». En même temps, une association de propagande parmi les militaires s'organise autour de Von Wiesen.

Pendant que ce groupe d'hommes énergiques et généreux se vouait à une perte presque inévitable, sachant leur sort, il se couvrait au Palais d'Hiver un autre complot.

La création des colonies militaires devint une manie chez l'empereur; il ne lui manquait que l'exécuteur de ce plus grand crime de son règne, il le trouva bientôt dans l'homme dur et violent, implacable et borné, âpre et féroce, dans son *alter ego*,

¹ Celui qui a été pendu. Les autres, à l'exception d'Alexandre Mouravioff, tous furent envoyés aux travaux forcés. Mathieu Mouravioff, Troubetzkoï et Yakouchkine revinrent en 1856.

le comte Araktchéieff, général d'artillerie, connu par sa lâcheté sur le champ de bataille, haï et détesté par toute la Russie. C'est sur ses ignobles épaules que l'empereur fatigué jetait peu à peu le fardeau de la souveraineté, et c'est à lui aussi qu'il confia la réalisation de son rêve monstrueux.

L'histoire moderne n'a rien vu de pareil, l'abomination des moyens surpasse l'absurdité du projet.

Prendre une large bande de terrain au Nord et la dérouler jusqu'à la mer Noire. En transformant les paysans en militaires et colonisant les régiments de soldats dans les villages ainsi transformés — les colonies devaient former une *Russie militaire*, divisant comme un torrent la Russie civile en deux. Dans l'imagination de l'empereur, les colonies devaient être une pépinière constante de l'armée, lieu de cantonnement de toute la cavalerie, de toute l'infanterie avec leurs états-majors et leur administration; tous se nourrissant, s'entretenant de leur propre travail, par leurs propres moyens. A mesure que le monstre descendait en commençant à Staraïa-Roussa près de Novgorod, tout devait être écrasé, emporté, brisé, fait soldat à perpétuité, soldat héréditaire sans ménagement aucun, avec une célérité fiévreuse et un pédantisme frisant la folie. Dès le premier essai, les paysans se révoltèrent, *Araktchéieff les mitrilla à coups de canon, les tailla en pièces par des charges de cavalerie, prit les villages à la baïonnette*. Les restes du massacre passèrent par les verges et *l'ordre prit le dessus*. Après quoi on annonça à ces malheureux que *leur maison et leur avoir* ne leur appartenaient plus, que dorénavant ils seraient soldats-cultivateurs et qu'ils travailleraient non pour eux-mêmes, mais pour le régiment. On leur rasa la barbe, on les affubla de la capote militaire, puis on les divisa en brigades et en compagnies. Jamais les terreurs, les horreurs révolutionnaires, les essais de communisme, depuis les anabaptistes 'jusqu'à Babœuf, n'ont fait quelque chose qui se rapprochât de loin à cette œuvre de l'utopiste couronné qui jouait au comité de salut public en 1801, du piétiste mélancolique des salons de m-me Krüdner, du coryphée des libéraux de la sainte-alliance!

Il y a des faits, des détails qui sont gravés dans la mémoire du peuple et qui font dresser les cheveux, des faits que la plume

refuse d'inscrire, mais qui restent comme un levain qui remue et travaille pour la haine et la vengeance future.

Le soulèvement des colonies de la Staraïa Roussa, en 1831, par son caractère implacable a montré que les germes ne sont pas perdus ¹.

Des familles entières abandonnaient leurs maisons et erraient dans les forêts, des femmes se noyaient, des hommes se mutilaient, se pendaient. Les punitions étaient tellement exorbitantes qu'elles finissaient *souvent sur des cadavres*.

Lorsqu'on vint aux cosaques petits-russiens, on trouva une résistance désespérée. Ces gens se souvenant des franchises qu'on leur avait octroyées, se souvenant de Stenka Razine et de Pougatcheff, reculèrent avec horreur devant l'introduction des colonies militaires. On passa sur leurs corps. Pour bien apprécier toute l'absurdité de ce dernier crime, il faut se rappeler que les cosaques formaient des colonies militaires toutes faites et qui fonctionnaient parfaitement, comme ils l'ont prouvé pendant la guerre de 1812 à 1814. Mais la furie de l'uniformité et de la réglementation ne voulut rien entendre d'une organisation traditionnelle et tout à fait populaire.

Un cosaque ², sommé de donner son adhésion et menacé de passer par quelques mille (on allait jusqu'à six, huit et même dix mille) coups de verges en cas d'obstination, demande un moment de réflexion. C'était un homme considéré dans le village, on tenait à son adhésion *libre*.

On lui donne quelques minutes. Il revient, portant un sac, l'ouvre, pose devant les bourreaux en épauettes les deux cadavres de ses deux enfants qu'il vient de tuer, et après avoir dit: «Ceux-là ne seront pas soldats», ajoute: «Quant à moi, je ne le *veux pas!*» Après cela, il se déshabille et dit: «Je suis prêt!»

Il est impossible de continuer ³.

¹ Dans une des feuilles suivantes nous donnerons le récit d'un témoin de cette insurrection, récit qui a été imprimé dans le *Kolokol* russe.

² Je tiens ce fait du célèbre artiste Michel Stchepkine, Petit-Russien lui-même; il pouvait avoir alors de vingt à vingt-cinq ans.

³ A la manie furieuse des colonies militaires vint se joindre, dans le cerveau malade de l'empereur, la manie des bâtiments et des grands chemins. Sans aucune connaissance technique, sans égards aux moyens, aux nécessités, même aux saisons, il fit du bienfait populaire de la construction

Devant la démente de l'empereur et la féroce tyrannie de son *alter ego*, les esprits s'envenimaient de plus en plus. Outré des nouvelles que l'on recevait à Moscou de Pétersbourg, Yakouchkine proposa, en 1817, à ses amis de tuer Alexandre I^{er}; il s'offrait lui-même pour l'exécuter. Les membres de la société n'y consentirent pas, et Yakouchkine, froissé et mécontent, rompit avec l'Alliance. Un an après, comme il fallait s'y attendre, il revint.

Pendant cette année, la société avait marché. En 1819, nous voyons dans son sein, outre les fondateurs, des hommes éminents, haut placés, énergiques, influents, tels que les colonels Grabbe, Narychkine, le secrétaire d'Etat N. Tourguéneff, les princes Obolensky, Lopoukhine, Chakhovskoï, Elias Dolgorouky, etc.¹

des chaussées — un malheur des paysans, les faisant travailler hâtivement par un genre de corvée forcée. Dans son inquiétude nerveuse, il parcourait l'empire d'un bout à l'autre, partout mécontent, précipitant le travail, harcelant les autorités, qui se servaient de tous les moyens les plus onéreux pour se vanter de leur zèle. Le prince Repnine, réprimandé par lui en qualité de gouverneur général, pour le mauvais état de la chaussée de Tchernigov à Poltava, hasarda de faire observer que ces provinces étant frappées par la famine, il n'avait pas cru possible d'employer trop de paysans sur la grande route. «Ce qu'ils mâchent à la maison,— répondit avec dureté l'empereur,— ils peuvent bien le mâcher sur la chaussée». Что они дома сосут, то могут сосать и на большой дороге!

On est vraiment tenté de demander si c'est le même homme que nous avons vu après l'assassinat de Paul, que nous avons connu pendant les guerres, le même enfin de qui parlent Napoléon et Chateaubriand, m-me de Staël et Stein?

Un auteur allemand prétend que les dernières années de son règne il était atteint d'aliénation mentale. C'est très possible!

¹ Nous voyons à côté de ces hommes qui, presque tous, sont allés expier leur dévouement aux travaux forcés, des noms qui sonnent étrangement avec les leurs, vu leur position postérieure, comme les deux frères Pérovsky, l'un ministre de l'intérieur, l'autre gouverneur général d'Orenbourg; Bibikoff, général, gouverneur de Kiev et ministre après; Kavéline, général-gouverneur de St.-Pétersbourg; et enfin faut-il le nommer? — Le monstrueux proconsul de Vilna et inquisiteur Michel Mouravioff.

Le prince Troubetzkoï mentionne encore dans ses mémoires les noms du prince Michel Gortchakoff, chef d'état-major de l'armée active; de l'amiral *Litke*; de Nicolas Mouravioff (de Kars), général en chef d'un corps d'armée; du général Gourko, chef de l'état-major au Caucase.

Et il ne faut pas perdre de vue que nous ne parlons que de la société de Pétersbourg et de Moscou. Dans l'état major de la seconde armée, il y avait un autre centre, dirigé par le célèbre colonel Pestel, qui avait à côté de lui des amis comme le général prince S. Volkonsky et le général Youchnevsky, comme les colonels Davydoff, Serge Mouravioff, des hommes fanatiques comme Bestoujeff, Borissoff, etc.

Les cadres de l'Alliance de Pétersbourg devenaient trop serrés, le plan semblait vague, timide, lent. On se sentait fort et beaucoup plus près de l'action qu'on ne le supposait, l'audace s'accrut avec cette conscience. De là un désir naturel d'une réorganisation radicale, d'une épuration dans le but d'éliminer les tièdes et indécis.

On résolut — sous prétexte que le gouvernement était sur les traces de la société — de la dissoudre et de la réformer immédiatement après dans le silence le plus profond. Dans ce but, on envoya Yakouchkine à l'état-major de l'armée qui était à Toultschine, et on invita la société de Pestel d'envoyer un délégué de sa société à Pétersbourg.

Pestel voulait y aller lui-même. On craignait son énergie, sa force irrésistible, on le dissuada. Le colonel Bourtzoff vint à sa place, accepta tout, même le nouveau règlement écrit par Nikita Mouravioff, qui s'occupa de la formation d'une nouvelle société. Pestel et les siens n'étaient pas trop contents des nouvelles que leur apportait le colonel Bourtzoff. Ils pensèrent avec raison que la société des capitales n'avait aucun droit de dissoudre *sua sponte* toute l'Alliance. On se mit d'accord enfin; mais depuis ce temps les sociétés prirent divers noms: Société du Nord et Société du Sud, et ne se confondirent plus. Pestel reforma aussi sa société; elle était beaucoup plus avancée, tranchée et décidée que celle de Pétersbourg. Pestel allait droit au renversement du gouvernement impérial; il était persuadé que la forme républicaine était possible pour la Russie. Homme aux idées vastes, aux convictions inébranlables — «il n'a jamais faibli ni dévié d'une ligne,— dit Yakouchkine,— pendant les dix années», qu'il était véritable dictateur de la Société du Sud. C'est lui qui parlait de la nécessité d'introduire l'élément fédéral, qui regardait au delà des frontières, entrant en communication avec

la Société des Slaves-Unis, qui envoyait le prince Volkonsky et Bestoujeff — faire une entente avec les Polonais; enfin c'est Pestel qui le premier montrait « la terre », la possession foncière et l'expropriation de la noblesse comme la base la plus sûre pour asseoir et enraciner la révolution. Les hommes du Nord, même Ryléieff, ne sont jamais allés si loin.

L'empereur était très alarmé, il ne savait rien de positif, mais il présumait beaucoup, lorsqu'un coup inattendu acheva de le troubler. En 1821, il était à Leybach, c'était le temps du congrès; là il jouait encore son rôle de libéral. Metternich voyait bien qu'il en était déjà fatigué et voulait l'entraîner à la réaction pure et franche (1821), il cherchait quelque chose pour frapper l'imagination de l'empereur. Le hasard le servit admirablement. Un jour le prince se présente chez l'empereur, le matin, lui parle, tout consterné, sur l'envahissement de tous les Etats par l'esprit révolutionnaire, sur la négligence des gouvernements; et voyant un sourire sur les lèvres d'Alexandre I^{er}, lui dit: « Sire, ne pensez pas que votre pays soit à l'abri des idées révolutionnaires; au moment où j'ai l'honneur de vous parler, le régiment de la garde Séménovsky est en révolte à Saint-Pétersbourg.

L'empereur pâlit.

— D'où savez-vous cela? Moi je n'ai rien entendu.

— Un courrier du comte Lebzeltern vient d'arriver avec cette dépêche.

Alexandre était anéanti. Le prince Metternich se retira rayonnant. Le coup avait été porté.

Le régiment qui a acclamé le premier Alexandre dans la célèbre nuit de mars 1801, le régiment qu'il aimait le plus, un des meilleurs de la garde, peut-être le meilleur — en état de mutinerie. Et le ministre autrichien en est informé, et lui, empereur de toutes les Russies, ne l'est pas.

Le courrier russe, envoyé par le commandant de garde quelques heures après le courrier de Lebzeltern, arriva enfin. C'était Pierre Tchaadaïeff, si célèbre après. L'empereur le reçut mal. Après il voulut lui attacher les aiguillettes d'aide de camp. Tchaadaïeff ne voulait ni être gourmandé pour la faute d'un autre, ni être récompensé à la suite d'une histoire malheureuse comme l'affaire du régiment Séménovsky, il donna sa démission.

Quelle était donc cette histoire du régiment Séménovsky? Nous avons publié dans l'*Etoile polaire* un récit fait par un contemporain ¹.

Le régiment Séménovsky était en effet un des meilleurs de la garde; couvert de gloire, ayant à sa tête un homme distingué, le général aide de camp, comte Potiomkine, et dans son sein des officiers excellents, éclairés, quelques-uns membres de la Société, comme les deux Mouraviouff-Apostol, etc.; ils déploraient le système barbare des vexations et punitions qu'on infligeait aux soldats, et prirent la résolution d'abolir complètement la bastonnade, les verges et toute punition corporelle dans le régiment. En même temps il tâchèrent d'améliorer le sort des soldats, de veiller sur leur nourriture, de faire croître leurs épargnes. Le colonel les aidait, les protégeait; les vieux militaires regardaient de travers ces innovations.

En 1821, Araktchéïeff faisait je ne sais quelle collecte pour les colonies militaires. Les invitations étaient des ordres, tout le monde s'empressait de porter son denier. Pas un officier du régiment Séménovsky ne souscrit. C'était assez. Il fallait les perdre. Il parla à l'empereur du relâchement de discipline, de l'esprit des officiers, conseilla d'éloigner le comte Potiomkine du commandement; et l'empereur donna au comte Potiomkine une division entière de la garde et désigna un certain Schwarz, Allemand ou Juif allemand, comme colonel de ce brillant régiment Séménovsky. C'était un de ces tyrans mesquins et sans pitié, ignorant, irascible, pédant et Allemand, pédant dans le service, pédant dans la discipline, comme on en voyait et on en voit encore des centaines dans l'armée russe. Il comprit pourquoi on l'avait désigné et se mit à *corriger* le régiment. Dès les premiers jours il était détesté par les officiers. Mais ceux qui souffraient le plus étaient les soldats; nuit et jour il ne leur laissait de repos; il continuait à la clarté des chandelles les exercices militaires pour les reprendre avant le jour, punissant la moindre négligence, la moindre contravention avec une sévérité froide et féroce. La patience des soldats, déshabitués d'être maltraités, devait se briser.

¹ «Полярная звезда». т. III, стр. 303 и проч.

Un soir, après l'appel, la compagnie de Sa Majesté refusa de se retirer, déclarant qu'il était impossible de continuer un service pareil et demandant à haute voix son capitaine. Le capitaine Kochkaroff tâcha de les apaiser, et promit de porter leur plainte au général en chef; les soldats se retirèrent. Il tint sa parole, mais le comte Vassiltchikoff donna une autre tournure à l'affaire. Le lendemain soir il ordonna à la compagnie de se réunir au manège; là elle était déjà attendue par un bataillon du régiment des grenadiers avec des fusils chargés. Ils avaient l'ordre de mener la compagnie à la forteresse. Les soldats obéirent. Lorsqu'on apprit cela, une grande agitation s'empara de tout le régiment. Les soldats disaient à haute voix que la compagnie de Sa Majesté était seule punie, parce qu'elle s'était dévouée pour eux tous; qu'ils voulaient, comme ils ont partagé la protestation, partager le sort de la compagnie et se rendre à la forteresse.

Les officiers tâchèrent de les dissuader, les soldats répondirent qu'ils ne voulaient pas abandonner leurs frères: alors les officiers se mirent dans leurs rangs. C'était grand et beau.

Le ci-devant colonel, le général aide de camp Potiomkine, vint lui-même les conjurer, les haranguer; mais voyant qu'ils étaient inébranlables, il fondit en larmes et ne put continuer. Il prévoyait les suites funestes. Le chef du corps vint aussi. Il demanda aux soldats pourquoi ils ne s'étaient pas plaints par les moyens légaux. Les soldats répondirent qu'il y avait un mois, un de leurs compagnons sortit des rangs pendant l'inspection pour porter une plainte, et qu'il avait été durement puni pour cela par lui-même.

— Mais enfin que voulez-vous donc?—demanda le comte Vassiltchikoff.

— Que l'on mette en liberté la compagnie de Sa Majesté ou qu'on mène tout le régiment à la forteresse.

Le général leur répondit que s'ils voulaient se mettre en rangs il les mènerait à la forteresse. Les soldats obéirent, les officiers (à l'exception de deux) se mirent à leurs places — et le régiment alla silencieux et tranquille à la forteresse. Pas un désordre la nuit. On cassa seulement quelques carreaux et glaces dans la maison de Schwarz, qui avait disparu dès le matin.

Le régiment fut dissous. On relégu provisoirement les soldats dans diverses forteresses de la Finlande. Après un jugement sommaire, quelques sous-officiers furent *condamnés au knout* et à l'exil à Nertchinsk; les subalternes étaient incorporés dans des régiments des garnisons éloignées, où ils restèrent jusqu'en 1840. Les officiers étaient renvoyés de la garde à l'armée. Le colonel Vadkovsky, le commandant de la compagnie Kochkaroff, et le colonel *démissionnaire* Ermolaëff, exilés au Caucase; le prince Stcherbatoff, *qui se trouvait à Moscou* et ne prit aucune part à toute l'affaire, fut le plus puni. On trouva, nous ne savons quelle phrase dans une lettre qu'il avait écrite. On l'envoya comme soldat au Caucase, où il mourut en 1829¹.

L'enquête avait été dirigée par les généraux Orloff et Lé-vachoff, deux noms lugubres qui se répèteront bien souvent pendant nos études sur ce temps.

Vassiltchikoff perdit le commandement de la garde; Schwarz, démissionné, alla se perdre et se faire oublier dans son village de Novgorod.

L'empereur revint à Pétersbourg tout bouleversé. Le fantôme d'une conspiration militaire le poursuivait jour et nuit. Soupçonneux, méfiant et ne pouvant rien découvrir positivement, il prenait des mesures, qui décelaient ses préoccupations.

En 1822, il fit brusquement fermer les loges maçonniques, qu'il protégeait lui-même. Immédiatement après, ordre de faire souscrire à tous les employés de l'Etat une déclaration qu'ils n'appartiennent à aucune société secrète, et un engagement pour l'avenir de s'en abstenir.

Yakouchkine raconte une anecdote très remarquable. Elle prouve jusqu'à quel point l'empereur était attentif. Se trouvant dans le gouvernement de Smolensk en 1821, pendant une terrible famine, Yakouchkine se rencontra là avec Von Wiesen, Passek et autres. Ils firent des quêtes pour les paysans qui mouraient de faim. Ils donnèrent leur propre argent et firent tant, à Moscou et à Pétersbourg, que le gouvernement s'émut et envoya à Smolensk un vieux sénateur, Mertvaho, qui ne faisait rien, n'aidait

¹ Remarquons que Nicolas n'ammistia personne à son avènement au trône.

personne. Des sommes considérables furent réunies par eux, et ce qui était beaucoup plus insolite en Russie, elles parvinrent à leur destination.

Un an après, l'empereur parlait un jour à son chef d'état-major, le prince Pierre Volkonsky, de cette maudite société secrète, insaisissable et pourtant active, minant l'opinion publique et la dominant. Le prince, qui était un ami du tzar, hasarda de manifester quelque doute sur la puissance de cette charbonnerie.

«Tu ne comprends rien,— lui dit l'empereur,— et tu ne connais ni ces gens ni leurs forces. Sais-tu que l'année passée ils ont nourri quelques districts du gouvernement de Smolensk pendant la famine?»

Et il nomma Yakouchkine, les généraux Passek et Von Wiesen. Le temps s'assombrissait.

Bientôt ce même prince Volkonsky devint suspect et tomba en disgrâce. Il ne voulait pas aller faire la cour à Araktchéieff à sa campagne, l'empereur l'éloigna du commandement de l'état-major.

Un seul homme indépendant, lié avec l'empereur depuis sa jeunesse, restait debout, c'était le prince Alexandre Galitzine, ministre de l'instruction et des cultes. L'évincer n'était pas facile, Araktchéieff concentra toutes ses forces et l'écrasa avec éclat et une mise en scène hors ligne.

Le prince Galitzine était un homme médiocre, corrompu et piétiste, courtisan et illuminé; c'est lui qui avait introduit les sociétés bibliques en Russie et la théologie dans l'enseignement universitaire. Devenu ministre de l'instruction publique, il commença une guerre acharnée, une persécution insensée contre la science *laïque*, les professeurs indépendants, les livres non piétistes. Il trouva un rénégat du voltairianisme en Russie, un homme qui voulait faire à tout prix sa carrière, et l'associa à ses travaux. Le ministère de l'instruction se changea en inquisition. Magnitzky dénonçait non seulement des professeurs qu'on démissionnait, mais des branches entières de science. Le *Droit naturel* fut supprimé, l'*Histoire moderne* mise à l'index. La médecine était *obligée* d'être chrétienne et d'enseigner que la maladie n'était qu'une conséquence nécessaire du péché originel.

On faisait des perquisitions, des arrestations des professeurs, non seulement des gymnases et des universités, mais des écoles

militaires, des lycées, sous les yeux de l'empereur, qui avec ses frères en était le chef nominal.

L'Université de Kazan était complètement minée par Magnitzyky. L'Université de Pétersbourg attendait le même sort de son curateur Rounitch.

Et c'est ce moment de la terreur que choisit Araktchéieff pour agir. Ne pensez pas qu'il allait arrêter cette folle main frappant la science, qu'il allait ouvrir les yeux de l'empereur; tout le contraire, il le poussa dans un abîme encore plus profond, et l'arrachant de l'influence des semi-luthériens, il le passa dans les mains calleuses d'un clergé national, sauvage, grossier et ignare.

Il prit trois associés pour son coup de théâtre.

Un moine fourbe, rongé d'ambition, astucieux, audacieux, comédien consommé, dominicain par le cœur, intrigant par envie, et deux vieillards demi-fous et fanatiques sincères. L'un était le vieil amiral *Chichkoff*, l'adversaire de Karamzine, l'adversaire de toutes les innovations, slavophile un quart de siècle avant l'invention du panslavisme; honnête homme capable de faire des dénonciations sans trop de scrupule et de tremper naïvement dans les scélératesses, toujours en vue de la gloire de l'Eglise grecque et des races slaves. L'autre était le métropolitain de Pétersbourg lui-même, *Séraphin*. C'était un véritable évêque byzantin, une de ces têtes vénérables à cheveux blancs qu'on voit sur les vieux tableaux et sur le mont Athos, qui imposent et qui cachent sous leur crâne épais une incapacité parfaite, un fanatisme incurable et stationnaire. Après avoir officié toute la vie, ces gens prennent la liturgie pour la réalité et le rituel pour le sacro-saint de la religion; ils poussent la religion vers le fétichisme et la foi jusqu'à l'idolâtrie. L'intelligence devient complètement impuissante à saisir quelque chose qui ne porte pas le cachet de l'Esprit Saint. Et dans le cas donné, non seulement le cachet de l'Esprit Saint en général, mais spécialement celui du paracète grec. Le métropolitain de Pétersbourg et l'amiral philologue, ces deux «enfants» de soixante-dix et quelques années, guidés, poussés et galvanisés par le jeune Loyola de Novgorod, dans les mains d'Araktchéieff formaient une force énorme.

Galitzine inonde la Russie de traductions de l'Évangile du

vieux slave en russe moderne. Les vieux orthodoxes virent dans cette vulgarisation de la parole divine une profanation sacrilège. Ils flairèrent du protestantisme dans les bibles, dans la société biblique et dans le piétisme tout allemand du prince-ministre.

Photius, choyé et entouré de dames aristocratiques, prêchait contre l'invasion de l'esprit moderne dans les salons. L'amiral Chichkoff pérorait dans les académies et les sociétés littéraires, en voyant des mémoires fulminants à l'empereur. Le métropolitain se taisait et préparait pour coup de grâce un bélier d'une autre force.

Les choses vinrent au point que le saint énergumène de Novgorod, rencontrant le prince Galitzine chez la comtesse Orloff ¹, célèbre par sa bigoterie et les dons immenses qu'elle fit au couvent de Photius, commença directement à l'attaquer. Le prince ne se rendit pas et répliqua. Alors le moine se leva, pâle, tremblant, il arrêta ses yeux étincelants sous un front bas et petit, et lui dit: «Tu ne veux pas écouter l'appel... tu veux la lutte, nous verrons qui de nous est le plus fort... et dès ce moment, sois maudit, je prononce l'anathème contre toi». Le prince, terrifié, ne fit rien.

Il était perdu. Dans ces cas, il faut immédiatement frapper ou recevoir le coup.

Quelques jours après, à une heure insolite pour des audiences officielles, à six heures après le dîner, Pétersbourg vit avec étonnement la voiture de parade du métropolitain parcourir la ville et s'arrêter devant la grande entrée du Palais d'Hiver. Sa sainteté demandait à être introduite chez l'empereur, d'urgence et à l'instant même. Tout le palais ébahi, en émoi, la foule se rassemblant sur la place, et le vieillard à cheveux blancs donnant à droite et à gauche sa bénédiction. L'empereur, qui ne se doutait de rien, étonné, effrayé, le reçut dans son cabinet de travail. Le vieux prêtre, tenant un livre à la main, fléchit les genoux devant l'empereur et se prosterna à ses pieds; d'une voix pleine de larmes il lui dit que: «le temps est venu, pour lui, tzar orthodoxe, de sauver l'orthodoxie; l'Eglise est en danger! Il faut immédiatement éloigner l'apostat».

L'empereur, alarmé, promit tout.

¹ Fille du comte Alexis, l'assassin de Pierre III.

Le livre était l'œuvre la plus inoffensive et la plus ennuyeuse du monde: s'était la traduction d'un recueil d'articles pieux du pasteur anglican Gasser, qui se trouvait à Pétersbourg.

Ce recueil était imprimé par la société biblique, d'après l'ordre du ministre. Magnitzky, trahissant son chef et son bienfaiteur, vola par l'intermédiaire d'un prote, qu'il avait suborné, des feuilles de l'ouvrage et les porta chez le vieux fanatique comme preuves de propagande luthérienne.

Galitzine, de persécuteur devint persécuté. Alexandre tombait complètement sous l'influence d'un clergé idolâtre, grossier et ignorant. C'était déjà l'aube de l'Eglise *nationale*, l'Eglise de l'empereur Nicolas, intronisée par lui, sanctifiée par les slavophiles de Moscou, et qui projette maintenant les ombres noires de ses cinq coupes byzantines sur toute la Russie.

Chichkoff fut nommé ministre de l'instruction publique.

Alexandre resta deux heures en tête à tête, enfermé dans son cabinet, avec Photius. Le moine en sortit impassible, comme il était entré. Nul ne saura de quoi les deux hommes ont parlé...

Depuis cette crise commence l'agonie d'Alexandre I^{er}.

Il s'éclipse, devient presque invisible, s'éloigne du monde, fuit les fêtes et les réceptions, visite seul des couvents, tourne les grandes villes par des traverses, et *s'il n'y en a pas, les laisse faire ad hoc*. En 1824, il apparaît pour un instant à Moscou ¹, et s'en va mourir à Taganrog... Comme nous en avons parlé dans le chapitre précédent.

Les coups de canon du 14/26 décembre 1825 étaient son *requiem* mélancolique et étrange.

III

Yakouchkine ne parle pas du 14/26 décembre 1825. Il n'était pas à Pétersbourg ce jour grand et tragique.

Nous verrons dans les mémoires du prince Serge Troubetzkoï que la journée était parfaitement motivée, quoique elle soit ve-

¹ C'est alors que je l'ai vu pour la première fois; j'avais douze ans, je me rappelle très bien sa figure voûtée, ses sourcils froncés, son regard triste. Il allait lentement à cheval avec le prince Dmitri Galitzine. Rien de dur dans l'expression. Ce n'est pas la nature qui a fait de cet homme un tyran, ce n'est pas par goût qu'il a commis toutes les scélératesses qu'on lui reproche. *Il était dépaysé.*

nue comme par surprise. Nous verrons quelque détails donnés par J. Poustchine et Nicolas Bestoujeff.

Maintenant nous suivrons le récit de notre auteur.

Après une tentative échouée pour soulever les troupes à Moscou, profitant de la confusion du second serment, Yakouchkine resta tranquille à Moscou, et ce n'est que le 10/22 janvier qu'il fut arrêté, immédiatement envoyé à Pétersbourg et enfermé au rez-de-chaussée du Palais d'Hiver.— «Le lendemain soir on me mena,— dit Yakouchkine,— à l'Ermitage. Dans un coin de la grande salle des tableaux, sous le portrait de Clément IX, se trouvait le général Lévachoff, assis devant une table de jeu. Il me montra une chaise vis-à-vis de lui et commença par la question: „Avez-vous appartenu à la société secrète?“ Je répondis affirmativement.

— Quels *actes* connaissez-vous de la société?

— Des *actes*... je n'en connais aucun.

— Monsieur, vous ne devez pas présumer que nous ne savons rien. L'événement du 14/26 décembre n'était qu'une explosion prématurée. Vous savez très bien qu'en 1818 encore vous deviez tuer l'empereur Alexandre.

Cela me donna à penser. Je ne croyais pas que la discussion dans notre petit comité fût connue.

— J'ajouterai quelques détails,— continua Lévachoff.— Parmi les personnes qui étaient présentes et qui projetaient le régicide, c'est votre nom que le sort désigna comme exécuteur.

— Pardon, général, je me suis offert moi-même pour porter le coup.

Lévachoff inscrivit mes paroles.

— Maintenant, je vous prie de me nommer ceux de vos complices qui étaient présents à ce conciliabule.

— Il m'est impossible de le faire; en entrant dans la société secrète, j'ai donné ma parole de ne jamais nommer les personnes.

— On vous forcera. Je dois vous dire *que nous avons en Russie la torture*.

— Je suis très reconnaissant à Votre Excellence de la confiance que vous me faites, et je sens, dans ce cas, plus que jamais le devoir de ne nommer personne.

— Pour cette fois,— dit le général, en français,— je ne vous parle pas comme votre juge, mais comme un gentilhomme, votre égal, et je ne conçois pas pourquoi vous voulez être martyr pour des gens qui vous ont trahi et vous ont nommé.

— Je ne suis pas ici pour juger la conduite de mes camarades, et je ne dois penser qu'à remplir les engagements que j'ai pris en entrant dans la société.

— Tous vos collègues ont déposé que le but de la société était le changement du gouvernement autocratique en gouvernement représentatif.

— Cela peut bien être.

— Mais quelle est donc la constitution qu'on voulait introduire?

— Je ne saurais vous trop préciser, général.

— De quoi vous êtes-vous donc occupé dans la société?

— Je m'occupais spécialement de la recherche des moyens d'émancipation des paysans.

— Eh bien, que dites-vous à ce sujet?

— Je dirai que c'est un nœud que le gouvernement doit dénouer nécessairement, et s'il ne le fait pas, il se dénouera de lui-même d'une manière terrible et violente.

— Que peut faire le gouvernement dans ce cas?

— Le rachat des terres.

— Impossible, vous connaissez vous-même l'état de nos finances.

Encore quelques questions et une seconde invitation de nommer les membres de l'association, encore un refus de ma part. Lévachoff me donna la feuille sur laquelle il griffonnait pendant notre conversation, et me demanda: „Voulez-vous signer?“ Je la signai sans avoir lu; il me congédia, je sortis. Pendant la conversation avec Lévachoff je me sentais à mon aise, et je ne cessai de contempler la sainte famille de Dominiquin. Me trouvant seul avec une ordonnance, je commençai à réfléchir sur le mot torture prononcé par le général. La porte s'ouvrit et Lévachoff me fit signe de rentrer. Près de la table se tenait debout l'empereur. Il me dit d'approcher, et après: „Avez-vous pensé à ce qui vous attend dans l'autre monde? La damnation éternelle! Vous pouvez mépriser l'opinion des hommes, mais les

punitions du ciel pour avoir trahi le serment! Je ne veux pas votre perte irrévocable, je vous enverrai un prêtre". Une pause.

— Pourquoi ne me répondez-vous pas?

— Je ne sais pas ce que Votre Majesté daigne me demander.

— Il me semble que je parle assez clairement. Si vous ne voulez pas traîner à l'abîme votre famille, *si vous ne voulez pas qu'on vous traite comme un cochon*, vous devez tout m'avouer.

— J'ai donné ma parole de ne nommer personne. Ce que j'ai pu dire sur mon compte, je l'ai tout dit à Son Excellence,— répondis-je en montrant Lévachoff, qui se tenait éloigné dans une position respectueuse.

— *Que me fourrez-vous — Son Excellence et votre dégoûtante parole d'honneur!*

— Je ne puis nommer personne.

Nicolas recula de trois pas et dit en me montrant:

— *Lui mettre des fers... l'enchaîner de manière qu'il ne puisse se mouvoir.*

En voyant le tzar, je craignais fortement qu'il ne m'humiliât en parlant avec calme et modération, en relevant les côtés faibles de la société; je craignais qu'il ne m'accablât par sa générosité. Mais dès le premier instant j'étais rassuré. Je me sentis plus fort que lui, et tel je suis resté pendant toute la conversation.

On me transféra à la forteresse. Le commandant général Soukine, qui avait une jambe de bois, me reçut; il prit la petite feuille de papier qu'on lui présenta, l'approcha de la bougie et dit lentement:

— *Ordre de t'enchaîner!»*

Sur cela, on lui mit les fers aux bras et aux pieds, on lui banda les yeux et on le mena dans «les oubliettes de Pétersbourg», dans le fameux ravelin d'Alexis, où l'on entrait quelquefois, mais d'où l'on ne sortait presque jamais. C'est là que le féroce Pierre I^{er} fit périr son fils Alexis (de là le nom du ravelin); c'est là que périt la pauvre princesse Tarakanoff, noyée dans sa casemate.

Un vieillard septuagénaire, chef du ravelin, mena Yakouchkine dans la casemate N^o 1. On lui ôta ses habits, on lui donna une chemise grossière toute en loques et un pantalon pareil. «Après quoi le vieillard se mit à genoux pour remettre les fers,

enveloppa dans un chiffon les menottes et me demanda si je pouvais écrire. Je lui répondis affirmativement. Sur cela il me souhaita une bonne nuit, et, disant: „La miséricorde de Dieu nous sauvera tous“, il sortit avec sa suite. La porte se ferma sur eux, et j’entendis le bruit deux fois répété de la serrure.

La chambre dans laquelle j’étais avait six pas de longueur sur quatre de largeur; les murs portaient encore des traces de l’inondation de 1824, les carreaux étaient enduits d’une couleur blanche, la fenêtre barrée par une forte grille de fer. Un lit, un poêle, une petite table, une cruche d’eau, une veilleuse, une chaise de nuit et deux chaises, tel était l’ameublement. A neuf heures du soir un soldat m’apporta un potage aux choux; il y avait deux jours que je n’avais mangé, je me mis non sans plaisir au *stchi*. La marche était peu commode avec les chaînes (elles pesaient près de douze kilogr <ammes>), qui faisaient un tel bruit que j’avais conscience d’ennuyer mes voisins. Je me couchai et j’aurais tranquillement dormi, si les menottes ne m’eussent réveillé à chaque instant.

Le lendemain j’étais encore au lit lorsque la porte s’ouvrit, et un vieux prêtre, haut de taille et tout blanc de cheveux, entra. Il prit une chaise, se mit à côté de mon lit et me dit que l’empereur l’avait envoyé chez moi.

— Est-ce que vous faites chaque année vos dévotions? — me dit-il.

— Il y a plus de quinze ans que je n’en fais pas.

— Vous étiez peut-être empêché par le service?

— J’ai quitté le service depuis huit ans. Je ne faisais pas mes dévotions parce que je ne suis pas chrétien.

Le prêtre me parla alors de l’autre monde, des châtimens.

— Si vous croyez en la miséricorde de Dieu, — dit Yakouchkine, — vous devez être convaincu que nous tous serons pardonnés — vous, moi et mes juges.

C’était un brave homme. Il se retira les larmes aux yeux, en disant qu’il était désolé de ne pouvoir rien faire pour moi. Après lui, un sergent m’apporta, au lieu du dîner, un *morceau de pain de caserne*. (C’était par la faim que le profond Nicolas voulait convertir à la religion cet homme de fer!) Un officier m’apporta ma pipe et le tabac *pour me tenter* (encore mieux!),

je dis qu'ils ne m'appartenaient pas et qu'il n'avait qu'à les emporter. Le soir du lendemain un autre prêtre, encore plus haut de taille, entra chez moi: c'était l'archiprêtre de la cathédrale de Kazan. Ses allures étaient tout autres; il m'embrassa avec tendresse et me parla de la patience avec laquelle les apôtres et les premiers pères souffraient leur terrible position.

— Saint père, — lui dis-je, — vous êtes venu ici par ordre du gouvernement?

Il resta interdit un instant, puis il me répondit:

— Certainement, sans une autorisation du gouvernement il me serait impossible de venir chez vous; mais, dans votre position, il me semble que vous devriez être content si un chien entra chez vous. Voilà pourquoi je pensais que ma visite ne vous serait pas désagréable.

— Certainement, chaque visite me ferait un plaisir extrême, mais vous êtes prêtre, et je vous demande la permission de commencer notre connaissance par une entière franchise. Comme prêtre, vous ne m'apporterez pas de grandes consolations. Au contraire... il y a parmi mes collègues des croyants qui seraient peut-être heureux de vous voir.

— Je ne veux rien savoir de vos croyances, — dit l'archiprêtre Myslovsky. — Vous souffrez et je serai heureux si les visites non du prêtre, mais de l'homme, peuvent vous être agréables.

Je lui tendis ma main.

Il venait tous les jours et se conduisait avec un grand tact; il parlait de tout, à l'exception de la religion.

...Un soir j'entendis un grand bruit: un des détenus, Boula-toff, se démenait dans un accès de rage. Pendant huit jours il avait refusé toute nourriture. Ni prières ni menaces ne pouvaient le contraindre. Il devint fou furieux, on l'envoya à l'hôpital, où il mourut dix jours après. Avant sa mort on amena ses deux petites filles, qu'il aimait tendrement. Elles ne reconnurent pas leur père et prirent la fuite par horreur de lui.

Le même jour un caporal apporta, le soir, un pain blanc, me l'offrit *de la part de l'officier de service* et me pria de manger tout le pain, pour qu'il ne restât pas de miettes comme pièce d'accusation contre l'officier.

Le lendemain le commandant de la forteresse vint lui-même me voir. Il me conjura de nommer les membres de la société pour adoucir mon sort, et fit un long panégyrique du nouveau tzar, allant jusqu'à dire qu'il était un *ange de bonté*.

— Dieu veuille qu'il en soit ainsi,— lui répondis-je.

— Eh bien, sans prendre note de votre obstination, j'ordonnerai qu'on vous apporte un dîner; mais comme vous n'avez depuis longtemps rien mangé que du pain, je vous enverrai avant du thé.

Je le remerciai, en disant qu'au bout du compte je ne tenais pas trop à ces choses. Pourtant il m'envoya du thé et un potage.

Je racontai le fait à l'archiprêtre et lui dis que le vieux général me semblait être, somme toute, un brave homme. Sur cela, Myslovsky fit observer que la bonté du commandant était principalement fondée sur le désir sincère que je n'aie pas mourir comme Boulatoff à la suite de la nourriture insuffisante et mauvaise. Car, dit-il, la Commission de l'enquête tient énormément que personne ne meure avant la fin du procès¹.

...Les premiers jours de février un officier d'ordonnance apporta à Yakouchkine une lettre de sa femme, dans laquelle elle lui communiquait la naissance d'un fils. Cette lettre a été délivrée à Yakouchkine par ordre de l'empereur. Sa joie était immense. Il voulut même écrire une lettre de remerciement à l'empereur, heureusement l'officier était déjà parti, et la lettre ne fut pas écrite. Le même jour, après le souper, l'aide de camp de la place lui ordonna de mettre ses habits et de le suivre. Il lui apprit la manière de soutenir un peu les chaînes aux pieds par un mouchoir, lui banda les yeux, lui jeta sur les épaules une pelisse, et le mena en traîneau dans la maison du commandant. Là, après une assez longue attente, on introduisit Yakouchkine

¹ L'archiprêtre Myslovsky était un homme très intelligent. Sa position était difficile, mais il s'en tirait non seulement avec adresse, mais *cum grano salis*. Une fois Yakouchkine lui dit que pourtant en matière d'orthodoxie le gouvernement russe était assez tolérant et n'exigeait pas beaucoup. «Il n'exige rien,— dit le prêtre,— c'est bien vrai, seulement il envoie quelquefois les personnes qui ont abandonné l'orthodoxie à Solovetsk, ou les enferme dans des couvents».

dans un grand salon fortement éclairé et on ôta le mouchoir de ses yeux.

«Je me trouvais au milieu d'une vaste pièce, à dix pas d'une table couverte de drap rouge. La première place était occupée par le président de la Commission, Tatistcheff; à côté de lui était le grand-duc Michel, ensuite le prince Alexandre Galitzine, le général Diebitch; entre lui et le comte Tchernychoff il y avait une place vide, celle de Lévachoff. De l'autre côté du président étaient: le général gouverneur Koutouzoff, le comte Benkendorf, le général Potapoff et l'aide de camp colonel Adlerberg, qui sans être membre de la Commission y assistait pour faire ses rapports à l'empereur.

Après un moment de silence, le comte Tchernychoff me dit d'un ton solennel:

— Approchez!

Mes fers retentirent dans la salle.

— Avez-vous,— me dit-il,— prêté serment à l'empereur actuel?

— Non.

— Et pourquoi cela?

— Je n'ai pas prêté le serment parce que le serment est entouré de tant de formalités et de promesses que je n'ai pas cru convenable de le faire sans y croire.

Ce n'est qu'alors que l'idée m'est venue que la lettre de ma femme avait été employée comme guet-apens. Je regardais dès ce moment avec un dégoût profond et un mépris sans bornes mes juges.

— Vous voulez sauver vos complices,— me dit Tchernychoff,— vous ne réussirez pas.

— Si je voulais sauver quelqu'un, j'aurais commencé par moi-même, et dans ce cas je n'aurais pas dit ce que j'ai dit au général Lévachoff.

— Quant à vous, vous ne pouvez pas vous sauver. Si le comité vous demande les noms, c'est dans le but unique de soulager votre sort. Comme vous persistez dans votre refus, nous vous nommerons tous les membres qui étaient présents lorsqu'on a pris la décision de tuer l'empereur défunt. Il y avait Alexandre, Nikita, Serge et Mathieu Mouravioff, *Lounine*, Von Wiesen et

Chakhovskoi. Les uns affirment que le sort vous a désigné, d'autres que vous vous êtes proposé vous-même.

— Les derniers ont raison.

— Quelle affreuse position,— dit le prince A. Galitzine,— d'avoir l'âme chargée d'un tel crime! Est-ce que le prêtre a été chez vous?

— Oui, il a été chez moi.

Koutouzoff, qui dormait, se réveilla et, sans bien comprendre de quoi il s'agissait, s'écria:

— Comment, il n'a pas laissé entrer chez lui le prêtre!

Galitzine le calma en disant que le prêtre y avait été.

— Est-ce qu'il n'y avait personne qui s'opposât dès le commencement à votre affreux projet?

— Von Wiesen.

Tchernychoff sourit au grand-duc, et me dit avec une certaine douceur qu'on m'enverrait des questions par écrit.

Un jour après on m'apporta les mêmes questions par écrit.

«Ici,— dit Yakouchkine avec une sainte franchise,— ici commence l'action délétère, corruptrice de la prison, des fers, de la fatigue, du soin de sa famille, etc. Je commençai à tergiverser. Il me semblait que je jouais le rôle d'un Don Quichotte qui se présente, l'épée à la main, devant un lion qui, en le voyant, bâille, détourne la tête et s'endort».

Yakouchkine écrivit les noms de tous les membres *nommés* en sa présence par la Commission et il en ajouta deux: le général Passek, qui s'était suicidé, et Tchaadaïeff, qui n'était pas en Russie.

Vers la fin du grand carême, Yakouchkine consentit — et il désigne cela comme seconde chute — à communier. Le soir du même jour on ôtait, sur l'ordre de l'empereur, les fers de ses pieds. Les premiers temps cela l'embarrassait; il était si faible que les fers qui restèrent sur les bras l'emportaient par leur poids. Une semaine après, le jour de Pâques, on ôta aussi les fers des bras.

...Le 15/27 juillet, vers une heure, on le mena dans la maison du commandant. «On me fit entrer dans une chambre dans laquelle je trouvai Nikita et Mathieu Mouraviouff, le prince

Volkonsky, Alexandre Bestoujeff et Guillaume Küchelbecker. J'ai été très heureux de revoir les amis, principalement les Mouravioff, et pourtant j'ai été frappé du grand changement que je trouvais en eux; ils étaient amaigris et exténués par la prison.

...Le prêtre apparut un instant, pour me glisser ces mots:

— Vous entendrez parler de la sentence de mort, ne croyez pas à l'exécution».

Enfin on les fit entrer tous les six dans la salle de la haute Cour criminelle. Des métropolitains, des archevêques, des membres du Conseil d'Etat, des généraux étaient assis devant une table; derrière eux se trouvait le Sénat. On leur lut la sentence de mort ¹, et on les renvoya aux casemates.

«A minuit on vint me réveiller, on m'apporta mes habits et on me mena sur le pont qui réunit le ravelin à la forteresse. De tous les côtés, de toutes les casemates on menait des condamnés que l'on dirigeait vers la forteresse. Une fois réunis, nous traversâmes sous escorte la grande porte; nous passâmes à côté d'un échafaudage surmonté de deux poutres et d'une solive; des cordes descendaient de la solive. L'idée ne nous vint pas que c'était un gibet. Nous étions convaincus que personne ne serait exécuté.

Sur le couronnement de la forteresse il y avait quelques spectateurs, en grande partie des employés d'ambassade. Ils étaient étonnés que les condamnés, qui devaient dans un instant perdre fortune et position, allaient la tête haute, parlant gaiement entre eux, entendre la sentence.

On fit halte devant la forteresse, on lut encore une fois la sentence; après quoi on ordonna de mettre à genoux les militaires, de leur ôter leurs uniformes et de briser leur épée au-dessus de la tête. J'étais le dernier du côté droit, et c'est par moi que devait commencer l'exécution. Le soldat du train qui faisait la besogne me frappa de toute sa force avec mon épée sur la tête. On l'avait mal sciée au milieu. Je tombai, et en me relevant je lui dis: «Tu m'assommeras si tu me frappes encore une fois avec

¹ On la commua après pour cette catégorie en *vingt années* de travaux forcés.

cette force¹. Le général gouverneur Koutouzoff était à côté, à cheval, et j'ai très bien vu *qu'il riait* en voyant cette déplorable scène. A une centaine de pas on jetait sur des bûchers nos uniformes, décorations, etc.»

Après cette cérémonie on les ramena dans les casemates... Le sergent qui apporta le dîner à Yakouchkine était pâle et abattu, il hasarda quelques mots: «Des horreurs ont été commises, cinq des vôtres ont été pendus». Yakouchkine ne pouvait le croire. Enfin le prêtre entra, le ciboire en main. «Est-ce vrai?» — lui dit Yakouchkine. Le prêtre se jeta sur une chaise et serra en sanglotant le ciboire avec ses dents...

Il était présent à l'exécution. «Ils se préparaient tous à la mort avec un calme sublime,—dit-il,—et une grandeur d'âme à toute épreuve. Seul, Michel Bestoujeff avait des moments de faiblesse; il était si jeune (vingt-trois ans) et désirait tant de vivre encore». A deux heures du matin, l'archiprêtre les accompagna, donnant le bras au jeune Bestoujeff. Au pied du gibet, Serge Mouraviouff s'agenouilla et d'une voix forte, prononça: «Que Dieu sauve la Russie et qu'il sauve le Tzar».

«Profondément religieux,— ajoute Yakouchkine,— Mouraviouff était sincère, il pria en mourant pour le tzar, comme le Christ pria sur la croix pour ses ennemis».

Le prêtre, en descendant les degrés de l'échafaud, entendit un bruit, tourna encore une fois les yeux vers les martyrs, il vit Pestel et Bestoujeff pendus, et les trois autres gisant, blessés, sur les planches, leurs têtes ayant passé par les nœuds des cordes, mouillées par la pluie.

Serge Mouraviouff s'était grièvement blessé, une jambe était fracturée. «Pauvre Russie,— dit-il,— on ne sait pas même pendre un homme». Kahovsky prononça quelques imprécations. Ryléïeff ne dit pas un mot¹. Le général Tchernychoff ne perdit pas la tête, il ordonna de les pendre encore une fois.

Myslovsky bénit leurs cadavres².

¹ Alexandre Bestoujeff et plusieurs autres disent au contraire que c'est Ryléïeff qui a prononcé les paroles que Myslovsky attribue à Mouraviouff.

² Ajoutons un mot sur Nicolas. De quelle trempe était cet individu, très jeune encore en 1826, vous dira, non un révolutionnaire, mais le général très connu et très féal *Denis Davydoff*. La veille de l'exécution des

Le 15 juillet, sur la place de Pierre, il y avait un *Te Deum expiatoire*, le métropolitain y assistait avec tout le clergé. L'archiprêtre Myslovsky n'y alla pas, il resta seul dans la cathédrale. Puis prenant le costume de deuil, il officia une messe de mort pour les cinq martyrs... Une femme éplorée entre dans la cathédrale et voit le vieux prêtre prosterné devant l'autel, priant pour le repos de l'âme de *Serge, Paul, Michel et Conrad*.

Cette dame était la sœur de Serge Mouravioff¹.

P. S. Il y a un point de rapprochement entre ce grand martyr et moi, qui m'est trop cher pour ne pas le communiquer à nos lecteurs.

Yakouchkine mourut à Moscou en 1856. Il revint de la Sibirie orientale après l'amnistie donnée par l'empereur actuel. Les mesquineries policières rendaient dure et blessante cette amnistie pour les vieillards. On refusa à Yakouchkine le permis de séjour à Moscou, et on ne revint sur cette décision que lorsqu'il tomba grièvement malade. Une nouvelle offense attendait le moribond à Moscou. Un factum semi-officiel sur l'avènement au trône de Nicolas fut imprimé par ordre de l'empereur. Après trente années, les vieilles injures, fardées à neuf, se dressaient comme un *Ave* sinistre et immonde à la rencontre des ressuscités.

Des amis de Yakouchkine m'ont dit que le vieillard mourant, après avoir lu la brochure, dit en me désignant: «*Je suis sûr qu'il vengera notre mémoire*»².

conspirateurs, dit-il dans ses mémoires, l'empereur, qui avait ordonné de *pendre* les condamnés au lieu de les décapiter, s'occupait tout le soir à trouver quelque chose de lugubre et d'offensant pour ajouter à l'horreur de la mise en scène. Il en avait réglé les moindres détails et n'était pas encore content. La nuit arrivée, il alla se coucher; tout à coup il demande une ordonnance et l'envoie à la forteresse: c'était l'ordre de faire battre le tambour pendant tout le temps de l'exécution, *comme on le bat lorsqu'on fait passer un soldat par les verges*.

¹ Madame Bibikoff.

² Bien avant d'avoir entendu ces paroles, Ogareff et moi nous publâmes à Londres une réfutation de la brochure sous le titre: *14/26 décembre et l'empereur Nicolas*. Londres, 1858.

CONRAD RYLÉIEFF ET NICOLAS BESTOUJEFF ¹

«Lorsque Ryléïeff écrivait son *Nalivaïko*, — écrit Nicolas Bestoujeff, — mon frère Michel, étant malade, demeurait chez lui. Un jour Ryléïeff entra dans sa chambre et lui récita la célèbre «Confession» :

„Pas un mot, saint-père, tes paroles seront perdues. Je sais que la mort attend celui qui se lève le premier contre les oppresseurs du peuple, je connais mon sort et, saint-père, je le bénis avec joie...“

— Ryléïeff, — lui dit Michel, — c'est une prédiction que tu nous fais, à nous et à toi le premier.

— Penses-tu donc que j'aie pu douter un seul instant de ce qui m'attend? — répondit Ryléïeff. — Je suis convaincu que notre perte est imminente et qu'elle est nécessaire pour secouer de leur sommeil nos compatriotes endormis».

Bestoujeff ajoute: «Chez lui ce n'était pas un élan généreux, ni l'entraînement d'un moment, c'étaient sa religion calme, sa conviction inébranlable».

Il était présent lorsque Ryléïeff se sépara de sa mère, qui quittait Pétersbourg. L'idée de ne plus revoir son fils tourmentait la pauvre femme, elle ne pouvait se défaire du pressentiment qu'il allait à une perte sûre:

«—Sois circonspect, mon ami, —lui disait-elle, — tu es si imprudent... Le gouvernement est soupçonneux, des espions sont partout aux aguets, et toi — tu as l'air de te complaire à les provoquer en attirant sur toi leur attention.

— Vous avez tort, maman, — répondit Ryléïeff, — mon but est au-dessus des taquineries et des provocations à l'adresse de quelques misérables agents de la police. Je suis dissimulé, car j'ai besoin qu'on me laisse tranquille pour agir. Si je parle à cœur ouvert avec mes amis, c'est que notre cause est la même, et si

¹ Après la mort de N. Bestoujeff à Selenguinsk (en Sibérie), au mois de mai 1855, on a trouvé une partie d'un manuscrit intitulé: *Souvenir sur C. Ryléïeff*. Nous l'avons publié en russe dans l'*Etoile Polaire*; ce sont des extraits de cet article que nous offrons maintenant.

je ne me cache pas de vous, c'est qu'au fond, chère mère, vous partagez nos convictions.

— Cher Conrad, tu l'avoues toi-même que tu as des projets sinistres. Tu vas au-devant de la mort, sans même le cacher à ta mère.

Elle fondit en larmes.

— Il ne m'aime pas,— dit-elle en se tournant vers moi et me prenant la main.— Vous qui êtes son ami, tâchez donc de le dissuader... Si quelque malheur arrive, moi je ne lui survivrai pas. Je sais que Dieu peut le reprendre à chaque instant, mais attirer sur soi-même le malheur...

Elle ne put continuer.

— Mère,— dit Ryléïeff,— ce n'était pas mon intention de vous parler de ces choses, de vous troubler, mais je vois bien que vous avez tout deviné. Eh bien! oui, je suis membre d'une société qui a pour but de renverser le gouvernement.

La mère pâlit, et sa main que je tenais devint froide.

— Ne vous effrayez pas et écoutez-moi avec calme. Nos intentions paraissent téméraires, terribles à celui qui les considère à distance sans s'en pénétrer, sans bien envisager notre but; il ne voit que les dangers qui nous menacent. Mais vous, ma mère, vous devez voir la chose de plus près et mieux connaître votre fils. Et d'abord, ma mère, est-ce que ce n'est pas vous qui m'avez fait entrer au service militaire? Vous m'avez donc vous-même voué aux dangers et à la mort. Pourquoi n'aviez-vous pas tant de crainte en me faisant soldat? Les honneurs qui pourraient m'échoir auraient-ils atténué votre douleur ou calmé vos craintes? Non... Le monopole de la gloire militaire passe, nous entrons dans l'époque du courage civique. Eh bien! je verserai mon sang pour acquérir les droits de l'homme à mes compatriotes. Si je réussis, je serai récompensé au delà de mon mérite. Si je succombe et que mes contemporains ne me comprennent pas, vous, ma mère, vous m'appréciez, moi et la pureté de mes intentions, et la postérité inscrira mon nom parmi ceux qui se sont sacrifiés pour le bien-être des hommes. Ainsi, courage, ma mère, et donnez-moi votre bénédiction.

Je n'ai jamais vu Ryléïeff aussi éloquent; ses yeux étincelaient, sa figure s'illumina. Sa mère était entraînée, subjuguée par lui;

elle souriait sans pouvoir retenir ses larmes. Elle inclina la tête de son fils, mit la mainau-dessus, et avec une expression de douleur et de bonheur, d'angoisse et de contentement intérieur elle le bénit; mais la douleur prenant le dessus, elle dit en sanglotant: „Tout cela est bien... mais je ne veux pas lui survivre!“»

Saints et sublimes fanatiques! Faut-il les pleurer ou leur porter envie!

Emporté comme le Christ à son Golgotha, Ryléïeff continuait de prêcher comme lui, connaissant sa destinée; mais, simple mortel, sa séparation avec sa mère est plus humaine.

Poète-citoyen — il était l'un et l'autre dans chaque poème, chaque strophe, chaque vers. Tout est pénétré de ce sentiment de dévouement, d'amour complet et de haine ardente ¹.

Jeune homme sans appui, il s'attaqua au monstre, devant lequel tremblait tout le pays — à Araktchéïeff.

«On ne peut s'imaginer l'étonnement, la stupéfaction des habitants de Pétersbourg à la lecture de cette poésie. Tout le monde attendait avec anxiété par quoi se terminerait cette lutte d'un enfant avec un géant. L'orage passa par-dessus sa tête. L'engourdissement de terreur se dissipa alors et un murmure d'approbation fut la récompense du jeune poète vengeur. La carrière politique de Ryléïeff date de cette poésie».

Il fut remarqué par tout le monde. C'était le temps où la société commençait à se lasser d'un arbitraire sans frein. Une fois membre de la société secrète, le bouillant jeune homme devint tout autre. De poète audacieux, qui jette sur la place publique des malédictions contre un favori redouté, il devient poète prédicateur, prêchant la grande lutte.

Ryléïeff (comme Michel Bakounine) commença son service par l'artillerie; il le quitta bientôt et se retira dans une petite propriété qu'il avait près de Pétersbourg. Il était jeune et marié. En peu de temps il acquit une grande estime parmi ses voisins, qui l'élurent aux fonctions d'un des juges de la cour criminelle, à Pétersbourg.

¹ Nous tâcherons de faire connaître à nos lecteurs ses deux poèmes *Voïnarovsky* et *Nalivaïko*, au moins en prose.

C'est dans cette charge qu'il acquit une grande popularité parmi le peuple, et Bestoujeff raconte une anecdote très caractéristique à cet égard.

«Un jour, d'après quelques soupçons, on arrêta un petit bourgeois de Pétersbourg. Comme il n'avouait rien, on l'amena devant le comte Miloradovitch — alors gouverneur général de Saint-Pétersbourg. Le pauvre diable persistait à nier, probablement il était innocent. Miloradovitch, fatigué de ses dénégations, lui déclara qu'il le livrerait à la cour criminelle (il le fit pour l'intimider, connaissant la profonde aversion des gens du peuple pour le tribunal) — mais tout au contraire le bourgeois tomba à ses pieds et le remercia avec des larmes aux yeux pour la grâce qu'il lui faisait.

— Quelle diable de grâce? — demande Miloradovitch stupéfié.

— Votre Excellence, vous voulez m'envoyer devant le tribunal, eh bien! — je suis sûr que le tribunal terminera toutes mes tribulations en m'acquittant. Il y a parmi les juges un monsieur Ryléïeff, il ne condamnera pas un innocent».

Dans une affaire qui a eu dans le temps un grand retentissement Ryléïeff se faisant l'avocat des paysans du prince Rasmovskiy, gagna le procès en faveur des paysans contre le gré non seulement des puissants, mais de l'empereur même.

Aimé avec passion par ses amis, Ryléïeff devint le cœur, le centre ardent et attractif de la Société du Nord. Sans être précisément éloquent — il entraînait tout le monde avec une puissance irrésistible. «Avant d'avoir parlé», il s'emparait déjà de son interlocuteur par ses yeux et par l'expression de ses traits.

...Devant la Commission, Ryléïeff prit sur lui toute la responsabilité du 14/26 décembre. Il s'accusait pour faciliter à ses amis la défense. Pourtant il faut convenir qu'il était un des promoteurs principaux et un des acteurs les plus actifs de cette journée ¹.

On ne s'attendait nullement à la mort de l'empereur Alexandre. Réveillés en sursaut par cette nouvelle, les membres de la Société furent encore plus frappés par la seconde. Le bruit

¹ Nous trouverons plus de détails sur les circonstances qui précédèrent l'insurrection sur la place d'Isaac dans les mémoires du prince S. Troubetzkoi.

de l'abdication de Constantin gagnait du terrain, et pourtant on lui prêtait serment dans toute la Russie. Nicolas voulait hâtivement s'emparer du trône, mais il trouva une vigoureuse résistance dans le général Miloradovitch. Les soldats murmuraient de ce qu'on leur avait caché jusqu'au dernier moment la maladie d'Alexandre et son testament. Un manifeste parut, pour annoncer l'abdication du Césarévitch; le manifeste, qui déliait du serment de fidélité prêté à Constantin, *ne portait pas* sa signature, mais bien celle de son frère cadet, qui allait s'emparer du trône. Tout cela troublait les esprits.

Ryléïeff et quelques-uns de ses amis, en petit nombre, voulurent voir de leurs propres yeux où l'on en était. A la nuit tombante (cela pouvait être le 10 ou le 22 décembre), ils s'en allèrent de part et d'autre parler aux soldats; ils leur disaient que l'on cachait le testament de l'empereur défunt par lequel les serfs recevaient la liberté, les soldats ne serviraient dans les rangs que quinze ans. Ils trouvèrent les soldats tout prêts, et les nouvelles se répandirent avec une grande rapidité, comme ils l'avaient constaté le lendemain matin. Il était impossible de perdre une telle occasion.

«Je ne crois pas au succès,— disait Ryléïeff à N. Bestoujeff,— mais le moment est propice; dans tous les cas il faut risquer et oser. Si nous périssons, nous donnerons un exemple qui réveillera».

Le 12 décembre Ryléïeff apprit qu'un jeune officier, Rostovtzeff, appartenant à la Société, a eu une entrevue avec Nicolas, et sans dénoncer les personnes lui a fait part des projets de soulèvement, etc.

— Dans ce cas, qu'y a-t-il à faire? — demanda Ryléïeff à N. Bestoujeff.

— Ne communiquer à personne la nouvelle et agir immédiatement. Mieux vaut être pris sur la place publique que dans son lit. Au moins on saura ce que nous voulons et pourquoi nous périssons,— répondit Bestoujeff.

Ryléïeff se jeta à son cou.

— J'étais sûr, — lui dit-il,— que tu le dirais, je suis encore plus sûr que nous allons à notre perte, n'importe, en avant!

L'idée de Ryléïeff, simple et parfaitement juste, était de réunir au plus vite les troupes dévouées et de marcher sans perdre

de temps au Palais d'Hiver. Il était facile de s'en emparer à l'improviste, ayant avec soi des soldats de la garde qui connaissaient toutes les issues. Les militaires trouvèrent tant d'objections, que ce plan, peut-être le seul possible, fut abandonné; on se décida à faire une insurrection sur la place d'Isaac.

De grand matin, le 14/26, Bestoujeff vint chercher Ryléïeff. Il l'attendait déjà. Ils s'embrassèrent et voulurent sortir, lorsque éperdue, sanglotant, la femme de Ryléïeff leur barra le chemin.

Elle saisit la main de Bestoujeff et s'écria:

— Laissez-moi mon mari, ne l'emmenez pas, il va à sa perte, il va à sa perte! Nastia, viens, prie ton père pour moi, pour toi.

Et la petite de Ryléïeff, toute en larmes, embrassait les genoux de son père.

Sa femme, se sentant mal, inclina sa tête sur la poitrine de Ryléïeff; il la posa doucement sur un sofa; elle était évanouie, et s'arrachant de l'enfant il se précipita dehors.

.....
(On a trouvé encore, après le décès de N. Bestoujeff, quelques fragments se rapportant à la journée du 14/26 décembre 1825. Un de ces fragments continue évidemment les souvenirs sur Ryléïeff, un second appartient à un autre manuscrit. L'incident décrit est extrêmement dramatique. Mais où est le commencement? où est la suite? Quel malheur irrémédiable si nous avons perdu ce saint héritage d'un des meilleurs, des plus énergiques acteurs de la grande conspiration! Voici le premier fragment):

<I>

«Nous nous séparâmes. J'arrivai assez tard sur la place, amenant avec moi l'équipage de la garde. Ryléïeff me serra sur son cœur, c'était notre baiser de liberté.

— Nos prévisions s'accomplissent,— me dit-il,— nos derniers moments s'approchent, mais aussi c'est notre premier souffle d'indépendance, et pour cet instant je donne volontiers ma vie.

Ces paroles sont les dernières que Ryléïeff m'ait adressées».

Bestoujeff le revit encore sept mois après. Tous deux étaient dans les casemates du ravelin d'Alexis sans se voir, bien entendu. Une fois, après le souper, le caporal qui servait Bestoujeff ouvrit

la porte; au moment même Ryléïeff passait sous escorte pour prendre l'air. Bestoujeff écarta le caporal et se jeta au cou de Ryléïeff — on les sépara.

Ce fut leur adieu. Quelques jours après, l'archiprêtre lui racontait le *carmen horrendum*, comme il l'a fait à Yakouchkine.

11

«...Mon épée était depuis longtemps dans le fourreau.

Je me tenais dans l'intervalle du carré formé par le régiment de Moscou et l'équipage de la garde. Enfonçant mon chapeau et me croisant les bras, je pensais aux paroles de Ryléïeff: „Que nous respirions l'air de la liberté“, et je voyais que cet air commençait à manquer. Les cris des soldats ressemblaient plutôt aux cris suprêmes d'une agonie. Nous étions entourés de tous côtés; l'inactivité dans laquelle nous restions glaça les cœurs, remplit d'effroi les esprits; celui qui s'arrête à mi-chemin est déjà à demi-vaincu.

Un vent perçant et froid venait de son côté geler le sang des soldats et des officiers, si longtemps exposés sur une place découverte... L'attaque contre nous cessa, le „hourrah!“ des soldats devint moins fréquent. Le jour tombait, tout à coup nous vîmes les régiments s'écarter des deux côtés pour faire place à l'artillerie. Les bouches des canons étaient braquées contre nous, tristement éclairées par les crépuscules grisâtres d'une soirée d'hiver.

Le métropolitain vint lui-même nous admonester et s'en retourna sans succès. Le général Souhosanet s'approcha en montrant l'artillerie; on lui cria à haute voix qu'il était „un pleutre“. — C'étaient les derniers efforts de notre indépendance.

Le premier coup de canon retentit, la mitraille se répandit en soulevant la neige et la poussière, en frappant la rue et les maisons; quelques hommes tombèrent du front; des spectateurs inoffensifs qui se tenaient sous la colonnade du Sénat furent blessés ou tués. Sept hommes de nos rangs, tués instantanément, tombèrent comme évanouis; je n'ai pas vu de convulsions, je n'ai pas entendu de cris — telle était la force de la mitraille à cette petite distance. Un silence absolu régnait parmi les vivants et les morts. D'autres coups de canon jetèrent par terre un tas de soldats et d'hommes du peuple. Les carreaux, les châssis

des fenêtres tombaient avec fracas, et avec eux tombaient silencieusement des hommes qui restaient raides et sans mouvement; j'étais comme pétrifié à ma place en attendant le coup qui m'emporterait. L'existence en ce moment me parut si accablante, si amère que je souhaitai la mort. Le sort en décida autrement. Après le cinquième, le sixième coup, la colonne s'ébranla. Lorsque je revins à moi, la place entre moi et la colonne qui fuyait était vide d'hommes et couverte de tués; je rejoignis la colonne en me frayant un chemin entre des cadavres. Il n'y avait ni cris, ni plaintes, mais on entendait la neige fondant sous le sang chaud et l'on voyait ensuite le sang se convertir en glace.

Un escadron de chevaliers-gardes se mit à notre poursuite; entrant dans une rue étroite (Galernaïa), les masses l'encombrèrent. C'est là que j'atteignis les grenadiers de la garde et rencontrai mon frère Alexandre. Nous arrêtâmes quelques dizaines d'hommes pour faire face à une attaque et couvrir la retraite, mais l'empereur *préféra* tirer des coups de canon tout le long de la rue.

La mitraille atteignait mieux que les chevaux, et nous fûmes forcés de nous disperser. A chaque pas on voyait tomber des soldats et des hommes du peuple; les soldats frappaient aux portes des maisons, se cachaient derrière les murs, où la mitraille les atteignait par ricochet, en rebondissant des murs opposés. C'est ainsi que la colonne et la masse du peuple, criblées de coups, atteignirent le croisement de la rue par une autre rue, où elles étaient attendues par une partie du régiment des grenadiers de Paul.

Ayant perdu de vue mon frère, j'entrai dans une porte cochère entr'ouverte, et je me trouvai en face du maître de la maison. Deux individus bien habillés se précipitèrent en même temps vers la porte; mais au moment où l'un d'eux entrait, un coup de mitraille l'étendit devant nous. Son corps nous barra le chemin. Avant que j'aie eu le temps de me baisser et de relever sa tête, il était mort: le sang jaillissait de deux côtés, de la poitrine et du dos. „Mon Dieu,— s'écria le propriétaire,— n'y a-t-il pas moyen de le secourir“. Je lui montrai la plaie qui traversait de part en part le jeune homme.

„Que la volonté de Dieu s'accomplisse. Entrons vite chez moi, autrement nous risquons que notre nombre ne diminue enco-

re". Nous traversâmes tous trois la cour; le maître de la maison frappa à la porte: un aboiement fort retentit des chambres, qui semblaient vides.

— Permettez-moi,— nous dit-il, de vous demander, messieurs, qui j'ai l'honneur de recevoir chez moi avant que le domestique ne vienne calmer le chien et tirer les verroux.

Je montrai mes épaulettes d'officier supérieur et la croix que je portais.

— Et vous?

Le jeune homme qui avait une très agréable physionomie, lui déclara son nom de famille, qu'à mon grand regret j'ai oublié.

Le domestique, après avoir tiré divers verroux et ouvert des cadenas, montra sa tête.

— Je ne suis pas seul, tiens le chien.— Et en nous donnant une poignée de main il nous invita à entrer. La précaution n'était pas inutile, un énorme chien se débattait, retenu avec peine par le domestique.

Nous entrâmes dans une pièce du rez-de-chaussée, le domestique apporta une bougie, le maître lui ordonna de fermer immédiatement les volets donnant sur le quai et sur la cour, de fermer les portes et de dire à tout le monde qu'il n'y était pas.

Les coups de canon continuaient le long de la rue et de la Néva; on entendait la fusillade de deux côtés. Cela dura une dizaine de minutes; les canons se turent les premiers; les coups de fusil devenaient plus rares et cessèrent bientôt complètement.

On nous offrit du thé sans lait, le propriétaire faisait maigre. Quoique notre conversation roulât sur les terribles événements de la journée, elle était froide et guindée. Nous ne nous connaissions pas, et la méfiance liait les langues. La contrainte perçait à travers la politesse et l'urbanité. Je regardais notre hôte. C'était un homme de ma taille, il pouvait avoir quarante-cinq ans, d'une santé robuste, de beaux traits et regardant avec des yeux noirs qui parlaient en faveur de son caractère. Pas un cheveu blanc dans ses cheveux noirs; sur son habit gris on voyait la plaque d'une décoration napolitaine.

Lorsque la tranquillité fut complètement rétablie, et que le domestique qui sortait de temps en temps dans la rue nous dit que l'on ne voyait personne, à l'exception des patrouilles, le

jeune homme se leva, remercia le maître de la maison, répéta son nom de famille et sortit sur le quai, conduit par le domestique. Les convenances ne me permettaient pas de rester plus longtemps, mais je pensais que pour moi il était peu sûr encore de quitter la maison. Et lorsque l'hôte s'approcha de moi, après avoir reconduit le jeune homme, comme s'il voulait me le rappeler, je lui dis :

— Vous avez fait une bonne œuvre en nous sauvant de la mitraille, et maintenant le danger d'être blessé ayant cessé, le jeune homme s'en est allé; la politesse m'enjoint de le suivre, mais je vous dirai franchement pourquoi j'ai besoin de vous demander encore l'hospitalité pour une heure ou deux: je suis un de ceux qui ont amené sur la place les troupes qui n'ont pas prêté serment à Nicolas.

L'hôte pâlit; un doute, une indécision parcoururent ses traits.

— C'en est fait, — lui dis-je, — voyant sa consternation. — Vous pouvez disposer de moi, me livrer comme un rebelle ou me donner un asile comme à un malheureux que l'on persécute.

Il me tendit la main en disant :

— Restez chez moi autant que cela est nécessaire à votre sécurité.

— Pesez bien votre décision. Outre ce que je vous ai communiqué, il faut que vous sachiez le nom de celui...

— Du tout, du tout, votre malheur suffit. — Et me prenant par la main avec effusion il me fit asseoir.

— Vous êtes un homme généreux, — lui dis-je, — que Dieu vous récompense; quant à moi, je n'abuserai pas de votre condescendance.

— Passons dans une autre chambre, — me dit-il, — moi j'occupe ordinairement celle-là. En voyant la lumière à travers les fentes, quelqu'un peut venir.

Il me conduisit dans une autre pièce tout encombrée de meubles.

— Ma femme est à la campagne, — me dit-il, — je suis sur mon départ; la maison est vide, à l'exception de ces deux chambres et d'une troisième occupée par mon fils, qui est aide de camp près de...

Notre conversation devint plus intime. Mon hôte avait été témoin de la disposition des troupes, il avait vu de ses yeux si les soldats voulaient du nouvel empereur.

En touchant l'incident que c'était moi qui avais amené les troupes, je lui dis mon nom de famille.

— N'êtes-vous pas le fils d'Alexandre Bestoujeff, qui a été capitaine à l'école de génie?

Je donnai une réponse affirmative.

— Eh bien, je suis enchanté de ce que je puis rendre service au fils de mon bienfaiteur. J'ai reçu mon éducation sous sa direction et après, je peux le dire, je fus son ami jusqu'à ce que les circonstances nous aient séparés.

Il me raconta alors sa vie, elle n'était pas riche en incidents; l'événement le plus important c'est qu'il était très bien connu de l'empereur Alexandre, avait été même en correspondance avec lui, avait reçu quelque mission pour l'étranger et était en outre correspondant du comité scientifique de l'artillerie. En parlant du défunt empereur, il montra un grand attachement pour lui, prit son portrait qu'il portait sur lui et le baisa, ajoutant que c'était l'empereur lui-même qui le lui avait donné, parce qu'il ne voulait rien recevoir comme récompense de ses services.

La politesse cordiale de mon hôte m'enchantait — le temps passait vite, et il était près de huit heures lorsque le chien commença à aboyer. Un bruit fort se fit entendre derrière la porte fermée.

Notre conversation s'arrêta. Le maître de la maison parut un peu troublé, mais en voyant entrer un beau jeune homme en uniforme, il me dit à voix basse que c'était son fils.

Le jeune officier dit à son père que c'était avec peine qu'il avait pu s'échapper de la cour, mettre d'autres habits et y retourner.

Il était tellement préoccupé par les événements qu'il m'aperçut à peine, et sans s'informer comment le père avait passé cette journée, il se mit à parler chaleureusement de l'empereur, des troupes, de l'artillerie.

— Comment donc tout cela s'est-il terminé? — demanda le père, — moi je me suis éloigné de la place quand on a commencé à tirer.

— On a dispersé ce tas de coquins; quelques officiers qui étaient avec eux ont été arrêtés. On présume que tout cela était

tramé par les frères Bestoujeff; il y en a beaucoup qui ont pris part et pas un de ces gredins n'a été pris.

Je serrai mes mains et mes dents.

Ma position ne me permettait pas de relever l'injure. Le père tressaillit, me jeta un regard et dit à son fils:

— N'injurie pas, cher ami, si légèrement ces gens sans avoir pesé ce qu'ils ont fait. Tu les envisages du point de vue des courtisans, mais si tu avais été sur la place publique comme moi, tu parlerais autrement.— Ici le père ajouta quelques considérations très raisonnables sur le doute des soldats concernant l'abdication de Constantin.

Le jeune homme n'avait rien à contredire, il partit.

— Vous voyez,— dit le père,— que vous n'êtes pas en sûreté même dans ma maison. Vous avez entendu les opinions de mon fils.

— Moi-même j'ai l'intention de vous quitter, je veux vous remercier et prendre congé.

— Non, attendez un peu, il n'est pas tard. Nous souperons ensemble, la ville se tranquillisera plus en attendant».

(Ici finit le fragment, écrit sur cinq petites feuilles et demie de papier grossier et d'une main très peu lisible¹).

P. S. Le jour de l'exécution, N. Bestoujeff et les autres officiers de la marine étaient expédiés à Kronstadt, pour être dégradés devant leurs compagnons d'armes. Ils étaient escortés par des artilleurs de la marine. Un jeune sergent parla à Bestoujeff de l'affaire de Ryléïeff et lui récita quelques-uns de ses chants révolutionnaires, chants qui n'ont jamais été imprimés. «Les jeunes canonniers qui savent bien lire et écrire, ont tous des copies de ces vers et d'autres dans ce genre», disait le sergent.

Ce sont ces poésies *et d'autres dans ce genre* qui ont éduqué toute la génération, qui suivait dans l'ombre ces hommes héroïques.

¹ C'est avec cette note que nous avons reçu la copie du manuscrit qui a été inséré dans *l'Etoile polaire* (VII^e vol.).



**ИСТОРИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ О ГЕРОЯХ 1825 ГОДА
И ИХ ПРЕДШЕСТВЕННИКАХ,
ПО ИХ ВОСПОМИНАНИЯМ**

ЗАПИСКИ ДЕКАБРИСТОВ: И. Якушкина, князя Трубецкого, Лондон, 1862. · Вольная русская типография.— Статьи «Полярной звезды»: о Рылсееве, Бестужеве, Н. Муравьеве; «Император Александр I и В. Карзин».

Политическое движение неофициального и неправительственного характера началось в России, собственно, лишь с царствования Александра I и главным образом с 1812 года.

В последние годы царствования Екатерины II атмосфера в Санкт-Петербурге была тяжелая и душливая: то была атмосфера старчества, дряхлости, в ней повсюду ощущалось влияние престарелой развратной женщины, некогда энциклопедистки, ныне—преисполненной ужаса перед Французской революцией и изменяющей всем своим убеждениям, так же как она изменяла всем своим любовникам. Вокруг трона — полное, восточное безмолвие. Кое-где — масонские ложи, мартинисты; она уже принялась их преследовать. Кое-где отдельные либеральные выпады, даже целая книга, знаменитое «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, который проповедовал освобождение крестьян и говорил об ужасах самодержавия. Она сослала автора в Сибирь. Это всё; ни единства, ни последовательности, ни сосредоточения сил, ни организации.

Главным пунктом помешательства Павла I была ненависть к революции и страх, как бы ее принципы не проникли в его

империю. Умственное развитие приостановилось во время его царствования, мысль была парализована. Составленный против него заговор и его смерть не доказывают обратного. Заговор этот не имел никакого серьезного или общего значения. То была личная или семейная тяжба между Павлом и любовниками его матери, уволенными со службы вследствие упразднения должности и преследуемыми по злопамятству. То было вопросом самосохранения для этих людей, день и ночь дрожавших под угрозой дамокловой *кибитки*, уже заложеной для отправления в Иркутск или Нерчинск.

Александр I перешагнул через теплый еще труп своего отца и взшел на престол, преисполненный мечтаний и благих намерений. В одном его кармане находился проект освобождения крестьян, в другом — проект чуть ли не конституционного устройства государства*. Он почти ничего не осуществил, он почти ничего *не мог* осуществить.

С первых же дней своего царствования юный император окружил себя весьма замечательными молодыми людьми: то были граф Строгонов, князь Адам Чарторижский, граф Кочубей, Новосильцев и др. Самодержец готовит с ними заговор в кабинете Зимнего дворца! Он очень доволен, что в салонах прозвали эти тайные собрания «Комитетом общественного спасения»*, и не замечает, что из всех Сен-Жюстов и Кутонов его комитета один только граф Строгонов поддерживает его в вопросе об освобождении крестьян*.

Полиция, бюрократия по-иному пекутся о *безопасности империи*; они принимают необходимые меры, чтобы обезвредить революционный пыл под короной Мономаха, стараясь сделать это так, чтоб императорская игра оставалась в пределах комитета и не проникала наружу. Редко бывало положение, столь печальное и смешное одновременно. В течение нескольких лет Александр не знал об этом.

Непрístupная стена возвышалась между дворцом и народом. Страна была погружена в угрюмое молчание и мрачную тьму. Свет был, заметим, только на самых высоких вершинах.

Вся деятельность, вся политическая и реформаторская возня исходили от Зимнего дворца и не шли дальше нескольких

великосветских гостиных. Гостиные эти были столь же замкнуты, как масонские ложи, даже еще больше; никакими заслугами нельзя было в них проникнуть. — Чтобы получить в них доступ, надобно было иметь аристократическое происхождение, большое богатство и по крайней мере генеральский чин для *штатских*. Для гвардейских офицеров делалось исключение.

Не только крестьянское население — население, поставленное *вне закона*, — не существовало, но и все остальное — за исключением *высшего общества*. Ни купцы, ворочавшие миллионами, ни чиновники (незнатного происхождения), которые столько же наворовывали. Им предоставляли возможность жить и наживаться, но с тем, чтоб они говорили между собой лишь о своих делах, и то вполголоса. Проникнуть в высшие круги, не будучи дальним родственником, титулованным иностранцем или победоносным воином, было почти невозможно.

Исключения лучше всего подтверждают это.

Положение Сперанского сильно затруднялось его происхождением: он был сын священника. Император Александр взял его себе в секретари, когда отправлялся в Эрфурт, оценил его таланты и сделал своим министром без портфеля. Будь он побочный сын какого-нибудь вельможи, ему намного легче было бы проводить свои реформы. Но попович — статс-секретарь и друг императора, — это так кололо глаза вельможам, и не только чванным и полудиким старцам времен Екатерины II, но и тогдашнему вольнодумцу — вольтерьянцу графу Ростопчину, который кончил тем, что погубил его, сделав на него ложный донос *.

Зимнему дворцу легче было пробить брешь сверху, чтобы дать проникнуть нескольким революционным идеям в этот замурованный и законопаченный мир, чем проделать щель снизу. Поэтому первое ядро образовалось вблизи самого императора и в казармах императорской гвардии. Первые революционеры принадлежали к самой высшей аристократии. В этом однако нет ничего удивительного. То была единственная среда, находившаяся в безопасности от полиции и обладавшая образованием и богатством.

Уже к концу царствования Екатерины II вельможи стали посылать своих сыновей в Париж и Лондон, даже в некоторые германские университеты, такие, как геттингенский, для завершения их образования; другие же выписывали из Франции учителей, гувернеров. В их числе бывали не только эмигранты (даже и те были весьма полезны своей непоследовательностью: католики-вольтерьянцы и роялисты-фронтеры, они совершенно не вызвали подозрения и вели пропаганду в пасти у льва), но и лица выдающиеся, с большими заслугами, лица исторические.

В самую прекрасную пору революции у знаменитой Теруань де Мерикур можно было видеть одного из ее друзей, сурового, серьезного, величественного Ромма, «одного из последних римлян», по выражению Эдгара Кине, одного из мрачных героев прериала*. Он приходил к ней со своим юным учеником, которого нежно любил. Этот молодой человек повсюду следовал за ним, являясь на заседания секции, председателем которой был Ромм, и было это во время самых бурных дней.

Часто Ромм смотрел на него с глубокой любовью и говорил ему: «Дорогой друг, никогда не забывай того, что ты здесь видишь: храни свое сердце, храни свои убеждения, они прекрасны».

Этот ученик был граф Строгонов* — если не ошибаюсь, единственный член императорского комитета спасения, который поддерживал императора в его проекте освобождения крестьян.

При всем том император и его окружение, обладавшие безграничной властью, когда они хотели делать зло, были совершенно бессильны сделать что-либо действительно хорошее. Буря, которая должна была вскоре пробудить гиганта, погруженного в летаргический сон, уже собиралась. Новая Россия ведет свое начало с 1812 года.

Прежде чем перейти к воспоминаниям героев, совершивших великий заговор 1825 года, мы остановимся на характерной фигуре *В. Каразина*¹.

¹ Эта статья, опубликованная в 7-й книжке «Полярной звезды», была написана по неизданным воспоминаниям, заметкам и письмам г. Каразина

ГЛАВА I
ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР I и В. Н. КАРАЗИН

< 1
. >

ГЛАВА II
ЗАГОВОРЩИК 1825 ГОДА
(ИВАН ЯКУШКИН)

Мы просим наших читателей твердо помнить, что *очерки* эти ни в коей мере не являются *историей* великого заговора 1825 года. Это только отрывки, отдельные штрихи, наброски, разрозненные страницы из воспоминаний и заметок, написанных И. Якушкиным, Бестужевым, князьями Трубецким, Оболенским и др. Мы добавили от себя лишь отдельные подробности и замечания общего характера. Мы старались, насколько это возможно, сохранить собственные слова этих героических личностей, писавших их во глубине Восточной Сибири рукой, отягощенной оковами.

Поэтому-то мы и не слили в единую монографию отдельные воспоминания; напротив, мы сохранили их индивидуальность, хоть это и вынуждало нас иногда повторяться.

Настоящая глава извлечена из *первой части* воспоминаний Ивана Якушкина. Нам так и не удалось достать *вторую*, которая положительным образом была нам обещана нашими друзьями*, более щедрыми на дружеские излияния, чем на точное исполнение взятых на себя обязательств.

Существуют странные собиратели ценностей, которые наивно думают, что подобного рода воспоминания могут являться *частной собственностью*. Не только родственники и наследники, но и лица, получившие по счастливой случайности какой-либо список, прячут его под замок, разыгрывая таким образом мало-благородную роль пуделя, с ревливой скупостью охраняющего ненужное ему сено.

¹ Русский текст исторического очерка «Император Александр I и В. Н. Каразин» см. в т. XVI наст. изд., стр. 38—77. Характеристику французского перевода, а также изменений и исправлений, внесенных Герценом в текст «Колокол», — см. там же, стр. 366—369. — Ред.

Судьбы Российской империи решились в день торжественного вступления в Париж Александра I, эскортируемого отрядом владетельных особ, среди которых были австрийский император и прусский король.

Nec plus ultra! *

С этого дня *империя для империи* кончилась; следовало искать иных оснований для ее поддержания, иных начал для ее развития, и понемногу они стали возникать.

Русская империя, одетая на немецкий манер Петром I, долго стучалась в двери Европы, испрашивая себе место на пиру ее государей, прежде чем увидела, что эти двери открылись. С презрением глядели Бурбоны на гиперборейского выскочку. Сто лет спустя те же Бурбоны были вновь возведены на свой трон русским царем и русской армией. Империя хотела лишь упрочиться, получить признание; теперь же она навязывала себя как неодолимая и покровительствующая сила.

Дело Петра I было завершено. Петербургскому самовластию оставалось выполнить еще одно назначение, оно выполнило его наполовину и гораздо позже. Задача его исчерпана, оно может продолжать свое существование только преобразившись. Даже война была бы не более чем паллиативом.

Тотчас же после победы вокруг престола стала ощущаться гнетущая, зловещая пустота. Душевный покой был утрачен. Александр почувствовал это первым, и далеко не он один. Он впал в мечтательность и тоску; угрызения совести, обманутые надежды, предчувствия томили его. Украдкой оставлял он армию, совет королей, празднества конгресса и спешил опуститься на колени в экстатической молитве вместе с баронессой Крюднер, которая из подружки г-жи Тальен сделалась иллюминаткой.. одержимой, фанатичкой*.

Военная молодежь оставалась задумчивой и сосредоточенной среди лавров и оваций. Было что-то мучительное в этом контрасте между родиной, победоносной вне своих границ и угнетенной внутри. Сравнение России с Францией и другими странами напрашивалось самым естественным образом. За два года войны в воспитании молодых офицеров произошел огромный

скачок; они стали на голову выше и возвращались более серьезными, чем их старики-отцы, легкомысленные и раболепные царедворцы, не понимавшие их и смотревшие на них с удивлением. И они стали не только более серьезными, но и более впечатлительными, более раздражительными и менее терпеливыми — и совсем далеки были от духа покорного послушания и вечного обоготворения власти, которым так отличалось русское дворянство.

Они не забыли своей родины, они не отдали предпочтения другим странам; напротив, именно они-то и любили Россию... «но странною любовью», как сказал поэт*. На полях сражений они научились видеть в солдате человека; им стыдно было подвергать его палочным ударам, им стыдно было владеть крепостными; их охватывал трепет негодования от того, что и сами они не обладают человеческими правами, которые можно было бы противопоставить всемогуществу правительства.

Тот же толчок, который разбудил и помог росту офицеров, самым губительным образом повлиял на императора. Сердце его, еще более угрюмое и недоверчивое, чем прежде, очерствело; его мрачный мистицизм превратился в манию и несколько уже не сдерживал его дурных душевных наклонностей. Глубокое презрение, явная ненависть ко всему русскому овладели им. Либеральный, гуманный в Европе, в Польше, он становился в России неумолимым деспотом, мелочным и утомленным. «Он чувствовал себя чужим на родине, он был вне своей стихии». России он не понимал и начинал догадываться об этом. Некогда он искренно желал добра своему народу, но сделать ничего не мог. В отместку он всячески унижал русский народ, не скрывая своей досады.

Когда герцог Веллингтон, во время смотра на равнине Вертю, похвалил царю безукоризненную выправку русских войск, Александр ответил ему: «У меня на службе много иностранцев, этим я обязан им».

Адъютант граф Ожеровский с удивлением рассказывал своим товарищам, что в присутствии нескольких лиц император вскричал: «Если русский не дурак, то он плут». И это в Париже, в 1814 году.

Видя, что все им сделанное не пускает корней, что ему удастся только война, Александр проникся глубокой злобой не к алчной, продажной бюрократии, не к невежественному, хищному и могущественному дворянству, которое парализовало все его мероприятия, а к народу, *великому незнакомцу*, немому, несчастному, бездеятельному, пассивному, который не принимал ничего от Danaos dona ferentes*. Почувствовав отвращение ко всему, Александр отошел от дел и с неистовством бросился в *марсоманию* смотров, мундиров, маневров, военных упражнений ускоренным и журавлиным шагом — наследственная болезнь фамилии голштейн-готторпской со времен Gamaschen-капрала и императора Петра III*.

Мы увидим из рассказа молодого гвардейского офицера, возвратившегося в Россию после кампании 1814 года, как далеко уже тогда зашел император.

Этот офицер и есть превосходный, энергичный ИВАН ЯКУШКИН.

Первое, что поражает его при возвращении в Россию: полиция, расчищая место для батальонов в момент высадки войск в Ораниенбауме, награждает кулачными ударами направо и налево всех сбежавшихся поздравить солдат с благополучным прибытием. Сердце молодого человека *сжалось*. Таков был *первый прием*.

Второй не заставил себя долго ждать. Якушкин отправился в штатском платье вместе с графом Толстым взглянуть на торжественное вступление девятой императорской гвардейской дивизии. Императрица-мать* с одной из великих княжон ожидала в парадной карете у арки, специально построенной для ознаменования этого торжества. Сам император выехал навстречу войскам, чтобы стать во главе их. Якушкин находился в двух шагах от императорской кареты, волны народа покрывали дорогу и подступы к ней. Наконец перед полками на великолепном коне показался император, он приближался, прекрасный и сияющий, с обнаженной шпагой в руке. Однако в ту минуту, когда он собирался, опустив шпагу, приветствовать свою мать; какой-то несчастный мужик, подталкиваемый сзади, желая лучше видеть, пробился через шпалеры и перебежал улицу неподалеку от императора. Тогда тот, вне себя, дал

шпоры своей лошади и бросился с *обнаженной шпагой* на мужика; полиция, разумеется, накинулась на беднягу, осыпая его градом ударов.

«Мы не могли поверить собственным глазам и отвернулись, сгорая от стыда, — продолжает Якушкин. — Это было начало моего разочарования в императоре, и я невольно подумал о кошке, обращенной в красавицу, которая однако ж не могла видеть мыши, не бросившись на нее».

Еще факт: в 1817 году последние войска возвратились из Франции. Александр выехал навстречу этим людям, более пяти лет выносившим тяготы отдаленной кампании; увидев, что у них *плохая выправка*, он прогнал их с плацдарма и раскассировал один из егерских полков.

По доносу одного мерзавца, полковника артиллерии Таубе, утверждавшего, будто офицеры *невежливы*, он, Александр, без расследования, не разузнав сути дела, не выслушав ни объяснений, ни оправданий, наказал весь офицерский состав гвардейской артиллерии и перевел пять лучших офицеров в армию.

Молодежь роптала, ожесточалась. Серьезные люди начинали раздумывать не только о печальном положении страны, но и о необходимости срочно найти средства для выхода из него.

Один раз вечером — это было в 1816 году — четыре офицера собрались в комнате у Муравьевых-Апостолов. Обсуждалось трудное положение, в котором внезапно очутились, несчастное состояние родины. Появилось еще двое Муравьевых. Один из них предложил составить общество для противодействия немецкой партии. Якушкин отказался в нем участвовать, заявив, что он готов вступить в общество, целью которого было бы не противодействие нескольким немцам, а общее улучшение участи России. Муравьевы-Апостолы разделяли его мнение. Тогда Муравьевы признались, что союз против немцев был только пробой и что они хотели предложить совсем иное общество. Все тотчас же согласились относительно основных принципов союза.

Вот отправная точка, *punctum saliens* великой борьбы, незримой работы в течение тридцати лет, последовавших за 1825 годом, и пробуждения, наступившего после смерти Николая.

Эти шесть имен принадлежат истории. Вот они: *Сергей¹ и Матвей Муравьевы-Апостолы, Александр и Никита Муравьевы, князь Сергей Трубецкой и Якушкин.*

Шестерка эта решила не принимать ни одного члена без единодушного согласия всех.

Петербургская жизнь кажется Якушкину несносной, он покидает гвардию и переходит служить в обыкновенный егерский полк. По пути он заезжает повидаться со своим дядей, который управлял его родовым имением, расположенным в Смоленской губернии, и объявляет ему, что твердо решил освободить своих крестьян. Дядя, грустный и молчаливый, выслушивает его без малейшего возражения. Старик был уверен, что его племянник сошел с ума. Едва прибыв в 37-й егерский полк, он грубо нарушает постановление *шестерки* и делает великодушное приобретение для общества: он привлекает к нему командира своего полка — *Фонвизина*, человека высоких достоинств.

Год спустя мы видим уже среди членов общества знаменитого полковника Пестеля, который пишет первый устав общества, названного им «*Союзом благоденствия*»*. Тогда же вокруг *Фонвизина* образуется общество, ставящее своей целью пропаганду среди военных*.

В то время как эта кучка настойчивых и отважных людей обрекала себя на почти неотвратимую гибель, зная наперед свою участь, в Зимнем дворце замышлялся иного рода заговор.

Создание военных поселений сделалось пунктом помешательства императора; ему недоставало только исполнителя для этого крупнейшего преступления своего царствования; он вскоре нашел его в человеке грубом и жестоком, безжалостном и ограниченном, алчным и свирепом, в своем alter ego, в графе Аракчееве, артиллерийском генерале, известном своей трусостью на поле сражения, ненавидимом и презираемом всей Россией. На его-то гнусные плечи утомленный император мало-помалу

¹ Тот, который был повешен; остальные, за исключением Александра Муравьева, были отправлены на каторгу. Матвей Муравьев, Трубецкой и Якушкин возвратились в 1856 году.

переложил бремя самодержавной власти, и ему-то доверил он осуществление своего чудовищного замысла.

Новая история не видела ничего подобного, гнусность средств превосходит нелепость проекта.

Решено было взять широкую полосу земли на севере и протянуть ее затем до Черного моря. Превратив крестьян в военнoслужащих и разместив полки солдат в преобразованных таким образом деревнях, намеревались посредством поселений образовать *военную Россию*, которая делила бы на двое, подобно потоку, Россию гражданскую. По мысли императора, поселения эти должны были являться постоянным питомником для армии, местом расквартирования всей конницы, всей пехоты с их штабами и управлением; все должны были кормиться и содержать себя собственным трудом, собственными средствами. По мере того как чудовище это спускалось вниз, начиная от Старой Руссы близ Новгорода, все должно было быть без малейшей пощады, с лихорадочной поспешностью и педантизмом, граничащим с безумием, истерзано, разграблено, разбито, навеки превращено в солдат, — солдат потомственных. При первой же попытке крестьяне восстали, *Аракчеев расстреливал их из пушек, рубил их на куски во время кавалерийских атак, брал деревни в штыки*. Уцелевших от резни прогнали сквозь строй, и *порядок восторжествовал*. После этого несчастным объявили, что *их дома и имущество не принадлежат им более, что отныне они становятся солдатами-земледельцами и будут работать не на себя, а на полк*. Им обрили бороды, на них напялили шинели, затем разделили их на бригады и роты. Никогда ни террор, ни ужасы революции, ни коммунистические опыты, от анабаптистов и до Бабёфа, не осуществляли ничего даже отдаленно похожего на эти действия коронованного утописта, игравшего в 1801 году в комитет общественного спасения, этого меланхолического святоши из гостиных г-жи Крюднер, корифея либералов Священного союза!

Известны факты, подробности, которые врзались в память народа и заставляют дыбом подыматься волосы; перо отказывается описывать эти факты, но они остаются как закваска, которая будоражит и вызывает к ненависти и неизбежному мщению.

Восстание поселений в Старой Руссе в 1831 году доказало своим неукротимым характером, что зародыши не погибли¹.

Целые семьи покидали свои дома и бродили по лесам, женщины топились, мужчины калечили себя, вешались. Наказания были так непомерно тяжелы, что *часто* кончались уже *на трупе*.

Когда добрались до малороссийских казаков, то встретили отчаянное сопротивление*. Эти люди, помня о дарованных им вольностях, помня о Стеньке Разине и Пугачеве, с ужасом отступили перед введением военных поселений. Прошли по их трупам. Чтоб оценить всю бессмысленность этого последнего преступления, надобно вспомнить, что казаки имели уже вполне готовые военные поселения, которые отлично функционировали, как они доказали это во время войны с 1812 по 1814 год. Но бешеная страсть к единообразию и регламентации ничего и слышать не хотела о традиционной и подлинно народной организации.

Один казак², от которого потребовали, чтоб он объявил о своем согласии и которому угрожали несколькими тысячами розог в случае упорства (доходили до шести, восьми и даже десяти тысяч) просит минуту на размышление. Это был человек, уважаемый всей деревней, его *свободному* согласию придавали большое значение.

Ему предоставляют несколько минут. Он возвращается с мешком, развязывает его, кладет перед палачами в эполетах труны обоих своих детей, только что им убитых, и, сказав: «Они уж не будут солдатами», прибавляет: «Я же *не хочу быть им!*» Затем он снимает с себя платье и говорит: «Я готов!» Продолжать далее невозможно³.

¹ В одном из следующих листов мы приведем рассказ очевидца этого восстания, — рассказ, который был напечатан в русском «Колоколе»*.

² Я узнал об этом случае от знаменитого актера Михаила Щенкина*, который сам был малороссом; ему тогда должно было быть лет 20—25.

³ К бешеной мании военных поселений в больном мозгу императора вскоре присоединилась мания строительных работ и больших грунтовых дорог. Без всяких технических сведений, не считаясь со средствами, потребностями, даже со временами года, он превратил народное благо—строительство дорог — в бедствие для крестьян, заставляя их спешно отработывать нечто вроде пашльственной барщины. Охваченный первым беспокойством, он объезжал империю из конца в конец, всегда и везде недовольный, торопя работы, изводя власти, прибегавшие ко все-

Безумие императора и кровавая тирания его alter ego вызывали все большее и большее раздражение. Возмущенный известиями, получавшимися в Москве из Петербурга, Якушкин в 1817 году предложил своим друзьям убить Александра I; в качестве исполнителя он назвал самого себя. Члены общества не дали на это согласия, и Якушкин, оскорбленный и недовольный, порвал с Союзом. Год спустя, как и следовало ожидать, он возвратился в него.

В течение этого года общество подвинулось вперед. В 1819 году мы видим в его составе, помимо основателей, людей выдающихся, высокопоставленных, деятельных, влиятельных — таких, как полковники Граббе, Нарышкин, статс-секретарь Н. Тургенев, князя Оболенский, Лопухин, Шаховской, Илья Долгорукий и др.¹

возможным дорогостоящим средствам, чтобы выказать свое усердие. Князь Репнин, которому как генерал-губернатору он сделал выговор за дурное состояние дороги от Чернигова до Полтавы, осмелился заметить, что поскольку эти губернии постигнуты голодом, он не счит возможным использовать слишком много крестьян на большой дороге. «Что они дома сосут,— грубо отвечал император,— то могут сосать и на большой дороге».

Право, хочется спросить — тот ли это человек, которого мы видели после убийства Павла, тот ли, который был нам знаком во время войны, тот ли, наконец, о котором говорили Наполеон и Шатобриан, г-жа де Сталь и Штейн?

Один немецкий писатель утверждает, что в последние годы своего царствования он был поражен умственным помешательством. Вполне возможно!

¹ Мы видим рядом с этими людьми, из которых почти все отправились на каторгу искупить свою самоотверженность, такие имена, которые в сочетании с первыми звучат для нас странно, по причине их позднейшего положения, — имена двух братьев Перовских, одного — министра внутренних дел, другого — оренбургского генерал-губернатора; Бибикова, киевского генерал-губернатора и впоследствии министра; Кавелина, петербургского генерал-губернатора, и, наконец, — надобно ли его называть? — чудовищного виленского проконсула и инквизитора — Михаила Муравьева.

Князь Трубецкой отмечает в своих воспоминаниях еще имена князя Михаила Горчакова, начальника штаба действующей армии; адмирала *Литке*: генерала Николая Муравьева (Карского), командира армейского корпуса; генерала Гурко, начальника штаба на Кавказе.

И не надобно упускать из виду, что мы говорим только о петербургском и московском обществе. В штабе второй армии был другой центр, которым руководил знаменитый полковник Пестель, и с ним рядом такие его друзья, как генерал князь С. Волконский и генерал Юшневский, как полковники Давыдов, Сергей Муравьев, такие фанатики, как Бестужев, Борисов и др.

Рамки петербургского Союза становились чересчур тесными, план казался расплывчатым, робким, медлительным. Все чувствовали себя сильными и гораздо более готовыми к действию, чем можно было предполагать; отвага росла вместе с этим сознанием. Отсюда — естественное желание коренного преобразования, очистки, чтобы устранить вялых и нерешительных.

Было решено — под предлогом, будто правительство нашло на следы общества — распустить его и немедленно же его перестроить, сохраняя глубочайшую тайну. С этой целью Якушкина направили в штаб армии, находившийся в Тульчине, и предложили обществу Пестеля прислать своего делегата в Петербург.

Пестель намерен был поехать сам. Его энергия, его несокрушимая сила внушали страх — ему отсоветовали ехать. Полковник Бурцов отправился вместо него, принял все, даже новый устав, написанный Никитой Муравьевым, занявшимся образованием нового общества. Пестель и его товарищи не слишком-то были довольны новостями, которые им привез полковник Бурцов. Они резонно рассудили, что общество обеих столиц не имело никакого права распустить *sua sponte*¹ весь Союз. В конце концов пришли к согласию; однако с той поры общества приняли разные названия: Северное общество и Южное общество, и больше уже не сливались. Пестель также перестроил свое общество; оно было гораздо более передовым, энергичным и решительным, чем общество петербургское. Пестель ставил своей целью ниспровержение императорского правительства; он был убежден, что республиканская форма возможна для России. Человек с широкими взглядами, с непоколебимыми убеждениями, «он никогда не ослабевал и ни на волос

¹ самовольно (лат.). — *Ред.*

не отклонялся в сторону,— говорит Якушкин,— в течение десяти лет», когда он являлся подлинным диктатором Южного общества. Это он говорил о необходимости введения федерального начала*, глядел через границы, вступая в сношения с Обществом соединенных славян, отправил князя Волконского и Бестужева для заключения союза с поляками; наконец, именно Пестель первым указал на «землю», поземельную собственность и экспроприацию дворянства как на самую надежную основу для укрепления и внедрения революции. Члены Северного общества, даже Рылеев, никогда так далеко не заходили.

Император был сильно встревожен; ничего определенного он не знал, но догадывался о многом, как вдруг неожиданный удар окончательно выбил его из колеи. В 1821 году он находился в Лайбахе; это было во время конгресса; там он все еще разыгрывал свою роль либерала. Меттерних прекрасно видел, что он уже устал от нее, и хотел втянуть его в явную и откровенную реакцию (1821 год); он искал чего-нибудь такого, что могло бы поразить воображение императора. Случай помог ему необыкновенным образом. Однажды князь является утром к императору*, рассказывает ему с сильно огорченным видом о распространении революционного духа во всех государствах, о нерадивости правительств; и, видя улыбку на губах Александра I, заявляет ему:

— Государь, не думайте, что ваша страна находится в безопасности от революционных идей; сейчас, когда я имею честь говорить с вами, гвардейский Семеновский полк бунтует в Санкт-Петербурге.

Император побледнел.

— Откуда это вам известно? Я ничего не слышал.

— Только что прибыл курьер графа Лейбцельтерна с этой депешей.

Александр был уничтожен. Князь Меттерних удалился с сияющим видом. Удар был нанесен.

Полк, который первым приветствовал радостными кликами Александра в пресловутую мартовскую ночь 1801 года, — полк, который он любил больше всех остальных, один из лучших в гвардии, быть может, самый лучший, — и во власти мятежа.

И австрийский министр осведомлен об этом, а он, император всея Руси, — нет.

Русский курьер, отправленный командующим гвардией через несколько часов после курьера Лебцельтерна, наконец, прибыл. Это был Петр Чаадаев, столь знаменитый впоследствии. Император принял его дурно. Потом он хотел ему прицепить адъютантские аксельбанты. Чаадаев не захотел ни выговора за чужую ошибку, ни награды за такую злополучную историю, как дело Семеновского полка; он подал в отставку.

Что ж это была за история с Семеновским полком? Мы опубликовали в «Полярной звезде» рассказ современника¹.

Семеновский полк действительно был одним из лучших в гвардии; покрытый славой, возглавляемый замечательным человеком, генерал-адъютантом графом Потемкиным, он имел в своем составе превосходных, образованных офицеров, в числе которых были и члены Общества, как, например, двое Муравьевых-Апостолов и др.; они осуждали варварскую систему притеснений и наказаний, применяемых к солдатам, и приняли решение совершенно упразднить в полку палочные удары, розги и все виды телесных наказаний. В то же время они пытались улучшить участь солдат, следить за их пищей, содействовать увеличению их сбережений. Полковой командир помогал им, покровительствовал им; старые вояки смотрели косо на эти нововведения.

В 1821 году Аракчеев производил какой-то сбор средств на военные поселения. Приглашение участвовать в нем являлось не чем иным, как приказом; все спешили внести свою лепту. Ни один офицер Семеновского полка не подписался. Этого было достаточно. Их надобно было погубить. Аракчеев сообщил императору об упадке дисциплины, офицерского духа, посоветовал отстранить графа Потемкина от командования; император дал графу Потемкину целую гвардейскую дивизию и назначил некоего *Шварца*, немца или немецкого еврея, командиром блестящего Семеновского полка. Это был один из тех мелочных и безжалостных тиранов — невежественный, вспыльчивый, педант и немец, педант на службе, педант в дисциплине, каких

¹ «Полярная звезда», т. III, стр. 303 и проч.*

можно было видеть и видишь еще и теперь сотнями в русской армии. Он понял, с какой целью его назначили, и принялся *исправлять* полк. С первых же дней офицеры его возненавидели. Но больше всех страдали солдаты; ночью и днем он не давал им покоя; он продолжал при свечах военные упражнения, с тем чтобы возобновлять их еще затемно, наказывая за малейшую небрежность, за малейшую оплошность, с холодной и свирепой суровостью. Терпение солдат, отвыкших от дурного обращения, должно было лопнуть.

Однажды вечером, после поверки, рота его величества отказалась разойтись, заявив, что подобную службу продолжать невозможно, и громко требуя своего ротного командира. Капитан Кошкарров пытался успокоить их и обещал передать их жалобу главнокомандующему; солдаты разошлись. Он сдержал свое слово, но граф Васильчиков придал делу иной оборот. На следующий вечер он приказал роте собраться в манеже; там ее уже поджидал батальон гренадерского полка с заряженными ружьями. Гренадерам был дан приказ отвести роту в крепость. Солдаты повиновались. Когда об этом узнали, сильное волнение охватило весь полк. Солдаты громко говорили, что рота его величества была только потому наказана одна, что пожертвовала собой за всех; что они, разделяя ее протест, хотели бы разделить ее участь и быть заключенными в крепость.

Офицеры пытались их разубедить; солдаты отвечали, что они не хотят покинуть своих братьев, тогда офицеры присоединились к ним. Это было величественно и прекрасно.

Прежний командир полка, генерал-адъютант Потемкин, сам явился заклинять их, увещевать; но, увидев, что они непоколебимы, залился слезами и не смог продолжать. Он предвидел гибельные последствия. Явился и командующий корпусом. Он спросил солдат, почему они не принесли жалобу законным путем. Солдаты отвечали, что месяц тому назад один из их товарищей вышел из строя во время инспекторского смотра, чтобы подать жалобу, и был за это жестоко наказан им же, командующим корпусом.

— Но, в конце концов, чего же вы хотите? — спросил граф Васильчиков.

— Чтоб освободили роту его величества или же отвели в крепость весь полк.

Генерал отвечал им, что если они построятся в шеренги, он отведет их в крепость. Солдаты повиновались, офицеры (за исключением двоих) заняли свои места, и полк молча и спокойно двинулся в крепость. Никаких беспорядков ночью. Разбили лишь несколько окон и зеркал в доме Шварца, скрывшегося с самого утра.

Полк был расформирован. Солдат временно заключили в разные финляндские крепости. После ускоренного судебного производства несколько унтер-офицеров было *присуждено к наказанию кнутом* и ссылке в Нерчинск; нижние чины были зачислены в полки отдаленных гарнизонов, где они оставались до 1840 года. Офицеров перевели из гвардии в армию. Полковник Вадковский, командир роты Кошкаргов и *отставной* полковник Ермолаев сосланы были на Кавказ; князь Щербатов, *находившийся в Москве* и не принимавший никакого участия в этом деле, был наказан больше всех. В одном его письме нашли какую-то неизвестную нам фразу. Его отправили солдатом на Кавказ, где он и умер в 1829 году¹.

Следствием руководили генералы Орлов и Левашов, два зловещих имени, которые очень часто будут повторяться в наших очерках об этой эпохе.

Васильчиков потерял командование гвардией; Шварц, получивший отставку, скрылся в своей новгородской деревне и был предан забвению.

Император возвратился в Петербург в совершенном расстройстве. Призрак военного заговора преследовал его день и ночь. Подозрительный, недоверчивый и не в состоянии обнаружить ничего определенного, он принимал меры, явно выдававшие его тревогу.

В 1822 году он внезапно распорядился закрыть масонские ложи, которым сам прежде покровительствовал. Тотчас же после этого — приказ всем чиновникам дать подписку, что они не принадлежат ни к какому тайному обществу и обязываются в будущем воздерживаться от участия в них.

¹ Заметим, что Николай никого не амнистировал при своем восшествии на престол.

Якушкин рассказывает весьма замечательную историю. Она свидетельствует о том, до какой степени император был насторожен. Находясь в Смоленской губернии в 1821 году, во время ужасного голода, Якушкин встретился там с Фонвизиним, Пассеком и другими. Они собирали пожертвования в пользу крестьян, умиравших с голоду. Они давали собственные деньги и столько сделали в Москве и Петербурге, что правительство зашевелилось и направило в Смоленск старого сенатора Мертваго, который ничего не сделал, никому не помогал. Ими были собраны значительные суммы, и — что совершенно необычно для России — суммы эти дошли по своему назначению.

Год спустя император беседовал как-то со своим начальником штаба князем Петром Волконским об этом проклятом тайном обществе, неуловимом и в то же время деятельном, подрывающем общественное мнение и владеющем им. Князь, который был другом царя, осмелился выразить некоторое сомнение насчет могущества этого карбонаризма.

«Ты ничего не понимаешь, — сказал ему император, — и ты не знаешь ни этих людей, ни их сил. Знаешь ли ты, что в прошлом году они прокормили несколько уездов Смоленской губернии во время голода?»

И он назвал Якушкина, генералов Пассека и Фонвизина. Наступали мрачные времена.

Вскоре тот же князь Волконский стал вызывать подозрения и впал в немилость. Он не захотел ехать на поклон к Аракчеву в его деревню, император отставил его от командования Главным штабом.

Единственный независимый человек, связанный с императором с юности и еще державшийся на своем месте, был князь Александр Голицын, министр просвещения и духовных дел. Устранить его было нелегко; Аракчев собрал все свои силы и раздавил его с необыкновенным эффектом и блеском.

Князь Голицын был человек недалекий, развратник и ханжа, царедворец и иллюминат; это он ввел в России библейские общества и богословие в университетское образование. Став министром народного просвещения, он начал ожесточенную войну, бессмысленное преследование светской науки,

независимых профессоров, книг не пиетистского содержания. Он отыскал отступника вольтерьянства в России, человека, желавшего сделать любой ценой карьеру, и привлек его к своим трудам. Министерство просвещения превратилось в инквизицию. Магницкий доносил не только на профессоров, которых увольняли в отставку, но и на целые отрасли науки. *Естественное право* было запрещено, *новая история* внесена в индекс. Медицину *обязали* быть христианской и внушать, что болезнь является только необходимым следствием первородного греха.

Были произведены обыски, аресты преподавателей не только гимназий и университетов, но и военных училищ, лицеев — на глазах у императора, который совместно со своими братьями являлся их номинальным главой.

Казанский университет был совершенно разгромлен Магницким. Петербургский университет ожидал той же участи от своего попечителя Рунича.

И этот-то момент террора Аракчеев избрал, чтобы начать действовать. Не подумайте только, что он собирался удержать эту обезумевшую руку, наносящую удары науке, что он собирался открыть глаза императору; совсем напротив, он толкал его в пропасть, еще более глубокую, и, оторвав его от полулютеранских влияний, передал его в грубые руки национального духовенства, дикого, неотесанного и невежественного.

Для этой ловкой интриги он подобрал себе трех сообщников. Одного монаха — пройдоху, снедаемого честолюбием, коварного, дерзкого, законченного комедианта, доминиканца в душе, интригана из зависти*, и двух стариков, полупомешанных, но искренних фанатиков. Один из них был старый адмирал *Шшиков*, противник Карамзина, противник всяких новшеств, славянофил за четверть века до изобретения панславизма; порядочный человек, способный делать без излишней щепетильности доносы и глупейшим образом участвовать в злодействах во славу греческой церкви и славянских племен. Другой был сам архиепископ петербургский *Серафим*. То был настоящий византийский епископ, с благообразной седой головой, какие обычно видишь на старых картинах и на горе Афоне, производящих внушительное впечатление и скрывающих под своим толстым

черепом полное отсутствие способностей, неизлечимый и застывший фанатизм. Отправляя весь свой век богослужение, люди эти принимают литургию за реальность, а церковный обряд — за самое святое в религии; они влекут религию к фетишизму, а веру — к идолопоклонству. Ум их становится совершенно неспособным постигать что-либо, на чем нет печати святого духа. И в данном случае не только печати святого духа вообще, но именно духа греческого параклета*. Петербургский архиепископ и адмирал-филолог, два «младенца» по семидесяти с лишком лет, руководимые, понукаемые и гальванизируемые молодым Лойолой из Новгорода, стали огромной силой в руках Аракчеева.

Голицын наводняет Россию переводами евангелия с древнеславянского на современный русский язык. Правоверные старцы увидели в этой популяризации божественного слова кощунственное осквернение святыни. Они учуяли протестантизм в библиях, в Библейском обществе и в чисто немецком шнетизме князя-министра.

Фотий, взлелеянный и окруженный аристократическими дамами, проповедовал в гостиных против вторжения современного духа. Адмирал Шишков разглагольствовал в академиях и литературных обществах, посылая грозные докладные записки императору. Архиепископ молчал и готовил в качестве завершающего удара таран совсем иной силы.

Дошло до того, что святой бесноватый из Новгорода, встретив князя Голицына у графини Орловой¹, известной своим ханжеством и огромными приношениями в монастырь Фотия, начал на него открыто нападать. Князь не сдавался и отвечал. Тогда монах поднялся, бледный, дрожащий; он остановил на Голицыне свои глаза, сверкавшие из-под низкого и узкого лба, и сказал ему: «Ты не хочешь прислушаться к призыву... Ты хочешь борьбы, посмотрим, кто из нас сильнее... но с сей поры будь проклят, я предаю тебя анафеме». Князь, охваченный ужасом, безмолвствовал.

Он погиб. В подобных случаях надобно немедленно ударить или же принять удар.

¹ Дочери графа Алексея, убийцы Петра III.

Через несколько дней, в необычное для официальных аудиенций время, в шесть часов пополудни, Петербург с удивлением увидел парадную карету архиепископа, проехавшую через город и остановившуюся у главного подъезда Зимнего дворца. Его преосвященство попросил ввести его к императору, срочно и даже немедленно. Весь дворец был поражен, взволнован, на площади собралась толпа, и седовласый старец раздавал направо и налево благословения. Император, ничего не подозревавший, удивленный, испуганный, принял его в своем рабочем кабинете. Старый священнослужитель, держа в руке книгу, опустился на колени перед императором и простерся у ног его; голосом, полным слез, он сказал ему, что «наступило время для него, православного царя, спасти православную веру; церковь в опасности! Надобно немедленно удалить отступника».

Встревоженный император обещал сделать всё.

Книга была самая безобидная и самая скучная на свете: то был перевод сборника благочестивых статей англиканского пастора Гассера, находившегося тогда в Петербурге*.

Сборник этот был напечатан Библейским обществом по распоряжению министра. Магницкий, предавая своего начальника и благодетеля, украл через посредство подкупленного им типографского фактора листы из этого сочинения и принес их старому фанатику как доказательство лютеранской пропаганды.

Голицын из преследователя превратился в преследуемого. Александр полностью подпал под влияние идолопоклоннического, грубого и невежественного духовенства. Уже занималась заря национальной церкви, церкви императора Николая, им установленной, освященной московскими славянофилами и отбрасывающей теперь черные тени своих пяти византийских куполов на всю Россию.

Шишков был назначен министром народного просвещения.

Александр оставался с Фотием два часа с глазу на глаз, запершись в своем кабинете. Монах вышел оттуда столь же бесстрастным, как и вошел. Никто не узнает, о чем говорили эти два человека...

С этого переломного момента и начинается агония Александра I.

Он скрывается, становится почти невидимым, удаляется от всех, избегает празднеств и приемов, посещает в одиночестве монастыри, объезжает большие города проселочными дорогами, а там, где их нет, заставляет их прокладывать ad hoc¹. В 1824 году он на мгновение появляется в Москве² и едет умирать в Таганрог... как мы говорили уже об этом в предыдущей главе*.

Пушечные выстрелы 14/26 декабря 1825 года были его меланхолическим и своеобразным *реквиемом*.

III

Якушкин не говорит о 14/26 декабря 1825 года. Его не было в Петербурге в этот великий и трагический день.

Мы увидим из воспоминаний князя Сергея Трубецкого, что выбор этого дня был полностью обоснован, хотя он и наступил как бы неожиданно. Мы познакомимся с некоторыми подробностями, сообщенными И. Пуциным* и Николаем Бестужевым.

Теперь же последуем за рассказом нашего автора.

После неудавшейся попытки поднять войска в Москве, пользуясь замешательством при второй присяге, Якушкин спокойно оставался в Москве; и только 10/22 января он был арестован, тотчас же отправлен в Петербург и заперт в нижнем этаже Зимнего дворца. «На другой день вечером повели меня, — говорит Якушкин, — в Эрмитаж. В углу огромной залы, увешанной картинами, под портретом Климента IX, сидел перед ломберным столом генерал Левашов. Он указал мне на стул против него и начал вопросом: „Принадлежали ли вы к тайному обществу?“ Я отвечал утвердительно.

— Какие вам известны *действия* тайного общества?

— *Действия*... Я никаких не знаю.

— Милостивый государь, вы не должны предполагать, что нам ничего не известно. Происшествия 14/26 декабря были

¹для данного случая (лат.).— *Ред.*

² Именно тогда-то я увидел его впервые; мне было двенадцать лет, я очень хорошо помню его согбенную фигуру, его нахмуренные брови, его печальный взгляд. Он медленно ехал на коне рядом с князем Дмитрием Голицыным. В выражении его лица не было ничего черствого. Нет, не природа сделала из этого человека тирана, не удовольствия ради совершил он все злодейства, в коих его упрекают. *Он оказался вне своей колеи.*

только преждевременною вспышкой. Вы прекрасно знаете, что еще в 1818 году вы должны были убить императора Александра.

Это заставило меня призадуматься. Я не полагал, чтобы совещание, бывшее в нашем маленьком дружеском кружке, могло быть известно.

— Я добавлю некоторые подробности, — продолжал Левашов. — Из тех, кто там был и замыслил царевубийство, на вас пал жребий как на исполнителя.

— Извините, генерал, я вызвался сам нанести удар.

Левашов записал мои слова.

— Теперь не угодно ли вам будет назвать тех из ваших соучастников, которые присутствовали на этом совещании.

— Этого я никак не могу сделать; вступая в тайное общество, я дал обещание никогда никого не называть.

— Так вас заставят. Я должен сказать вам, *что у нас в России есть пытка.*

— Очень благодарен вашему превосходительству за вашу доверенность, и теперь еще более, нежели прежде, я чувствую моею обязанностью никого не называть.

— На этот раз, — сказал генерал по-французски, — я говорю с вами не как ваш судья, а как дворянин, такой же, как и вы, и я не понимаю, почему вы хотите быть мучеником ради людей, которые предали вас и назвали ваше имя.

— Я здесь не для того, чтобы судить поведение моих товарищей, и я должен думать только о выполнении обязательств, которые взял на себя, вступая в Общество.

— Все ваши товарищи показали, что цель Общества была заменить правление самодержавное представительным правлением.

— Это вполне может быть.

— Но какова же конституция, которую хотели ввести?

— Я не смог бы это точно определить, генерал.

— Но чем же вы, однако, занимались в Обществе?

— Я всего более занимался отысканием способов освобождения крестьян.

— И что же вы можете сказать об этом?

— Скажу, что это узел, который обязательно должен быть развязан правительством или, если оно этого не сделает,

он развяжется сам собой ужаснейшим и насильственным образом.

— Но что же может сделать тут правительство?

— Выкупить земли.

— Это невозможно, вы сами знаете состояние наших финансов.

Еще несколько вопросов и вторичное предложение назвать членов Общества, еще один отказ с моей стороны. Левашов протянул мне листок, который он измарал во время нашей беседы, и спросил меня: „Угодно ли вам подписать?“ Я подписал его, не читая; он отпустил меня, я вышел. Во время беседы с Левашовым я чувствовал себя легко и не переставал рассматривать „Святую фамилию“ Доминикина. Оставшись один с фельд-егерем, я начал размышлять о слове „пытка“, произнесенном генералом. Дверь отворилась, и Левашов сделал мне знак снова войти. Возле стола стоял император. Он сказал мне, чтобы я подошел ближе, и затем: „Подумали ли вы о том, что вас ожидает на том свете? Вечное проклятие! Мнение людей вы можете презирать, но наказание небес за измену клятве! Я не хочу вашей окончательной гибели, я пришлю к вам священника“. — Пауза.

— Что же вы мне ничего не отвечаете?

— Не знаю, о чем вашему величеству угодно меня спрашивать.

— Я, кажется, говорю довольно ясно. Если вы не хотите увлечь в пропасть ваше семейство, *если вы не хотите, чтобы с вами обращались, как с с в и н ь е й*, то вы должны во всем мне признаться.

— Я дал слово не называть никого. Все же, что я мог сказать про себя, я уже сказал его превосходительству, — ответил я, указывая на Левашова, стоявшего поодаль в почтительном положении.

— *Что вы мне тычете его превосходительство и ваше мерзкое честное слово!*

— Назвать я никого не могу.

Николай отскочил три шага назад и сказал, указывая на меня:

— *Надеть на него железа... заковать его так, чтобы он пошевелиться не мог.*

Увидев царя, я сильно испугался, что он унизит меня, говоря спокойно и умеренно, указывая на слабые стороны Общества; я боялся, что он подавит меня своим великодушием. Но с первой же минуты я успокоился. Я почувствовал себя более сильным, чем он, и таким я и оставался в течение всей беседы.

Меня перевезли в крепость. Комендант, генерал Сукин, с деревянной ногой, принял меня; он взял листок бумаги, который ему подали, подошел к свечке и сказал с расстановкой: — Приказ заковать тебя!»

Потом ему надели железа на руки и на ноги, завязали глаза и повезли в петербургские «каменные мешки» — в знаменитый Алексеевский рavelин, куда иногда входили, но откуда почти никогда не выходили. Здесь-то жестокий Петр I погубил своего сына Алексея (отсюда и название этого рavelина); здесь же погибла несчастная княжна Тараканова, утонувшая в своем каземате.

Семидесятилетний старик, начальник рavelина, отвел Якушкина в каземат № 1. Его раздели, дали ему грубую рубаху, всю в лохмотьях, и такие же панталоны. «Потом старик стал на колени, чтоб снова надеть железа, обернул наручники тряпкой и спросил меня, могу ли я так писать. Я ответил ему утвердительно. После этого он пожелал мне доброй ночи и, сказав: „Божья милость всех нас спасет“ — вышел со своей свитой. Дверь затворилась за ними, и я услышал, как дважды щелкнул замок.

Комната, в которой я находился, имела шесть шагов длины и четыре ширины; стены еще носили следы наводнения 1824 года, стекла были выкрашены белой краской, в окно была вделана крепкая железная решетка. Кровать, печь, маленький столик, кружка с водою, ночник, стольчак и два стула — такова была меблировка. В девять часов вечера солдат принес мне похлебку из капусты; уже двое суток я ничего не ел, и я не без удовольствия принялся за *щи*. Ходьба в железах была малоудобна (они весили около двенадцати килогр(аммов)), они производили такой шум, что я опасался, как бы не обеспокоить моих соседей. Я лег и спал бы спокойно, ежели бы не пробуждали меня ежеминутно наручники.

На другой день я был еще в постели, когда растворилась дверь и вошел старый священник, рослый и совсем седой*. Он взял стул, сел у моей кровати и сказал мне, что его прислал ко мне император.

— Всякий ли год вы причащаетесь? — спросил он у меня.

— Вот уже более пятнадцати лет, как я не делаю этого.

— Быть может, вам мешала в этом служба?

— Я уже восемь лет как покинул службу. Не причащался я потому, что я не христианин.

Священник заговорил тогда со мной о том свете, о небесной каре».

«— Ежели вы верите в божественное милосердие, — сказал Якупкин, — то вы должны быть уверены, что мы все будем прощены: и вы, и я, и мои судьи.

То был добрый человек; он удалился со слезами на глазах, говоря, что ему очень жалко, что он ничем не может быть мне полезен. После его ухода ефрейтор принес мне вместо обеда *кусок солдатского хлеба*. (И этого железного человека глубоко-мысленный Николай хотел обратить к религии голодом!) Какой-то офицер принес мне мою трубку и табак с *целью искушения* (еще лучше!), я сказал, что ни трубка, ни табак не принадлежат мне и ему только и остается, что унести их. На следующий день вечером ко мне вошел другой священник, еще более рослый: это был протопоп Казанского собора*. Приемы его были совсем другие; он обнял меня с нежностью и стал говорить мне о терпении, с которым апостолы и первые отцы церкви переносили свое ужасное положение.

— Батюшка, — сказал я ему, — вы пришли сюда по поручению правительства?

Это его на мгновение озадачило, затем он отвечал мне:

— Конечно, без позволения правительства я не мог бы посетить вас, но, в вашем положении, вы бы, вероятно, обрадовались, ежели бы забежала к вам даже собака. Вот почему я полагал, что мое посещение не будет вам неприятно.

— Конечно, каждое посещение мне было бы чрезвычайно приятно, но вы священник, и я прошу у вас позволения начать наше знакомство полной откровенностью. Как священник вы

не доставите мне большого утешения. Наоборот... а вот среди моих товарищей есть верующие, которые, быть может, были бы счастливы повидаться с вами.

— Мне нет дела до ваших верований, — сказал протопоп Мысловский. — Вы страдаете, и я буду счастлив, ежели посещения мои не как священника, а как человека могут быть для вас приятны.

Я подал ему руку.

Он являлся всякий день и вел себя с большим тактом; он говорил обо всем, кроме религии.

...Как-то вечером я услышал сильный шум: один из арестованных, Булатов, неистовствовал в припадке бешенства. В продолжение восьми дней он отказывался от всякой пищи. Ни просьбы, ни угрозы не могли его убедить. Он впал в буйное помешательство, его отвезли в госпиталь, где он и умер десять дней спустя. Перед смертью привели его двух малолетних дочерей, которых он нежно любил. Они не узнали своего отца и убежали от него с ужасом.

В тот же день вечером ефрейтор принес белую булку, предложил мне ее *от имени дежурного офицера* и просил меня съесть ее всю, чтоб не осталось ни крошки и не было улики против офицера.

Назавтра ко мне пришел сам комендант крепости. Он заклинал меня назвать имена членов Общества, чтобы облегчить мою судьбу, и произнес длинный панегирик новому царю, договорившись даже до того, что назвал его *ангелом доброты*.

— Дай бог, чтоб это было так, — отвечал я ему.

— Ну, несмотря на ваше упорство, я велю принести вам обед, а так как вы давно ничего, кроме хлеба, не ели, я пришлю вам прежде чаю.

Я поблагодарил его, сказав, что, в конце концов, для меня все это не имеет большого значения. Однако он прислал мне чаю и похлебки.

Я сообщил об этом протопопу и сказал ему, что старый генерал показался мне в общем добрым человеком. На это Мысловский заметил, что доброта коменданта главным образом состоит в искреннем желании, чтоб я не умер, как Булатов, от недостаточной и дурной пищи. Ибо, — сказал он, — следственная ко-

миссия очень хлопочет о том, чтобы никто не умер до окончания дела»¹.

...В первых числах февраля дежурный офицер принес Якушкину письмо от его жены, в котором она извещала его о рождении сына. Это письмо было вручено Якушкину по приказанию императора. Радость его была безмерна. Он хотел даже написать письмо императору с выражением благодарности, но, к счастью, офицер уже ушел и письмо осталось ненаписанным. В тот же день, после ужина, плац-адъютант приказал ему одеться и следовать за ним. Он показал ему, каким образом несколько придерживать железа на ногах при помощи носового платка, завязал ему глаза, накинул ему на плечи шубу и повез его в санях к дому коменданта. Там, после довольно долгого ожидания, Якушкина ввели в большую, очень ярко освещенную залу и сняли платок с его глаз.

«Я оказался посреди большой комнаты, в десяти шагах от стола, покрытого красным сукном. На крайнем конце его сидел председатель комиссии Татищев; рядом с ним находился великий князь Михаил, затем князь Александр Голицын, генерал Дибич; между ним и графом Чернышевым было порожнее место — Левашова. По другую сторону от председателя сидели: генерал-губернатор Кутузов, граф Бенкендорф, генерал Потапов и флигель-адъютант полковник Адлерберг, который, не будучи членом комиссии, присутствовал для составления докладов императору.

После минутного молчания граф Чернышев сказал мне торжественным тоном:

— Приблизьтесь!

Мои цепи загремели в зале.

— Присягали ли вы, — сказал он, — нынешнему императору?

— Нет.

— Почему же это?

¹ Протопоп Мысловский был очень умный человек. Его положение было нелегкое, но он вышел из него не только с ловкостью, но с *sum grato salis**. Однажды Якушкин сказал ему, что в отношении православия русское правительство все же довольно терпимо и не требует многого. «Оно ничего не требует, — сказал священник, — это правда, но оно иногда ссылает тех, кто отошел от православия, в Соловки либо заключает их в монастыри».

— Я не присягал потому, что присяга сопровождается такими формальностями и клятвами, что я считал неприличным давать их, не веря им.

Только тут явилась мне мысль, что письмо моей жены было использовано в качестве ловушки. Я смотрел на своих судей с этой минуты с глубоким омерзением и безграничным презрением.

— Вы хотите спасти своих сообщников, — сказал мне Чернышев, — это вам не удастся.

— Если б я хотел спасти кого-нибудь, то начал бы с самого себя, и в этом случае не рассказал бы того, что рассказал генералу Левашову.

— Что касается вас, то себя вы спасти не можете. Ежели комитет спрашивает у вас имена, то с единственной целью — облегчить вашу судьбу. Так как вы упорствуете в своем отказе, то мы назовем вам всех членов, в присутствии которых было принято решение убить покойного императора. Там были Александр, Никита, Сергей и Матвей Муравьевы, *Лунин*, Фонвизин и *Шаховской*. Иные показывают, что на вас пал жребий, другие — что вы сами вызвались на это.

— Последние правы.

— Какое ужасное положение, — сказал князь А. Голицын, — иметь душу, обремененную таким преступлением! Был ли у вас священник?

— Да, он приходил ко мне.

Дремавший Кутузов проснулся и, не разобрав хорошо, в чем дело, закричал:

— Как, он не пустил к себе попа!

Голицын его успокоил, сказавши, что у меня был священник.

— Не было ли кого, кто бы при самом начале уговаривал вас отказаться от вашего ужасного намерения?

— Фонвизин.

Чернышев улыбнулся великому князю и сказал мне довольно кротко, что мне пришлют письменные вопросы.

На другой день мне принесли те же вопросы в письменном виде».

«Отсюда, — пишет Якушкин со святой откровенностью, — отсюда начинается тлетворное, развращающее действие тюрьмы,

желез, усталости, заботы о семье и проч. Я начал прибегать к уверткам. Мне представилось, что я разыгрываю роль Дон-Кихота, выходящего со шпагой в руке против льва, который, увидавши его, зевает, отворачивает голову и засыпает».

Якушкин написал имена всех членов, *названных* в его присутствии Комиссией, и прибавил к ним два: генерала Пассека, покончившего самоубийством, и Чаадаева, которого не было в России.

В конце великого поста Якушкин согласился — и он называет это вторым падением, — причаститься. В этот же вечер сняли, по приказанию императора, кандалы с его ног. Первое время это его затрудняло; он был так слаб, что кандалы, оставшиеся на руках, перевешивали его вперед своей тяжестью. Неделью спустя, в Светлое воскресенье, кандалы были сняты и с его рук.

... 15/27 июля, в первом часу, его повели в дом коменданта. «Меня впустили в комнату, в которой я увидел Никиту и Матвея Муравьевых, князя Волконского, Александра Бестужева и Вильгельма Кюхельбекера. Я был очень счастлив вновь увидеть своих друзей, в особенности Муравьевых, и однако был поражен большой переменной, которую нашел в них; они похудели и были истощены тюрьмой.

...Священник появился на мгновение, чтобы шепнуть мне следующие слова:

— Вы услышите, как говорят о смертном приговоре — не верьте, чтобы совершилась казнь».

Наконец их впустили всех шестерых в залу Верховного уголовного суда. Митрополиты, архиереи, члены Государственного совета, генералы сидели за столом; за ними находился Сенат. Им прочли смертный приговор¹ и вновь отвели в казематы.

«В полночь пришли меня разбудить, принесли мне мое платье и вывели на мост, который соединяет рavelин с крепостью. Изо всех концов, изо всех казематов вели приговоренных, которых направляли к крепости. Когда все собрались, нас повели под конвоем в ворота; мы прошли мимо помоста, над которым

¹ Позднее его смягчили для этой категории, заменив *двадцатью годами* каторжных работ.

возвышалось два столба и перекладина; с перекладины свисали веревки. Нам и в голову не приходило, что это виселица. Мы были уверены, что никого не казнят.

На кронверке крепости стояло несколько зрителей, большею частью служащие из посольств. Они были удивлены, что осужденные, которые должны были через минуту потерять все свое состояние и положение в обществе, шли выслушать приговор с высоко поднятой головой, весело разговаривая между собой.

Перед крепостью сделали остановку; еще раз прочли приговор, после чего велели военных поставить на колена, снять с них мундиры и переломить их шпагу над головой. Я стоял последний на правом фланге, и с меня именно должна была начаться экзекуция. Фурлейт, выполнявший эту обязанность, ударил меня со всего маху моею шпагой по голове. Шпага была плохо подпилена посередине. Я упал и, поднявшись, сказал ему: „Ты убьешь меня до смерти, ежели ударишь меня еще раз с такой силой“. Генерал-губернатор Кутузов находился рядом, верхом на лошади, и я очень хорошо видел, *что он смеялся* при виде этой прискорбной сцены. Шагах в ста от нас бросали в костры наши мундиры, ордена и пр.»

После этой церемонии их опять отвели в казематы... Ефрейтор, который принес Якушкину обед, был бледен и расстроен; он осмелился шепнуть несколько слов: «Совершилось ужасное, пятерых из ваших повесили». Якушкин не мог этому поверить. Наконец вошел священник с дароносицей в руках. «Правда ли?»—спросил у него Якушкин. Священник бросился на стул и, зарывав, сжал зубами дароносицу...

Он присутствовал при казни. «Они все готовились к смерти с совершенным спокойствием,— сказал он,— и с несравненным душевным величием. Один только Михаил Бестужев испытывал минуты слабости; он был так молод (двадцати трех лет) и так хотел еще жить». В два часа утра протопоп проводил их, подав руку молодому Бестужеву. У подножья виселицы Сергей Муравьев стал на колени и громко произнес: «Боже, спаси Россию и спаси царя».

«Глубоко религиозный,— добавляет Якушкин,— Муравьев был искренен; он молил, умирая, за царя, как молил Христос на кресте за врагов своих».

Священник, сходя по ступеням с помоста, услышал шум и еще раз обратил взор к мученикам; он увидел висевших Пестеля и Бестужева, а остальных троих лежавших ранеными на досках, — их головы выскользнули через петли веревок, намокших от дождя.

Сергей Муравьев был тяжело ранен, одна нога у него была переломлена. «Бедная Россия, — выговорил он, — и повесить-то даже человека не умеют». Каховский произнес несколько ругательств. Рылеев не сказал ни слова¹. Генерал Чернышев не потерял голову, он велел повесить их еще раз.

Мысловский благословил их трупы².

15 июля на Петровской площади происходило *очистительное молебствие*; митрополит присутствовал там со всем духовенством. Протоиерей Мысловский не пошел туда, он остался один в соборе. Затем, надев траурную ризу, он отслужил панихиду по пяти мученикам... Какая-то заплаканная женщина входит в собор и видит старого священника, простертого перед алтарем, молящегося за упокой души *Сергея, Павла, Михаила, и Кондратия**.

Эта дама была сестра Сергея Муравьева³.

P. S. Есть точка сближения между этим великим мучеником и мною, которая мне слишком дорога, чтобы не сообщить о ней нашим читателям.

Якушкин умер в Москве в 1856 году. Он возвратился из Восточной Сибири после амнистии, дарованной теперешним импе-

¹ Александр Бестужев и многие другие утверждают, наоборот, что именно Рылеев произнес слова, приписываемые Мысловским Муравьеву.

² Добавим еще одно слово о Николае. Какого закала был этот человек, еще совсем молодой в 1826 году, вам расскажет не революционер, а весьма известный и весьма верноподданный генерал *Денис Давыдов*. Накануне казни заговорщиков, — говорит он в своих записках, — император, приказав *повесить* осужденных, а не обезглавить их, весь вечер занимался тем, что изыскивал что-нибудь особенно злое и оскорбительное, чтоб увеличить ужас обстановки. Он установил мельчайшие подробности и все еще не был доволен. С наступлением ночи он отправился спать; вдруг он требует к себе дежурного и посылает его в крепость: то был приказ бить в барабан во все время казни, *как делают, когда гонят солдата сквозь строй**.

³ Госпожа Бибикова.

ратором. Полицейские придирки сделали эту амнистию тяжелой и оскорбительной для стариков. Якушкину не разрешили жить в Москве, и решение это пересмотрели только тогда, когда он тяжело заболел. Новое оскорбление ожидало умирающего в Москве. По приказу императора был напечатан полуофициальный пасквиль по поводу восшествия на престол Николая*. Через тридцать лет прежние оскорбления, наново перекрашенные, поднялись, словно Аве*, зловещее и гнусное, навстречу воскресшим.

Друзья Якушкина рассказали мне, что умирающий старец, увидев эту брошюру, сказал, назвав меня: *«Я уверен, что он отомстит нашу память»*¹.

Г Л А В А III

КОНДРАТИЙ РЫЛЕЕВ И НИКОЛАЙ БЕСТУЖЕВ²

«Когда Рылеев сочинял своего „Наливайко“, — пишет Николай Бестужев, — брат мой Михаил, заболев, жил у него. Однажды Рылеев вошел к нему в комнату и прочел ему наизусть знаменитую „Исповедь“:

Не говори, отец святой,
 слова напрасны.

Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа,

Погибну я за край родной.

И радостно, отец святой,
Свой жребий я благословляю.

¹ Еще задолго до того, как были услышаны эти слова, Огарев и я опубликовали в Лондоне опровержение этой брошюры под заглавием «14/26 декабря и император Николай». Лондон, 1858 год*.

² После смерти Н. Бестужева в Селенгинске (Сибирь), в мае месяце 1855 года была найдена часть рукописи, озаглавленная: «Воспоминания о К. Рылееве». Мы опубликовали ее на русском языке в «Полярной звезде»; отрывки из этой статьи мы и предлагаем теперь*.

— Рылеев, — сказал ему Михаил; — что ты предсказываешь — нам и себе первому.

— Неужели ты думаешь, что я мог сомневаться хоть одну минуту в том, что меня ожидает? — отвечал Рылеев. — Я уверен, что наша погибель неминуема и что она необходима для пробуждения наших спящих соотечественников.

Бестужев добавляет: «Это не было у него ни великодушным порывом, ни вдохновением одной минуты, то было непреложным делом его совести, его непоколебимым убеждением».

Он присутствовал при прощании Рылеева с матерью, уезжавшей из Петербурга. Мысль, что она более не увидит своего сына, мучила бедную женщину, она не могла отрешиться от предчувствия, что он идет на верную погибель.

«— Будь осмотрителен, друг мой, — говорила она ему, — ты так неосторожен... Правительство подозрительно, везде подстерегают шпионы, а у тебя такой вид, словно тебе нравится подстрекать их, привлекая к себе их внимание.

— Вы ошибаетесь, матушка, — отвечал Рылеев, — моя цель выше того, чтобы поддразнивать и подстрекать каких-то ничтожных полицейских агентов. Я скрытен, ибо мне надобно, чтоб мне позволили спокойно действовать. Если же я откровенно говорю со своими друзьями, то это оттого, что у нас общее дело. И ежели я не скрываюсь от вас, то это оттого, что вы, в сущности, милая матушка, разделяете наши убеждения.

— Милый Кондратий, ты сознаешься сам, что у тебя есть гибельные замыслы. Ты идешь навстречу смерти, даже не скрывая этого от матери.

Она залилась слезами.

— Он не любит меня, — сказала она, обратясь ко мне и взяв меня за руку. — Вы друг его, постарайтесь его отговорить... Ежели случится какая-нибудь беда, я его не переживу. Знаю, что бог волен взять его каждую минуту, но накликать беду самому...

Она не могла продолжать.

— Матушка, — сказал Рылеев, — в мои намерения не входило рассказывать вам об этих вещах, тревожить вас, но я хорошо вижу, что вы все угадали. Ну, так знайте же. — да,

я член общества, которое ставит своей целью ниспровержение правительства.

Мать побледнела, и рука ее охолодела в моей.

— Не пугайтесь и спокойно выслушайте меня. Наши намерения кажутся дерзновенными, страшными для тех, кто смотрит на них со стороны, не вникая в них, не видя хорошо нашей цели; он примечает только грозящие нам опасности. Но вы, моя матушка, вы должны видеть это ближе и лучше знать своего сына. И прежде всего, матушка, разве не вы отдали меня в военную службу? Вы сами меня обрекли таким образом на опасности и на смерть. Почему в вас тогда не было такого страха, когда вы делали меня солдатом? Неужели почести, которые могли мне выпасть на долю, уменьшили бы вашу скорбь или успокоили ваши страхи? Нет... Монополия военной славы проходит, мы вступаем в эпоху гражданского мужества. Что ж! я пролью кровь свою за приобретение прав человека для моих соотечественников. Если я успею, я буду вознагражден сверх своих заслуг. Если же паду и мои современники не поймут меня, вы, матушка, вы сумеете оценить меня, меня и чистоту моих намерений, и потомство запишет мое имя среди тех, кто пожертвовал собой за благополучие человечества. Итак, мужайтесь же, матушка, и благословите меня.

Я никогда не видал Рылеева столь красноречивым; глаза его сверкали, лицо озарилось. Мать его была увлечена, покорена им; она улыбалась, не в силах будучи удержать слезы. Она наклонила голову своего сына, возложила на нее руку и с выражением горести и счастья, тревоги и внутренней радости, она благословила его; но горесть взяла верх, она сказала рыдая: „Все это прекрасно... но я не хочу его пережить!“»

Святые и возвышенные фанатики! Надобно ли оплакивать их или же завидовать им!

Влекомый, как Христос, на свою Голгофу, Рылеев продолжал, подобно ему, проповедовать, зная свою судьбу; но у него, простого смертного, расставание с матерью было более человеком.

Поэт-гражданин, он был и тем и другим в каждой поэме, в каждой строфе, в каждом стихе. Все у него проникнуто этим

чувством самоотвержения, совершенной любви и жгучей ненависти¹.

Молодым человеком безо всякой поддержки он нападает на чудовище, перед которым трепетала вся страна,— на Аракчеева*.

«Нельзя представить изумления, оцепенения жителей Петербурга при чтении этого стихотворения. Все ожидали с тревогой, чем кончится эта борьба младенца с великаном. Буря пронеслась над его головой. Оцепенение ужаса рассеялось, и шепот одобрения был наградой юному поэту-мстителю. Поэтическое поприще Рылеева начинается с этого стихотворения».

Он был замечен всеми. То было время, когда общество начинало тяготиться безудержным произволом. Сделавшись членом тайного общества, пылкий юноша совершенно переменился. Из дерзновенного поэта, который на площади прокликает опасного временщика, он делается поэтом-проповедником, прославляющим великую борьбу.

Рылеев (как Михаил Бакушин) начал свою службу в артиллерии; вскоре он покинул службу и удалился в маленькое свое поместье поблизости от Петербурга. Он был молод и женат. В короткое время он приобрел большое уважение среди своих соседей, избравших его заседателем в уголовный суд в Петербурге.

Именно в этой должности он достиг большой популярности в народе, и Бестужев рассказывает одну весьма характерную в этом отношении историю*.

«Однажды, по какому-то подозрению, схвачен был один петербургский мещанин. Так как он ни в чем не сознавался, то его привели к графу Милорадовичу, бывшему тогда петербургским генерал-губернатором. Бедняга упорно отрицал всё; вероятно, он был невиновен. Милорадович, соскуча его записками, объявил ему, что отдаст его под уголовный суд (он сказал это, чтобы напугать его, зная глубокое отвращение

¹ Мы попытаемся ознакомить наших читателей с его двумя поэмами — «Войнаровский» и «Наливайко», по крайней мере в прозе*

народа к суду), но вместо этого, мещанин пал ему в ноги и со слезами на глазах благодарил за милость.

— Какая же это милость, черт возьми? — спрашивает пораженный Милорадович.

— Ваше превосходительство, вы хотите отдать меня под суд — и что ж! — я уверен, что суд прекратит все мои муки, оправдав меня. Среди судей есть господин Рылеев, он не осудит невинного».

В деле, которое тогда прогремело повсюду, Рылеев, выступивший в качестве защитника крестьян князя Разумовского, выиграл процесс в пользу крестьян не только вопреки желанию власть имущих, но и вопреки желанию самого императора.

Страстно любимый своими друзьями, Рылеев сделался душой, пламенным и притягательным центром Северного общества. Не будучи по-настоящему красноречивым, он всех увлекал с неотразимой силой. «Еще не начав говорить», он завладевал уже собеседником выражением глаз и всего своего лица.

...Перед комиссией Рылеев взял на себя всю ответственность за 14/26 декабря. Он обвинял себя, чтоб облегчить защиту своим друзьям. Однако нельзя не признать, что он являлся одним из главных зачинщиков и одним из деятельнейших участников этого дня¹.

Смерти императора Александра совсем не ожидали. Внезапно разбуженные этой новостью, члены Общества еще более поражены были второй. Слух об отречении Константина получал все большее распространение, и тем не менее ему приносили присягу по всей России. Николай хотел спешно завладеть престолом, но он встретил сильное сопротивление со стороны генерала Милорадовича. Солдаты роптали на то, что от них скрывали до последней минуты болезнь Александра и его завещание. Появился манифест, возвещавший об отречении цесаревича; манифест этот, освобождавший от верноподданнической присяги, принесенной Константину, *не имел его подписи*, а был

¹Мы найдем больше подробностей об обстоятельствах, предшествовавших восстанию на Исаакиевской площади, в записках князя С. Трубецкого.

подписан его младшим братом, намеревавшимся завладеть престолом. Все это смущало умы.

Рылеев и кое-кто из его друзей, в небольшом числе, желали увидеть собственными глазами, каково положение вещей. С наступлением ночи (по-видимому, 10/22 декабря) они прошли из конца в конец весь город, чтобы поговорить с солдатами; они рассказали им, что от них скрывают составленное покойным императором завещание, по которому крепостные получали свободу, солдаты же должны были нести строевую службу не более пятнадцати лет. Они нашли солдат в полной готовности, и новости эти разнеслись с большой быстротой, в чем они удостоверились на следующее утро. Подобный случай нельзя было упускать.

«Я не верю в успех,— говорил Рылеев Н. Бестужеву,— но момент благоприятен; во всяком случае надобно рисковать и дерзать. Если мы погибнем, то дадим пример, который разбудит других».

12 декабря Рылеев узнал, что один молодой офицер, Ростовцев, принадлежащий к Обществу, имел свидание с Николаем и ни на кого лично не донося, сообщил ему планы восстания и пр.

— Что же в таком случае нужно делать? — спросил Рылеев Бестужева.

— Никому не сообщать эту новость и немедленно действовать. Лучше быть взятыми на площади, нежели в своей постели. По крайней мере узнают, чего мы хотим и за что мы гибнем,— отвечал Бестужев.

Рылеев бросился к нему на шею.

— Я уверен был,— сказал он ему,— что ты это скажешь, я еще более уверен, что мы идем к собственной гибели,— беда, вперед!

Идея Рылеева, простая и совершенно верная, заключалась в том, чтобы собрать возможно скорее преданные войска и двинуться, не теряя времени, к Зимнему дворцу. Было легко овладеть им внезапно, имея с собой гвардейских солдат, знавших все выходы. Военные представили столько возражений, что этот план, быть может, единственно возможный, был оставлен; решено было совершить восстание на Исаакиевской площади.

Ранним утром 14/26-го Бестужев зашел за Рылеевым. Тот уже ожидал его. Они обнялись и собрались было выйти, когда обезумевшая от горя, рыдающая жена Рылеева преградила им дорогу.

Она схватила руку Бестужева и вскричала:

— Оставьте мне моего мужа, не уводите его, он идет на погибель, он идет на погибель! Настя, приди, проси своего отца за меня, за себя.

И малепькая дочка Рылеева, вся в слезах, обняла колени своего отца.

Его жена, почувствовав себя дурно, склонила голову на грудь Рылеева; он нежно положил ее на диван; она была без чувств, и, оторвавшись от ребенка, он убежал из дому.

.....
(После кончины Н. Бестужева найдено было еще несколько отрывков, относящихся ко дню 14/26 декабря 1825 года. Один из этих отрывков, по-видимому, является продолжением его воспоминаний о Рылееве, второй же относится к другой рукописи. Описанный случай крайне драматичен. Но где же начало? где продолжение? Какое непоправимое несчастье, если мы утратили это святое наследие одного из самых лучших, самых энергичных участников великого заговора! Вот первый отрывок):

⟨1⟩

«Мы расстались. Я пришел на площадь довольно поздно, приведя с собой гвардейский экипаж. Рылеев прижал меня к сердцу, то было наше первое целование свободы.

— Предсказания наши сбываются,— сказал он мне,— последние минуты наши близятся, но мы впервые вдохнули в себя воздух независимости, и за это мгновение я охотно отдаю жизнь свою.

Это были последние слова, с которыми обратился ко мне Рылеев»*.

Бестужев увидел его еще раз семь месяцев спустя. Оба находились в казематах Алексеевского рavelина, не видясь, конечно, друг с другом. Однажды, после ужина, ефрейтор, который обслуживал Бестужева, отворил дверь в ту самую минуту,

когда Рылеев проходил мимо под конвоем на прогулку. Бестужев оттолкнул ефрейтора и бросился на шею Рылееву — их разлучили.

То было их прощанием. Несколько дней спустя протоиерей рассказал ему *carpe hortendum**, как он рассказал ее и Якушкину.

II

«...Сабля моя давно была вложена в ножны.

Я стоял в интервале между каре Московского полка и гвардейским экипажем. Нахлобуча свою шляпу и скрестив руки, я думал о словах Рылеева „Подышим же воздухом свободы“ и видел, что этого воздуху начинало не хватать. Крики солдат доходили более на последние крики агонии. Мы были окружены со всех сторон; бездействие, в котором мы находились, оледенило сердца, исполнило ужасом умы; кто останавливается на полпути, уже побежден вполнину.

Пронзительный и холодный ветер, со своей стороны, леденит кровь солдат и офицеров, стоявших так долго на открытом месте... Атака на нас прекратилась, „ура!“ солдат становилось менее частым. День смеркался, вдруг мы увидели, что полки расступились на две стороны, уступая место артиллерии. Жерла пушек были направлены на нас, уныло освещаемые сероватым мерцанием зимнего вечера.

Сам митрополит явился увещевать нас и возвратился без успеха*. Генерал Сухозанет приблизился, показывая на артиллерию; ему громогласно прокричали: „Подлец“.—Это были последние усилия нашей независимости.

Первый пушечный удар грянул, картечь рассыпалась, подымая снег и пыль, ударяясь в мостовую и в дома; несколько человек упали во фронте; беззащитные зрители, находившиеся под колоннадой Сената, были убиты или ранены. Семь человек в наших рядах, мгновенно убитые, свалились словно в обмороке; я не приметил судорог, я не слышал криков — такова была сила картечи на столь близком расстоянии. Совершенная тишина царствовала между живыми и мертвыми. Другие пушечные выстрелы повалили наземь кучу солдат и людей из народа. Стекла, оконницы падали с треском, и вместе с ними

молча падали люди, убитые наповал, недвижные; я словно окаменел, стоя на месте, в ожидании удара, который меня уложит. Существование в эту минуту мне казалось таким тягостным, таким горьким, что я желал себе смерти. Судьба решила иначе. С пятым, шестым выстрелом колонна дрогнула. Когда я пришел в себя, на площади между мной и бегущей колонной не было ни одного живого человека, она была покрыта убитыми; я нагнал колонну, прокладывая себе дорогу между трупами. Не было ни криков, ни стенаний, только слышно было, как растоплялся снег от горячей крови, и видно было потом, как кровь превращалась в лед.

Эскадрон конной гвардии двинулся преследовать нас; при входе в узкую улицу (Галерную) бегущие столпились вместе, здесь-то я достиг гвардейских гренадеров и сошелся с моим братом Александром. Мы остановили несколько десятков человек, чтобы дать отпор в случае атаки и прикрыть отступление, но император *предпочел* стрелять вдоль улицы из пушек.

Картечи догоняли лучше, нежели лошади, и мы вынуждены были рассеяться. На каждом шагу видно было, как падают солдаты и люди из народа; солдаты стучались в двери домов, прятались за стены, где картечи настигали их рикошетом, отпрыгивая от противоположных стен. Таким образом колонна и толпа народа, осыпаемые выстрелами, достигли до перекрестка другой улицы, где их поджидала часть Павловского гренадерского полка.

Потеряв из виду своего брата, я вбежал в полуотворенные ворота и сошелся с хозяином дома. Двое хорошо одетых людей бросились также в это время в ворота, но в ту минуту, как один из них входил, удар картечи поразил его перед нами. Его тело загородило нам дорогу. Прежде нежели я успел нагнуться и приподнять его голову, он был уже мертв: кровь брызгала в обе стороны из груди и спины. „Боже мой,— закричал хозяин,— нельзя ли ему помочь?“ Я указал ему на сквозную рану в теле молодого человека.

„Да будет воля божия. Скорее пойдите ко мне, иначе мы рискуем, что еще кто-нибудь из нас убудет“. Мы все трое перешли двор; хозяин дома постучался в дверь: громкий лай собаки раздался в покоях, которые казались пустыми.

— Позвольте мне, — сказал он нам, — спросить вас, господа, кого я имею честь у себя принимать, прежде чем слуга придет унимать собаку и отодвинет запоры.

Я показал свои штаб-офицерские эполеты и крест, который был на мне.

— А вы?

Молодой человек очень приятной физиономии объявил ему свою фамилию, которую я, к глубокому своему сожалению, позабыл.

Слуга, отодвинув разные задвижки и отперев всяческие замки, высунул голову.

— Я не один, поддержи собаку. — И, пожав нам руку, он пригласил нас войти. Предосторожность не была излишней, огромная собака, едва удерживаемая слугой, рвалась из рук.

Мы вошли в комнату нижнего этажа, слуга принес свечу, хозяин приказал ему немедленно закрыть ставни на набережную и на двор, запереть двери и сказывать всем, что его нет дома.

Пушечные выстрелы продолжались вдоль улицы и с Невы; ружейная пальба слышна была с обеих сторон. Это длилось минут десять; пушки замолкли первыми; ружейные выстрелы становились реже и вскоре совсем прекратились.

Нам предложили чаю без молока, хозяин постился. Хотя разговор наш вращался вокруг ужасных происшествий сего дня, он был холоден и напряжен. Мы не знали друг друга, и недоверчивость связывала языки. Принуждение проступало сквозь вежливость и учтивость. Я рассмотрел нашего хозяина. Это был человек с меня ростом, лет сорока пяти, крепкого здоровья, с красивыми чертами лица и черными глазами, говорившими в пользу его характера. Ни одной седины в его черных волосах; на его сером фраке видна была звезда неаполитанского ордена.

Когда спокойствие полностью восстановилось и слуга, выходявший время от времени на улицу, сказал нам, что никого не видно, кроме патрулей, молодой человек встал, поблагодарил хозяина дома, повторил свою фамилию и вышел на набережную, сопровождаемый слугой. Приличие не позволяло мне оставаться долее, но я подумал, что для меня было еще небезопасно покинуть дом. И когда хозяин, проводив молодого человека, подошел

ко мне с таким видом, будто желал мне напомнить об этом, я ему сказал:

— Вы сделали великодушное дело, укрыв нас от картечи, и теперь, когда уже нет опасности быть раненым, молодой человек ушел; учтивость предписывает мне последовать за ним, но я скажу вам откровенно, почему вынужден попросить у вас еще гостеприимства на час или два: я один из приведенных на площадь войска, не присягнувшие Николаю.

Хозяин побледнел; сомнение, нерешительность скользнули по его лицу.

— Дело сделано,— сказал я, видя его смущение.— Вы властны располагать мною, выдать меня как бунтовщика или дать убежище как преследуемому несчастливцу.

Он протянул мне руку, сказав:

— Оставайтесь у меня сколько нужно для вашей безопасности.

— Взвесьте хорошенько свое решение. Сверх мною вам сказанного, надобно, чтобы вы знали имя того, кто...

— Не нужно, не нужно, мне довольно вашего несчастья.— И, с участием взяв меня за руку, он усадил меня.

— Вы великодушный человек,— сказал я ему,— да вознаградит вас бог; что же до меня, я не употреблю во зло вашего снисхождения.

— Перейдем в другую комнату,— сказал он мне,— я занимаю обыкновенно эту. Увидев сквозь щели огонь, кто-нибудь может войти.

Он вывел меня в другую комнату, заставленную разными мебелью.

— Жена моя в деревне,— сказал он мне,— я собираюсь также ехать; дом пуст, кроме этих двух комнат и третьей, занятой моим сыном, адъютантом у...

Наш разговор сделался откровеннее. Хозяин мой был свидетелем диспозиции войск, он видел собственными глазами, желали ли солдаты нового императора.

Говоря о случившемся и о том, что я привел войска на площадь, я упомянул свою фамилию.

— Не сын ли вы Александра Бестужева, бывшего капитаном в инженерном корпусе?

Я отвечал утвердительно.

— В таком случае очень рад, что могу оказать услугу сыну моего благотворителя. Я воспитывался под его руководством, а потом, могу сказать, был его другом до тех пор, пока обстоятельства не разлучили нас.

Он рассказал мне затем свою жизнь, она не богата была происшествиями; самым замечательным было то, что он коротко был известен императору Александру, даже переписывался с ним, имел несколько поручений в чужих краях и был помимо того корреспондентом ученого артиллерийского комитета. Говоря о покойном императоре, он обнаружил большую привязанность к нему, вынул его портрет, который носил на себе, и поцеловал его, прибавив, что его подарил ему сам император, так как он не хотел ничего принять в награду за свои услуги.

Сердечная любезность моего хозяина обворожила меня — время проходило быстро, было уже около восьми часов, когда залаяла собака. Сильный шум послышался за закрытой дверью.

Наш разговор приостановился. Хозяин дома казался немного смущенным, но, увидев вошедшего красивого молодого человека в мундире, он мне шепнул, что это его сын.

Молодой офицер сказал своему отцу, что он едва мог урвать-ся из дворца, чтобы переодеться и возвратиться туда же.

Он столько был занят происшествиями, что почти не заметил меня и, не спрашивая, как отец провел этот день, принялся с жаром рассказывать об императоре, войсках, артиллерии.

— Чем же все это кончилось? — спросил его отец. — Я ушел с площади, когда начали стрелять.

— Эту толпу мерзавцев разогнали; несколько офицеров, с ними бывших, захватили. Предполагают, что зачинщиками всего этого были братья Бестужевы; многие из них были участниками, и ни одного из этих подлецов не поймали.

Я сжал руки и стиснул зубы.

Мое положение не позволяло мне ответить на брань. Отец вздрогнул, бросив на меня взгляд и сказал своему сыну:

— Не брани, любезный друг, так легкомысленно этих людей, не рассудив хорошенько об их поступках. Ты смотришь на них с точки зрения придворных, но если бы ты, подобно мне,

был на площади, ты говорил бы иначе. — Здесь отец прибавил несколько соображений, весьма дельных, о недоверии солдат по поводу отречения Константина.

Молодому человеку нечего было возразить, он уехал.

— Вы видите, — сказал отец, — что вам небезопасно даже в моем доме. Вы слышали мнения моего сына.

— Я и сам намерен покинуть вас, я хочу поблагодарить вас и проститься.

— Нет, подождите немного, еще не поздно. Мы поужинаем вместе, город тем временем еще больше успокоится».

(На этом заканчивается отрывок, написанный на пяти с половиной полулистах толстой бумаги и очень неразборчивым почерком¹).

P. S. В день казни Н. Бестужев и другие морские офицеры были отправлены в Кронштадт для разжалования в присутствии их товарищей по оружию. Их эскортировали морские артиллеристы. Один молодой унтер-офицер говорил с Бестужевым о деле Рылеева и прочел ему наизусть несколько революционных песен последнего, никогда не печатавшихся. «У всех молодых канониров, умеющих читать и писать, имеются списки этих стихов и других в том же духе», — сказал унтер-офицер.

Именно эти стихотворения *и другие в том же духе* воспитали целое поколение, продолжавшее во мраке дело этих героических личностей.

¹ С этим замечанием мы получили копию с рукописи, которая была напечатана в «Полярной звезде» (кн. VII).



LA LIBRAIRIE EN RUSSIE

On nous prie d'imprimer, et nous le faisons avec empressement, étant du nombre des souffre-douleurs de l'état barbare des postes et de la librairie en Russie, ce qui suit:

Il paraît que la librairie russe est bien mal organisée, que les libraires sont très négligents, ou bien que les entraves officielles, directes et indirectes, sont telles, qu'il est bien difficile d'établir une communication entre les libraires de Saint-Pétersbourg et les libraires de l'étranger.— Nous avons fait demander plusieurs journaux, le *Colos*, etc., par un libraire de Genève, qui a écrit, dans l'espace de deux mois, *trois fois à son correspondant, à Saint-Petersbourg*, sans jamais recevoir ni les journaux, ni même une réponse. A-t-on intercepté les lettres? Est-ce que le libraire de Saint-Pétersbourg a eu peur de se compromettre en envoyant un journal russe à Genève?

Le même libraire genevois se plaint également des difficultés qu'il a rencontrées depuis deux ans pour établir des relations promptes et régulières avec la Russie.

Il s'est donné beaucoup de peine pour y arriver, mais il n'a pas encore réussi. Il a d'abord essayé l'intermédiaire des libraires allemands, puis successivement trois libraires de Saint-Pétersbourg. Impossible. Nous regrettons vivement cet état de choses, qui ne peut être que nuisible au commerce russe et qui doit bien ennuyer les Russes établis à Genève.

L'administration russe est inépuisable en ridicule, et lorsque vous commencez à penser qu'enfin elle est à bout des folies, elle vous étonne par quelques polissonneries nouvelles.

Où a-t-on vu des difficultés mises à l'exportation des livres et des journaux?

Est-ce que l'on craint la propagande du *Golos*? Est-ce qu'on en a honte? Cela serait une cause atténuante.

Nous attendons une explication de M. Kraïevsky, directeur, rédacteur, éditeur, imprimeur, propriétaire du *Golos* et conseiller d'Etat actuel.

Nous lui aurions écrit directement, nous le connaissons depuis plus d'un quart de siècle; mais il aurait eu peur de notre lettre, il serait tombé malade.

Enfin, nous nous plaindrons à la police secrète de Chouvaloff; elle peut tout, beaucoup plus que l'empereur.

П Е Р Е В О Д

КНИЖНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

Нас просят напечатать — и мы с готовностью делаем это, принадлежа к числу горе-мучеников варварского состояния почты и книжной торговли в России, — ниже следующее *:

По-видимому, русская книжная торговля чрезвычайно плохо организована, книгопродавцы весьма небрежны, либо официальные препятствия, прямые и косвенные, таковы, что весьма трудно установить связи между санктпетербургскими книгопродавцами и книгопродавцами иностранными. — Мы заказали множество газет, «Голос» и пр., через женеvского книгопродавца *, который в продолжение двух месяцев трижды писал своему корреспонденту в Санкт-Петербург, ни разу не получив ни газет, ни даже ответа. Перехвачены ли эти письма? Не побоялся ли санктпетербургский книгопродавец скомпрометировать себя, отправляя русскую газету в Женеву?

Тот же самый женеvский книгопродавец жалуется также и на затруднения, которые ему встречались в продолжение двух лет при попытках установить быстрые и регулярные связи с Россией.

Он положил немало труда на то, чтобы наладить их, но пока еще в этом не успел. Вначале он пытался действовать через немецких книгопродавцев, потом последовательно через трех петербургских книгопродавцев. Безуспешно. Мы живо сожалеем о подобном положении вещей, которое может принести только вред русской торговле и должно сильно досаждать русским, поселившимся в Женеве.

Русская администрация неистощима в нелепостях, и когда вы начинаете думать, что она дошла, наконец, до предела су-

масбродства, она поражает вас какими-нибудь новыми преказами.

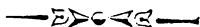
Где было видано, чтобы затруднения чинились *вывозу* книг и газет?

Уж не боятся ли пропаганды «Голоса»? Уж не стыдятся ли его? Это было бы смягчающим вину обстоятельством.

Мы ждем объяснения от г. Краевского, руководителя, редактора, издателя, типографа, собственника «Голоса» и действительного статского советника.

Мы написали бы прямо к нему, мы знакомы с ним более четверти столетия; но его испугало бы наше письмо, он захворал бы,

В конце концов мы пожалуемся шуваловской тайной полиции, она может сделать всё, гораздо больше, чем император.



ASSASSINAT JURIDIQUE

Le 24 février, on a fusillé, à Riazan, un soldat pour insubordination. — Il y a un an, dans la même ville, on avait fusillé deux brigands. Nos lecteurs savent que la peine de mort *n'existe pas de jure* dans le code criminel russe, *qu'en faveur* des militaires. Pour tuer les brigands, on les assimile aux militaires (l'ironie est parfaite). — La fréquence de la tuerie juridique, depuis 1862, est exorbitante. Nous voudrions bien avoir un relevé général pour le publier et l'envoyer au miséricordieux czar Alexandre.

Au moment d'envoyer à l'imprimerie cette feuille, nous lisons une nouvelle condamnation à mort, prononcée à Moscou contre un pauvre jeune tambour «pour offense à un officier».

ПЕРЕВОД

ЮРИДИЧЕСКОЕ УБИЙСТВО

24 февраля в Рязани был расстрелян солдат за неповиновение. — Год тому назад в том же городе расстреляли двух разбойников *. Читатели наши знают, что смертная казнь *существует de jure* в русском уставе уголовного судопроизводства *только как льгота* для военных. Чтоб убить разбойников, их приравнивают к военным * (что за бесподобная ирония!). — Частое повторение юридической бойни, с 1862 года, переходит все границы. Мы чрезвычайно желали бы получить общий перечень, чтоб обнародовать его и переслать милосердному царю Александру *.

В ту минуту, когда страничка эта посылается в типографию, мы читаем о новом смертном приговоре, вынесенном в Москве несчастному молодому барабанщику «за оскорбление офицера»*.

EXEMPLE DES DEBATS PARLEMENTAIRES

La *Gazette de Pétersbourg*, № 79, raconte une discussion remarquable qui s'est élevée dans une assemblée de la noblesse d'une province que la *Gazette* ne nomme pas. Les membres trouvèrent qu'il y avait de la fumée dans la salle. Le président le nia. On mit alors aux voix cette étrange question: «Y a-t-il de la fumée dans la salle?» — La majorité vota pour la fumée. — Le président se déclara offensé et sortit en véritable David de la chambre. — L'assemblée, restée sans président, mit sur le tapis la question: «Est-ce que notre procédé a été offensant pour le président?» — La majorité trouva que «oui, le procédé a été offensant». — Troisième question: «Dans ce cas, ne faudrait-il pas s'excuser?» — La majorité décide: «Non, cela ne vaut pas la peine».

Quel petit chef-d'œuvre.

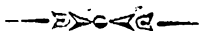
ПЕРЕВОД

ОБРАЗЕЦ ПАРЛАМЕНТСКИХ ПРЕНИЙ

«Петербургские ведомости» в № 79 рассказывают о замечательной дискуссии, завязавшейся в дворянском собрании в одной губернии, которую «Ведомости» не называют *. Члены собрания нашли, что в зале дымно. Председательствующий отрицал это. Тогда поставили на голосование такой странный вопрос: «Дымно ли в зале?» — Большинство проголосовало за дым. Председательствующий объявил, что считает себя оскорбленным, и вышел из собрания, как истинный Давид. —

Собрание, оставшееся без председателя, поставило на рассмотрение вопрос: «Был ли наш образ действий оскорбителен для председателя?» — Большинство нашло, что «да, образ действий был оскорбителен». — Третий вопрос: «В таком случае, не следовало ли бы извиниться?». — Большинство решает: «Нет, не стоит труда».

Каков этот маленький шедевр!





UN POST-SCRIPTUM

Dans notre feuille du 1^{er} mars nous avons dit, en parlant du *communisme russe*, que « nous ne connaissons aucune législation pour absoudre un homme mourant de faim, s'il mange un morceau de viande appartenant à un autre. On peut seulement le gracier ».

Trois jours après, nous avons lu, dans le *Courrier Français*, ce qui suit :

« Une malheureuse Alsacienne était prévenue de vol pour avoir ramassé dans un champ deux ou trois choux gelés. Un garde champêtre l'a arrêtée au moment où elle regagnait son logis, chargée de ce misérable butin.

Le président lui expose le côté délictueux de son action.

M a r i e. Je n'avais pas mangé la veille.

M. le p r é s i d e n t. Cela ne vous donnait pas le droit de prendre des choux sans la permission du propriétaire.

M a r i e. Si c'était le propriétaire qui m'eût prise au lieu du garde champêtre, il m'aurait bien laissé aller.

M. le p r é s i d e n t. Peut-être; mais le garde champêtre a fait son devoir.

M a r i e. Bien sûr, Monsieur; *mais c'est bien facile de faire son devoir quand on a de la soupe.*

La tribunal a réduit *la peine* au minimum ».

ПОСТСКРИПТУМ

В нашем листе от 1 марта мы сказали, по поводу *русского коммунизма*, что «нам не известно такое законодательство, которое смогло бы оправдать человека, умирающего с голоду, если б он съел кусок мяса, принадлежавший другому. Его могут только помиловать» *.

Спустя три дня мы прочли в «*Courrier Français*» нижеследующее:

«Одну несчастную эльзаску обвинили в краже за то, что она подобрала на поле два или три мерзлых кочана капусты. Полевой сторож арестовал ее в тот момент, когда она возвращалась домой, неся с собой эту жалкую добычу.

Председатель разъясняет ей преступный характер ее действия.

М а р и. Я ничего не ела накануне.

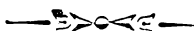
Г-н п р е д с е д а т е л ь. Это не давало вам права брать капусту без разрешения хозяина.

М а р и. Если бы меня задержал хозяин, а не полевой сторож, он, конечно, отпустил бы меня.

Г-н п р е д с е д а т е л ь. Возможно, что и так; но полевой сторож выполнил свой долг.

М а р и. Конечно, сударь; но *выполнять свой долг очень легко, когда у вас есть тарелка супу.*

Суд свел ее наказание к минимуму».





FRISANT LA QUESTION POLONAISE

ARTICLE PREMIER

Il y a des douleurs qu'on n'aime pas à traduire en paroles — sans nécessité. J'ai profondément désiré ensevelir les réminiscences de 1863—64 jusqu'à d'autres temps et d'autres circonstances. J'ai noté, pour moi seul, quelques souvenirs que je relisais comme une messe de morts. Harcelé par des ennemis, forcé de parler¹, je ne sortais jamais des généralités et d'une extrême réserve. C'est ce que je me propose de faire aussi maintenant, en soulevant un peu plus le linceul.

Le silence, malheureusement, n'est pas toujours possible — il laisse se consolider, s'enraciner des représentations erronées.

Il m'a été très difficile de prendre la parole; mais, comme cela arrive fréquemment, un rien qui déborde, une ironie mal placée, *un mot mal pesé*, nous font lever notre propre consigne, pour rappeler aux adversaires et aux loustics — qu'on n'est pas tout à fait mort pour se taire.

Cette fois, la goutte qui a débordé — goutte martiale, pourrais-je dire, car elle est tombée d'un *général* à un *major* — est la lettre de M. Mieroslawsky, publiée à Genève.

On y trouve des passages dans ce genre: «Le Comité *varsovien* — Padlewsky, Giller, Milowicz — composé à Paris, *partit en corps et en pompe*, au mois de novembre 1862, offrir *la direction suprême de l'insurrection polonaise* à MM. Herzen, Ogareff et Bakounine, *en acceptant*, au nom de la Pologne, si mal démembrée par le congrès de Vienne, le sous-démembrement qui lui était

¹ Lettres à la rédaction du *Den*, — *Kolokol* russe, 1864. Lettres à un adversaire, id(em), 1865. Lettre à M. J. Aksakoff — 1866.

offert par le dernier de ces patriotes moscovites. *MM. Herzen et Ogareff* eurent le mauvais goût de se réserver». — Et après, en parlant de la mise en liberté de deux Polonais arrêtés par la police française, à Paris, l'auteur ajoute: «Tous les deux furent renvoyés à Londres; j'hésite à dire chassés ou bannis, puisque leur gouvernement officiel résidait à Londres, depuis leur inféodation publique et volontaire à la rédaction du *Kolokol*».

Ceux du comité qui ne sont pas tombés en martyrs, fusillés — comme S. Padlewsky, — peuvent répondre eux-mêmes; plus encore notre ami Bakounine — athlète formidable avec lequel il n'est pas facile de lutter. Moi, je ne désire que de mettre en évidence, par quelques pages de mes mémoires, le rapport réel qu'a eu la rédaction du *Kolokol* à l'insurrection de la Pologne. En même temps, ces fragments montreront notre plus parfaite unité morale dans la question polonaise, depuis le commencement de notre propagande jusqu'à ce jour — pendant le temps de la plus ardente amitié, pour nous, de la part de nos frères polonais, de même que durant les accusations furibondes de quelques possédés.

J'ajouterai à cela quelques pièces justificatives qui ont déjà été imprimées dans le *Kolokol* russe.

Un seul mot tout personnel.

Alfred de Vigny a admirablement raconté avec quelle jouissance tacite Robespierre savourait, tout en se montrant contrarié et outragé, les expressions de «*Robespierre's troops*», «*Robespierre's army*» dans les journaux de Londres.

C'est qu'il briguaît la dictature.

Quant à la rédaction du *Kolokol*, qui est composée de nous deux, Ogareff et moi, jamais l'idée de jouer au gouvernement clandestin, de diriger le soulèvement de la Pologne, ne traversa notre tête. Ces assertions, humiliantes pour les Polonais, nous montrent, à nous, qu'après tout les généraux des deux camps opposés, Mieroslawsky et Chouvaloff, sont également mal renseignés sur notre compte, l'un comme l'autre.

Je suis prêt à croire que l'erreur est sincère de la part de M. Mieroslawsky; il ne peut y avoir aucune cause personnelle; je n'ai jamais eu l'avantage d'être présenté à M. Mieroslawsky, Ogareff non plus — et tous nos rapports se limitent à une lettre très courtois-

se qu'il m'a adressée après mes articles *Vivat Polonia! et Mater dolorosa*, — lettre à laquelle j'ai répondu par quelques mots de sympathie et d'estime. Voilà tout.

Et pourtant il pourrait nous connaître: il y a bientôt vingt ans que je travaille en Europe; il y en a plus de dix que nous travaillons à deux.

Nous avons à nous reprocher beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs; mais si nous sommes innocents d'une des faiblesses des émigrations — *c'est que nous n'avons jamais posé* — ni comme conspirateurs, ni comme dictateurs, révéléurs, ambassadeurs et autres *fonctionnaires* de la révolution. Nous avons dit et répété que nous n'étions que des représentants fortuits du mouvement souterrain qui, du temps de Nicolas, se faisait en Russie — *sa voix libre*, son cri d'indignation, de souffrance, d'espérance, lorsque d'occulte le mouvement devint manifeste. *Vivos vocare*, d'après notre épigraphe, pour leur montrer le même chemin, le même but et les mêmes entraves. *Vivos vocare*, pour leur dire *qu'il est temps* — telle était la base de notre propagande; et, comme notre chronomètre allait juste, telle était *aussi la base de notre force*.

Exposer encore une fois notre profession de foi socialiste et russe, serait inutile. Toutes nos publications, chaque feuille de notre journal, ne contiennent que cela.

Nous avons prêché, nous avons réveillé des hommes qui étaient encore à demi endormis, sans jamais briguer le titre d'archevêque général de la propagande, ni de tambour-major de l'insurrection.

C'est aux journaux les plus réactionnaires de la Russie qu'appartient la primeur de nous faire jouer un rôle de gouvernement occulte, et de nous affubler de titres qui n'ont aucune valeur pour nous.

Au moins ceux-là ont pour eux une cause atténuante — c'est qu'ils savent très bien qu'ils mentent. Ils savent très bien que notre nom nous suffit, et qu'il restera vierge de tout titre, de toute estampille, comme notre poitrine de toute croix ou de toute légion d'honneur.

Peut-être est-ce là que niche notre amour-propre; mais il nous semble que de se nommer tout simplement Ogareff et Herzen,

vaut un peu mieux que de s'appeler chancelier *in partibus* ou gonfalonnier *in spe*. Chaque petite marque de sympathie de nos amis nous fait tressaillir le cœur de joie et de reconnaissance, nous rend fiers et heureux. Mais nous ne reconnaissons à personne le droit de nous affubler d'un titre, de nous donner un pourboire à la boutonnière, de nous *distinguer et décorer*.

Que voulez-vous — grattez un Russe — vous trouverez toujours quelque chose de barbare en lui.

Cela dit, je passe à mon cahier écrit vers la fin de 1865.

...Le 5 février 1857, on enterrait, à Londres, Stanislas Worcell.

...Trois Russes¹ aidèrent à porter le cercueil, de sa pauvre demeure, à Hunter-street au cimetière de High-Gate.

Le dernier groupe d'amis s'écoulait lentement et en silence; j'étais du nombre, je m'éloignais accablé de tristesse. J'aimais ce vieillard. Il avait aussi de l'amitié pour moi; mais le dernier temps «un chat noir» traversa entre nous. Il était entouré d'hommes qui ne m'étaient pas aussi sympathiques que lui, ils l'éloignèrent de moi. Quelque temps avant sa mort, Worcell revint à d'autres sentiments.

Un jeune Polonais prononça un discours après Ledru-Rollin; il avait des larmes dans la voix, mais il ne me tendit pas la main — alors j'aurais tout oublié. Après, mon cœur se referma aussi.

Une fois dans ma chambre, je me jetai sur le sofa, complètement anéanti de douleur et d'amertume; une question se dressait de plus en plus noire devant moi. Je me demandai: n'avons-nous pas enterré *avec ce juste*, ce pur, tous nos rapports sérieux avec l'émigration polonaise? Les circonstances compliquaient étrangement notre position.

La douce tête du malade, ornée de ses cheveux blancs, qui apparaissait, pacificatrice et aimante, pour finir les malentendus et faire taire les dissonances, disparaissait. *Les dissonances restaient*. Nous ne nous entendions pas. Personnellement, individuellement, nous avons eu, alors et après, de bien proches amis parmi les Polonais; mais, en général, notre manière de voir

¹ Ogareff, moi et mon fils.

différait profondément de la leur. Cela introduisait, nécessairement, une certaine tension dans nos rapports; étant très sincères, ils manquaient d'une certaine franchise supérieure. Nous faisons les uns aux autres des concessions tacites.

Les compromis amoindrissent, effacent, neutralisent, mutilent. On perd par les concessions les aspérités, les points saillants de son individualité; on sacrifie le côté le plus énergique, le plus original.

Parvenir à une entente commune n'était pas facile. Nous partions de deux côtés opposés, et nos routes ne se rencontraient, ne se confondaient que dans un point d'intersection — à l'endroit de notre haine contre le despotisme impérial de Pétersbourg ¹.

Les Polonais allaient à la restauration d'un passé qu'ils aiment et qui a été violemment brisé; ils devaient commencer par *y retourner* pour continuer leur chemin. La Pologne, suivant l'expression d'un pape, est «terre de reliques», la Russie, terre de berceaux vides. Dans toutes les créations poétiques des Polonais, on voit le crêpe du deuil à côté de la foi ardente, le désespoir à côté de l'abnégation.

Les formes même de notre pensée, de notre compréhension, de notre intelligence, de nos tendances théoriques et pratiques, sont autres. Le pli de nos idées, leur physionomie ne sont pas les mêmes. Religieux et mystiques, les Polonais n'aiment pas notre esprit scrutateur, analytique, positiviste, sceptique et plein d'une ironie amère. S'ils ont quelquefois la force de ne pas nous haïr, l'alliance avec nous leur paraît toujours une *mésalliance*, au moins un mariage de raison. En nous donnant la main ils faisaient un effort; en s'approchant de nous, ils ne cachaient pas que c'étaient des exceptions personnelles. Au contraire, de notre côté nous apportions le sentiment humble et douloureux de la culpabilité, de la participation involontaire au crime et une admiration sans bornes pour leur persistance, pour leur élan, pour leur protestation fougueuse et fière.

¹ Je dis exprès de Pétersbourg — car une partie de nos amis polonais ne le haïssaient que sous le 59^e degré de long<itude> et trouvaient moyen de lui passer beaucoup de choses dans d'autres climats.

Compagnons de prison, nous sympathisions sans trop nous connaître. Mais, lorsqu'après la mort de Nicolas on ouvrit un peu la lucarne de la geôle, nous nous aperçûmes qu'on nous avait amenés dans la prison par des chemins opposés, et qu'une fois libres chacun irait de son côté.

Les premières années qui suivirent la guerre de Crimée, c'était notre réveil; c'est alors, pour la première fois, que nous respirâmes librement; cela nous grisa un peu. Nos espérances bruyantes et exagérées blessèrent nos compagnons de malheur, elles leur rappelèrent *leurs pertes*. Le nouveau temps commença chez nous par des exigences téméraires, exagérées. Chez nos voisins on n'entendait que des messes de morts, des prières pour le salut de leur âme, des hymnes épiques, des condoléances.

Le gouvernement nous rapprocha encore une fois. Devant les mitrillades des prêtres et des enfants, devant les balles sifflant, frappant les crucifix, frappant les femmes en deuil; devant les prières et les litanies chargées par la cavalerie — toutes les questions et discussions étaient oubliées. J'ai écrit, les larmes aux yeux, la série d'articles qui m'a valu tant de sympathies de la part des Polonais et même des adresses signées par plus de quatre cents réfugiés polonais, que j'ai eu le bonheur de recevoir à Paris.

...Le 16 juin 1862, trois jeunes officiers russes tombèrent fusillés, à Modline — pour avoir fait la propagande parmi les soldats et les officiers, pour avoir eu en leur possession et fait circuler des livres et des écrits défendus par la censure. C'était le commencement de la tyrannie peureuse et sanguinaire de l'empereur actuel.

Les amis de ces premiers martyrs, indignés, étonnés, cherchant vengeance contre ces premiers actes du régime veau-chacal qui s'inaugurait, s'adressèrent à nous, en vue de l'orage qui se préparait en Pologne. Ils nous demandaient un conseil d'amis, de frères aînés; leur conscience protestait contre le devoir, qui les poussait à devenir bourreaux et défenseurs du gouvernement qu'ils détestaient et qui s'empirait de plus en plus après le *grand mensonge* de l'incendie, à Pétersbourg. Les jeunes gens étaient décidés à ne pas prendre les armes contre les Polonais.

Beaucoup de Polonais venaient à Londres. On voyait très bien que l'idée de l'insurrection donnait de plus en plus racine,

qu'ils étaient décidés d'agir et qu'il serait bien difficile de les en détourner. On pouvait facilement prévoir qu'ils se dévouaient à un holocauste sanglant et que par ricochet nous recevions un coup terrible. Nous en parlions constamment sans les convaincre. Voyant cela, nous leur disions: «Au moins ne mettez pas le peuple russe contre vous, n'effarouchez pas l'opinion publique, elle ne vous sera pas hostile à condition de céder aux paysans la terre cultivée par eux et de laisser la complète autonomie des provinces hors du royaume».

Nous avons tant et tant répété cela, qu'à la fin Padlewsky, Giller et Milowitch vinrent nous voir et nous apportèrent une lettre du Comité central de Varsovie ¹, qui le promettait d'une manière vague, par rapport aux provinces.

Dans les pourparlers avec eux, j'ai cru remarquer qu'ils nous prenaient pour des chefs d'une *organisation toute faite* en Russie et je m'empressai de les détromper. «Vous pensez, — leur dis-je, — à ce qu'il me paraît, que nous avons une force dictatoriale; vous êtes dans une erreur profonde ². Nous avons notre puissance à nous, puissance active et assez grande, mais elle n'est basée que sur l'opinion publique, sur la sympathie entre nous et nos lecteurs; nous exprimons leurs aspirations, ils retrouvent dans nos paroles les mots qu'ils ne peuvent dire librement à la maison. Le jour où cet *unisson*, cette harmonie manqueraient, notre puissance s'évaporerait. Nous n'avons personne à qui nous pourrions dire d'aller de ce côté ou de l'autre. Nous insistons fortement sur cela, *car nous vous le répétons*, si en Russie on ne voit pas sur votre drapeau, tout grand développé, LE DROIT A LA TERRE ET L'AUTONOMIE DES PROVINCES — *notre aide, notre sympathie ne vous avanceront en rien et entraîneront nécessairement la perte de toutes les forces que nous avons*. Notre lien intime avec les nôtres ne consiste pas dans un rapport de service, mais dans la conformité du battement de nos cœurs; peut-être le nôtre bat-il un peu plus fort, avance d'une seconde — mais malheur s'il s'écartait du rythme!

Ils partirent, et un de leurs amis me dit avec une franchise que j'ai parfaitement appréciée:

¹ Que nous reproduisons à la fin du fragment.

² M. Giller, étant vivant, se rappellera peut-être notre conversation.

— Moi je suis d'accord avec vous; mais pensez-vous que je me retirerai d'affaire, dans le cas où la majorité du parti, qui aura le dessus, agira autrement? La première chose, la grande, c'est l'indépendance de la Pologne, et je ne m'arrêterai devant aucun scrupule.

— Mais vous ne l'aurez pas sans ces conditions, — lui disais-je.

— C'est ce que nous verrons.

La lettre du Comité et notre réponse aux officiers furent imprimées dans le *Kolokol*.

Le jour où parurent les documents, un homme étrange vint me voir le soir. C'était le paysan, ci-devant serf *Martianoff*. Enthousiaste, ascète, fanatique, nerveux: c'était l'étoffe d'un Jean de Leide, d'un prophète agitateur, d'un chef taborite, d'un chancelier de Pougatcheff. Il était plus pâle qu'à l'ordinaire, pensif et bouleversé. Il se taisait depuis longtemps, puis se leva, s'approcha de moi, et tenant le *Kolokol* à la main, me dit d'une voix triste et sombre: «Ne vous fâchez pas, il m'est impossible de ne pas vous le dire: dès ce jour, vous avez coulé le *Kolokol*. Vous vous êtes mêlé à des affaires qui ne vous regardent pas. Les Polonais ont peut-être raison d'aller par ce chemin, ce n'est pas le nôtre. Vous n'avez pas pensé à nous lorsque vous faisiez ce pas. Que Dieu vous pardonne! Rappelez-vous mes paroles; le temps vous prouvera qui de nous connaît mieux où le vent souffle; moi, je ne le verrai pas, je suis fatigué, je me meurs ici et je retourne à la maison».

— Cher *Martianoff*, — lui dis-je, — vous n'irez pas en Russie, et le *Kolokol* n'est pas coulé; j'ai agi d'après ma conscience.

Il secoua la tête et sortit sans rien dire, me laissant sous le poids lourd de la seconde ¹ prophétie que l'on me faisait.

Martianoff tint sa parole, il alla se livrer lui-même à ses bêtes féroces. Son *zemski tzar* le fit juger par le sénat pour avoir imprimé dans le *Kolokol* une lettre qu'il adressait à l'empereur. Ces brigands, contents d'avoir entre leurs griffes le ci-devant serf indomptable et turbulent, le condamnèrent à cinq années de travaux forcés; il voulut s'enfuir, on le fit *passer par les verges à la mort*.

C'est le nouveau martyrologe qui se remplissait.

¹ Elle a été racontée par moi dans le *Kolokol* russe — 1^{er} juillet 1867

Le jeune petit-russien Pôtebnia, l'âme de la société des officiers vint encore une fois à Londres pour demander notre avis, et, quel qu'il fût, suivre invariablement sa route. Il s'était livré sans réserve à l'ouragan. Pur, simple, héroïque, triste, il portait déjà sur son front l'onction fatale de la mort. Il allait être tué, j'en étais sûr, et pour une cause qui n'était pas proprement la sienne.

— Oui,— me disait un ami,— elle est aussi sienne. On ne peut pas toujours attendre, les bras croisés, jusqu'à ce que le vent souffle comme nous le voulons. Il faut prendre l'histoire comme elle se présente, il faut louvoyer avec elle, autrement on reste toujours en arrière ou en avant.

Peut-être avait-il raison, mais mon cœur était si rempli de larmes et de mauvaises appréhensions, qu'il m'était impossible de regarder sans frissonner ces *morituri* qui s'en allaient une phalange après l'autre...

Padlewsky traversa Londres comme une flèche; il allait à Kovno, par *Pétersbourg*.

— Donc, c'est décidé?

— La loi ignoble sur le recrutement n'a pas été révoquée, c'est elle qui a décidé. Il n'y a pas de force humaine pour arrêter le mouvement, mieux vaut s'en emparer.

Deux mois après, l'un tombait à la bataille de la Pescova Scala, l'autre était fusillé; tous les deux si jeunes, si beaux, si pleins de force!

Non, je ne suis pas militaire, j'abhorre les voies du sang.

Un des membres du gouvernement polonais a eu la généreuse, la touchante attention de nous avertir de la mort de Potebnia. Après quelque temps, on me remit un petit portefeuille qui lui appartenait. J'ouvris d'une main tremblante la relique, et j'y trouvai une lettre adressée aux officiers russes par Ogareff, pendant une absence de quelques jours que j'ai passés à Torquay.

Cette lettre commence par ces lignes:

Amis,

C'est avec un amour profond et une profonde tristesse que nous prenons congé de votre ami. qui va vous rejoindre. Il n'y a qu'une espérance secrète

qui nous tranquillise tant soit peu sur votre sort et le sort de *notre cause* — c'est que le soulèvement peut être différé!

Nous comprenons très bien qu'il vous est impossible de ne pas prendre part à l'insurrection, vous le devez comme expiation. Vous ne pouvez pas laisser écraser la Pologne sans protester; une participation muette et soumise serait immorale et aurait pour la Russie un côté pernicieux.

Votre position est tragique et sans issue. *Nous ne voyons pas une chance de succès*; même si Varsovie pouvait être libre, pour quelque temps, vous ne pourriez rien faire qu'acquitter une ancienne dette — en prenant part au mouvement de l'indépendance nationale. Car ce n'est pas la Pologne qui élèvera notre drapeau social — notre drapeau de *la terre et de la liberté*; et vous, chers amis, vous êtes encore beaucoup trop faibles pour le faire!

La Pologne succombera si elle se lève avant le temps — *et le mouvement russe sera pour longtemps noyé dans la haine nationale, qui ira bras dessus bras dessous avec le dévouement au tzar*, et ne pourra surnager qu'après votre mort, lorsque votre exemple héroïque — devenu tradition, agitera une nouvelle génération, comme le grand souvenir du 14/26 décembre 1825 nous a agités!..

Je n'ai rien à ajouter à ces lignes.

Et je crois que c'est assez pour la première fois.

25 mars 1868.

ПЕРЕВОД

К ПОЛЬСКОМУ ВОПРОСУ

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

Бывают горести, которые неохотно передаешь словами — без необходимости. Я горячо желал схоронить воспоминания о 1863—64 годах до иного времени и иных обстоятельств. Я набросал, для самого себя, кое-какие памятные заметки, которые перечитывал словно панихиду по усопшим. Преследуемый врагами, вынуждаемый говорить¹, я никогда не выходил за пределы общих мест и крайней сдержанности. Так намерен я поступить и теперь, приподымая саван несколько повыше.

Молчание, к несчастью, не всегда возможно — оно содействует упрочению, укоренению ложных представлений.

¹ Письма в редакцию «Дня» — русский «Колокол», 1864 г.* «Письма к противнику», там же, 1865 г.* Письмо к г. И. Аксакову — 1866 г.*

Мне очень трудно было заговорить; но, как часто случается, пустяк, переполнивший чашу, неуместная ирония, *плохо взвешенное слово* заставляют нас снять наложенный на себя запрет, дабы напомнить противникам и острякам, что мы не совсем еще мертвы, чтобы молчать.

На сей раз каплей, переполнившей чашу, — каплей воинственной, мог бы я сказать, ибо она перекадилась *от генерала к майору*, — оказалось письмо г. Мерославского, опубликованное в Женеве *.

Там встречаются такого рода выражения: *«Варшавский комитет — Падлевский, Гиллер, Милович, — образованный в Париже, торжественно и в полном составе выехал, в ноябре месяце 1862 года, чтобы предложить верховное руководство польским восстанием гг. Герцену, Огареву и Бакунину, согласившись от имени Польши, столь неудачно расчлененной Венским конгрессом, на дополнительное расчленение, предложенное ей последним из этих московских патриотов. Господа Герцен и Огарев имели бестактность занять выжидательную позицию»*. — И затем, рассказывая об освобождении двух поляков, арестованных французской полицией в Париже, автор прибавляет: *«Оба были отправлены в Лондон; я не решаюсь сказать — высланы или изгнаны, поскольку их официальное правительство находилось в Лондоне со времени их публичного и добровольного подчинения редакции „Колокола“»*.

Те из членов комитета, которые не пали мучениками, не были расстреляны, как С. Падлевский, могут ответить сами; еще лучше может ответить наш друг Бакунин — грозный атлет, с которым нелегко бороться. Я же хочу лишь с полной ясностью показать, приведя несколько страниц из своих мемуаров, каково было подлинное отношение *редакции «Колокола»* к восстанию в Польше. Вместе с тем, отрывки эти покажут наше полное нравственное *единство* в польском вопросе — с той поры, как мы начали нашу пропаганду, и до нынешнего дня — как во времена наиболее пылких дружеских чувств, проявлявшихся к нам нашими польскими братьями, так и во времена самых яростных обвинений со стороны нескольких одержимых *

Я присоединяю к этому несколько оправдательных документов, которые уже были напечатаны в русском «Колоколе».

Еще одно слово сугубо личного характера.

Альфред де Виньи восхитительно рассказал о том, с каким молчаливым наслаждением смаковал Робеспьер, делая вид, что он огорчен и оскорблен, выражения «Robespierre's troops», «Robespierre's army», встречавшиеся в лондонских газетах *.

И это потому, что он домогался диктатуры.

Что касается редакции «Колокола», состоящей из нас двоих — Огарева и меня, — то мысль играть в тайное правительство, руководить восстанием в Польше и не приходила нам в голову. Эти утверждения, унижительные для поляков, показывают нам, что, в конечном итоге, генералы обоих противоположных лагерей, Мерославский и Шувалов, одинаково плохо осведомлены на наш счет — как один, так и другой.

Я готов поверить, что г. Мерославский заблуждается искренне; у него не может быть никакой личной причины; я никогда не имел удовольствия быть представленным г. Мерославскому, Огарев — тоже, и все наши взаимоотношения ограничиваются одним весьма любезным письмом, с которым он ко мне обратился после появления моих статей «Vivat Polonia!» и «Mater Dolorosa», — письмом, на которое я ответил несколькими словами симпатии и уважения *. Вот и всё.

Но тем не менее он мог бы нас знать: вот уже скоро двадцать лет, как я тружусь в Европе; уже более десяти лет, как мы трудимся вдвоем.

Мы можем себя упрекнуть во многих ошибках, во многих заблуждениях; но если не повинны мы в каком-нибудь из эмигрантских пороков, *то именно в том, что никогда не позировали* — ни в качестве заговорщиков, ни в качестве диктаторов, разоблачителей, посланников и прочих *чиновников* революции. Мы говорили и повторяли, что мы — лишь случайные представители подпольного движения, существовавшего в России с николаевских времен, *мы ее свободный голос*, ее крик возмущения, боли, надежды, с тех пор как движение это из тайного стало явным. *Vivos vocare*, как сказано в нашем эпитафье *, — чтоб указать им тот же путь, ту же цель и те же препятствия. *Vivos vocare* — чтобы сказать им, *что время пришло*, — такова была основа нашей пропаганды, и так как хронометр наш был точен, то это было *и основой нашей силы*.

Снова излагать наши социалистические и русские убеждения было бы излишне. Все наши издания, каждый лист нашей газеты только это и содержат.

Мы проповедовали, мы будили людей, еще погруженных в полусон, никогда не домогаясь ни звания главного архиепископа пропаганды, ни барабанщика вооруженного восстания.

А ведь именно реакционнейшие русские газеты и начали первыми навязывать нам роль тайного правительства и украшать нас титулами, не имеющими для нас никакого значения.

Но для этих газет по крайней мере есть смягчающее обстоятельство: они прекрасно знают, что лгут. Они прекрасно знают, что нам достаточно одного нашего имени, что оно никогда не будет запятнано никаким титулом, никакой казенной печатью — точно так же, как наша грудь — никаким крестом, никаким значком почетного легиона.

Именно в этом, может быть, и кроется наше честолюбие; нам кажется, что называться просто Огаревым и Герценом несколько лучше, чем называться канцлером *in partibus* или гонфалоньером *in spe* *. Малейшее выражение симпатии со стороны наших друзей заставляет наши сердца трепетать от радости и признательности, делает нас гордыми и счастливыми. Но ни за кем не признаем мы права нахлобучивать на нас какой-нибудь титул, награждать нас чаевыми в петлицу, отличать нас, жаловать нам ордена.

Ничего не поделаешь, поскребите русского — и вы всегда найдете в нем что-то от варвара.

Высказав это, перехожу к моей тетради, писанной в конце 1865 года *.

...5 февраля 1857 года в Лондоне хоронили Станислава Ворцеля *.

...Трое русских ¹ помогали нести гроб от его бедного жилища в Hunter-street до кладбища High-Gate.

Последняя группа друзей медленно и молчаливо расходилась; я был в их числе; я удалялся, подавленный печалью.

¹ Огарев, я и мой сын.

Я любил этого старика. Он также питал ко мне дружбу; но в последнее время «черная кошка» пробежала между нами. Он был окружен людьми, не столь мне симпатичными, как он; они его отдаляли от меня. Незадолго до смерти Ворцель возвратился к прежним чувствам.

Молодой поляк произнес речь после Ледрю-Роллена, в его голосе слышались слезы, но руки он мне не протянул — *в то время я бы все забыл*. Впоследствии сердце мое также замкнулось.

Очутившись в своей комнате, я бросился на софу, совершенно уничтоженный скорбью и горечью: один вопрос все мрачней и мрачней вставал передо мною. Я спрашивал себя: не схоронили ли мы *вместе с этим праведником*, с этим безусловно чистым человеком все наши серьезные отношения с польской эмиграцией? Обстоятельства странным образом усложняли наше положение.

Обрамленное седыми волосами кроткое лицо больного, примиряющее и любящее, появление которого прекращало недоумения и заставляло умолкнуть диссонансы, — исчезло. *Диссонансы же остались*. Мы не понимали друг друга. Частно, лично у нас и тогда и впоследствии бывали очень близкие друзья среди поляков; но вообще наши взгляды глубоко отличались от их взглядов. Это неизбежно приводило к некоторой натянутости в отношениях; будучи чрезвычайно искренними, отношения эти в то же время отличались отсутствием какой-то высшей откровенности. Мы делали друг другу молчаливые уступки.

Компромиссы мельчат, сглаживают, нейтрализуют, калечат. Уступая, теряешь шероховатые, выпуклые черты своей индивидуальности; жертвуешь самой энергичной, самой оригинальной ее стороной.

Достигнуть общего согласия было нелегко. Мы шли с двух противоположных сторон, и пути наши встречались, сливались только в одной точке пересечения — в нашей ненависти к петербургскому императорскому деспотизму ¹.

¹ Я нарочно говорю «петербургскому», ибо часть наших польских друзей ненавидела его лишь на 59-м градусе северной шир(оты) и находила возможность прощать ему многое в других поясах*.

Поляки шли к восстановлению прошедшего, любимого ими и насильственно срезанного, они должны были начать с *возвращения* к нему, чтобы продолжать свой путь. Польша, по выражению одного папы, — «страна мощей», Россия же — страна пустых колыбелей. Во всех поэтических созданиях поляков видишь траурный креп рядом с пламенной верой, отчаяние — рядом с самоотречением.

Даже формы нашего мышления, нашего понимания, нашего ума, наших теоретических и практических устремлений — не те. Весь склад наших понятий, их облик — не те, что у них. Религиозные люди и мистики, поляки не любят нашего ума, испытующего, аналитического, позитивного, скептического и проникнутого горькой иронией. Если они иногда достаточно сильны, чтобы не питать к нам ненависти, то союз с нами всегда кажется им *мезальянсом*, по меньшей мере рассудочным браком. Подавая нам руку, они делали над собою усилие; сближаясь с нами, они не скрывали, что делали это как личное исключение. Наоборот, со своей стороны мы вносили смиренное и скорбное чувство вины, невольного соучастия в преступлении и безграничного восхищения их стойкостью, их порывом, их бурным и гордым протестом.

Тюремные товарищи, мы больше сочувствовали друг другу, чем знали. Но когда после смерти Николая немного приотворили окошко камеры, мы заметили, что нас привели в тюрьму по противоположным дорогам и что стоит нам только освободиться — каждый пойдет в свою сторону.

Первые годы, следовавшие за Крымской войной, были годами нашего пробуждения; именно тогда мы впервые свободно вздохнули; это нас слегка опьянило. Наши шумные и преувеличенные надежды оскорбили наших товарищей по несчастью, они им напомнили их *утраты*. Новое время началось у нас с заносчивых, преувеличенных требований. У наших соседей слышались лишь панихиды, упокойные молитвы, эпические гимны, соболезнования.

Правительство нас еще раз сблизило. Перед выстрелами по попам и детям, перед свистящими пулями, поражающими распятия, поражающими женщин в трауре, перед молитвами и литаниями, атакуемыми кавалерией, — все вопросы и споры были

позабыты. Со слезами на глазах написал я целую серию статей, доставивших мне столько выражений симпатии со стороны поляков* и даже адреса, подписанные более чем четырьмястами польских изгнанников, которые я имел счастье получить в Париже.

... 16 июня 1862 года три молодых русских офицера пали, расстрелянные в Модлине за то, что они вели пропаганду среди солдат и офицеров, за то, что хранили и распространяли запрещенные цензурой книги и рукописи*. То было начало трусливой и кровавой тирании нынешнего императора.

Друзья этих первых мучеников, возмущенные, удивленные, искавшие средства отомстить за первые действия нового режима, установленного молодым шакалом, — обратились к нам в виду бури, собиравшейся в Польше*. Они спрашивали у нас дружеского совета, совета старших братьев; совесть их протестовала против долга, толкавшего их на палачество и на защиту правительства, ненавидимого ими и становившегося все более и более мерзким после *чудовищной лжи* о петербургском пожаре*. Молодые люди решили не подымать оружия против поляков.

Множество поляков приезжало в Лондон. Было совершенно очевидно, что мысль о вооруженном восстании укоренялась все более и более, что они решились действовать и что отвлечь их от этого пути будет трудно. Легко можно было предвидеть, что они обрекали себя на кровавое заклание и что мы рикошетом получим ужасный удар. Мы постоянно говорили об этом, насколько не убеждая их. Видя это, мы говорили им: «По крайней мере не восстанавливайте против себя русский народ, не отпугивайте общественное мнение, оно не будет вам враждебно, если вы уступите крестьянам обрабатываемые ими земли, а провинциям, находящимся за пределами королевства, предоставите полную автономию».

Мы столько и столько раз повторяли это, что, наконец, Падлевский, Гиллер и Милович приехали к нам и привезли письмо от Варшавского центрального комитета¹, обещавшего в неопределенных выражениях выполнить то, что касается провинций*.

¹ Которое мы воспроизводим в конце отрывка.

Во время переговоров с ними мне показалось, что они принимают нас за вождей совершенно *готовой организации* в России, и я поспешил их в этом разуверить. «Вы предполагаете, — сказал я им, — как мне кажется, что мы обладаем диктаторской властью; вы глубоко заблуждаетесь¹. У нас есть своя сила — сила деятельная и довольно большая, но она утверждается только на общественном мнении, на сочувствии между нами и нашими читателями; мы выражаем их чаяния, они находят в наших речах слова, которые не могут свободно высказать у себя на родине. В день, когда этот *унисон*, эта гармония исчезнут, наша власть улетучится. У нас нет никого, кому могли бы мы приказать идти в ту или другую сторону. Мы всячески подчеркиваем это, *ибо, повторяем вам*, если в России на вашем широко развернутом знамени не увидят ПРАВА НА ЗЕМЛЮ И АВТОНОМИИ ПРОВИНЦИЙ — *наша помощь, наше сочувствие вам не принесут никакой пользы и непременно повлекут за собой гибель всех сил, которыми мы располагаем*. Наша душевная связь со своими состоит не в служебных взаимоотношениях, а в одинаковом биении наших сердец; у нас оно, может, бьется чуточку посильнее, ушло секундой вперед — но горе, если оно выбьется из ритма!

Они уехали, и один из их друзей сказал мне с откровенностью, которую я вполне оценил:

— Я согласен с вами, но думаете ли вы, что я устранюсь от дела, если большинство партии, которое возьмет верх, будет действовать по-иному? Самое важное дело — это независимость Польши, и никакие сомнения меня не остановят.

— Но без этих условий у вас ее и не будет, — сказал я ему.

— Это мы увидим.

Письмо Комитета и наш ответ офицерам были напечатаны в «Колоколе».

В тот день, когда появились в печати эти документы*, меня навестил вечером один странный человек. Это был крестьянин, бывший крепостной *Мартьянов*. Энтузиаст, аскет, фанатик, человек со взбудораженными нервами — он представлял собой материал, из которого мог бы выйти какой-нибудь Иоанн Лейденский, пророк-агитатор, вождь таборитов, канцлер Пугачева.

¹ Г-н Гиллер, который еще жив, быть может, припомнит нашу беседу.

«Он был бледнее обыкновенного, задумчив и растерян. Он долго молчал, затем встал, подошел ко мне и, держа «Колокол» в руке, сказал мне печальным и мрачным голосом: «Не сердитесь, мне нельзя не сказать вам этого: с нынешнего дня вы пустили ко дну „Колокол“. Вы вмешались в дела, которые вас не касаются. Поляки, может, и правы, что идут этим путем, но это не наш путь. Вы не подумали о нас, когда сделали этот шаг. Бог с вами! Попомните мои слова; время покажет вам, кто из нас лучше знает, откуда ветер дует; я-то сам не увижу этого, я устал, здесь для меня смерть, и я возвращаюсь домой».

— Дорогой Мартьянов, — сказал я ему, — ни вы не поедете в Россию, ни «Колокол» не пошел ко дну; я действовал как подсказывала мне совесть.

Он покачал головой и вышел, ничего не сказав, оставив меня под тяжелым гнетом второго¹ пророчества, услышанного мною.

Мартьянов сдержал слово: он уехал, чтобы самому отдался своим хищным зверям. Его *земский* царь подверг его суду сената за то, что он поместил в «Колоколе» письмо, обращенное к императору *. Эти разбойники, довольные тем, что им в когти попался бывший крепостной, неукротимый и беспокойный, приговорили его к пяти годам каторжных работ; он сделал попытку бежать, его *засекли розгами до смерти* *.

Так заполнялся новый мартиролог.

Молодой малоросс Потебня, душа офицерского общества, еще раз приехал в Лондон, чтобы спросить нашего мнения и, каково б оно ни было, неуклонно идти своей дорогой. Он беззаветно отдался урагану. Чистый, простой, героический, печальный, он носил уже на своем челе роковое помазание смерти *. Ему суждено было вскоре погибнуть, я был уверен в этом, — и за дело, которое, в сущности, не было его делом.

— Нет, — говорил мне один из друзей, — это и его дело. Нельзя же вечно ждать сложа руки, пока ветер не подует так, как мы хотим. Историю надобно принимать в том виде, в каком она представляется, с ней надобно лавировать — иначе навсегда останешься либо позади, либо впереди.

¹ О первом я рассказал в русском «Колоколе» 1 июля 1867 г.*

Быть может, он был и прав, но сердце мое так полно было слез и дурных предчувствий, что я не мог без дрожи смотреть на этих *rogitugi* *, уходивших фаланга за фалангой...

Падлевский промчался, как стрела, через Лондон; он ехал в Ковно *через Петербург* *.

— Итак, решено?

— Гнусный закон о рекрутском наборе не был отменен, он-то и решил все дело. Нет человеческой силы, которая могла бы остановить это движение, уж лучше овладеть им.

Два месяца спустя один из них пал в битве при Песковой Скале, другой был расстрелян; оба были так юны, так прекрасны, так полны сил!

Нет, я не военный, кровавые пути мне отвратительны.

Один из членов польского правительства проявил благородное и трогательное внимание, известив нас о смерти Потебни. Несколько времени спустя, мне передали принадлежавший ему маленький бумажник. Дрожащей рукой приоткрыл я эту реликвию и нашел там письмо, обращенное Огаревым к русским офицерам и написанное во время моего отсутствия, когда я на несколько дней уехал в Торкуэй *.

Письмо это начинается следующими строками:

Друзья!

С глубокой любовью и глубокой печалью расстаемся мы с вашим другом, который уезжает, чтобы присоединиться к вам. Только тайная надежда, что это восстание может быть отложено, успокаивает нас и за вашу участь и за судьбу *нашего дела!*

Мы прекрасно понимаем, что вам нельзя не принять участия в восстании, вы должны сделать это как искушение. Вы не можете позволить раздавить Польшу без протеста; безмолвное и покорное соучастие было бы безнравственно и имело бы для России вредную сторону.

Ваше положение трагично и безвыходно. *Шанса на успех мы не видим;* даже если б Варшава на некоторое время была свободна, вы не могли бы ничего сделать, кроме как заплатить старинный долг своим участием в движении национальной независимости. Ибо не Польша воздвигнет наше социальное знамя — наше знамя *земли и воли;* а вы, дорогие друзья, вы еще слишком слабы, чтобы сделать это!

Польша погибнет, если она восстанет преждевременно, а *русское движение надолго потонет в народной ненависти, которая пойдет рука об руку с преданностью царю,* и сможет подняться на поверхность только

после вашей смерти, когда ваш героический пример, став традицией, взволнует новое поколение, как великое воспоминание о 14/26 декабря 1825 года взволновало нас!..

Мне нечего прибавить к этим строкам.

И я думаю, что этого достаточно на первый раз.

25 марта 1868.



⟨LA FAMINE CONTINUE A SEVIR EN RUSSIE...⟩

La famine continue à sévir en Russie. Un journal esclavagiste tend à faire croire que le péché originel pour lequel la Russie est punie, c'est l'affranchissement des paysans, et va jusqu'à suggérer que la Russie vivrait en abondance — si on la mettait sous la tutelle de la noblesse.

Les sommes que produisirent les divers dons sont assez considérables, mais loin d'être suffisantes. Leur distribution par les mains administratives est douteuse, et, dans tous les cas, une bonne part restera dans ces mains—qui ont une attraction absorbante, irrésistible pour les métaux et aussi pour les billets de banque.

En Silésie, on meurt de faim; en Algérie, dans une dizaine d'autres contrées — on meurt de faim. En Irlande...— c'est le pays classique de la famine.

Et nous lisons dans les *Etats-Unis d'Europe* le *carmen horrendum* en chiffres:

Budgets militaires des Etats européens	119 392 665 liv⟨res⟩ st⟨erlings⟩
Perte de travail . .	132 174 892
Intérêts du capital .	30 440 000
Total environ . . .	280 000 000 liv ⟨res⟩ st⟨erlings⟩

Soit 7 milliards de francs par année.

Et non, c'est encore la paix.

Torheit — gegen dich streiten die Götter vergebens — a pris pour épigraphe notre ami Charles Vogt.

〈В РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТ СВИРЕПСТВОВАТЬ ГОЛОД...〉

В России продолжает свирепствовать голод. Одна крепостническая газета пытается уверить, что первородный грех, за который наказана Россия, — это освобождение крестьян, и доходит до утверждения, будто Россия жила бы в изобилии, если бы ее отдали под опеку дворянства *.

Суммы, собранные благодаря различным пожертвованиям, довольно значительны, но далеко не достаточны. Распределение их руками администрации вызывает опасения, и во всяком случае добрая толика останется в этих руках, одаренных всепоглощающим, непреодолимым влечением к металлу, а также к банковским билетам.

В Силезии умирают с голоду; в Алжире, в десятке других стран умирают с голоду. В Ирландии... — это классическая страна голода.

А мы читаем в «Les Etats-Unis d'Europe» следующий *carmen horrendum* * в цифрах:

Военные бюджеты европейских государств	119 392 665 ф<унтов> ст<ерлингов>
Потери в труде	132 174 892
Проценты на капитал	30 440 000
В итоге: около . . .	280 000 000 ф<унтов> ст<ерлингов>

Или же 7 миллиардов франков в год.

А это еще мирное время.

«Torheit, gegen dich streiten die Götter vergebens» — взяв в качестве эпиграфа наш друг Карл Фогт *.





RIEN N'EST IMPOSSIBLE POUR LE TZAR

Vous savez comment Boileau répondit à Louis XIV, qui demandait son opinion sur une pièce de vers qu'il daigna rimer. «Sire,— lui dit le poète en s'inclinant,— rien n'est impossible pour Votre Majesté, vous avez voulu faire de mauvais vers et vous avez parfaitement réussi». L'omnipotence du tzar n'est pas moindre; lorsque le bruit s'était répandu qu'il allait ordonner une maladie à Valouieff, ministre de l'Intérieur, et une maladie assez grave pour être obligé de quitter le ministère—nous nous sommes creusé la tête, en nous demandant: «Y a-t-il dans toutes les Russies un homme plus nuisible pour le remplacer?» N'en trouvant pas, nous étions très contents que ce sabot allait être enlevé à notre roue historique. Eh bien, l'empereur nous a vaincus, il a trouvé un homme plus nuisible et sous tous les rapports inférieur à Valouieff, le ci-devant chef de la police secrète, TIMACHEFF, et l'a nommé ministre!

On connaît le rôle qu'il a joué au commencement du règne actuel. On n'a pas oublié par quels dons de la nature il a percé sa carrière du temps de Nicolas et par quoi il s'est mis en évidence.

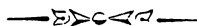
ПЕРЕВОД

НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО ДЛЯ ЦАРЯ

Вы знаете, как Буало ответил Людовику XIV, спросившему его мнения о стихотворении, которое король соблаговолил сочинить. «Государь,— сказал ему поэт, поклонившись,— для вашего величества нет ничего невозможного; вам угодно было сочинить плохие стихи, и это вам удалось великолепнейшим.

образом». Всемогущество царя не уступает этому; когда распространился слух, что он вскоре повелит Валуеву, министру внутренних дел, заболеть, и заболеть настолько серьезно, чтобы оказаться вынужденным покинуть министерство *, — мы принялись ломать себе голову, задавая себе вопрос: «Найдется ли во всей России человек, еще более зловредный, чтобы занять его должность?» Не обнаружив такого, мы порадовались, что тормоз этот будет снят с нашего исторического колеса. И что же, император нас победил, он нашел человека, еще более зловредного и во всех отношениях стоящего ниже, чем Валуев, — бывшего начальника тайной полиции ТИМАШЕВА — и назначил его министром!

Известна роль, какую тот играл в начале нынешнего царствования. Еще не забыто, при помощи каких врожденных дарований он пробился и сделал себе карьеру во времена Николая и благодаря чему он выдвинулся в первые ряды.





LE GOLOS EST ARRIVE!

Oui, le 6 du mois d'avril, après un travail de trois mois, après des efforts inouïs, une correspondance brûlante — nous l'avons enfin!

ПЕРЕВОД

«ГОЛОС» ПРИБЫЛ!

Да, 6-го числа апреля месяца, после трехмесячных трудов, после невероятных усилий, пламенной переписки — мы, наконец, получили его!



L'ARTICLE DE M. CHARLES MAZADE

La Revue des Deux Mondes donne (1^{er} avril 1868) un nouvel article sur la Russie sous l'empereur Alexandre II, écrit par la plume habile de M. Mazade. Nous avons dit dans notre première feuille de cette année que nous n'avons jamais confondu les articles de M. Mazade, sur la Russie, avec la généralité des diatribes, contre elle, qui étonnent par l'étendue de leur ignorance du sujet et la petitesse de l'entendement. M. Mazade a des sources évidemment authentiques, il est bien informé, il n'a pas de parti pris d'avance.

Ses articles — et le dernier, plus que les autres, ne vont pas au delà du monde politique et administratif, au delà des sphères officielles et de l'opinion publique telle qu'elle se fait jour dans les assemblées provinciales et dans les journaux — plus ou moins officieux.

Les pages intéressantes de M. Mazade nous font penser aux travaux importants du D^r Rayer sur les maladies cutanées. M. Mazade, lui aussi, ne va pas au delà de l'épiderme; mais, décrivant parfaitement les éruptions et les ulcères qui le couvrent, il nous fait involontairement penser aux agents intérieurs qui travaillent avec une telle violence ce sang, fiévreux maintenant, et si tranquille il y a vingt ans.

M. Mazade, comme la sainte reine de Hongrie, ne recule devant aucune de ces pustules putrides, de ces tumeurs hideuses qui se formèrent et se développèrent avec une telle richesse et un tel luxe sur l'écorce de l'Empire entre Karakosoff et Berézovsky (seul temps qu'a pris l'auteur).

Il décrit avec courage et exactitude les furoncles, comme Valouieff, et les cancers béants, comme Katkoff. Il les agrandit,

et beaucoup — mais c'est pour mieux faire saisir leur portée.

Dès son premier article, l'auteur a très bien compris que la débâcle avait commencé, qu'un ferment travaillait l'intérieur de l'Empire. Sans aller prendre le sang des veines pour l'analyser, il le constate dans les manifestations extérieures. Il ne se hasarde pas à plonger dans les abîmes sombres et inconnus d'une embryogénie difficile et douloureuse, qui cherche elle-même à sortir de son état informe, tantôt par un coup de pistolet, tantôt par un patriotisme frénétique, tantôt par une négation absolue, à côté d'une idolâtrie réchauffée. M. Mazade ne fait que constater le mouvement, l'agitation, l'équilibre rompu, le pouls accéléré. Il montre plastiquement la quantité de matière en putréfaction que le torrent remue et porte à la surface.

Ce n'est pas cela que nous lui reprocherons, nous avons assez longtemps pataugé dans ces beaux marais nous-mêmes. Nous aurons un tout autre grief. Pourquoi, avec son talent et son intelligence, accepte-t-il les opinions toutes faites des hommes hostiles au mouvement russe et surtout des *esclavagistes*? Comment peut-il penser, par exemple, que les assemblées provinciales soient passées de mode et la réforme judiciaire avortée et illusoire? Sommes-nous donc si loin de 1861, de l'année de l'émancipation des paysans? La France tend, non depuis six ans, mais bien depuis soixante et dix pour arriver à son programme de 1789 — sans succès — et pourtant on prétend que son état actuel n'est qu'une migraine passagère du grand peuple.

La famine qui désole une vingtaine de gouvernements du nord de la Russie est un immense malheur et un grand acte d'accusation contre un gouvernement qui s'occupe de tout, des coiffures des demoiselles et de leurs lunettes bleues, des enseignes des boutiques et des boutons d'uniformes, et qui ne sait *ni prévoir, ni savoir, ni aider*¹. Mais faire peser une partie de la responsabilité

¹ «Et ce qu'il y a de plus étrange,— dit M. Mazade d'après la *Correspondance du Nord-Est*,— c'est que le gouvernement est resté, jusqu'au dernier moment, dans une complète ignorance de cette situation. C'est le consul anglais, à Arkhangel, qui a donné le premier signal de détresse, et c'est, à ce qu'il paraît, par l'ambassade britannique à Saint-Pétersbourg que le gouvernement russe a appris cette effroyable détresse» (*Revue des Deux Mondes*.—1er avril, page 756).

sur le compte de l'émancipation des paysans est injuste. Nous connaissons trop bien de quel camp viennent ces flèches blasonnées. «Il y avait *autrefois* des approvisionnements que les propriétaires (c'est-à-dire les seigneurs) étaient chargés d'entretenir; ces dépôts n'existent plus depuis que les paysans, comme citoyens de la commune, ont à s'en occuper». Les neuf dixièmes de ces fameux magasins de réserve ou de provision n'existaient pas, ou, s'ils existaient, ils étaient vides. De temps en temps le gouvernement local envoyait un pauvre diable de *stanovoï* faire le relevé. Le *starost* du village ou l'intendant lui montrait, *par écrit*, la quantité de blé; s'il voulait pousser plus loin et en constater la réalité, on le chassait, si le seigneur était haut placé et très riche; dans le cas contraire, on lui donnait quelques roubles avec force pommes de terre, avoine, blé; il acceptait cette preuve manifeste de l'abondance et s'en allait après s'être grisé avec le *starost*.

Et comment faisaient donc les paysans *de la couronne*, qui avaient quelquefois des magasins, mais jamais de seigneurs?

Est-ce que M. Mazade pense que la famine est une nouveauté en Russie? Chaque génération en a éprouvé une ou deux, au Nord ou au Midi, vers l'Asie ou vers l'Europe. Que faisaient donc les seigneurs avec leurs magasins et leurs provisions? Nous ne connaissons qu'un cas notable. C'était en 1821: quelques décebristes se trouvant, par hasard, dans le gouvernement de Smolensk, lors d'une famine, donnèrent tant et remuèrent tant la société, que les paysans ont été réellement soulagés. C'était si étonnant, si exorbitant, que l'empereur Alexandre I^{er}, voulant faire comprendre au prince Pierre Volkonsky la grande puissance de la société secrète, qu'il commençait alors à flairer et à craindre, lui dit: «Tu n'as pas d'idée ce que sont ces gens; figure-toi, ils ont nourri, pendant la famine, des districts entiers du gouvernement de Smolensk».

«L'émancipation est assurément un bienfait, seulement elle a commencé par une immense diminution du travail et un développement outré de l'ivrognerie».

Ah! qu'à ce langage nous reconnaissons bien nos vieux amis, les aimables «boyards», sablant le champagne, dissipant leur for-

tune, passant les nuits aux cartes et les jours à ne rien faire... Que le bon Dieu préserve M. Mazade de la voix de ces sirènes à barbe grise!

Leurs cris déchirants et plaintifs sont sincères, ils ont aussi faim. Pauvres gens, habitués dès l'âge le plus tendre à l'anthropophage tempérée qu'ils exerçaient tout patriarcalement, tout doucement; ils ne peuvent se retrouver dans la nouvelle situation, et tendent par tous les moyens à ressusciter le temps heureux pendant lequel le paysan buvait moins et le seigneur dix fois plus.

П Е Р Е В О Д

СТАТЬЯ, г. ШАРЛЯ МАЗАДА

«Revue des Deux Mondes» публикует (1 апреля 1868 года) новую статью о России в царствование императора Александра II, написанную искусным пером г. Мазада. Мы говорили в нашем первом листе за текущий год, что никогда не смешивали статей г. Мазада о России с большинством направленных против нее диатриб, которые поражают широтой незнания предмета и узостью понимания*. Г-н Мазад располагает явно достоверными источниками, он хорошо осведомлен, у него нет предвзятого мнения.

Его статьи — и последняя в особенности — не выходят за пределы политического и административного мира, за пределы официальных сфер и общественного мнения — в том виде, как оно проявляется на губернских собраниях и в газетах — более или менее официозных.

Полные интереса страницы г. Мазада напоминают нам солидные труды д-ра Рейе о кожных болезнях. Г-н Мазад также не заглядывает глубже эпидермы; но, превосходно описывая поверхностные сыпи и язвы, он невольно заставляет нас задумываться о внутренних силах, которые так бурно действуют в крови, ныне лихорадочно возбужденной и столь спокойной двадцать лет тому назад.

Г-н Мазад, подобно святой королеве Венгрии *, не отступает ни перед гнойными прыщами, ни перед отвратительными опухлями, которые образовались и развились в таком изобилии

и с такой роскошью на поверхности Империи в промежутке между Каракозовым и Березовским (единственный период, рассматриваемый автором).

Он смело и точно описывает такие чирьи, как Валуев, и такие зияющие язвы, как Катков. Он показывает их в увеличенном и во много раз увеличенном виде — но делает это для того, чтобы легче было понять их значение.

Со времени появления его первой статьи * автор великолепно понял, что лед тронулся, что внутри Империи происходит брожение. Не беря кровь из вены на исследование, он констатирует это по внешним симптомам. Он не решается углубиться в мрачные и необследованные бездны трудной и болезненной эмбриогении, которая сама старается выйти из своего бесформенного состояния — то выстрелом из пистолета, то иступленным патриотизмом, то полнейшим отрицанием наряду с подгретым идолопоклонством. Г-н Мазад устанавливает лишь наличие движения, волнения, нарушенное равновесие, учащенный пульс. Он пластически показывает, какое количество материи, взбалтываемой и выносимой на поверхность потоком, находится в гнилостном состоянии.

Но упрекнем мы его не в том, мы сами достаточно долго барахтались в этом прекрасном болоте. Мы жалуемся совсем на явное. Отчего, обладая таким талантом и умом, он принимает на веру предвзятые мнения людей, враждебных русскому движению, и в особенности мнения *крепостников*? Как может он думать, например, что губернские собрания вышли из моды, а судебная реформа провалилась и не существует? Разве мы так далеко отошли от 1861 года — года освобождения крестьян? Франция не шесть, а более семидесяти лет пытается осуществить свою программу 1789 года — и без всякого успеха, — но все-таки можно услышать, что нынешнее ее состояние является лишь кратковременной мигренью великого народа.

Голод, опустошающий около двадцати губерний в северной России *, — огромное бедствие и великий обвинительный акт против правительства, которое занимается всем — прическами девиц и их синими очками, вывесками на лавках и пуговицами на мундирах, — но которое не умест *ни предвидеть, ни узна-*

вать, ни помогать¹. Однако возлагать часть ответственности за голод на освобождение крестьян — несправедливо. Мы слишком хорошо знаем, из какого лагеря летят эти геральдические стрелы. «В прежние времена существовали запасы, которые собственники (т. е. помещики) обязаны были хранить; таких складов больше нет с тех пор, как они перешли к крестьянам — членам общины». Девяти десятым из этих пресловутых запасных или продовольственных складов не существовало, или же если они и существовали, то были пусты. Время от времени местные власти посылали беднягу станового составить опись. Сельский староста или управляющий показывал ему *в письменном виде* количество зерна; стоило только тому захотеть пойти дальше и установить реальное наличие зерна, как его прогоняли, если помещик был лицом высокопоставленным и очень богатым; в противном случае ему вручали несколько рублей и изрядное количество картофеля, овса, зерна; он принимал это совершенно очевидное доказательство изобилия и отправлялся восвояси, предварительно напившись со старостой.

А как же поступали *казенные* крестьяне, у которых иногда бывали склады, но никогда не было помещиков?

Не думает ли г. Мазад, что голод — новость для России? Каждое поколение переживало его по разу или по два, на Севере или на Юге, вблизи Азии или вблизи Европы. Что же делали помещики со своими складами и запасами? Нам известен только один замечательный случай. Это было в 1821 году: несколько декабристов, случайно находившихся в Смоленской губернии во время голода, внесли столько средств и так взбодоражили общество, что крестьянам была оказана существенная помощь*. Это было так поразительно, так ни на что не похоже, что император Александр I сказал князю Петру Волконскому, желая дать ему понять о большом могуществе тайного

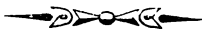
¹ «И что всего более странно, — говорит г. Мазад, по поводу „Correspondance du Nord-Est“, — что правительство оставалось, до последней минуты, в полном неведении относительно этого положения. Первый сигнал бедствия подал *английский консул* в Архангельске, и, по-видимому, русское правительство узнало об этом ужасающем бедствии от британского посольства в Санкт-Петербурге» («Revue des Deux Mondes» от 1 апреля, стр. 756).

общества, о котором тогда он впервые проведал и которого начал побаиваться: «Ты не имеешь понятия, что это за люди; вообрази себе, они прокормили во время голода целые уезды Смоленской губернии».

«Освобождение, несомненно, является благодеянием, но оно началось с невероятного упадка труда и непомерного развития пьянства».

Ах, как хорошо узнаем мы по этому языку наших старых друзей, любезных «бояр», залпом опрокидывающих бокалы шампанского, проматывающих свое состояние, проводящих ночи за картами, а дни в безделье... Да убережет господь бог г. Мазада от голоса этих седобородых сирен!

Их пронзительные и жалобные вопли искренни, они тоже голодны. Бедные люди, привыкшие с самого нежного возраста к умеренному людоедству, которым они занимались патриархально, потихоньку, они не могут найтись в новом положении и стремятся всеми средствами воскресить те счастливые времена, когда крестьянин пил меньше, а помещик — в десять раз больше.



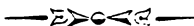
UN NOUVEAU JOURNAL RUSSE A GENEVE

Nous avons reçu la feuille d'essai d'un nouveau journal russe *L'Actualité* («Современность»), qu'une rédaction, qui ne s'est pas nommée, a l'intention de faire paraître. La tendance est tout à fait radicale et socialiste. Nous n'avons qu'à nous féliciter de l'apparition d'un nouvel organe du parti d'action en Russie. Cette division du travail sera très utile. Elle ôtera au *Kolo-kol* son caractère de monopole, que beaucoup de personnes lui prêtent, pour avoir une excuse de ne pas avoir publié leurs importants travaux. Nous nous réjouissons d'avance de pouvoir les étudier au grand jour.

П Е Р Е В О Д

НОВАЯ РУССКАЯ ГАЗЕТА В ЖЕНЕВЕ

Мы получили пробный номер новой русской газеты «Современность», которую намерена издавать не назвавшая себя редакция. Направление газеты вполне радикальное и социалистическое. Нам остается лишь поздравить себя с появлением нового органа действующей в России партии. Подобное разделение труда будет весьма полезно. Оно отнимает у «Колокола» характер монополии, который ему приписывают многие, желая оправдаться в том, что их весьма важные труды остаются неопубликованными. Мы заранее радуемся, что сможем изучать эти труды при свете полной гласности.



L'ECLIPSE DE BUDBERG

Budberg, disparaissant derrière la poussière d'une rixe et d'un duel dans le genre des étudiants de Dorpat, ne produira, nous en sommes sûrs, aucun sentiment pénible en Russie; d'autant plus qu'en plongeant consommé et aimé par la cour impériale, il nous arrivera à la surface, rafraîchi, bien lavé et guéri du froid qu'il a pris à Nice. Il était un bon Allemand; le meilleur c'était Brounoff; celui-là ne faisait rien, et c'est la chose la plus importante dans ces positions; ne rien faire avec dignité — c'est la moitié de la besogne. Or, Budberg était un bon Allemand de la vieille *Staatsschule* — école de la diplomatie doctrinaire — immobile, avec l'apparence d'un mouvement accéléré, ciselant des notes filigranes, s'opposant à toute liberté par amour du progrès, et, somme toute, laissant aller le monde comme il va. Budberg était à Nesselrode ce que Nesselrode était à Metternich. Il n'a pas été supérieur à l'homme qu'il avait remplacé, au général Kisséloff (plaise à Dieu que vous ne le confondiez avec le Kisséloff Romain de Florence!) — mais il est décidément, et de beaucoup, inférieur à l'homme d'Etat qui est maintenant à la tête du ministère des affaires étrangères, place que le parti allemand convoite tant pour Budberg. Le seul défaut du vieux prince Gortchakoff, c'est qu'il a l'hyménomanie; cela n'empêche pas d'être ministre très viril.

Un autre Allemand va représenter la Russie en France; nous sommes très riches en barons baltiques. On dit qu'ils sont mécontents (la chose n'est pas si absolument incompréhensible que leur contentement antérieur). Le gouvernement les tracasse, leur mord les mollets par Katkoff le bouledogue et la meute (ano-

пуме) du *Golos*. Les barons veulent devenir d'allemands-russes—allemands-prusses.

Pour ne pas perdre la Livonie, l'Esthonie, la Courlande, la moitié des généraux, les trois quarts des amis du Palais d'Hiver et tous les pharmaciens— ne vaudrait-il pas mieux, pour la Russie, de s'annexer franchement à Bismark?

П Е Р Е В О Д

ЗАТМЕНИЕ БУДБЕРГА

Будберг, скрывающийся за облаком пыли, поднятой во время драки и дуэли в духе дерптских студентов*, не вызовет, мы уверены в этом, никакого тягостного чувства в России, тем более, что, будучи отличным ныряльщиком и любимцем императорского двора, он всплывет к нам на поверхность*, освеженный, хорошо вымытый и излечившийся от простуды, которую он получил в Ницце. Он был добрым немцем; самым лучшим был Бруннов; тот совсем ничего не делал, а в подобном положении это самое главное; ничего не делать, сохраняя достоинство,— уже половина дела. Да, Будберг был добрым немцем старой Staatsschule — школы доктринерской дипломатии,— неподвижной, но создающей видимость ускоренного движения, оттачивающей филигранные ноты, противодействующей всякой свободе из любви к прогрессу, но в конце концов предоставляющей миру идти как ему вздумается. Будберг был по отношению к Нессельроде тем же, чем Нессельроде был для Меттерниха. Он не был выше человека, чье место занял,— генерала Киселева (ради бога, не спутайте его с флорентинским римлянином Киселевым!)*,— но он безусловно и намного ниже государственного деятеля, возглавляющего теперь министерство иностранных дел,— место, которого немецкая партия так добивается для Будберга. Единственный недостаток старого князя Горчакова — его гименомания; но это не мешает ему быть весьма мужественным министром.

Другой немец будет представлять Россию во Франции; мы чрезвычайно богаты прибалтийскими баронами. Говорят, что

они недовольны (это уж не так абсолютно необъяснимо, как их прежнее чувство удовлетворенности). Правительство придирается к ним, кусает им икры при помощи бульдога Каткова и собачьей (анонимной) своры «Голоса»*. Бароны хотят стать из русских немцев — немцами прусскими.

Дабы не потерять Ливонии, Эстонии, Курляндии, половины генералов, трех четвертей друзей Зимнего дворца и всех аптекарей — не лучше ли было бы для России откровенно присоединиться к Бисмарку?





ДУВАН

Французские газеты говорят, что Бергу варшавскому велено *заготовить пятьсот паев* земли в Царстве Польском, которые *пойдут на дуван* русским генералам, отличившимся в том краю*. Приятно такому тороватому атаману и службу служить. Одолели страну, ограбили, язык подрезали, имя отняли — надобно же и поделиться, того честь и камрадство требуют. Только земли-то жаль. Выкупать ее надобно, крестьянам оставить, а не дуванить, не губить в частное владение*. Ни Стенька Разин, ни Пугачев не дуванили земель; они, как русские, понимали, что земля заветная, что она народная. Ясно, что Пугачев не в самом деле был Петр Алексеевич и только налгал на себя голштейн-готторпское происхождение*.



NOS GRANDS MORTS COMMENCENT A REVENIR

Triste histoire et toujours la même. Nos saints, nos prophètes, nos premiers semeurs, nos premiers lutteurs — tombés dans une lutte inégale — commencent à relever la tête du fond de leur tombe, où ils ont été sous scellés de la police impériale. Il y a là à méditer... Mais enfin c'est le sort de tous les précurseurs.

Galilée expira par trois ans de prison
L'inexcusable tort d'avoir trop tôt raison.

C'est le tour de *Novikoff* et de *Radichtcheff* maintenant — quand celui des autres?

Il y aura cinquante ans, le 31 juillet, que *Novikoff*, né en 1744, est mort. On se prépare, en Russie, à faire une fête de commémoration pour cet homme, jeté en prison par Catherine II, et qui était comme rayé de l'histoire du développement intellectuel de la Russie. Un auteur, J. Kiréïevsky, ayant osé en parler dans un recueil, le recueil fut supprimé, le censeur S. Glinka fut mis aux arrêts. C'était du temps de Nicolas.

Novikoff fut une grande et sainte individualité de la fin du XVIII^e siècle. Nous en parlerons dans une de nos feuilles. Propagandiste infatigable de la civilisation, il organisait des imprimeries, des librairies au fond de la Russie; il faisait traduire les œuvres des encyclopédistes, le *Contrat social* de Rousseau; il travaillait à la publication des livres pour l'éducation primaire, et avec cela il était le grand maître de la loge maçonnique de Moscou. L'impératrice Catherine le fit arrêter sous l'inculpation vague de *martinisme* et l'enferma dans une casemate. Elle soupçonnait qu'il avait des relations secrètes avec son fils Paul, qu'il fit entrer dans sa loge. Paul le fit sortir de sa prison après

la mort de sa mère. Mais il était mal vu, paralysé; vingt ans après sa mort on n'osait dire du bien de lui.

Le second, c'est *Radichtcheff*.

Dans notre feuille précédente, nous avons parlé de Radichtcheff et de son célèbre *Voyage de Pétersbourg à Moscou*, qu'il avait publié en 1790. Nos lecteurs se rappellent avec quelle férocité l'impératrice Catherine le condamna pour cet ouvrage à être exilé à Ilimsk, en Sibérie.

Maintenant, après 78 ans, l'ouvrage «plus dangereux que Pougatcheff», comme disait la Sémiramis libérale du Nord, vient d'être imprimé à Pétersbourg (à l'exception de trois chapitres!).

Il y a quelques années nous avons fait une édition complète du *Voyage* à Londres. Le servile *Golos*, dans son article sur Radichtcheff, n'en fait pas même mention. On nous a dit que la *livrée* littéraire avait reçu l'insinuation de nous ignorer.

L'article du *Golos* ajoute un fait très important à la biographie du malheureux Radichtcheff: *il a été torturé pendant l'enquête, et ses réponses ont été extorquées au milieu des souffrances*. Oh! grande amie de Voltaire et de Diderot, comme tu les as bien trompés!

ПЕРЕВОД

НАШИ ВЕЛИКИЕ ПОКОЙНИКИ НАЧИНАЮТ ВОЗВРАЩАТЬСЯ

Печальная и вечно та же история. Наши святые, наши пророки, наши первые сеятели, наши первые борцы, павшие в неравной борьбе, начинают приподымать голову из глубины своей могилы, где они лежали, опечатанные императорской полицией. Это наводит на размышления... Но что ж, такова участь всех предвестников.

Галилей искупил тремя годами тюрьмы
Непростительный грех — слишком рано быть правым*.

Теперь наступил черед *Новикова* и *Радищева* — когда же черед остальных?

31 июля исполнится пятьдесят лет со дня смерти *Новикова*, родившегося в 1744 году. В России готовятся торжественно почитать память этого человека, брошенного в тюрьму Екатериной II

и как бы вычеркнутого из истории умственного развития России*. Когда писатель И. Киреевский осмелился заговорить об этом в одном сборнике, то сборник подвергся запрещению, цензор же, С. Глинка, был посажен под арест*. То было во времена Николая.

Новиков — великая и святая личность конца XVIII столетия. Мы поговорим о нем в одном из наших листов*. Неутомимый распространитель просвещения, он создавал в глубине России типографии, книжные лавки; он поручал переводить сочинения энциклопедистов, «Общественный договор» Руссо; он трудился над изданием книг для первоначального обучения; и при этом был гроссмейстером московской масонской ложи. Императрица Екатерина приказала арестовать его по туманному обвинению в *мартинизме* и заточила в каземат. Она подозревала, что он находится в тайных сношениях с ее сыном Павлом, принятым им в свою ложу. Павел выпустил его из тюрьмы после смерти своей матери. Но он был на дурном счету, лишен возможности действовать; двадцать лет после его смерти о нем не смели сказать доброго слова.

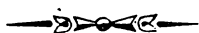
Второй — это *Радищев*.

В нашем предыдущем листе мы говорили о Радищеве и его знаменитом «Путешествии из Петербурга в Москву»*, которое он издал в 1790 году. Читатели наши помнят, с какой жестокостью императрица Екатерина приговорила его за это сочинение к ссылке в Илимск, в Сибирь.

Теперь, спустя 78 лет, произведение это, «более опасное, чем Пугачев», как выразилась либеральная Семирамида Севера*, напечатано в Петербурге (*за исключением трех глав!*)*.

Несколько лет тому назад мы выпустили в Лондоне полное издание «Путешествия»*. Раболепный «Голос» в своей статье о Радищеве об этом даже и не упоминает*. Нам говорили, что литературная *дворня* получила указание игнорировать нас.

Статья в «Голосе» прибавляет чрезвычайно важный факт к биографии несчастного Радищева: *во время допроса он подвергался пыткам и ответы вымогались у него истязаниями*. О! великая подруга Вольтера и Дидро, как ловко ты их надула!



LA DEMOCRATIE ET MICHEL BAKOUNINE¹

Une grande feuille démocratique va paraître à Paris sous la rédaction de *Ch. Chassin*, avec le concours de la majeure partie des démocrates français. Dans le spécimen, nous trouvons un très bel article de notre ami Bakounine, qui, en donnant son adhésion, a cru nécessaire de dire encore une fois dans quel sens il accepte et la *Démocratie* et la collaboration dans ce journal.

Etant parfaitement d'accord avec lui, nous donnons presque entièrement l'article de M. Bakounine, admirable de clarté et de logique.

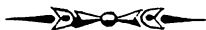
¹ Pour donner une idée de l'exactitude des renseignements envoyés au *Golos* par ses correspondants et de la pureté des mares où ils puisent leur *sarcelle*, citons un fait: un de ces employés, le plus frappé de fécondité, féroce ennemi des Polonais et admirateur inconséquent de Garibaldi, raconte avec force de phrases l'émotion qu'a produite sur Florence l'arrivée supposée de Bakounine en qualité d'agent de Mazzini. La police le cherche, les esprits sont préoccupés... il a déjà eu une entrevue avec Garibaldi, etc., etc...Or, Bakounine n'a pas quitté la Suisse pour un seul jour depuis l'automne dernier. Le fait pourrait être ignoré par l'employé de la *Voix* officielle, mais Bakounine est une personne assez marquante pour savoir avant d'écrire que grand ami du créateur de l'Italie, qui va à l'indépendance et à l'unité, *il ne partage pas ses vues*. Il ne suffit pas d'injurier les hommes comme Bakounine, il faut les connaître, même dans les intérêts de la cause commune de la rédaction du *Golos* et du gouvernement de Saint-Pétersbourg.

«LA DEMOCRATIE» И МИХАИЛ БАКУНИН¹

Вскоре начнет выходить в Париже большая демократическая газета под редакцией *Ш. Шассена* при участии большинства французских демократов*. В пробном номере мы находим прекрасную статью нашего друга Бакунина, который, изъявляя свое согласие сотрудничать, счел нужным еще раз высказать, в каком смысле он принимает и *Демократию* и сотрудничество в этой газете.

Будучи полностью согласны с ним, мы приводим почти целиком статью г. Бакунина, замечательную по своей ясности и логичности*.

¹ Чтобы дать представление о точности сведений, посылаемых в «Голос» его корреспондентами, и о чистоте луж, в которых они занимаются вылавливанием своих *уток*, приведем один факт. Какой-то из этих наемников, особенно страдающий плодовитостью, свирепый враг поляков и непоследовательный поклонник Гарибальди, рассказывает, весьма многословно, о том возбуждении, которое вызвал во Флоренции предполагаемый приезд Бакунина в качестве агента Маццини. Полиция его ищет, умы обеспокоены... у него уже состоялось свидание с Гарибальди, и т. п., и т. п. А между тем Бакунин ни на один день не покидал Швейцарии с прошлой осени. Этот факт мог быть неизвестен наемнику официального «Голоса», но Бакунин — личность, достаточно заметная, и прежде, чем писать о нем, следовало бы выяснить, что, будучи большим другом творца Италии, идущей к независимости и единству, *он не разделяет его взглядов*. Недостаточно осыпать ругательствами таких людей, как Бакунин, — надобно знать их, даже в интересах общего дела редакции «Голоса» и санктпетербургского правительства*.





LES TCHEQUES ETONNENT AUSSI PAR LEUR INGRATITUDE

Les Tchèques préparent une grande fête nationale pour l'ouverture d'un théâtre slave à Prague. Ils envoient des invitations à tout le monde, aux amis et aux ennemis, pourvu qu'il y ait une goutte de sang slave dans leurs veines. Nous n'avons rien contre cela, le mouvement slave est très prononcé, très fort et à l'ordre du jour. C'est le servilisme inutile qui nous dégoûte dans une initiative qui pourrait avoir non seulement un avenir puissant, mais un avenir noble.

Ont-ils envoyé par exemple une invitation au Russe — qui seul est plus digne de cette invitation que toute la cohorte des professeurs, littérateurs, beaux parleurs nommés dans la liste de leurs invités? Au Russe qui a posé, un des premiers avec eux, les bases du mouvement — qui prend maintenant ces énormes proportions, qui a traîné la chaîne dans les prisons de Gradchine, et qui a passé des années dans les casemates d'Olmütz et des années en Sibérie — à *Michel Bakounine* enfin?.. Non.

Il n'aurait pas accepté l'invitation — peut-être; mais les Tchèques savent très bien que, par exemple, les Czartorisky et d'autres Polonais n'iront pas s'attabler avec le pourvoyeur du bourreau — Katkoff, le rédacteur du *Golos* et ses semblables, et pourtant il leur a été envoyé des invitations. On est tenté de croire que ces invitations ont été faites pour donner aux aboyeurs des journaux russes une nouvelle occasion de s'acharner sur un peuple blessé à mort.

Quel fruit attendre d'une œuvre qui commence par le servilisme, l'ingratitude et l'oubli volontaire de ses anciens amis?

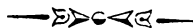
ЧЕХИ ТАКЖЕ УДИВЛЯЮТ СВОЕЙ НЕБЛАГОДАРНОСТЬЮ

Чехи готовят большое национальное торжество в честь открытия славянского театра в Праге*. Они рассылают приглашения всем, друзьям и недругам, лишь бы в их жилах была хоть капля славянской крови. Мы ничего не имеем против этого, славянское движение стало значительным, приобрело большую силу и стоит сейчас в порядке дня. Нам противно лишь бесполезное раболепие в начинании, которое могло бы рассчитывать не только на могущественное будущее, но и на будущее благородное.

Послали ли они, например, приглашение тому русскому, который один более достоин этого приглашения, чем вся когорта профессоров, литераторов, краснобаев, поименованных в списке приглашенных? Русскому, который вместе с чехами один из первых заложил основы движения, принявшего теперь такие обширные размеры, который влачил цепи в темницах Градчина и годы провел в казематах Ольмюца и годы в Сибири, — словом, *Михаилу Бакунину*?.. Нет.

Он, быть может, не принял бы этого приглашения; но чехи ведь прекрасно знают, что Чарторижские, например, и другие поляки не сядут за один стол с поставщиком палача Катковым, с редактором «Голоса»* и ему подобными, — и тем не менее приглашения были им посланы. Невольно думаешь, что эти приглашения сделаны только для того, чтобы дать гончим собакам из русских газет новый повод наброситься на смертельно раненный народ.

Какого же плода можно ожидать от дела, начинающегося раболепием, неблагодарностью и добровольным забвением своих старых друзей?



LA FEMME ET LE PRETRE ADMIS AU DROÏT DE L'HOMME

Mademoiselle *Sousloff*, qui a terminé d'une manière brillante ses études médicales à Zurich et a obtenu le diplôme de docteur, vient de terminer ses examens à Pétersbourg. Le succès n'était pas douteux. On craignait un autre danger, le sexe de mademoiselle *Sousloff*. La Faculté passa outre d'une manière assez ingénieuse. Elle l'envisagea comme *docteur* diplômé par une université étrangère. Et comme les porteurs de diplômes étrangers ont le droit d'obtenir le doctorat russe, après examen, les professeurs ont reconnu mademoiselle *Sousloff* docteur en médecine.

Un prêtre Gortchakoff a défendu avec succès dans l'université de Pétersbourg une dissertation sur «l'ancienne juridiction des couvents» pour obtenir le grade de maître en droit (*magister juris*).

Nous rapportons avec le plus grand plaisir ces deux faits. Malheureusement, le vieux proverbe russe qui dit: «Chez nous sur une cuillerée de miel il y a toujours un tonneau de fiel» est encore parfaitement exact, et les mêmes feuilles nous fournissent un exemple frappant de ce que le gouvernement continue avec obstination à prétendre:

...QUE CHAQUE SCÉLERAT SOIT UN MILITAIRE.

Il y a un mois on a pendu à Kiev un assassin Nikiforoff. Son crime ne nous intéresse pas le moins du monde, mais sa condamnation et la manière dont il a été jugé, extrêmement. Cela devient une règle générale de faire juger par deux, trois officiers

premiers venus, les personnes que l'administration veut tuer, et les officiers tuent toujours. L'assassinat juridique est un appât irrésistible pour les autorités russes, la nouveauté de la chose les entraîne; les capitaines et lieutenants qui condamnent se croient les égaux des juges des pays civilisés, où la peine de mort est une institution nationale, chère aux mœurs, aimée comme grand spectacle — tandis que chez nous le peuple abhorre les exécutions.

Après avoir fusillé un nombre assez rond de condamnés, c'est-à-dire au moins le nombre carré de tous les exécutés depuis le commencement du règne d'Elisabeth jusqu'à la mort de Nicolas, pour varier le plaisir on commence à pendre. Un tribunal militaire condamna un non militaire à être pendu, et le gouverneur général confirma la sentence et le fit pendre. Général-gouverneur et grand juge, grand juge et grand exécuteur! Qu'en diront les jurisconsultes, les docteurs en droit, les légistes?

Et pourtant la nécessité de détourner l'accusé de ses juges naturels, de son tribunal légal, est évidente. Ils ne *pourraient pas* condamner l'assassin à la mort (cette peine n'existant dans notre législation que comme exception, pour les utopistes en politique et les métaphysiciens qui ont le malheur de ne pas être totalement d'accord avec l'ontologie de l'Eglise byzantine). Et c'est pourtant le *sacrifice humain* que désirent l'empereur si bon et les administrateurs si doux.

Pour faciliter le rôle de vengeur par le sang le gouvernement prétend que tout ce qui est criminel, féroce, sanguinaire, incendiaire et pillard, doit *nécessairement être militaire*; et comme les militaires, chez nous, ne sont pas jugés par les lois humaines et divines, mais par une mauvaise traduction de l'ancienne loi militaire de Brandebourg, dans laquelle la mort *durch Blei* est la peine la plus douce, quelque chose comme une correction paternelle pour les fautes disciplinaires. Vous voyez par là qu'avec le code militaire en main, on peut tuer n'importe qui, pourvu qu'on lui reconnaisse le droit d'être militaire.

Comme l'empereur au fond a le cœur bon et n'aime pas à confirmer les sentences, comme le faisaient ses prédécesseurs, il a donné le droit aux généraux, commandant les troupes dans l'endroit du tribunal. Le cœur humain est faible. Où peut-on

trouver un général qui voudra, en temps de paix armée, se refuser le plaisir de faire fusiller un pauvre diable?

On nous demandait si une femme criminelle peut aussi être fusillée? Mais certainement, elle sera reconnue d'abord femme militaire, et puis fusillée à côté du tribunal avec ses juges, avocats, jurés, sténographes et procureurs.

La nouvelle amélioration introduite par le général-gouverneur de Kiev qui a remplacé les coups de fusil, à la Nicolas par la strangulation, est aussi à remarquer. Le gibet est non seulement contre la loi criminelle, mais aussi contre la loi militaire...

П Е Р Е В О Д

ЖЕНЩИНА И СВЯЩЕННИК, ЗА КОТОРЫМИ ПРИЗНАЛИ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Мадемуазель *Суслова*, блестящим образом завершившая в Цюрихе свое медицинское образование и получившая диплом доктора, недавно закончила сдачу экзаменов в Петербурге*. В успехе сомнения не было. Внушала страх другая опасность — пол мадемуазель *Сусловой*. Факультет вышел из этого положения довольно хитроумным способом. Он подошел к *Сусловой* как к *доктору*, получившему диплом в иностранном университете. А поскольку обладатели иностранных дипломов после сдачи экзамена пользуются правом на получение докторской степени и в России, профессора признали мадемуазель *Суслову* доктором медицины.

Священник *Горчаков* с успехом защитил в Петербургском университете диссертацию о «древней юрисдикции монастырей» на получение степени магистра прав (*magister juris*)*.

Мы с величайшим удовольствием сообщаем эти два факта. К несчастью, старинная русская пословица, гласящая: «Ложка меду, а бочка дегтю», все еще продолжает сохранять свой смысл, и те же газеты приводят нам разительный пример того, как правительство упорно продолжает утверждать, что:

Месяц тому назад в Киеве был повешен убийца по фамилии Никифоров*. Его преступление интересует нас меньше всего на свете, но приговор и способ, каким его судили, для нас чрезвычайно интересны. Становится общим правилом: тех, кого администрация пожелает убить, судят при помощи первых попавшихся двух-трех офицеров, а офицеры всегда убивают. Юридическое убийство — неотразимый соблазн для русских властей, новизна этого дела увлекает их; ротмистры и поручики, выносящие приговор, воображают, что они подобны судьям цивилизованных стран, где смертная казнь является национальным установлением, соответствует нравам и любима как пышное зрелище, — тогда как у нас народ питает к казням отвращение.

Расстреляв изрядное количество осужденных, т. е. по меньшей мере возведенное в квадрат число всех казненных от начала царствования Елизаветы и до смерти Николая, — чтобы придать удовольствию разнообразию, принимаются вешать. Военный суд приговорил какого-то невоенного к повешению, и генерал-губернатор утвердил этот приговор и приказал его повесить. Генерал-губернатор — он же верховный судья, верховный судья — он же верховный палач! Что скажут на это юрисконсульты, доктора прав, законоведы?

А между тем необходимость изъять обвиняемого из-под власти его подлинных судей, его законного суда совершенно очевидна. Они *не могли бы* приговорить убийцу к смерти (поскольку эта мера наказания существует в нашем законодательстве лишь как исключение — для политических утопистов и метафизиков, имеющих несчастье не полностью соглашаться с онтологией византийской церкви). А между тем именно *человеческих жертвоприношений* и жаждут столь добрый император и столь кроткие администраторы.

Чтоб облегчить себе эту роль кровавого мстителя, правительство заявляет, что все преступное, жестокое, обгаренное кровью, поджигательское и грабительское *непрерывно* должно *быть военным*; военных же у нас судят не по человеческим и божеским законам, а по скверному переводу со старинного

1
Cécile de Radon Spzany

La femme et le prêtre admis
au droit de l'homme

Mademoiselle Sonstoff qui a terminé
d'une manière brillante ses études
médicales à Livie - et a obtenu
le diplôme de Docteur - vient de
terminer ses examens à Pétersbourg.
Le succès n'étant pas ~~obtenu~~ ^{constant}. On
craignait une autre déception - le succ
de Mademoiselle Sonstoff. La faculté
papa vota - d'une manière ^{après examen}
elle l'examina comme ^{le diplôme} docteur
~~sur~~ ^{par une} université étrangère. Et comme
les porteurs de diplômes étrangers ont
le droit de s'obtenir le doctorat
sur - après examen - les professeurs ont
reconnu Mademoiselle Sonstoff - docteur
en médecine.

Un prêtre Gortchauff ^{avec succès} a obtenu
son ^{un diplôme} université de Pétersbourg - une
d'opérations sur "la proposition du bonnet"
- pour obtenir le grade de Maître en
droit (Magister juris) -

LA FEMME ET LE PRÊTRE ADMIS AU DROIT DE L'HOMME.

Автограф Герцена.

Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина.
Москва.

бранденбургского военного закона, в котором смерть durch Blei¹ является самой мягкой мерой наказания, чем-то вроде отеческого внушения за дисциплинарные проступки. Вы видите из этого, что с военно-судным уставом в руке можно убивать кого вздумается, стоит только признать за ним право считаться военным.

Поскольку у императора, в сущности, доброе сердце и он не любит утверждать приговоры, как делали это его предшественники, то он предоставил это право генералам, командующим войсками в тех местах, где находятся суды. Сердце человеческое слабо. Где теперь можно найти генерала, который во времена вооруженного мира отказал бы себе в удовольствии послать на расстрел какого-нибудь беднягу?

Нас спрашивали, можно ли так же расстрелять и женщину, совершившую преступление? Ну конечно же, она вначале будет признана женщиной-военным, а затем ее расстреляют где-нибудь поблизости от суда, с его судьями, адвокатами, присяжными, стенографами и прокурорами.

Новое усовершенствование, введенное киевским генерал-губернатором*, который на манер Николая заменил расстрел повешением, также достойно быть отмеченным. Виселица противоречит не только уголовному праву, но и праву военному...

¹ посредством свинца (нем.). — *Ред.*





L'ENNEMI VAINCU

Il y a du Caton en nous, la cause des vaincus nous plaît, nous attendrit. Nous avons entendu parler avec un sentiment pénible du découragement profond, de la démoralisation complète, de la prostration effrayante, du désespoir inquiétant — dans lequel se trouve l'ex-ministre Valouieff, après l'amputation du portefeuille.

Nous ne voulons pas le consoler à l'antique, comme faisaient Sénèque et Lucrèce, en lui montrant le baron Budberg disponible, le roi de Hanovre mis à la demi-solde; au contraire, nous voulons lui donner des forces, réveiller en lui des espérances. A-t-il donc oublié, homme faible et de peu de foi, que son protecteur Pierre IV, dit Chouvaloff, reste encore debout au gouvernail de la police secrète? Il tient dans ses mains les peurs du tzar et il peut lui obtenir sinon un portefeuille de suite, au moins un buvard...

Eh, mon Dieu, voilà les suites du zèle irréfléchi, des imprudences de la jeunesse! Quel besoin avait-on de décacheter les lettres du grand-duc à Aksakoff et les lettres d'Aksakoff au grand-duc? Et s'il y avait un besoin, pourquoi les montrer à l'empereur? Le père de soixante millions de sujets doit, par profession, être un père tendre pour ses propres enfants.

ПОБЕЖДЕННЫЙ ВРАГ

В нас есть нечто от Катона, дело побежденных мило нам, трогает нас. С тягостным чувством выслушивали мы рассказы о глубоком унынии, о полной деморализации, об ужасающем упадке духа, о тревожном отчаянии, в котором находится экс-министр Валуев после того, как у него ампутировали портфель*.

Мы не собираемся утешать его на старинный лад, как делали это Сенека и Лукреций, указывая ему на оказавшегося за штатом барона Будберга* и переведенного на половинный оклад короля ганноверского*; напротив, мы хотим придать ему силы, пробудить в нем надежды. Разве забыл он, слабый и маловерный человек, что его покровитель Петр IV, именуемый Шуваловым*, стоит еще у кормила тайной полиции? У него в руках царские страхи, и он может раздобыть ему когда-нибудь если не портфель, то хотя бы бювар...

И, боже мой, вот следствия необдуманного рвення, юношеской неосмотрительности! Зачем это понадобилось распечатывать письма великого князя к Аксакову и письма Аксакова к великому князю? А если в том была необходимость -- зачем было показывать их императору? Отец шестидесяти миллионов подданных по самой своей профессии должен быть и нежным отцом своих собственных детей.



MESQUINERIE

Un médecin prussien, *Bornan*, appelé par un malade, avait franchi la frontière russe muni d'un passeport. Il fut arrêté sous l'inculpation d'avoir rendu, en 1863, des services aux insurgés. Cela se passait le 23 avril, et il est encore coffré à Kowno. Bismark, averti du fait, vient, à ce qu'on assure, d'écrire une note décisive. Nous ne connaissons pas le résultat...

C'est un grand malheur pour un gouvernement et une grande preuve d'incapacité et de petitesse, de ne pas savoir s'arrêter à temps dans les persécutions rétrospectives. Mauvaise médication que de tenir la plaie toujours ouverte.

Quelle leçon à tous les Tzars, Césars et autres Négus et Taïcoune a donné l'Amérique après la guerre, l'Angleterre dans le procès des fénians! Cela ne leur profite pas.

Quant à la Bismarkia du *Nord*, elle devrait regarder non à deux fois, mais à deux cents avant de renouveler l'infâme cartel d'extradition mutuelle entre la Russie et la Prusse.

Sans parler de l'immoralité de ce rôle de policier d'un autre pays que la Prusse a joué avec tant de zèle pendant l'insurrection polonaise, il y a un considérant tout simple: il n'y a pas un Prussien révolutionnaire qui, par mécontentement, s'en aille à Riazan ou à Kazan, tandis que la Prusse est un des chemins les plus nécessaires pour ceux qui se sauvent du gouvernement qui arrête les docteurs au milieu de leur chemin vers les malades.

МЕЛОЧНОСТЬ

Прусский врач *Борнан*, вызванный к больному, переехал через русскую границу, запасшись паспортом. Он был арестован по обвинению в том, что в 1863 году оказывал услуги мятежникам. Это произошло 23 апреля, а он еще и теперь находится в ковенской тюрьме. Бисмарк, которого известили об этом факте, недавно написал, как уверяют, решительную ноту. Результат нам неизвестен... *

Для всякого правительства истинное несчастье и истинный признак бездарности и мелочности — не уметь вовремя остановиться в запоздалых преследованиях. Плохое лечение — держать рану постоянно открытой.

Какой урок всем царям, цезарям и прочим негусам и тайкунам дала Америка после войны, Англия — в процессе фениев! * Это не идет им впрок.

Что же касается бисмаркии «Норда», то ему следовало бы не дважды, а двести раз подумать, прежде чем перепечатывать гнусное соглашение России и Пруссии о взаимной выдаче.

Не говоря уж о безнравственности той роли жандарма чужой страны, которую Пруссия играла с таким усердием во время польского восстания, имеется весьма простое соображение: ни один прусский революционер, скрываясь от неприятностей, не отправился бы в Рязань или Казань, тогда как Пруссия оснащена дорогами, которыми неизбежно должны пользоваться те, кто спасается от правительства, подвергающего аресту врачей на пути к больным.





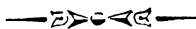
GROMEKA LE PERSECUTEUR, GROMEKA L'ORTHOXOXE ET FURIEUX BYZANTIN

Les journaux français parlent d'un certain lansquenet féroce, qui fait tirer des coups de fusil *sur les paysans* appartenant au culte uni, qui charge les villages, envoie des centaines de prisonniers de Doubno à Sedlitz. Quel est donc ce Groméka? — Cousin, frère, fils — du Groméka ci-devant gendarme, ci-devant littérateur; esprit fort — qui écrivait contre la police, qui écrivait des lettres admirables qui ne sont pas encore imprimées, etc., etc. On nous obligera beaucoup en nous écrivant quelques détails sur ce Groméka-Domitien — exterminateur des uniates.

П Е Р Е В О Д

ГРОМЕКА-ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЬ, ГРОМЕКА ПРАВОВЕРНЫЙ И НЕИСТОВЫЙ ВИЗАНТИЕЦ

Французские газеты сообщают о некоем свирепом ландскнехте, который приказывает стрелять из ружей в *крестьян*, принадлежащих к униатской церкви, который штурмует деревни, отправляет сотни арестованных из Дубна в Седлец. Кто же этот Громека? — Кузен, брат, сын Громеки * — бывшего жандарма, бывшего литератора, вольнодумца, писавшего против полиции, писавшего восхитительные, еще не изданные письма * и т. п., и т. п.? Нас весьма обяжут, сообщив нам некоторые подробности об этом Громеке-Домициане * — истребителе униатов.



ЕЩЕ РАЗ БАЗАРОВ

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Вместо письма, любезный друг, посылаю тебе диссертацию, да еще неоконченную. После нашего разговора я перечитал статью Писарева о Базарове, которую совсем забыл, и очень рад этому, т. е. не тому, что забыл, а тому, что перечитал.

Статья эта подтверждает мою точку зрения. В своей односторонности она вернее и замечательнее, чем об ней думали ее противники.

Верно ли понял Писарев тургеневского Базарова, до этого мне дела нет. Важно то, что он в Базарове узнал *себя и своих* и добавил чего недоставало в книге. Чем Писарев меньше держался колодок, в которые разгневанный родитель старался вколотить упрямого сына, тем свободнее перенес на него свой идеал.

— «Но в чем же может быть интересен для нас идеал г. Писарева? Писарев бойкий критик, он писал много, писал обо всем, иногда о таких предметах, которые знал, но все это не дает его идеалу права на общее внимание».

В том-то и дело, что это не его личный идеал, а тот идеал, который *до* тургеневского Базарова и *после него* носился в молодом поколении и воплощался не только в разных героях повестей и романов, но в живые лица, старавшиеся принять в основу действий и слов своих базаровщину. То, что Писарев говорит, я слышал и видел десять раз; он простодушно разболтал задушевную мысль целого круга и, собрав в одном фокусе рассеянные лучи, осветил ими нормального Базарова.

Базаров для Тургенева больше, чем посторонний, для Писарева — больше, чем свой; для изучения, конечно, надобно

взять тот взгляд, который в Базарове видит свой desideratum*.

Противники Писарева испугались его неосторожности; отрекаясь от тургеневского Базарова, как от шаржи, они отмахивались еще больше от его преображенного двойника; им было неприятно, что Писарев опростоволосился, но из этого не следует, что он его неверно понял*.

Писарев знает сердце своего Базарова дотла, он исповедуется за него. «Может быть,— говорит он,— Базаров в глубине души признает многое из того, что отрицает на словах, и, может быть, именно это признаваемое, это затаившееся спасает его от нравственного падения и от нравственного ничтожества». Мы считаем эту нескромность, заглянувшую так далеко в чужую душу, очень важной.

Дальше Писарев так характеризует своего героя: «Базаров чрезвычайно самолюбив, но самолюбие его незаметно (ясно, что это не тургеневский Базаров) именно вследствие этой громадности. Удовлетворить Базарова могла бы только *целая вечность постоянно расширяющейся деятельности и постоянно увеличивающегося наслаждения*¹.

Базаров везде и во всем поступает только так, как ему хочется или как ему кажется выгодным и удобным, им управляет только личная прихоть или личные расчеты. Ни над собой, ни вне себя, ни внутри себя он не признает никакого регулятора. Впереди никакой высокой цели, в уме никакого высокого помысла, и при всем этом силы огромные. Если базаровщина *болезнь*, то она *болезнь* нашего времени, и ее приходится выстрадать, несмотря ни на какие ампутации и паллиативы.

Базаров смотрит на людей сверху вниз и даже редко дает себе труд скрывать свои *полупрезрительные и полупокровительственные отношения* к тем, которые его ненавидят, и к тем, которые слушаются. Он никого не любит. Он считает совершенно излишним стеснять свою особу в чем бы то ни было. В его цинизме две стороны, внутренняя и внешняя, цинизм мыслей и чувств и цинизм манер и выражений. Ироническое

¹ Юность любит выражаться разными несоизмеримостями и поражать воображение бесконечно великими образами. Последняя фраза мне так и напоминает Карла Мора, Фердинанда и Дон-Карлоса.

отношение к чувству всякого рода, к мечтательности, к лиризму составляет сущность внутреннего цинизма. Грубое выражение этой пронии, *беспричинная и бесцельная* резкость в обращении относятся к внешнему цинизму. Базаров не только эмпирик, он, кроме того, неотесанный бурш. В числе почитателей Базарова найдутся, наверное, такие люди, которые будут восхищаться его грубыми манерами, следами бурсацкой жизни, будут подражать этим манерам, составляющим во всяком случае *недостаток*, а не достоинство¹.

Такие люди всего чаще вырабатываются при серой обстановке трудовой жизни; от сурового труда грубеют руки, грубеют манеры, грубеют чувства, человек крепнет и прогоняет юношескую мечтательность, избавляется от слезливой чувствительности; за работой мечтать нельзя, на мечту человек смотрит как на блажь, свойственную праздности и барской изнеженности, нравственные страдания он считает мечтательными, нравственные стремления и подвиги — придуманными и нелепыми. *Он чувствует отвращение к фразистости*.

Затем Писарев представляет генеалогическое дерево Базарова: Онегины и Печорины родили Рудиных и Бельтовых, Рудины и Бельтовы — Базарова. (По воле или поневоле выпущены декабристы — не знаю.)

Усталые, скучающие люди заменяются людьми, стремящимися к делу, жизнь бракует обоих, как негодных и неполных. «Пострадать им иногда придется, но сделать дело никогда не удастся. Общество к ним глухо и неумолимо. Они не умеют ужиться с его условиями, ни один из них не дослужился до *начальников отделения*. Иные утешаются, становясь профессорами и работая для будущего поколения». Отрицательная

¹ Предсказание сбылось. Странная вещь — это взаимодействие людей на книгу и книги на людей. Книга берет весь склад из того общества, в котором возникает, обобщает его, делает более наглядным и резким, и вслед за тем бывает обойдена реальностью. Оригиналы делают шаржу своих резко оттененных портретов, и действительные лица вживаются в свои литературные тени. В конце прошлого века все немцы сбивали немного на Вертера, все немки на Шарлотту; в начале нынешнего — университетские Вертеры стали превращаться в «разбойников», не настоящих, а шиллеровских. Русские молодые люди, приехавшие после 1862, почти все были из «Что делать?», с прибавлением нескольких базаровских черт.

польза, приносимая ими, не подлежит сомнению. Они размножают людей, *не способных* к практической деятельности, вследствие чего самая практическая деятельность, или, вернее, те формы, в которых она обыкновенно выражается теперь, медленно, но постоянно понижается в мнении общества.

«Казалось (после Крымской кампании), что рудинству приходит конец, что за эпохой бесплодных мечтаний и стремлений наступает эпоха кипучей и полезной деятельности. Но мираж рассеялся. Рудины не сделались практическими деятелями, из-за них выдвинулось новое поколение, которое с *укором и насмешкой* отнеслось к своим предшественникам. „Об чем вы поете, чего вы ищете, чего просите от жизни? Вам, небось, счастья хочется? Да ведь мало что! Счастье надо завоевать. Есть силы, берите его. Нет сил — *молчите*, а то и без вас тошно“. Мрачная, сосредоточенная энергия сказывалась в этом *недружелюбном* отношении молодого поколения к своим наставникам. В своих понятиях о добре и зле это поколение сходилось с лучшими людьми предыдущего, симпатии и антипатии были общие; *желали они одного и того же*, но люди прошлого *метались и суетились*. Люди настоящего не мечтают, ничего не ищут, не поддаются ни на какие компромиссы и *ни на что не надеются*. Они так же бессильны, как Рудины, но они сознали свое бессилие.

„Я не могу действовать теперь, — думает каждый из этих новых людей, — не стану и пробовать, *я презираю все, что меня окружает*, и не стану скрывать моего презрения. В борьбу со злом я пойду, когда почувствую себя сильным“. Не имея возможности действовать, люди начинают думать и исследовать... суеверия и авторитеты разбиваются вдребезги, и мирозерцание совершенно очищается от разных призрачных представлений. Им дела нет, идет ли за ними общество; они полны собой, своей внутренней жизнью. Словом, у Печориных *есть воля без знания*, у Рудиных — *знание без воли*, у Базаровых — *и знание и воля*. Мысль и дело сливаются в одно твердое целое.

Тут все есть, как видишь, если нет ошибки*, и характеристика и классификация — все коротко и ясно, сумма подведена, счет подан, и с той точки зрения, с которой автор взял вопрос, совершенно верно.

Но мы этого счета не принимаем и протестуем против него из наших преждевременных и не наступивших могил. Мы не Карл V и никак не хотим, чтоб нас хоронили живыми *.

Странные судьбы *отцов и детей!* Что Тургенев вывел Базарова не для того, чтоб погладить по головке, — это ясно; что он хотел что-то сделать в пользу отцов, — и это ясно. Но в соприкосновении с такими жалкими и ничтожными отцами, как Кирсановы, крутой Базаров увлек Тургенева, и вместо того, чтоб посечь сына, он выпорол отцов.

Оттого-то и вышло, что часть молодого поколения узнала себя в Базарове. Но мы вовсе не узнаем себя в Кирсановых, так, как не узнавали себя ни в Маниловых, ни в Собакевичах, несмотря на то, что Маниловы и Собакевичи существовали сплошь да рядом во время нашей молодости и теперь существуют.

Мало ли какие стада нравственных недоносков живут в одно и то же время в разных слоях общества, в разных направлениях его; без сомнения, они представляют больше или меньше общие типы, но не представляют самой резкой и характеристичной стороны своего поколения, — стороны, наиболее выражающей его интензивность. Писаревский Базаров, в одностороннем смысле, — до некоторой степени предельный тип того, что Тургенев назвал *сыновьями*, в то время как Кирсановы — самые стертые и пошлые представители отцов.

Тургенев был больше художник в своем романе, чем думают, и оттого сбился с дороги, и, по-моему, очень хорошо сделал — шел в комнату, попал в другую *, зато в лучшую.

Что бы ему было прислать Базарова в Лондон? Плюгавый Писемский не побоялся путевых расходов для взбаламученных уродцев своих *. Мы, может быть, доказали бы ему на берегах Темзы, что можно, и не дослуживаясь до *начальника отделения* *, приносить не меньше пользы, чем приносит любой *начальник департамента*, что общество не всегда глухо и неумолимо, когда протест попадает в тон, что дело иногда удастся, что у Рудиных и Бельтовых иной раз бывает и воля, и настойчивость и что, видя невозможность деятельности, к которой они стремились по внутреннему влечению, они бросали

многое, уезжали на чужбину и заводили, «не метавшись и не суетясь», русскую книгопечатню и русскую пропаганду.

Влияние лондонского станка от 1856 до конца 1863 года — не только практический факт, но факт исторический. Стереть его нельзя, с ним надобно примириться.

Базаров в Лондоне увидел бы, что это только издали казалось, что мы размахиваем руками, а что на самом деле мы ими работали. Может, он сменил бы гнев на милость и перестал бы относиться к нам «с укором и насмешкой».

Я признаюсь откровенно, мне лично это метанье камнями в своих предшественников — противно. Повторяю сказанное («Былое и думы», IV том): «Хотелось бы спасти молодое поколение от исторической неблагодарности и даже от исторической ошибки. Пора отцам Сатурнам не закусывать своими детьми, но пора и детям не брать примера с тех камчадалов, которые убивают своих стариков»*.

Неужели за одной природой остается право, что ее фазы и ступени развития, отклонения и уклонения, даже *avortements*¹, изучаются, принимаются, обдумываются *sine ira et studio* *, а как дойдет дело до истории — тотчас в сторону метод физиологический и на место его уголовная палата и управа благочиния?

Онегины и Печорины прошли.

Рудины и Бельтовы проходят.

Базаровы пройдут...

и даже очень скоро. Это слишком натянутый, школьный, взвинченный тип, чтоб ему долго удержаться.

На его смену напрашивался уже тип, в весне дней своих сгнивший, тип православного студента, *консерватора и казеннокоштного патриота*, в котором отпрыгнулось все гнусное императорской Руси и который сам сконфузился после серенады Иверской и молебна Каткову*.

Все возникнувшие типы пройдут, и все с той неутрачиваемостью однажды возбужденных сил, которую мы научились узнавать в физическом мире, останутся и взойдут, видоизменяясь, в будущее движение России и в будущее устройство ее.

¹ недоразвитые формы (франц.).— *Ред.*

А потому не интереснее ли, вместо того чтобы стравлять Базарова с Рудиным, разобрать, в чем *красные нитки*, их связующие, и в чем причины их возникновений и их превращений? Почему именно эти формы развития вызвались нашей жизнью, и почему они так переходили одна в другую? Несходство их очевидно, но чем-нибудь были же они и близки друг другу.

Типы — легко схватывают различия, для резкости в них увеличивают углы и выпуклости, обводят густой краской пределы, обрывают связи — переливы теряются, и единство остается вдали, за туманом, как поле, соединяющее подошвы гор, далеких друг от друга ярко освещенными вершинами.

К тому же мы грузим на плечи типов больше, чем они могут вынести, и придаем им в жизни значение, которого они не имели или имели в ограниченном смысле. Брать Онегина за *положительный* тип умственной жизни двадцатых годов, за интеграл всех стремлений и деятельностей проснувшегося слоя — совершенно ошибочно, хотя он и представляет одну из сторон тогдашней жизни.

Тип того времени, один из великолепнейших типов новой истории, — это *декабрист*, а не Онегин. Русская литература не могла до него касаться целые сорок лет, но он от этого не стал меньшим.

Как у молодого поколения недостало ясновидения, такта, сердца понять все величие, всю силу этих блестящих юношей, выходящих из рядов гвардии, этих баловней знатности, богатства, оставляющих свои гостинные и свои груды золота для требования человеческих прав, для протеста, для заявления, за которое — и они знали это — их ждали веревка палача и каторжная работа? — Это печальная загадка.

Сердиться на то, что эти люди явились в единственном сословии, в котором было какое-нибудь образование, какой-нибудь досуг и какая-нибудь обеспеченность, — бессмысленно. Если б эти «князья, бояре, воеводы» *, эти статс-секретари и полковники не проснулись первые от нравственного голода и ждали, чтоб их разбудил голод физический, то не было бы не только ноющих и беспокойных Рудиных, но и почивших в своем «единстве воли и знания» Базаровых. А был бы какой-нибудь полковой лекарь, который морил бы солдат, обкрадывая

их на пайках и лекарствах, и продавал бы приказчику Кирсанова свидетельства о естественной смерти засеченных крестьян, или был бы повытчик-взяточник, вечно пьяный — лупил бы четвертаки с крестьян и подавал бы шинель и калоши его превосходительству начальнику губернии Кирсанову. Да сверх того, не было бы ни смертельного удара крепостному состоянию, ни всего того, что работает под тяжелой корой власти, подтачивая императорские горностаи и стёганный помещичий халат.

Счастье, что рядом с людьми, которых барские затеи состояли в псарне и дворне, в насиловании и сечении дома, в раблепстве в Петербурге, нашлись такие, которых «затеи» состояли в том, чтоб вырвать из их рук розгу и добиться простора — не ухарству на отъезжем поле, а простора уму и человеческой жизни. Была ли эта затея их серьезным делом, их страстью — они это доказали на виселице, на каторге... они это доказали, возвратившись через тридцать лет из Сибири.

Если в литературе сколько-нибудь отразился, слабо, но с родственными чертами, тип декабриста — это в Чацком.

В его озлобленной, желчевой мысли, в его молодом негодовании слышится здоровый порыв к делу, он чувствует, чем недоволен, он головой бьет в каменную стену общественных предрассудков и пробует, крепки ли казенные решетки. Чацкий шел прямой дорогой на каторжную работу, и если он уцелел 14 декабря, то наверно не сделался ни страдательно тоскующим, ни гордо презирающим лицом. Он скорее бросился бы в какую-нибудь негодующую крайность, как Чаадаев, — сделался бы католиком, ненавистником славян или славянофилом, — но не оставил бы ни в каком случае своей пропаганды, которой не оставлял ни в гостинной Фамусова, ни в его сенях, и не успокоился бы на мысли, что «его час не настал». У него была та беспокойная неутомимость, которая не может выносить диссонанса с окружающим и должна или сломить его, или сломиться. Это — то брожение, в силу которого невозможен застой в истории и невозможна плесень на текущей, но замедленной волне ее.

Чацкий, если б пережил первое поколение, шедшее за 14 декабря в страхе и трепете, сплюснутое террором, выросшее

пониженное, задавленное, — через них протянул бы горячую руку нам. С нами Чацкий возвращался на *свою* почву. Эти *gîmes croisées*¹ через поколения — не редкость, даже в зоологии. И я глубоко убежден, что мы с детьми Базарова встретимся симпатично, и они с нами — «без озлобления и насмешки».

Чацкий не мог бы жить сложа руки, ни в капризной брюзгливости, ни в надменном самообоготворении; он не был настолько стар, чтоб находить удовольствие в ворчливом будировании, и не был так молод, чтоб наслаждаться отроческими самоудовлетворениями. В этом характере беспокойного фермента, бродящих дрожжей — вся сущность его.

Но именно эта-то сторона и не нравится Базарову, она-то его и озлобляет в его гордом стоицизме. «Молчите в своем углу, коли сил нет что-нибудь делать, а то и без вашего хныканья тошно, — говорит он, — побиты, ну и сидите побитые... Что вам, есть, что ли, нечего, что плачете, это всё барские затеи», и т. д.

Писарев должен был так говорить за Базарова, этого требовала его роль.

Не играть роли, пока она нравится, трудно. Снимите с Базарова его мундир, заставьте его забыть жаргон, на котором он говорит, дайте ему волю *просто*, без *фразы* (ему, который так ненавидит *фразерство!*) сказать одно слово, дайте ему на минуту забыть свою ежовую обязанность, свой искусственно сухой язык, свою стегающую роль, и мы объяснимся во всем остальном в один час.

«В своих понятиях о добре и зле новое поколение сходилось с прошедшим. Симпатии и антипатии, — говорит Писарев, — были общи, желали они одного и того же... В глубине души они признают многое, что отрицают на словах». Мудрено ли после этого столкнуться.

Но пока облаченье не снято, Базаров последовательно требует от людей, сдавленных всем на свете, оскорбленных, измученных, лишенных и сна и возможности наяву делать что-нибудь, чтоб они не говорили о боли, — это сильно сбивается на аракчеевщину.

¹ перекрестные рифмы (франц.). — Ред.

На каком же основании отнять право на горькую жалобу Лермонтова, например, на его упреки своему поколению, от которых многие вздрогнули? Чем, в самом деле, был бы лучше николаевский острог, если бы в нем тюремные сторожа были так же раздражительно нервны и привязчивы, как Базаров, — и подавили бы эти голоса?

— Да зачем они? Что проку?

— А зачем камень издает звук, когда его бьют молотом?

— Он не может иначе.

— А почему эти господа думают, что люди могут страдать целые поколения, без слов, жалобы, негодования, проклятия, протеста? Если не для других нужна жалоба, то для самих жалующихся. Высказанная скорбь утоляет боль. «Ihm, — говорит Гёте, — gab ein Gott zu sagen, was er leidet»*.

— А нам что за дело?

— Может, вам и нет, так другим, может, *есть*; но нельзя терять из виду, что каждое поколение живет тоже и *для себя*. С точки зрения истории оно переход, но в отношении к себе оно цель и не может, не должно безропотно выносить на него падающие невзгоды — особенно не имея даже того утешения, которое имел Израиль, ожидавший Мессию, и вовсе не зная, что от семени Онегиных и Рудиных родится Базаров.

В сущности, наших юношей приводит в ярость то, что в нашем поколении выражалась *наша* потребность деятельности, *наш* протест против существующего *иначе*, чем у них, и что мотив того и другого не всегда и не вполне зависел от голода и холода.

Нет ли в этом пристрастии к однообразию того же раздражительного духа, который сделал у нас из канцелярской формы сущность дела и из военных эволюций — шагистику? Из этой стороны русского характера развились статская и военная аракчеевщина. Всякое личное, индивидуальное проявление, отступление — считалось непокорством и возбуждало преследования и непрерывные придирки. Базаров — не оставляет никого в покое, всех задирает свысока. Каждое слово его — выговор высшего низшему. Это не имеет будущности.

«Если, — говорит Писарев, — базаровщина — болезнь нашего времени, то ее придется выстрадать».

Ну и довольно. Болезнь эта к лицу только до окончания университетского курса; она, как прорезывание зубов, совершеннолетию не пристала.

Худшая услуга, которую Тургенев оказал Базарову, состоит в том, что, не зная, как с ним сладить, он его казнил тифом. Это такая *ultima ratio*¹, против которой никто не устоит. Уцелей Базаров от тифа, он наверное развился бы вон из базаровщины, по крайней мере в науку, которую он любил и ценил в физиологии и которая не меняет своих приемов, лягушка ли или человек, эмбриология ли или история у нее в переделе.

«Базаров выбил из своей головы всякие предрассудки, затем он остался человеком крайне необразованным. Он слышал кое-что о поэзии, кое-что об искусстве, *не потрудился* подумать и с плеча произнес приговор над незнакомым предметом. Эта заносчивость *свойственна нам* вообще, она имеет свои хорошие стороны как умственная смелость, но зато порой приводит к грубым ошибкам».

Наука спасла бы Базарова, он перестал бы глядеть на людей свысока, с глубоким и нескрываемым презрением. Наука учит нас больше, чем евангелие, смирению. Она не может ни на что глядеть свысока, она не знает, что такое *свысока*, она ничего не презирает, никогда не лжет для роли и ничего не скрывает из кокетства. Она останавливается перед фактами, как исследователь, иногда как врач, никогда как палач, еще меньше с враждебностью и иронией.

Наука — я ведь не обязан скрывать несколько слов в тиши душевной, — наука — *любовь*, как сказал Спиноза о мысли и ведении*.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Прошедшее оставляет в истории *ступню*, по которой наука, рано или поздно, восстанавливает былое в основных чертах. Утрачивается одно случайное, освещение — под тем или другим углом, под которым оно проходило. Апотеозы и клеветы, страсти и зависти — все это выветривается и сдувается. Легкая ступня, занесенная песком, исчезает; ступня, имевшая силу

¹ решительный довод (лат.).-- *Ред.*

и настойчивость выдавить себя на камне, и воскреснет под рукой честного труженика.

Связи, степени родства, завещатели и наследники и их взаимные права — все раскроется геральдикой науки.

Без предшественников рождаются только богини, как Венера из пены морской. Минерва умнее ее, родилась из готовой головы Юпитера.

Декабристы — наши великие отцы, Базаровы — наши блудные дети.

Мы от декабристов получили в наследство возбужденное чувство человеческого достоинства, стремление к независимости, ненависть к рабству, уважение к Западу и революции, веру в возможность переворота в России, страстное желание участвовать в нем, юность и непочатость сил.

Все это переработалось, стало иным, но основы целы. Что же наше поколение завещало новому?

Нигилизм.

Вспомним немного, как было дело.

Около сороковых годов жизнь из-под туго придавленных клапанов стала сильнее прорываться. Во всей России прошла едва уловимая перемена, та перемена, по которой врач замечает прежде отчета и пониманья, что в болезни *есть поворот* к лучшему, что силы очень слабы, но будто поднялись — другой *тон*. Где-то внутри, в нравственно-микроскопическом мире, повеял иной воздух, больше раздражительный, но и больше здоровый. Наружно все было мертво под николаевским льдом, но что-то пробудилось в сознании, в совести — какое-то чувство неловкости, неудовольствия. Ужас притушился, людям надоело в полумраке темного царства.

Я эту перемену видел своими глазами, приехавши из ссылки, сначала в Москве, потом в Петербурге. Но я увидел это в кругах литераторов и ученых. Другой человек, которого остзейская антипатия к русскому движению ставит выше подозрения в пристрастии, рассказал не так давно, как он, возвратившись в сороковых годах в петербургскую аристократию казарм, после отсутствия нескольких лет, был озадачен послаблением дисциплины. Флигель-адъютанты, гвардейские полковники роптали, критиковали меры правительства, были недо-

вольны *самим* Николаем. Его это до того ошеломило, огорчило, испугало за будущность самодержавия, что он в смятении духа почувствовал за обедом у флигель-адъютанта Б., чуть ли не в присутствии самого Дубельта, как между сыром и грушей родился *нигилизм* *.

Он не узнал поворожденного, но новорожденный был. Машина, завинченная Николаем, стала подаваться, он ее свинтил на другую сторону, и все это почувствовали; одни говорили, другие молчали, запрещали говорить, но те и другие поняли, что, в сущности, все идет плохо, что всему тяжело и что от этой тяжести никому нет прока.

Замешался в дело смех, дурной товарищ всякой *религии*, а *самодержавие* — религия. Мерзость и запустение низшей администрации дошли до того, что правительство отдало ее на поруганье. Николай Павлович, помиравший со смеху в своей ложе над Сквозником-Дмухановским и Держимордой*, помогал пропаганде, не догадываясь, что смех, после высочайшего одобрения, пойдет быстро вверх по табели о рангах.

Приложить к этому времени во всей их резкости рубрики Писарева трудно. В жизни все состоит из переливов, колебаний, перекрещиваний, захватываний и перехватываний, а не из отломленных кусков.

Где окончились люди без знания с волей и начались люди с знанием без воли?

Природа решительно ускользает от взводного ранжира, даже от ранжира по возрастам. Лермонтов летами был товарищ Белинского, он был вместе с нами в университете, а умер в безвыходной безнадежности печоринского направления, против которого восставали уже и славянофилы, и мы.

Кстати я назвал славянофилов. Куда деть Хомякова и его «братчиков»? Что у них было, воля без знания или знание без воли? А место они заняли не шуточное в новом развитии России, они свою мысль далеко вдавили в современный поток.

Или в какой рекрутский прием и по какой мере мы сдадим Гоголя? Знания у него не было, была ли воля — не знаю, сомневаюсь, а гений был, и его влияние колоссально.

Итак, оставляя *lapides crescunt, planta crescunt et vivunt...* Писарева *, пойдём далее.

Тайных обществ не было, но *тайное соглашение* понимающих было велико. Круги, составленные из людей, больше или меньше испытавших на себе медвежью лапу правительства, смотрели чутко за своим составом. Всякое другое действие, кроме слова, и то маскированного, было невозможно, зато слово приобрело мощь, и не только печатное, но еще больше живое слово, меньше уловимое полицией.

Две батареи выдвинулись скоро. Периодическая литература делается пропагандой, в главе ее становится, в полном разгаре молодых сил, — Белинский. Университетские кафедры превращаются в налои, лекции — в проповеди очеловечения, личность Грановского, окруженного молодыми доцентами, выдается больше и больше.

Вдруг еще взрыв смеха. Странного смеха, страшного смеха, смеха судорожного, в котором был и стыд, и угрызение совести, и, пожалуй, не смех до слез, а слезы до смеха. Нелепый, уродливый, узкий мир «Мертвых душ» не вынес, осел и стал отодвигаться. А проповедь шла сильнее... все одна проповедь — и смех и плач, и кпига и речь, и Гегель¹ и история — все звало людей к сознанию своего положения, к ужасу перед крепостным правом и перед собственным бесправием, все указывало на науку и образование, на очищение мысли от всего традиционного хлама, на свободу совести и разума.

К этому времени принадлежат первые зарницы *нигилизма*. — зарницы той совершеннейшей свободы от всех готовых понятий, от всех унаследованных обструкций и завалов, которые мешают западному уму идти вперед с своим историческим ядром на ногах...

Тихая работа сороковых годов разом оборвалась. Времена чернее и тяжелее начала николаевского царствования наступили после Февральской революции. Перед началом гонений умер Белинский. Грановский завидовал ему и стремился оставить отечество*.

¹ Диалектика Гегеля — страшный таран, она, несмотря на свое двуличие, на прусско-протестантскую кокарду, улетучивала все существующее и распускала все мешавшее разуму. К тому же это было время Фейербаха, *der kritischen Kritik*...*

Темная, семилетняя ночь пала на Россию, и в ней-то сложился, развился и окреп в русском уме тот склад мыслей, тот прием мышления, который назвали *нигилизмом*.

Нигилизм (повторяю сказанное недавно в «Колоколе» *)— это логика без стриктуры *, это наука без догматов, это безусловная покорность опыту и безропотное принятие всех последствий, какие бы они ни были, если они вытекают из наблюдения, требуются разумом. Нигилизм не превращает *что-нибудь* в ничего, а раскрывает, что *ничего*, принимаемое за *что-нибудь*,— оптический обман и что всякая истина, как бы она ни перечила фантастическим представлениям,— здоровее их и во всяком случае обязательна.

Идет это название к делу или нет, это все равно. К нему привыкли, оно принято друзьями и врагами, оно попало в полицейский признак, оно стало доносом, обидой у одних — похвалой у других. Разумеется, если под *нигилизмом* мы будем понимать обратное творчество, т. е. превращение фактов и мыслей в *ничего*, в бесплодный скептицизм, в надменное «сложая руки», в отчаяние, ведущее к бездействию, тогда настоящие *нигилисты* всего меньше подойдут под это определение, и один из величайших нигилистов будет И. Тургенев, бросивший в них первый камень, и, пожалуй, его любимый философ Шопенгауэр.

Когда Белинский, долго слушая объяснения кого-то из друзей о том, что *дух* приходит к самосознанию в человеке, с негодованием отвечал: «Так это я не для себя сознаю, а для духа... Что же я ему за дурак достался, лучше не буду вовсе думать, что мне за забота до его сознания...» — он был *нигилист*.

Когда Бакунин уличал берлинских профессоров в робости отрицанья и парижских революционеров 1848 года в консерватизме * — он был вполне *нигилист*. Вообще все эти межевания и ревнивые отталкивания ни к чему не ведут, кроме насильственного антагонизма.

Когда петрашевцы пошли на каторжную работу за то, что «хотели ниспровергнуть все божеские и человеческие законы и разрушить основы общества», как говорит сентенция,

выкрадывая выражения из инквизиторской записки Липранди *, — они были *нигилистами*.

Нигилизм с тех пор расширился, яснее сознал себя, долею стал доктриной, принял в себя многое из науки и вызвал деятелей с огромными силами, с огромными талантами... все это неоспоримо.

Но новых начал, принципов он не внес.

Или где же они?

На это я жду ответа от тебя или, пожалуй, от кого-нибудь другого и тогда буду продолжать.

— ПУС А В —



〈UN CERTAIN MONSIEUR A ETE CONDAMNE...〉

Un certain monsieur a été condamné à Saint-Pétersbourg, pour un faux, à la perte de ses droits et à un emprisonnement. Avant l'exécution de la première partie de la sentence, le tribunal a soumis à la décision de l'empereur *la perte de la noblesse* du faussaire. On fusille, on pend chaque semaine les *vilains* — sans demander la confirmation de Sa Majesté; il suffit qu'un général, qui n'est pas juge, signe la sentence — l'homme est exécuté... Mais pour ôter les titres de noblesse, il faut l'assentiment du monarque. Et les béats, et les trompeurs, et les trompés nous parlent de l'empire démocratique!

ПЕРЕВОД

〈НЕКИЙ ГОСПОДИН БЫЛ ПРИГОВОРЕН...〉

Некий господин был приговорен в Санкт-Петербурге за подлог к лишению прав состояния и к тюремному заключению. До приведения в исполнение первой части приговора суд представил на рассмотрение императора вопрос о *лишении* поддельвателя *дворянского достоинства*. Еженедельно расстреливают, вешают *мужиков*, не требуя утверждения его величества; достаточно какому-нибудь генералу, не являющемуся судьей, подписать приговор — и человек казнен... Но чтобы лишить дворянских титулов, требуется согласие монарха. А ханжи, и обманщики, и обманутые твердят нам о демократической империи!





UNE VICTOIRE DU COMTE CHEREMETEFF

On le sait, le comte Chéréméteff est l'homme le plus riche de la Russie: il possédait *cent vingt mille* paysans avant l'éman-
cipation. Eh bien, ce cher comte a gagné dernièrement un pro-
cès contre *trois cents* de ses ci-devant serfs. Le procès a traîné
quelques années; mais enfin l'homme le plus riche de la Russie
a réussi à faire trois cents hommes ruinés dans son bien d'Os-
tankino. Nous félicitons le comte de ce succès.

ПЕРЕВОД

ПОБЕДА ГРАФА ШЕРЕМЕТЕВА

Как известно, граф Шереметев — самый богатый человек
в России: он владел до освобождения *ста двадцатью тыся-*
чами крестьян. Так вот, этот милый граф недавно выиграл
процесс у *трехсот* своих бывших крепостных. Процесс этот
длился несколько лет; но вот, наконец, самому богатому человеку
России удалось разорить триста человек в своем останкинском
имении. Мы поздравляем графа с этим успехом.

— ПУСЛ —



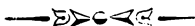
ASSASSINAT D'UN MINEUR

Un étudiant du gymnase Gorsky âgé de 17 ans 6 mois, a été condamné par un tribunal de guerre à *être pendu*. — Il s'est pourvu en cassation, la cour d'appel a rejeté sa demande. — Il a commis des horreurs — mais la loi lui ôtait le droit à la strangulation avant 21 ans.

ПЕРЕВОД

УБИЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Гимназист Горский, 17-ти лет 6 месяцев, был присужден военным трибуналом к *повешению*. — Он подал на кассацию, суд отклонил его просьбу. — Он натворил страшные дела — но ведь закон лишил его права быть удушенным прежде, чем он достигнет 21 года.





A NOS LECTEURS

Attaqués par des organes d'origine diamétralement opposée, nous n'avons pas répondu et nous ne voulons pas répondre, autant que faire se pourra.

Etre attaqué de deux côtés extrêmes a un grand avantage; la synthèse des contradictions se réduit à zéro. D'abord, nous n'avons rien à objecter à nos ennemis, les défenseurs *incorruptibles* du gouvernement de Pétersbourg: ils font les affaires de leurs boutiques, et de leur point de vue, ils ont raison.

Nous avons ensuite encore moins à répliquer à nos ci-devant amis. Parmi eux nous trouvons tant de nos courtisans d'hier et de nos admirateurs d'avant-hier, que nous ne voulons pas croire que leur acharnement soit sérieux. Volages, inconstants et coquets, ils nous abandonnent en nous jetant une bordée de petits cailloux non lavés. Nous cherchons à nous mieux consoler de leur départ que ne le fit Calypso dans un cas pareil. S'ils se sont trompés sur nous, tant pis pour eux, on ne se trompe pas impunément des années entières.

Nous sommes *invariablement les mêmes*, et cela depuis *trente années* d'une activité publique et au grand jour. Nos lecteurs le savent, nos adversaires aussi. Ils nous l'ont dit tant de fois dans leurs dédicaces de livres et dans leurs épîtres fraternelles (pour ne parler que des choses écrites).

Quant aux personnes impartiales, elles peuvent facilement débrouiller les cartes elles-mêmes. Elles n'ont pas de récriminations personnelles contre nous, nous n'avons pas froissé leur amour-propre, provoqué leur haine ou leur envie, et, pardessus tout, nous n'avons aucun droit de leur supposer un entendement hermétiquement bouché ou des motifs individuels.

La seule chose que nous leur recommandons, c'est de ne pas perdre de vue le *qui prodest* du droit romain en pensant à la polémique que l'on fait au *Kolokol*.

ПЕРЕВОД

НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

Подвергаясь нападкам со стороны диаметрально противоположных по направлению органов, мы не отвечали и не хотим отвечать, пока только будет возможность отмалчиваться*.

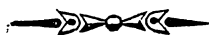
Подвергаться нападению с двух противостоящих сторон -- большое преимущество; синтез противоречий сводится к нулю. Прежде всего, нам нечего возразить нашим врагам, *неподкупным* защитникам петербургского правительства: они действуют в пользу своих лавочек, и со своей точки зрения они правы.

Еще меньше можем мы возразить нашим бывшим друзьям*. Среди них мы находим столько вчерашних наших льстецов и позавчерашних почитателей, что не хотим верить в серьезность их негодования. Ветреники, непостоянные и кокетливые, они уходят от нас, осыпая нас градом мелких грязных камней. Расставаясь с ними, мы стараемся утешиться лучше, нежели Калипсо в подобном случае*. Если же они в нас ошиблись, то тем хуже для них — безнаказанно не ошибаются многие годы.

Мы неизменно те же и не меняемся в течение *тридцати лет* публичной и открытой деятельности. Наши читатели знают это, знают и наши противники. Они столько раз говорили нам об этом в посвященных нам книгах и в своих братских посланиях (если говорить только о том, что написано).

Что же касается лиц беспристрастных, то они сами могут легко разобраться в картах. У них нет против нас личных неудовольствий, мы не задевали их самолюбия, не внушали им ненависти или зависти и, вдобавок, не имеем никаких оснований предполагать, что их рассудок наглухо закупорен или что у них есть какие-нибудь личные побуждения*.

Единственное, что мы рекомендуем им — не терять из виду *qui prodest* римского права*, когда они собираются вступить в полемику с «Колоколом».





LA MANIE DE DELATION

La crise, par laquelle passe la Russie *civilisée* depuis la fin de 1862, est vraiment remarquable et instructive au point de vue de l'histoire pathologique du développement des peuples. Le spectacle étrange qu'elle présente n'a pas d'antécédents. Suite d'un état de choses forcé et anormal, d'une confusion imposée de toutes les notions élémentaires, bouleversées par un accouplement inouï de culture raffinée avec une ignorance primitive, rudimentaire, cette crise a atteint maintenant son point culminant: la fermentation putride déborde.

Telles sont les suites d'une civilisation exotique et frelatée, greffée sur un sol vigoureux mais inculte, et qui ne la demandait pas; de la soudure des formes européennes avec l'absolutisme oriental, corrigé et systématisé par le despotisme occidental.

Ce n'est que dans ces dernières années que nous avons vu toute la monstruosité qui s'incubait depuis Pierre I^{er}, et toute la profondeur de la dépravation. Il a suffi d'un tout petit peu de liberté, d'un petit vent coulis d'indépendance qui avait pénétré à travers les murs lézardés par la guerre de Crimée — pour déchaîner et mettre en évidence, à côté d'une grande force de pensée, d'un entrain énergique, toute la portée de corruption qui atteint la couche supérieure de la Russie.

On pourrait désespérer de *cet autre malade*, qui transforme tout aliment en poison, dont le patriotisme est une faim d'ogre, et l'amour de sa nationalité — un désir sauvage d'opprimer toutes les autres nationalités — si, en bas, il n'y avait pas un peuple avec sa commune et son droit à la terre non gangrené; s'il n'y avait pas des semences enfouies dans cette terre, au-dessus de laquelle se décomposent les détritiques qui leur servent d'engrais.

Ces tristes considérations nous sont venues en tête à propos d'une nouvelle recrudescence de la *moucharderie* des journaux russes. Subventionnés et non subventionnés, recevant leurs inspirations du grand-duc *effacé*, ou du Bedlam de l'orthodoxie russe, panslavistes ou esclavagistes — les journaux dénoncent toujours, la délation est devenue leur chassepot, leur aiguille... Si le gouvernement avait un peu de sens commun et un grain de courage, il aurait envoyé promener tous les Chouvaloff, Timachoff, Potapoff et autres Vidocq en *off* — toute leur besogne est faite par les journaux à un prix vil, voire même gratis.

Le sentiment de dégoût, d'indignation qu'on subit — étant Russe non atteint de la poliçomanie — en lisant les *premières préfectures* de nos journaux, est indicible.

La situation a complètement changé depuis 1862, la manie des délations reste. Katkoff lui-même, comme une mère heureuse entourée de sa famille de petits dénonciateurs qui grouillent autour d'elle, se retire sous l'ombrage touffu des feuilles de la *Gazette de Moscou* — dirigeant en gros la battue contre le nihilisme, le polonisme, le séparatisme et laissant à ses moutards le détail, le cancan.

...Sur les cendres célèbres des baraques de friperies qui brûlèrent à Pétersbourg en 1862, s'élèvent des boutiques splendides — les journaux indépendants n'existent plus — les Polonais sont abolis — les nihilistes dispersés — il semblerait que la rage des dénonciateurs pût s'émousser, s'assouvir; pas du tout, la moucharderie littéraire augmente.

Je prends deux exemples sur mille.

Deux savants Allemands, Treitchke et Eckardt, sont de bons Allemands et veulent rester Allemands — le besoin de se russifier ne se faisant pas sentir dans leurs cœurs endurcis par le teutonisme. Ils commencent, au sujet des provinces baltiques, une discussion d'Allemands. L'un prétend que la germanisation de ces provinces est suffisante, mais non efficace; l'autre, qu'elle est très efficace outre qu'elle est très suffisante. Cela provoque la vigilance du *Golos*. Il ne cherche pas longtemps le terrain savant pour entamer Eckardt. Il trouve que le savant est un *sujet russe*, et comme tel, — privé du droit d'*énoncer ses opinions*, si ces opinions ne sont pas d'accord avec le commissaire de

police, le pape, etc. Que les Allemands étant *subjects* russes, peuvent, sans commettre un crime, avoir l'Allemagne pour *objet* d'amour, cela semble tout naturel; s'ils préfèrent l'Allemagne d'aujourd'hui à la Russie actuelle, cela prouve qu'ils ne sont pas bêtes — la Russie, comme la «*Zukunftmusik*», est bonne pour l'*avenir*... Et s'ils restent tranquilles dans leur Revel et Riga — tout est en règle pour vous, pour nous, pour la loi, mais non pour les Javert du *Golos*. Comment, demande le journal du *réveil national*, est-ce que l'Allemand Eckardt n'a pas prêté serment à l'empereur? Et s'il l'a prêté, il doit aimer le tzar et non l'Allemagne; il doit préférer la Russie à tous les pays. S'il ne le fait pas, il est parjure, il est traître... Et l'honnête publiciste va jusqu'à demander si le gouvernement va sévir ou non!.. Horrible! dégoûtant!

...Le second exemple, nous le prenons dans un journal qu'on prétend être indépendant — dans un journal persécuté, suspendu je ne sais combien de fois — dans un journal du panslavisme démocratique et purement moscovite: c'est-à-dire d'un panslavisme si ardent, qu'à force d'aimer les Slaves de toute espèce il voudrait les unir, les embrasser, les assimiler, comme on s'assimile une côtelette en l'avalant.

Voyons l'organe démocratique.

Dans une petite ville, près de Moscou, quelques Allemands qui y demeuraient ayant peu de distractions et grand besoin d'écouter le radotage d'un pasteur, firent venir de Moscou un prédicateur. Il se trouva qu'il n'y avait pas de place dans les modestes habitations de ces braves gens. Ils demandèrent à la police la permission d'écouter le sermon *allemand* sur une place publique. La police sachant qu'il était impossible de s'attendre à une offense aux mœurs, donna, comme de raison, la permission et fit son devoir en entourant de sa surveillance leur prière. Tout se termina paisiblement — le pasteur raconta à sa petite «*Gemeinde*» les dernières nouvelles du Dieu protestant, communiqua les moyens récents et sûrs d'obtenir le salut éternel. Personne ne s'est plaint; les hommes s'en allèrent tranquillement à la maison, leur femme et leur bible sous le bras, et se couchèrent à neuf heures, rêvant des anges allemands de Klopstock et des diables anglais de Milton.

Mais pendant que ces hérétiques dormaient du sommeil des justes, un Tchèque de la Bohême catholique ne dormait pas. Au lieu d'aller à Constance fêter la fête du grand hérétique slave, martyr de l'intolérance romaine, il se promenait dans la même petite ville de la sainte Russie ou se perpétra cet acte odieux de tolérance. Le Tchèque, outré de cette profanation du marché, de cette licence indulgente, se demande si, à Vienne, un pope pourrait officier sur une place publique ¹ et répond: non!

Sur cela, notre Bohême se met à écrire une diatribe contre la tolérance et l'envoi à la feuille suspectée, pendant quelques années, d'aimer la lutte franche et libre, la discussion indépendante. Et la feuille insère ces élucubrations tchèques...

Allez maintenant, après ce bruit fait, après avoir éveillé l'attention des ministres et des prêtres, allez demander à un pauvre commissaire de police de petite ville la permission d'entendre publiquement un prêtre non huilé à l'huile greco-russe!..

Les commissaires de police dépassés par les journalistes! Cela nous rappelle *les braves officiers de la garde impériale*, dépassant en zèle les gendarmes pendant le procès de Karakosoff.

Non, les temps des Araktchéieff, des Magnitzky et des Photius ne sont pas passés; ces gens n'ont fait que déménager deux, trois étages plus bas.

Et ils appellent cela le *réveil national!*

ПЕРЕВОД

МАНИЯ ДОНОСОВ

Кризис, через который проходит *цивилизованная* Россия с конца 1862 года, поистине замечателен и поучителен с точки зрения патологической истории развития народов. Это странное зрелище в прошлом не имело примера. Следствие вынужденного и ненормального положения вещей, насильственного смешения всех элементарных понятий, взбудораженных

¹ Comme si c'était une offense pour la Russie et une lacune, s'il lui manque, par hasard, une abomination quelconque qui se pratique chez les autres. Oh! les amis naïfs, les amis slaves et purs slaves.

небывалым еще сочетанием утонченной культуры с первобытным, рудиментарным невежеством, — кризис этот достиг теперь своей высшей точки: гнилостное брожение перехлестывает через край.

Таковы последствия иноземной и поддельной цивилизации, привитой к могучей, но необработанной почве, которая в ней не нуждалась, последствия срастания европейских форм с восточным самодержавием, исправленным и приведенным в систему западным деспотизмом.

Только в последние годы увидели мы всю чудовищность того, что было искусственно вызвано к жизни со времен Петра I, и всю глубину развращения. Достаточно было малейшей свободы и сквозного ветерка независимости, который проник через стены, треснувшие в результате Крымской войны, чтобы обнаружить и продемонстрировать наряду с мощью мысли, с энергическим порывом всю глубину разложения, которым затронут высший слой России.

Можно было бы прийти в отчаяние от *такого больного*, который перерабатывает всякую пищу в яд и чей патриотизм является не чем иным, как голодом людоеда, а любовь к своей нации — диким желанием угнетать все остальные нации, если бы внизу не было народа с его общиной, с его неомертвельным правом *на землю*; если б не было семян, скрытых в этой земле, на поверхности которой разлагаются отбросы, служащие им удобрением.

Эти грустные соображения пришли нам в голову в связи с возрождением *шпионства* в русских газетах. Субсидируемые и несубсидируемые, черпающие свое вдохновение у *стусе-завшегося* великого князя или же в бедламе русского православия, панславистские или крепостнические*, газеты эти только и знают, что доносят, донос сделался их ружьем Шаспо, их иглой...* Если бы правительство имело хоть чуточку здравого смысла и крупицу смелости, оно выставило бы за дверь всех этих Шуваловых, Тимашевых, Потаповых и прочих Видоков с окончанием на *ов* — вся их работа выполняется газетами за бесценок, даже даром.

Невыразимо чувство отвращения, негодования, которое испытываешь, будучи русским, не зараженным полициома-

нией, — при чтении этих *префектурных передовиц* в наших газетах.

Обстановка совершенно изменилась с 1862 года — но мания доносов остается неизменной. Даже сам Катков, подобно счастливой матери, окруженной своей семьей, которая состоит из крошечных доносчиков, копошащихся возле нее, — удаляется в густую сень листов «Московских ведомостей», взяв на себя общее руководство истреблением нигилизма, полонизма, сепаратизма и предоставив своему отродью мелочи, сплетни.

... На пресловутом пепелище, на месте лавчонок, торговавших ветошью и сгоревших в Петербурге в 1862 году, вздымаются великолепные магазины — независимые газеты больше не существуют — поляки уничтожены — нигилисты рассеяны, — казалось бы, бешенство доносчиков могло бы приутихнуть, насытиться; ничуть не бывало — литературное шпионство все возрастает.

Беру два примера из тысячи.

Два ученых немца, Трейчке и Эккардт — добрые немцы и хотят остаться немцами — поскольку желание обрусеть не возникало в их сердцах, огрубевших от тевтонизма. Они затевают, по поводу прибалтийских губерний, глупый, чисто немецкий спор. Один утверждает, что германизация этих губерний удовлетворительна, но неэффективна; другой же — что она и весьма эффективна и весьма удовлетворительна. Это заставляет «Голос» насторожиться*. Не долго ищет он научной почвы, чтобы подорвать Эккардта. Он находит, что этот ученый — *русский подданный* и посему в качестве такового лишен права *высказывать свои мнения*, если эти мнения не совпадают с мнениями полицейского пристава, попа и т. п. Что немцы, будучи русскими *подданными*, могут, не совершая преступления, иметь *предметом* своей любви Германию — это, кажется, вполне естественно; если они предпочитают нынешнюю Германию современной России — это доказывает, что они не дураки — Россия, как «Zukunftmusik»*, хороша для *будущего*. И если они живут себе спокойно в своем Ревеле и Риге — все в порядке для вас, для нас, для закона, но отнюдь не для Жаверов из «Голоса». Как же это, — спрашивает газета *национального пробуждения**, — разве немец Эккардт не присягал императору?

А если он присягал, то должен любить царя, а не Германию; он должен предпочитать Россию всем странам. Если же он не делает этого, то он клятвопреступник, предатель... И честный публицист доходит до того, что осведомляется, примет ли правительство суровые меры!.. Ужасно! Отвратительно!

...Второй пример; мы заимствуем его из газеты, которая слывет независимой*, — из газеты, подвергавшейся преследованиям, бог весть сколько раз запрещавшейся, — из газеты, проникнутой демократическим и чисто московским панславизмом, т. е. панславизмом столь пламенным, что из любви ко всякого рода славянам она желала бы объединить их, заключить в себе, усвоить так, как усваивают проглоченную котлету.

Заглянем-ка в этот демократический орган.

Несколько немцев, живших в одном из городов близ Москвы, имея мало развлечений и сильную потребность послушать болтовню пастора, пригласили к себе из Москвы проповедника. Оказалось, что в скромных жилищах этих славных людей не нашлось достаточно большого помещения. Они попросили у полиции разрешения прослушать *немецкую* проповедь на городской площади. Полиция, зная, что от этого не могло произойти оскорбления нравственности, дала, как и следовало ожидать, разрешение и исполнила свой долг, установив надзор за молитвой немцев. Все закончилось весьма мирно — пастор рассказал своей маленькой «Gemeinde»¹ последние новости о протестантском боге, сообщил о свежих и надежных средствах для получения вечного спасения. Никто не жаловался; мужья спокойно разошлись по домам, держа под мышкой руку жены и библию, и легли спать в девять часов, и во сне они видели немецких ангелов Клопштока и английских дьяволов Мильтона.

Но пока эти еретики спали сном праведников, некий чех из католической Богемии не дремал. Вместо того, чтоб отправиться в Констанцу и отпраздновать там праздник великого славянского еретика, жертвы римской нетерпимости*, он прогуливался

¹ «общине» (нем.).— *Ред.*

по тому самому городку на святой Руси, где совершен был описанный выше гнусный акт веротерпимости. Чех этот, возмущенный таким осквернением рынка, таким снисходительным попустительством, спрашивает себя: мог ли бы в Вене какой-нибудь поп совершать богослужение на городской площади¹, и отвечает: нет!

После того наш богемец садится писать диатрибу против веротерпимости и посылает ее в газету, несколько лет подозревавшуюся в том, что она любит открытую и свободную борьбу, независимый спор. И газета печатает эти плоды ночного бдения чеха...

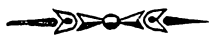
Попробуйте-ка теперь, после всего этого поднятого шума, после того как привлекли внимание министров и священников, попробуйте-ка попросить у бедного полицейского пристава в маленьком городке разрешения публично послушать священника, не помазанного греко-российским маслом!..

Полицейские приставы, превзойденные журналистами! Это напоминает нам *храбрых офицеров императорской гвардии*, перещеголявших своим усердием жандармов во время дела Каракозова*.

Нет, времена Аракчеевых, Магницких и Фотиев не прошли; эти люди лишь опустились двумя, тремя этажами ниже.

И *они* называют это *национальным пробуждением!*

¹ Как будто это является погрешностью для России и упущением, если в ней случайно отсутствует какая-нибудь гнусность, практикуемая у других. О простодушные друзья, славянские и чисто славянские друзья!





⟨L'EX-REFUGIE V. KELSIEFF...⟩

L'ex-réfugié V. Kelsieff vient de publier un volume de ses mémoires. Il raconte comment il s'est livré, comment l'empereur lui a pardonné, et *quelques antécédents* de son passé.

Nous ne voulons pas jeter de pierre *au repentant*, mais nous avons lu son livre avec tristesse. Mieux vaudrait ne pas l'avoir publié. Lorsqu'on est forcé, même contre son gré, de ne publier qu'une partie de la vérité, on court toujours le risque de dire le faux, même en ne voulant pas mentir. Nous reviendrons dans une de nos feuilles, non au livre, mais à l'auteur.

ПЕРЕВОД

⟨ЭКС-ЭМИГРАНТ В. КЕЛЬСИЕВ...⟩

Экс-эмигрант В. Кельсиев только что выпустил в свет книгу своих воспоминаний. Он рассказывает о том, как сдался властям, как простил его император, и сообщает *кое-что* из своего прошлого.

Мы не намерены бросить камнем в *кающегося*, но книгу его мы прочли с грустью. Лучше было бы не издавать ее. Когда бываешь вынужден, даже вопреки собственной воле, обнаруживать только часть правды, то всегда подвергаешься риску высказать ложь, даже не желая лгать. В одном из наших листов мы вернемся не к самой книге, а к ее автору.





LE LITTERATEUR *BOULANTZOFF*

A côté des grands dénonciateurs littéraires, nous commençons aussi à avoir *des mouchards lettrés* dans le genre du célèbre de la Hodde, de Chenu, de Schnepf et autres. Des espions ont écrit et fait imprimer des livres avant notre époque, mais ils gazaient au moins leur métier qui, comme divers «inodores», ont une existence, mais n'ont pas de nom avouable. Grâce à l'exemple des grands maîtres que nous avons cités et au journalisme russe, qui a fait de la délation une branche de l'art oratoire et une arme de la polémique, la feuille de vigne tombe, et nous voyons *in crudo* l'apparition d'un livre écrit par un *bas-officier* d'origine *noble*, BOULANTZOFF, sous ce titre: *Mémoires d'un espion pendant l'apaisement de l'insurrection polonaise*. Saint-Pétersbourg, 1868.

C'est dommage que le *bas-officier* soit resté plus fidèle à l'adjectif de son rang qu'à celui de son *origine*.

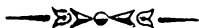
П Е Р Е В О Д

ЛИТЕРАТОР *БУЛАНЦОВ*

Наряду с крупными литературными доносчиками и у нас начинают появляться *образованные полицейские шпионы* в духе знаменитого Де ла Годе, Шеню, Шнепфа и прочих. Шпионы писали и печатали книги и до нашего времени, но они по крайней мере скрывали свое ремесло, которое, подобно различным «отхожим местам», существует, но не имеет благопристойного названия. Благодаря примеру великих учителей, упомянутых

нами, и русскому журнализму, сделавшему из доносов отрасль ораторского искусства и полемическое оружие, фиговый листок отпадает, и перед нами появляется *in cudo* книга, написанная *нижним* чином *благородного* происхождения, БУЛАНЦОВЫМ, под следующим заглавием: «Записки лазутчика во время усмирения польского мятежа», Санкт-Петербург, 1868 г. *

Как жаль, что *нижний* чин остался более верен прилагательному своего чина, чем прилагательному своего *происхождения*.





MAZZINI AUX POLONAIS

En reproduisant la lettre de Mazzini aux Polonais, nous appelons toute l'attention de nos lecteurs sur la grande idée *des deux héritiers* qui s'avancent pour demander leur part du legs, leur part de l'activité historique. Cette idée nous est chère depuis longtemps. Il y a une vingtaine d'années que, montrant à côté de nous la *grande souffrance* de l'Occident, nous indiquions au loin la vieille *officina gentium*, calme, muette et couvant dans ses profondeurs, sous une pression inhumaine, des tendances bien sympathiques au cœur des déshérités de la civilisation latino-germanique. Sans s'en douter, les caves et les mansardes des villes de l'Europe aspirent vers des solutions différentes du même problème social, qui agite le cœur des paysans dans les chaumières de nos plaines et de nos forêts.

Le droit au travail, le droit à la terre ne sont que deux modes de réaliser la tendance sociale qui cherche à mettre l'instrument du travail à la disposition du travailleur — en le délivrant du hasard monopolisé, de l'anarchie consolidée, de toutes les entraves historiques qui en empêchent le libre développement.

Nous n'avons jamais été nationalistes ni panslavistes. Rien ne détourne plus la révolution de ses grandes voies que la manie des classifications et prédilections zoologiques des races, mais l'injustice pour le monde slave nous a toujours paru révoltante.

Nous réimprimons la lettre du grand Italien, de l'ami que nous sommes habitué à aimer avec empressement. Ses paroles nous émeuvent d'autant plus que, grâce aux cruelles absurdités du gouvernement russe et à l'ignorance aveugle des rhéteurs ambulants et des publicistes rétrogrades dans leur prétendu démocratisme, nous ne lisons que des phrases dures et amères contre

les Slaves, qui relèvent la tête sous un triple joug, et que l'on est tout disposé à sacrifier à la Turquie, voire même à la Hongrie, pourvu que l'on puisse faire une niche à la Russie.

Il est bon d'entendre une parole *humaine* au milieu des cris de haine des doctes sauvages de la civilisation.

П Е Р Е В О Д

МАЦЦИНИ — ПОЛЯКАМ

Перепечатывая письмо Маццини к полякам*, мы обращаем особое внимание наших читателей на великую мысль о *двух наследниках*, выступающих вперед, чтобы потребовать свою долю завещанного достояния, свою долю исторической деятельности*. Эта мысль нам издавна дорога. Лет двадцать тому назад, характеризуя рядом с нами *великое страдание* Запада, мы указывали вдали на старую *officina gentium*¹, спокойную, безмолвную и таящую в своих недрах, под нечеловеческим гнетом, стремления, чрезвычайно близкие сердцам отщепенцев латиногерманской цивилизации. Сами того не подозревая, подвалы и мансарды европейских городов ищут иного решения той же социальной задачи, которая волнует крестьянские сердца в хижинах наших равнин и лесов*.

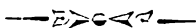
Право на труд, право на землю — это только две формы воплощения социальной тенденции, стремящейся передать орудия труда в распоряжение труженика, освобождая его от монополизированной случайности, от установившейся анархии, от всех исторических пут, препятствующих его свободному развитию.

Мы никогда не были ни националистами, ни панславистами. Ничто так не отклоняет революцию от ее великих путей, как мания классификаций и зоологических расовых предпочтений, — однако несправедливость по отношению к славянскому миру всегда казалась нам возмутительной.

¹ мастерскую народов (лат.). — *Ред.*

Мы перепечатаваем письмо великого итальянца, друга, которого мы привыкли любить от всей души. Слова его тем более волнуют нас, что, вследствие жестоких нелепостей русского правительства и слепого невежества странствующих риторов и ретроградных публицистов с их мнимым демократизмом, мы читаем лишь грубые и язвительные фразы, направленные против славян *, которые приподымают голову из-под тройного ярма и которыми охотно пожертвовали бы Турции и даже Венгрии, лишь бы учинить каверзу России.

Приятно услышать *человеческую* речь среди криков ненависти, издаваемых учеными дикарями цивилизации.



BONNE NOUVELLE!

Il y a quelques mois nous avons souhaité la bienvenue à une nouvelle publication périodique en langue russe qui allait paraître à Genève — et rédigée dans un sens éminemment socialiste. — Aujourd'hui nous avons à acclamer encore une revue russe, publiée dans la même ville. — L'*Actualité* a été suivie de près par la *Cause du Peuple* («Народное дело») — revue mensuelle complètement *socialiste et révolutionnaire*. La visière étant baissée — nous ne connaissons pas la rédaction, mais nous sympathisons avec elle de tout notre cœur. Evidemment elle est composée de jeunes gens ardents, ayant toute l'impétuosité de l'adolescence, tout le «*juvenil bollore*» qui jette bravement le gant et pose avec un sans-égard absolu les questions les plus ardues. En lisant la première livraison — nous nous sommes transportés — avec un sentiment de regret de la vieillesse — à d'autres temps — aux temps où nous écrivions *Vom andern Ufer* et nos *Lettres de France et d'Italie (1849—50)*. Nous retrouvons dans la *Cause du Peuple* la même audace d'allures, rejetant tout compromis, méprisant toute concession et cherchant plutôt la formule de l'avenir que l'application immédiate. — Nous y voyons un des caractères les plus tranchés de la pensée russe. Elle ne peut échapper à ses dernières conséquences. Ce n'est certes pas par nous que les jeunes rédacteurs sont arrivés à leur résultat; ils paraissent complètement ignorer nos travaux. C'est le génie de l'esprit russe qui nous a fait rencontrer sur le même terrain.

Abolition de l'héritage, abolition du mariage religieux et civil, la terre aux cultivateurs, le capital aux ouvriers, négation de la religion, de l'Etat. — Tel est le programme héroïque de la nouvelle revue.

Nous souhaitons franchement, cordialement un grand succès à cette publication russe. La vieillesse peut enfin s'affranchir d'un travail de répétition — relevée par une nouvelle phalange vigoureuse et pleine de forces.

ПЕРЕВОД

ДОБРАЯ ВЕСТЬ!

Несколько месяцев тому назад мы пожелали удачи новому периодическому изданию на русском языке, которое должно было выходить в Женеве — и редактироваться в духе вполне социалистическом*. — Сегодня мы с радостью приветствуем еще один русский журнал, издающийся в том же городе*. Вслед за «Современностью» вскоре же последовало и «Народное дело» — ежемесячный журнал, вполне *социалистический и революционный*. Поскольку забрало опущено, редакция остается нам неизвестной, однако мы всей душой симпатизируем ей. Очевидно, она состоит из пылких молодых людей, которые со всей порывистостью молодости, со всей «juvenil bolloge»*, смело бросают перчатку и без оглядки ставят самые трудноразрешимые вопросы. Читая первую книжку, мы — с грустью за свою старость — перенеслись в иные времена — во времена, когда мы писали «Vom andern Ufer» и наши «Письма из Франции и Италии» (1849—50). Мы находим в «Народном деле» те же смелые взгляды, отвергающие всякий компромисс, презирающие всякую уступку и ищущие скорей формулу для грядущего, чем возможность немедленного применения к делу. — Мы видим в этом одну из наиболее выдающихся особенностей русской мысли. Она не может избежать самых крайних своих следствий. Не благодаря нам, конечно, молодые редакторы достигли этого результата; наши труды им, по-видимому, совсем не знакомы. Только вследствие общих особенностей русского ума встретились мы на одной и той же почве.

Отмена наследования, отмена церковного и гражданского брака, земля — земледельцам, капитал — рабочим, отрицание

религии, государства. — Такова героическая программа нового журнала.

Мы искренно, от души, желаем большого успеха этому русскому изданию. Старость сможет, наконец, избавиться от труда повторений — ее сменяет новая фаланга, энергичная и исполненная сил.





LES DAMES RUSSES

Près de deux cents dames de Pétersbourg ont signé une pétition à l'Université demandant l'organisation des cours pour les femmes. L'Université a nommé une commission composée de quatre professeurs, pour faire un rapport. Voilà leurs noms: Békétoff (président), Souhomlinoff, Bauer, Faminzine.

Nous avons tout espoir que le rapport sera favorable à la demande. Les quatre rapporteurs ne voudront pas attacher leur nom au pilori. C'est un malheur que le ministre de l'instruction soit un piétiste gouvernemental, appelé au ministère pendant la fièvre chaude de la réaction — qui suivit le coup de pistolet de Karakosoff.— Il fera tout son possible pour entraver ce mouvement.

ПЕРЕВОД

РУССКИЕ ДАМЫ

Около двухсот петербургских дам подписало петицию, адресованную университету, об организации курсов для женщин. Университет назначил комиссию из четырех профессоров для составления доклада. Вот их имена: Бекетов (председатель), Сухомлинов, Бауэр, Фаминцын.

Мы питаем большую надежду на то, что доклад благоприятно отнесется к этой просьбе. Четыре докладчика не захотят пригвоздить свое имя к позорному столбу. Какое несчастье, что министр просвещения — гуверnementальный пиетист, призванный в министерство во время горячки реакции, которая последовала за пистолетным выстрелом Каракозова. — Он сделает все возможное, чтобы помешать этому движению.



**DEVOILEZ-NOUS DONC!
DEMASQUEZ-NOUS DONC!**

Un journal donne des fragments d'une brochure intitulée: *La France, la Pologne et le prince Napoléon Bonaparte*. Une sortie virulente contre l'un de nous se termine par ces mots: «Nous aurions à faire *les plus étonnantes révélations* sur ce journaliste (Herzen), placé si haut dans l'esprit de la démocratie française». Pourquoi ce ménagement lorsqu'on a quelque chose à dire, — et ces insinuations lorsqu'on n'en a pas? Nous invitons l'auteur anonyme de ne pas se gêner et de publier toutes ses révélations. Il n'y a pas un seul fait dans notre carrière publique que nous voudrions soustraire à la lumière. (Nous désirons de tout notre cœur la même chose pour nos ennemis.) Nous n'irons pas chercher la protection des tribunaux, mais à chaque mensonge nous répondrons par un démenti.

П Е Р Е В О Д

**ТАК РАЗОБЛАЧИТЕ ЖЕ НАС!
СОРВИТЕ ЖЕ С НАС МАСКУ!**

Одна газета приводит отрывки из брошюры, озаглавленной: «Франция, Польша и принц Наполеон Бонапарт»*. Злобный выпад против одного из нас заканчивается следующими словами: «Мы могли бы опубликовать *самые поразительные разоблачения* об этом журналисте (Герцене), так высоко вознесенном во мнении французской демократии». Зачем же щадить, если есть что сказать, и к чему подобные намеки, если сообщить не-

чего? Мы предлагаем анонимному автору не стесняться и обнародовать все свои разоблачения. Нет такого факта в нашей политической деятельности, который нам хотелось бы скрыть в тени. (Мы желаем от всего сердца того же нашим врагам.) Искать покровительства в судах мы не будем, но на каждую ложь ответим опровержением.



PISSAREFF

Encore un malheur vient de frapper notre petite phalange. Une étoile brillante et qui promettait beaucoup disparaît en emportant des talents à peine formés, en fermant une carrière littéraire à peine ébauchée.— Pissareff, critique virulent, quelquefois exagéré, toujours plein de verve, de noblesse et d'énergie, s'est noyé en se baignant. Quoique jeune encore il avait beaucoup souffert. Il était sorti depuis peu de temps de la forteresse dans laquelle il fut emprisonné pendant des années. Les deux vers cités par Pouchkine seront-ils donc éternellement vrais chez nous?

Là sotto giorni brevi e nebulosi
Nasce una gente al cui l'morir non duole.

Une foule énorme de personnes de toutes les classes et de tous les états, disent les journaux de Pétersbourg, a suivi le cortège depuis la maison du défunt jusqu'au cimetière. La tombe a disparu sous les fleurs. Une collecte a été faite pour fonder une bourse universitaire qui portera le nom du jeune publiciste...— Tout cela est parfait, mais faut-il donc que la mort sépare toujours l'homme de progrès des vivants, pour le réconcilier avec la multitude des tardigrades et des inertes?

ПИСАРЕВ

Еще одно несчастье постигло нашу маленькую фалангу. Блестящая и подававшая большие надежды звезда исчезает, унося с собой едва развившиеся таланты, покидая едва начатое литературное поприще.— Писарев, язвительный критик, порой склонный к преувеличениям, всегда исполненный остроумия, благородства и энергии, утонул во время купанья*. Несмотря на свою молодость, он много страдал. Совсем недавно вышел он из крепости, где находился несколько лет в заточении*. Неужели два стиха, приведенных Пушкиным, навсегда сохранят для нас свою истинность?

*Là sotto giorni brevi e nebulosi
Nasce una gente al cui l'morir non duole*.*

Множество народа, принадлежащего к разным сословиям и состояниям, как сообщают петербургские газеты, следовало за гробом от дома покойного до кладбища. Могила утопала в цветах. Был произведен сбор средств для учреждения университетской стипендии имени молодого публициста...* — Все это отлично, но неужели так необходимо, чтобы смерть всякий раз отнимала человека передовых взглядов у живых людей— для примирения его с массой ленивцев и лежебок?





LE PRINCE PIERRE DOLGOROUKOFF

Les plus âgés s'en vont aussi. Le prince Dolgoroukoff, qui harcelait sans trêve ni merci, comme un torréador infatigable, le taureau du gouvernement russe; qui faisait frémir la camarilla du Palais d'Hiver, a succombé après une douloureuse maladie, le 17 août, à Berne. Elles peuvent librement respirer, les consciences problématiques que ses révélations, que sa mémoire exubérante et les riches documents qui étaient en sa possession terrifiaient.

Oui — mais pas tout à fait *aussi librement* qu'elles l'espèrent. Le prince Dolgoroukoff n'a pas emporté ses papiers, ses dossiers. — Ils sont *dans de très bonnes mains*.

ПЕРЕВОД

КНЯЗЬ ПЕТР ДОЛГОРУКОВ

Уходят и самые старые. Князь Долгоруков, который, подобно неутомимому тореадору, не переставая дразнил быка русского правительства и заставлял трепетать камарилью Зимнего дворца, скончался после мучительной болезни 17 августа, в Берне. Свободно могут вздохнуть те, чью сомнительную совесть приводили в ужас его разоблачения, его неистощимая память и богатое собрание документов, находившееся в его распоряжении.

Да — но не совсем уж *так свободно*, как они надеются. Князь Долгоруков не унес с собою своих бумаг, *своих папок*. — Они находятся в *весьма надежных руках*.





L'ABUS DE CHARLES LE TEMERAIRE

Nous lisons dans un programme imprimé de la saison musicale à Moscou qu'entre autres opéras en exécution, est celui de *Charles le Téméraire* de Rossini. Est-il donc possible qu'après tant de progrès, regrets, émancipations, évolutions — *Guillaume Tell* — ait encore besoin d'un faux passeport — comme une impératrice en voyage?

ПЕРЕВОД

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ КАРЛОМ СМЕЛЫМ

Мы читаем в печатной программе нынешнего музыкального сезона в Москве, что среди прочих опер исполняется «Карл Смелый» Россини. Возможно ли, что после стольких прогрессов, раскаяний, эмансипаций, эволюций «Вильгельм Телль» еще нуждается в фальшивом паспорте — словно странствующая императрица?

— ЭУСА —



LES RUSSES AU CONGRÈS DE BERNE

Nous n'avons pas pris de part active au Congrès de Berne. Sans faire valoir des considérations personnelles, sans répéter ce que nous avons dit à propos du Congrès de 1867, nous avouons franchement que, sympathisant de tout notre cœur avec les pieux désirs du Congrès, nous n'avons jamais pu saisir le but *pratique* de ces conciles de la paix — en vue des armées qui se massent, se guettent, demandent à grands cris leur *droit au travail* et sont prêtes à se ruer les unes sur les autres avec toute la férocité d'un patriotisme carnassier — attiré et exploité par les gouvernements — qu'aucun congrès du monde ne pourra arrêter.

Une lecture suivie, attentive des *Etats-Unis de l'Europe* n'a pas élucidé nos doutes. Les raisonnements de ce journal étaient, nous nous empressons de le dire, presque toujours irréprochables et reconnus comme tels depuis des siècles. La question philosophique, théorique de la paix et de la guerre, est vidée depuis longtemps; il n'y a pas de nouveaux doutes à résoudre, de nouvelles découvertes à confirmer. Il s'agit de l'application, *de la mise en œuvre* de ces théories. Or, le Congrès de Berne, comme le Congrès de Genève, n'a pas plus de moyens de rendre ces résolutions obligatoires, d'arrêter les armements, de dissoudre les armées, de conjurer la guerre, que n'en avaient les saints quakers, qui sont allés, avant la guerre de Crimée, faire profession de foi de leur religion pacifique devant le soldat des soldats, l'empereur Nicolas. Est-il d'une bonne politique d'étaler son impuissance devant un ennemi sans scrupules? — Nous ne le croyons pas.

Nos amis et compatriotes Bakounine et Vyrouboff ont envisagé le Congrès d'une autre manière.

Comprenant la signification du Congrès (la seule qui lui incombe réellement) — comme *tribune européenne* — ils laissèrent de côté les lamentations sur les malheurs de la guerre et les malédictions sur les dépenses de la paix. Ils mirent le doigt sur des plaies d'une autre gravité et firent remonter les massacres d'emblée à d'autres causes.

Leur profession de foi c'est la nôtre, c'est celle de la Jeune Russie. C'est notre *nihilisme* inexorable, conséquent, qui retentit dans les grandes Assises de la démocratie. L'Occident, qui l'a engendré, ne le reconnaît plus et s'en détourne.

Bakounine et Vyrouboff, avec le petit groupe de leurs amis qui sortirent du Congrès, étaient *les hommes du nouveau monde*, parmi les doctes et braves représentants du juste-milieu et du jacobinisme, qui, avec le meilleur désir du monde, soutiennent d'une main le vieil édifice qu'ils veulent faire écrouler de l'autre.

Les Russes pouvaient s'abstenir, comme nous l'avons fait; mais en prenant part au Congrès, ils ne pouvaient paraître qu'en tenant haut notre drapeau du «Nihilisme». — *L'annihilation du vieux est l'engendrement de l'avenir!*

П Е Р Е В О Д

РУССКИЕ НА БЕРНСКОМ КОНГРЕССЕ

Мы не приняли деятельного участия в Бернском конгрессе *. Не вдаваясь в обсуждение личных взглядов, не повторяя сказанного нами по поводу Конгресса 1867 года, мы откровенно сознаемся, что, несмотря на искреннее сочувствие благим намерениям Конгресса, мы никогда не в состоянии были уловить *практической* цели подобных мирных соборов — в виду армий, сосредоточивающих свои силы, стоящих наготове, громко требующих своего *права на труд* и готовых наброситься друг на друга со всей свирепостью плотоядного патриотизма, разжигаемого и используемого правительствами, — сдержать который ни один конгресс в мире не будет в состоянии.

Постоянное внимательное чтение «Etats-Unis de l'Europe» сомнений наших не рассеяло. Умозаключения этой газеты были, спешим заметить, почти всегда безупречны, и считаются таковыми уже целые столетия. Философский, теоретический вопрос о мире и войне давно уже исчерпан; новых сомнений, требующих ответа, новых открытий, ожидающих утверждения, уже нет. Речь идет о применении, о *воплощении в жизнь* этих теорий. И Бернский конгресс, как и конгресс Женевский, имеет не больше средств придать своим резолюциям обязательный характер, приостановить вооружение, распустить армии, предотвратить войну, чем имели их достопочтенные квакеры, отправившиеся перед Крымской войной проповедовать свои мирные религиозные убеждения солдату из солдат — императору Николаю *. Целесообразна ли такая политика обнаружения собственного бессилия перед лицом бессовестного врага? — Не думаем этого.

Наши друзья и соотечественники Бакунин и Вырубов взглянули на Конгресс с иной точки зрения *.

Понимая, что значение Конгресса (единственное, которое ему действительно подобает) — быть *европейской трибуной*, они обошлись без причитаний о бедствиях войны и без проклятий издержкам мирного времени. Они указали на более глубокие раны и установили иные причины внезапных кровопролитий.

Их убеждения — наши убеждения; это убеждения Молодой России. Это наш непреклонный, последовательный *нигилизм* прозвучал в обширном судилище демократии. Запад, породивший нигилизм, не признает его более и отворачивается от него.

Бакунин и Вырубов с кучкой своих друзей, покинувших Конгресс, были *людьми нового мира* среди ученых и честных представителей золотой середины и якобинства, которые с наилучшими в мире намерениями одной рукой поддерживают старое здание, а другой пытаются его сокрушить.

Русские могли воздержаться, как это сделали мы; но, принимая участие в Конгрессе, они могли появиться, только высоко держа наше знамя «Нигилизма». *Уничтожение старого есть рождение грядущего!*

LE SCHEDO-FERROTY PANSLAVISTE ET LES HORREURS RUSSES

M. Youri Samarine, connu comme théologien byzantin et panslaviste exagéré — a commencé la publication d'une revue russe à Prague, sous le titre de *Confins de la Russie* («Русские окраины»). Cette publication a pour but de porter le coup de grâce aux hérétiques allemands, catholiques polonais, musulmans et autres mécréants, qui n'ayant pas le bonheur d'appartenir à l'Eglise orientale, ont celui de vivre sous le sceptre orthodoxe de la Russie. Absolutiste avec des velléités frondeuses, admirateur de Nicolas, très dévoué à l'empereur actuel, un peu Katkoff le polonophage et Askotchinsky le saint,— le rédacteur se donne l'air d'une opposition tranchée en publiant à la *Schédo-Ferrotty* sa revue hors des limites de l'empire russe.

Nous connaissons un peu les Allemands baltiques et nous sommes très contents que le *révérend* Samarine secoue rudement ces braves chevaliers teutons, et prenne la défense des pauvres Leithes, Esthes et autres Finnois — écrasés par les Allemands, au point de vouloir rétrograder (à ce que prétend le panslaviste théosophe) du protestantisme au byzantinisme. Nous avons en horreur les seigneurs allemands, les *Junkers* baltiques. Leur conduite envers leurs paysans, leur servilisme sans bornes envers le tzar, leur suffisance, leur arrogance, nous ont toujours révoltés. Mais nous n'oublions pas que la conduite des seigneurs russes a été tout aussi révoltante. Pourquoi Samarine, qui est aussi laïque et mondain qu'il est mystique et théosophe—pourquoi s'indigne-t-il tant des «exécutions», sans jugement, sous prétexte de rébellion? La moitié de la Russie a été rossée, flagellée, déportée de la même manière jusqu'à l'émancipation. Les verges,

grâce à des défenseurs zélés, comme l'ami de M. Samarine, le prince Tcherkasky, ont survécu même à l'émancipation.

Pourquoi toute la tendresse, toutes les doléances se dépendent-elles sur la tête des paysans finnois, lithuaniens — et pourquoi un tel oubli des paysans de Samara, Simbirsk, Tambov, etc., etc? Que le missionnaire fouille un peu dans sa mémoire, dans les traditions *très récentes* des familles nobiliaires — et nous sommes sûrs qu'en bon chrétien il réservera quelques larmes pour nos *frères cadets* et quelques gouttes de fiel pour nos *ainés*. Ce n'est pas du tout une excuse des chevaliers allemands, ni des seigneurs polonais, d'autant plus que les uns et les autres sont plus civilisés que les nôtres; c'est un appel à la vérité, à la justice et à la pudeur.

Prenons les journaux russes *de la dernière semaine*, nous y trouvons, comme toujours, des horreurs accomplies avec des infamies et un sans-façon de despotisme asiatique qui ne nous surprennent pas seulement par habitude. Citons les faits:

Chasse aux prisonniers. — La police russe organise elle-même la fuite des prisonniers et les tue après.

Le 12 août 1868, dit le *Messageur d'Odessa*, il est arrivé à Simphéropole un événement qui est jusqu'à présent le sujet de toutes les conversations. Cet événement est la mort tragique d'un jeune homme, Pékhovsky, tué par les gardes, pendant qu'il essayait de s'évader de la prison. Pékhovsky, fils d'un riche propriétaire du gouvernement de la Tauride, était détenu dans la prison de Simphéropole, pour le vol d'une caisse contenant des papiers et une somme d'argent très forte. Dans la même prison se trouvait un autre criminel, Sossédoff, détenu pour la fabrication et la mise en circulation de faux billets de crédit. Sossédoff, criminel endurci et expérimenté, avait déjà tenté plusieurs fois de prendre la fuite. C'est avec lui que Pékhovsky se lia et forma le projet d'évasion. Mais comme la fuite était impossible sans l'aide de quelqu'un des serviteurs ou des gardes de la prison, les prisonniers se décidèrent à acheter la participation de l'une des sentinelles, Tchouroff. Dans ce but, Pékhovsky se lia avec le soldat Tchouroff, lui proposa vingt roubles pour ne pas empêcher l'évasion. La sentinelle se présenta au corps de garde et raconta la proposition de Pékhovsky. Les autorités de la prison lui permirent de prendre l'argent et ordonnèrent de les tenir au courant, dans le but d'arrêter les prisonniers en flagrant délit. A un signal donné par la sentinelle, les prisonniers devaient descendre vers les échafaudages qui permettaient de passer sur le mur, pour se laisser glisser de l'autre côté au moyen d'une corde improvisée de chemises et d'autres vêtements. Les pri-

sonniers s'étant décidés à accomplir ce projet, se croyaient probablement déjà en liberté. — Mais l'embuscade se jeta sur eux lorsqu'ils descendirent les échafaudages. Dans le procès-verbal il est dit que les prisonniers se jetèrent sur les sentinelles et que celles-ci, à leur tour, *furent usagés des armes...*

Il y eut une rixe dans laquelle les prisonniers, sans doute, ne pouvaient rester vainqueurs. Pékhovskiy ayant reçu plusieurs blessures de baïonnette, remonta en courant vers sa cellule, les sentinelles se mirent à sa poursuite; d'après le procès-verbal, Pékhovskiy essaya de s'emparer du fusil d'une sentinelle. Le soldat résista et fit dans l'obscurité (le couloir n'était pas éclairé) plusieurs blessures à Pékhovskiy, sans savoir précisément à quel endroit, mais il suppose que c'était à la bouche et au cou. Pékhovskiy tomba raide mort. Bientôt, quand tout fut apaisé on trouva Pékhovskiy appuyé contre le mur, mort et baigné dans son sang. On découvrit sur son corps *quatorze blessures, dont quatre étaient mortelles*. Le sort du criminel Sossédoff ne fut guère plus heureux. Après une demi-heure de recherches, il fut trouvé dans une cave; il lutta avec les sentinelles, en serra une contre le mur et reçut trente-trois blessures. Il fut transporté dans une institution de bienfaisance et donne à présent quelques espérances de guérison.

Une commune pillée, ruinée et convertie au giron de l'Eglise. —

Les paysans d'une commune appartenant ci-devant aux apanages du cercle Mostilensk, gouvernement de Viatka, district de Sarapoul, ayant refusé de signer les contrats proposés par les employés, les autorités passèrent outre et validèrent elles-mêmes, *sans la participation des paysans*, leur charte (*уставная грамота*). Le temps venu, on exigea le paiement de la redevance. Les paysans refusèrent d'obéir. On fit venir des troupes pour les mettre à la raison et on procéda à la *vente du bétail*, des bâtisses non habitées. Les paysans exaspérés tombèrent dans un désespoir profond et se séparèrent tous de l'Eglise. Ils cessèrent de paraître à la messe, enlevèrent les images des saints de leurs maisons. En réponse aux questions du clergé et aux remontrances des *autorités*, les paysans répondirent: «Nous ne vous reconnaissons pas, nous ne reconnaissons que le Père céleste — il prendra notre défense, tandis que vous...» (*le journal russe ne finit pas l'alternative*). Peu à peu il se forma une secte nommée les *non-prieurs*, beaucoup de villages s'y joignirent. Les autorités eurent alors recours au moyen ordinaire des conversions en Russie — elles jetèrent en prisons les principaux instigateurs. En voyant cela, les paysans demandèrent en foule de partager leur sort. — On jette *cent soixante et dix* hommes en prison — et on refuse, manque

de place, une masse de volontaires qui se présentent. Un ordre supérieur ordonne la formation d'une commission des membres du clergé pour convertir les égarés.— Elle ne parvient à rien. Une grande mortalité s'étant déclarée dans la prison, on ordonne de libérer plus de cent personnes,— en laissant emprisonnés les plus obstinés. La police et le prêtre de l'endroit se rendirent au village et se firent amener un à un tous les hérétiques. *Leur manière de convaincre* est un mystère pour nous (dit le journal russe).— Mais les paysans rentrèrent au giron de l'Eglise, sauf cinquante personnes qui s'obstinèrent jusqu'à la fin.

La liberté individuelle en Russie.— Les journaux russes nous apportent un spécimen splendide de la liberté dont jouissent les sujets du tzar émancipateur. Nous donnons la traduction exacte d'une lettre adressée par un commissaire du district (ispravnik), à l'épouse d'un propriétaire vivant dans le gouvernement de Simbirsk. Nous ajoutons une seule observation, c'est que Simbirsk est bien loin de la Pologne et de tout mouvement révolutionnaire.

Nous prions la presse libérale de reproduire cet acte de folie de la police d'un gouvernement qui se donne des airs de progrès. Voici le document:

Ministère de l'Intérieur,
Commissaire de police
du district de Kourmych.
21 février 1867.
N^o 177

Madame,
J'ai pris connaissance qu'après votre retour de Moscou vous portiez à votre cou une grande croix noire attachée à un ruban de la même couleur.

Considérant qu'un *ornement* de ce genre *n'appartient pas aux dames* et ne se trouve dans aucun *journal de modes*, et considérant que *je n'en ai jamais vu* sur une personne quelconque — je vous prie, madame, de m'expliquer quel *emblème exprime* le signe extérieur que vous portez? — Agréés, etc.— R o u d n e f f.

Les commissaires des districts sont redevenus ce qu'ils étaient du temps de Nicolas. «On reconnaît de suite,— dit le correspondant du *Journal de Saint-Pétersbourg*,— quand le commissaire a passé par une commune — D'APRES LES RESTES DES VERGES aux portes de la maison communale».

Le ministre Timacheff (ci-devant chef des espions) lit cela dans les journaux et se frotte les mains. Qu'a-t-on fait, par exemple, avec ce Roudneff? Est-il chassé du service, mis en jugement, cassé, brisé, suspendu?.. Et les beaux restes du passage d'un *ispravnik*? C'est classique!

ПЕРЕВОД

ПАНСЛАВИСТСКИЙ ШЕДС-ФЕРРОТИ И РУССКИЕ УЖАСЫ

Г-н Юрий Самарин, известный как византийский богослов и рьяный панславист, начал издавать в Праге журнал на русском языке под названием «Русские окраины»*. Издание это ставит своей целью нанесение смертельного удара немецким еретикам, польским католикам, мусульманам и прочим нечестивцам, которые, не имея счастья принадлежать к восточной церкви, имеют счастье жить под православным скипетром России. Странник самодержавной власти, несколько склонный к фрондерству, поклонник Николая, чрезвычайно преданный нынешнему императору, имеющий в себе нечто от полоноеда Каткова и от святоши Аскоченского, редактор этот делает вид, что находится в энергичной оппозиции, издавая на манер *Шедо-Ферроти* свой журнал за пределами Российской империи*.

Прибалтийские немцы нам несколько знакомы, и мы очень довольны тем, что *преподобный* Самарин беспощадно хватается за шиворот почтенных тевтонских рыцарей и берет под защиту бедных латышей, эстонцев и других финнов, угнетаемых немцами до такой степени, что они желают попятиться (как утверждает панславист-теософ) от протестантизма к византийству. Нам внушают ужас немецкие помещики, прибалтийские *юнгеры*. Их обращение со своими крестьянами, их безграничное раболепие перед царем, их самодовольство, их наглость всегда возмущали нас. Однако мы не забываем, что поведение русских помещиков было не менее возмутительно. Отчего же Самарин, человек столько же мирской и светский, сколько мистик и теософ,— отчего возмущается он «экзекуциями» без суда

под предлогом усмирения мятежа? Пол-России до освобождения точно таким же образом секли, избивали, ссылали. Розги, благодаря их ревностным защитникам, таким, как друг г. Самарина князь Черкасский пережили даже и освобождение*.

Отчего же все эти нежности, все эти соболезнования растрачиваются на финских, литовских крестьян, и отчего совсем забывают о крестьянах самарских, симбирских, тамбовских и пр., и пр.? Пусть наш миссионер пороется немножко в своей памяти, в *совсем недавних* традициях дворянских семей, и мы уверены, что, как добрый христианин, он оставит в запасе несколько слезинок для наших *младших братьев* и несколько капель желчи для *старших*. Это ничуть не извиняет ни немецких рыцарей, ни польских помещиков, тем более что и те и другие образованнее наших; это призыв к правде, к справедливости и к стыду.

Возьмем русские газеты *за последнюю неделю*: мы найдем в них, как всегда, безобразия, совершенные с гнусностью и бесцеремонностью, присущими азиатскому деспотизму, и не поражающие нас только вследствие привычки. Приведем факты.

Охота на арестантов.— Русская полиция сама устраивает побег арестантов, а затем убивает их*.

12 августа 1868 года,— сообщает «Одесский вестник»,— в Симферополе случилось происшествие, которое и по настоящее время служит предметом общего разговора. Происшествие это — трагическая смерть одного молодого человека, Пеховского, убитого караулом во время посягательства его к побегу из тюремного замка. Пеховский, сын зажиточного землевладельца Таврической губернии, был заключен в симферопольскую тюрьму за воровство сундука с бумагами и весьма значительной суммой денег. В той же тюрьме сидел в заключении и другой преступник, Соседов, арестованный за подделку и распространение фальшивых кредитных билетов. Соседов, закоренелый и опытный преступник, уже несколько раз покушался на побег. С ним-то сблизился Пеховский и составил план бегства. Но так как побег был немислим без участия кого-либо из прислужников или караульных в тюремном замке, то арестанты решили подговорить караульного солдата Щурова. С этой-то целью Пеховский связался с солдатом Щуровым, предложил ему двадцать рублей, чтобы тот содействовал побегу. Часовой отправился в кордегардию и рассказал о предложении Пеховского. Тюремное начальство разрешило ему взять эти деньги, при-

казав держать его в курсе дела, с тем чтобы поймать арестантов на месте самого преступления. По сигналу караульного арестанты должны были спуститься вниз, на строительные леса, чтобы пройти по стене и соскользнуть на другую сторону при помощи веревки, сделанной из рубашек и другой одежды. Арестанты, решившись привести в исполнение этот план, вероятно, считали себя уже на свободе. Но солдаты, спрятавшиеся в засаде, бросились на них, когда они спустились с лесов. В протоколе сказано, что арестанты напали на часовых и что те, в свою очередь, *прибегли к ору- жию...*

Началась свалка, в которой арестанты не могли, конечно, остаться победителями. Пеховский, получив несколько штыковых ран, побежал в свою камеру, за ним погнались караульные; по словам донесения, Пеховский попытался вырвать у одного из караульных ружье. Солдат оказал сопротивление и нанес Пеховскому (коридор не был освещен) несколько ранений, сам точно не зная, в какое именно место, но полагает, что в рот и в шею. Пеховский тут же упал и испустил дух. Вскоре, когда все утихло, Пеховского нашли прислоненным к стене, мертвым и утопающим в крови. На теле у него оказалось *четырнацать ран, четыре из них были смертельны*. Участь преступника Соседова была почти столь же несчастна. После получасовых поисков он был отыскан в подвале; он боролся с караульными, прижал одного из них к стене и получил тридцать три раны. Его отнесли в богоугодное заведение, и он подает теперь некоторые надежды на выздоровление.

*Ограбленная, разоренная и возвращенная в лоно церкви община**.— Крестьяне из одной общины, ранее принадлежавшей удельному ведомству, в Мостиленском округе, Вятской губернии, Сарапульского уезда, отказались подписать условия, предложенные им чиновниками; власти обошлись без их подписей и самолично, *без участия крестьян*, утвердили их уставную грамоту. В положенный срок от них потребовали уплаты подати. Крестьяне отказались подчиниться. Тогда, чтобы вразумить их, вызвали войска и приступили к *продаже скота* и незаселенных домов. Возмущенные крестьяне впали в глубокое отчаяние и все порвали с церковью. Они перестали посещать богослужения, убрали иконы из своих домов. В ответ на расспросы духовенства и увещания *начальства* крестьяне заявили: «Мы вас не признаем, мы признаем лишь отца небесного— он защитит нас, тогда как вы...» (*русская газета не заканчивает этой альтернативы*). Мало-помалу образовалась секта, назвавшаяся *немолящимися*, к ней присоединилось много деревень. Тогда власти прибегли к обычному в России средству

обращения — они бросили в тюрьмы главных зачинщиков. Увидев это, толпа крестьян потребовала, чтобы им разрешили разделить ту же участь. — *Сто семьдесят человек* бросают в тюрьму — и, за неимением места, отказывают множеству явившихся добровольцев. Последовало высочайшее повеление образовать комиссию из представителей духовенства для обращения заблудших. — Ей ничего не удастся добиться. Поскольку в тюрьме началась сильная смертность, приказано было освободить более ста человек, оставив в заключении самых упорных. Полиция и местный священник приехали в деревню и велели привести к себе поодиночке всех еретиков. *Их способ убеждать* остается для нас тайной (говорит русская газета). Но крестьяне возвратились в лоно церкви, кроме пятидесяти человек, продолжавших упорствовать до конца.

Личная свобода в России. — Русские газеты приводят нам великолепный образец свободы, которой пользуются подданные царя-освободителя. Мы даем здесь точный перевод письма, посланного одним исправником супруге помещика, живущего в Симбирской губернии. Прибавим лишь одно замечание — Симбирск находится очень далеко от Польши и от всякого революционного движения.

Мы просим либеральную прессу перепечатать этот документ, свидетельствующий о безумии полиции того правительства, которое пытается придать себе прогрессивный вид. Вот этот документ:

Министерство
внутренних дел
Исправник
Курмышского уезда
21 февраля 1867 г.
№ 177

Милостивая государыня!

Мне стало известно, что после вашего возвращения из Москвы вы стали носить на шее большой черный крест на ленте того же цвета.

Полагая, что *украшение* подобного рода не положено иметь дамам и не находится ни в одном журнале мод и поскольку сам я их никогда не видел ни на одной особе, прошу вас, милостивая государыня, объяснить, какую эмблему выражает этот наружный знак, носимый вами? — Благоволите и пр. — Р у д н е в.

Уездные исправники снова стали тем, чем они были во времена Николая. «Тотчас же узнаешь,— говорит корреспондент „Санктпетербургских ведомостей“,— что исправник побывал в общине, ПО ОБЛОМКАМ РОЗОГ у дверей общинной избы».

Министр Тимашев (бывший глава шпионов) читает это в газетах и потирает руки. Как же, например, поступили с этим Рудневым? Выгнали его со службы, отдали под суд, разжаловали, вытолкали в шею, отстранили?.. А эти милые обломки после приезда исправника? Это классика!





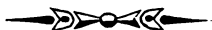
LES LEVITES RUSSES

On dit que le Conseil d'Etat sera saisi d'un projet de dissolution de la *caste des prêtres* en Russie. Nos lecteurs savent certainement que les enfants des prêtres, diacres et sacristains forment une pépinière close dans laquelle se recrute le clergé. On immolait les enfants au Moloch *orthodoxe* sans miséricorde. Quelques fils de *popes* se sauvaient des travaux célestes à perpétuité, mais cela n'était pas une chose facile. Les fils de prêtres nous donnèrent les hommes les plus remarquables comme ministres, professeurs, savants littérateurs, médecins. Il suffit de nommer Spéransky et Tchernychevsky. Si la nouvelle est vraie, nous félicitons de tout notre cœur les pauvres Isaac émancipés de l'autel, sur lequel l'anéantissement moral et le parjure forcé les attendaient.

П Е Р Е В О Д

РУССКИЕ ЛЕВИТЫ

Говорят, что на рассмотрение Государственного совета будет представлен проект об уничтожении *касты священников* в России*. Читателям нашим, конечно, известно, что дети священников, дьяконов и пономарей образуют закрытый питомник, из которого вербуется духовенство. Детей безжалостно приносили в жертву *православному* Молоху. Некоторые *поповичи* избежали пожизненных небесных работ, но это было далеко не просто. Из сыновей священников у нас вышли замечательнейшие люди — министры, профессора, ученые литераторы, врачи. Достаточно назвать Сперанского и Чернышевского. Если новость верна, мы от всей души поздравляем бедных Исааков, освобожденных от алтаря, на котором их ожидала нравственная гибель и вынужденное клятвопреступление.





⟨**LA BANK- UND HANDELSZEITUNG**
DU 22 SEPTEMBRE
DONNE UNE ETRANGE NOUVELLE...⟩

La *Bank- und Handelszeitung* du 22 septembre donne une étrange nouvelle, reproduite par le *Golos* du 26. Le journal allemand croit savoir de bonne source que le gouvernement français a offert confidentiellement au cabinet de Pétersbourg son influence sur la Suisse — pour mettre fin à l'agitation hostile contre le gouvernement russe — qui se produit dans la république. «On dit,— ajoute la *Handelszeitung*,— que le prince Gortchakoff, tout en remerciant, a décliné la proposition?»

П Е Р Е В О Д

⟨**«BANK- UND HANDELSZEITUNG»**
ОТ 22 СЕНТЯБРЯ
СООБЩАЕТ СТРАННОЕ ИЗВЕСТИЕ...⟩

«Bank- und Handelszeitung» от 22 сентября сообщает странное известие, перепечатанное «Голосом» от 26 числа. Немецкая газета, ссылаясь на верный источник, сообщает, что французское правительство конфиденциально заявило петербургскому кабинету о своей готовности оказать влияние на Швейцарию, чтобы положить конец ведущейся в республике враждебной агитации против русского правительства. «Говорят,— прибавляет „Handelszeitung“, — что князь Горчаков, выразив благодарность, отклонил это предложение?»



«ON S'INQUIETE EN RUSSIE DES SOURDES RUMEURS...»

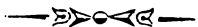
On s'inquiète en Russie des sourdes rumeurs d'un remaniement dans le sens rétrograde des nouvelles institutions judiciaires. Si ces rumeurs ont quelques bases — et de quoi peut-on jurer avec notre gouvernement flottant — nous demanderons à *quand le rétablissement du servage?*



ПЕРЕВОД

«В РОССИИ ВЫЗЫВАЮТ БЕСПОКОЙСТВО ГЛУХИЕ
ТОЛКИ...»

В России вызывают беспокойство глухие толки о преобразовании новых судебных учреждений в ретроградном духе. Если толки эти имеют некоторое основание — а можно ли за что-нибудь ручаться при нашем нерешительном правительстве, — мы спросим: *когда же намерены восстановить крепостное право?*





LETTRE A N. OGAREFF

Cher ami,

Je veux te proposer ni plus ni moins qu'un «coup d'Etat», et nommément, la suspension immédiate, ou si tu aimes mieux, la prorogation indéfinie du *Kolokol*.

Notre meule s'arrête, les ruisseaux coulent ailleurs; allons chercher un autre terrain et d'autres veines.

Tu sais avec quelle persistance je tenais, depuis 1864, à la continuation du *Kolokol* — mais enfin arrivé à la conviction que son existence devient factice, artificielle, je n'en peux plus, — *l'esprit du travail s'est envolé* et je me sens totalement incapable de mettre platoniquement en mouvement notre *Cloche* pour le seul plaisir de l'entendre sonner.

Notre journal ne fut jamais un but, mais un moyen, un ustensile. Nous ne l'abandonnons pas de gaieté de cœur aux premiers mécomptes, par fatigue et légèreté; mais je ne vois pas de raison pour lui donner une existence factice de moribond — par obstination.

Tout a son temps, a dit le sage, il y a un temps pour amasser les pierres et un autre pour les jeter.

Nous avons trop longtemps suivi notre chemin pour le rebrousser; mais nous n'avons aucun besoin d'aller par le même sentier, lorsqu'il devient impraticable, lorsqu'il manque du pain quotidien. Sans correspondances suivies du pays, une feuille qui se rédige à l'étranger est impossible, sort de l'actualité, devient un bréviaire des émigrés, une récapitulation des griefs, une lamentation chronique.

La plus grande partie de nos convictions les plus chères, nous les avons dites et répétées cent fois; il y a un noyau inaltérable

qui s'est formé autour d'elles. Il y a une jeunesse si profondément, si irrévocablement socialiste, si pleine d'audace logique, si forte de réalisme dans la science et de négation dans tous les domaines du fétichisme clérical et gouvernemental, qu'il n'y a pas de crainte — *l'idée ne périra pas*.

Nous appartenons, toi et moi, à ces vieux pionniers, à ces «semeurs matineux» qui vinrent, il y a une quarantaine d'années, défricher le sol sur lequel passa la sauvage chasse aux hommes de Nicolas, écrasant tout — fruits et germes. Les semences que le petit nombre de nos amis et nous avons héritées de nos grands précurseurs en travail, nous les avons jetées dans les nouveaux sillons, *et rien ne s'est perdu*. La poussée forte et vigoureuse qui s'est montrée avec une telle exubérance pendant les premières années du règne actuel, n'est rien moins que morte — elle travaille sous un déluge de boue, plein de détritrus en putréfaction, qui serviront d'engrais pour l'avenir, mais qui étouffent le présent.

La phase du développement dans laquelle nous sommes entrés, est lourde et rude. Elle est loin de la stagnation. La germination ne s'arrête pas, mais elle a dévié. Fiévreuse, elle porte toutes les traces d'une longue incubation d'éléments maladifs, et il est bien douteux qu'on puisse la faire avancer par force sans crainte d'une crise malheureuse ou d'un avortement.

Il faut donc laisser passer la crise, il faut suivre pas à pas la nature et s'en emparer au premier instant, et avant tout il faut savoir attendre. C'est bien lourd pour les vieux — peut-être plus lourd que pour les jeunes — mais cela ne regarde que nous, nos personnes. Il le faut. N'avons-nous pas toujours prêché l'humilité devant les faits? Et puis dans notre langue «attendre» n'a jamais voulu dire *se croiser les bras*.

La jeune génération va son train, elle n'a pas besoin de notre parole, elle est majeure et le sait. Aux autres, nous n'avons rien à dire. Maniaques d'un patriotisme demi-carnassier, demi-rhétoricien, avec leur libéralisme scrofuleux et leur lèpre de l'orthodoxie, que veux-tu que nous leur disions, si ce n'est de répéter un *memento mori*, en y ajoutant le conseil peu charitable de se hâter.

Nous nous sommes trop écartés avec l'opinion dominante en Russie pour pouvoir jeter un pont, il n'y a pas de câble atlantique assez long pour nous entendre.

En tâchant de nous aplatir jusqu'à eux, nous ferions perdre à notre journal son individualité tranchée, sa signification morale, sa physionomie si bien connue par les amis et les ennemis, depuis treize ans, depuis le temps que le son clair de la *Cloche* retentit pour la première fois, appelant les vivants, les réveillés au travail — *Vivos vocando*.

Non, nous n'avons pas le dévouement oriental qui déterminait le brave prisonnier de guerre à se couper le nez pour pousser les indécis à l'assaut...

Mille fois mieux vaut chercher une nouvelle route — et si par hasard nous ne la trouvons pas, nous avons assez, pour le reste de nos jours, d'étudier les étranges caprices du développement historique, qui s'écarte continuellement par les chemins les plus tortueux et les plus impraticables — comme le lévrier du chasseur, et ne perd jamais sa route.

Nous quitterons tranquillement notre arène de journalistes, sans être vaincus ni dépassés. Personne n'a combattu avec nous, nos provocations ne furent jamais suivies de lutte sérieuse. Ce n'étaient pas du plomb ou des pierres que nous jetâmes nos adversaires, mais quelque chose de dégoûtant, qui se desséchait et tombait sans nous laisser de taches.

Le peu de cérémonie de nos adversaires nous étonnait d'abord, ensuite cet étonnement passa. Nous vîmes clairement qu'ils ne faisaient pas une exception pour nous, qu'ils parlaient entre eux le même jargon et encore plus avancé. Car s'ils nous détestent par envie ou par solde, ils s'entre-détestent autant, mais avec une grande dose de mépris sincère et mutuel.

La suspension du *Kolokol* fera la jubilation de nos ennemis. Le plaisir de nos adversaires *non salariés* ne sera pourtant pas si complet qu'on pourrait le penser. Je ne désespère jamais des hommes que *in extremis*. Il y a une voix intérieure qui me dit que dans leur joie il y aura des gouttes amères. Ce n'est pas par *différence d'opinions* que nous attaquaient les plus acharnés de nos ennemis, — nous l'avons vu par le choix des armes et l'impureté de leurs alliances.

Au reste, ils pourront facilement maintenant nous donner la ruade de l'âne. Autant que je pourrai je ne répondrai pas. En cas de besoin, l'*Etoile Polaire* nous donnera la facilité de la

défense. Et, tout bien pris, la langue de la *Cloche* ne sera pas fondue — elle ne sera qu'attachée, et le bout du fil restera dans nos mains.

Encore un mot:

Il y a un an je pensais qu'une édition française pourrait remplacer le *Kolokol* russe; c'était une erreur. Notre véritable vocation était d'appeler nos vivants et de sonner le glas pour nos morts — et non celle de raconter à nos voisins l'histoire de nos tombes et de nos berceaux.

D'autant plus que cela ne les intéresse que fort médiocrement.

Le Congrès de la Paix à Berne nous montra encore une fois que, en général, la voix des Russes est assez déplacée dans les concerts de famille de l'Occident. Nous les troublons, nous avons une gaucherie de la vérité très déplaisante, un mal-à-propos de barbares et une logique inexorable et insolente. Nous nous sommes si longtemps tus — subjugués par la force brutale—que nous disons trop dès que *nous présumons* être libres. Tout ce que nos frères aînés, dans leur sage expérience, ne touchent que *sub rosa*, par des allusions éloignées et ornées de feuilles d'acanthé et de vigne, nous sommes prêts à le crier du haut des toits.— Cela indigne et on se détourne de nos simples paroles.

Au milieu de la grande préoccupation sur la manière de formuler la théorie de la paix et les grandes préparations à la guerre — nous cesserons de sonner sans qu'on s'en aperçoive.

Voilà, cher ami, mon coup d'Etat. Le temps lui est propice— nous sommes en décembre.

Et sur cela, continuons notre chemin, bras dessus, bras dessous, comme nous l'avons commencé. Le relais n'est plus loin..

Alex. Herzen.

1^{er} décembre 1868.

ПИСЬМО К Н. ОГАРЕВУ

Дорогой друг!

Я хочу предложить тебе не больше и не меньше как «государственный переворот», а именно — немедленное прекращение или, если тебе больше нравится, приостановку издания «Колокола» на неопределенное время.

Наш жернов останавливается, ручьи текут в иных местах: отправимся же на поиски других земель и других источников*.

Тебе известно, с каким упорством настаивал я, с 1864 года, на продолжении издания «Колокола», — но, придя в конце концов к убеждению, что существование его становится натянутым, искусственным, я отступаю, — *рабочее настроение улетучилось*, и я чувствую себя совершенно неспособным платонически раскачивать наш *Колокол* ради одного лишь удовольствия слушать его звон.

Газета наша никогда не была целью, а только средством, орудием. Мы не покидаем ее беспричинно, при первых же неудачах, вследствие усталости и легкомыслия; однако я не вижу оснований для искусственного продления жизни умирающего — из одного лишь упрямства.

Всему свое время, сказал мудрец, есть время камни собирать, и есть время камни метати*.

Мы слишком долго шли своим путем, чтобы возвращаться вспять; но нам нет никакой нужды идти все той же тропинкой, когда она становится непроходимой, когда не хватает хлеба насущного. Без постоянных корреспонденций с родины газета, издающаяся за границей, невозможна, она теряет связь с текущей жизнью, превращается в молитвенник эмигрантов, в непрерывные жалобы, в затяжное рыдание.

Большая часть самых заветных убеждений наших высказана нами и повторена сотни раз; вокруг них образовалось уже стойкое ядро. Есть молодежь, столь глубоко, бесповоротно преданная социализму, столь преисполненная бесстрашной логики, столь сильная реализмом в науке и отрицанием во всех областях клерикального и правительственного фетишизма, что можно не бояться — *идея не погибнет*.

Мы принадлежим, и ты и я, к числу старых пионеров, «утренних сеятелей»*, вышедших лет сорок тому назад, чтобы вспахать почву, по которой промчалась дикая николаевская охота на людей, уничтожая всё — плоды и зародыши. Семена, унаследованные небольшой кучкой наших друзей и нами самими от наших великих предшественников по труду, мы бросили в новые борозды, и ничто не погибло. Сильные и могучие всходы, так обильно разросшиеся в первые же годы нынешнего царствования, нисколько не отмерли — они пробиваются сквозь потоки грязи, полные гниющих отбросов, которые служат удобрением для грядущего, но подавляют настоящее.

Фаза развития, в которую мы вступили, тяжела и сурова. Она далека от застоя. Прорастание не прекращается, но идет другими путями. Его лихорадит, оно несет на себе все следы продолжительной инкубации болезненных элементов, и весьма сомнительно, чтобы его можно было ускорить, не опасаясь злополучного кризиса или же выкидыша.

Итак, надобно дать пройти кризису, надобно неторопливо следовать за природой и овладеть ею при первой же возможности; но прежде всего — надобно уметь ждать. Это очень тяжело для стариков — быть может, тяжелее, чем для молодых, — но это касается только нас, нас лично. Это неизбежно. Разве не проповедовали мы всегда смирение перед фактами? И притом на нашем языке слово «ждать» никогда не означало *сидеть сложа руки**.

Молодое поколение движется своим путем, оно не нуждается в нашем слове, оно достигло совершеннолетия — и знает это. Другим же нам сказать нечего. Что можем мы сказать маньякам полухищного, полуриторического патриотизма с их золотушным либерализмом и с их проказой православия*, кроме постоянного повторения *memento mori** с прибавлением к нему отнюдь не милосердного совета — поторопиться.

Мы слишком далеко отошли от мнений, господствующих в России, чтобы перебросить мост; не найдется достаточно длинного атлантического кабеля, чтоб услышать нас.

Стараясь спуститься до их уровня, мы отняли бы у нашей газеты ее ярко выраженную индивидуальность, ее нравствен-

ное значение, ее физиономию, столь хорошо знакомую друзьям и недругам в продолжение тринадцати лет — с того времени, как впервые прозвучал ясный звон *Колокола*, сзывая живых, пробудившихся к труду — *Vivos vocando**.

Нет, мы не способны на то восточное самопожертвование, которое побудило отважного военнопленного отрезать себе нос, чтобы заставить нерешительных броситься в атаку...

В тысячу раз лучше искать новую дорогу, и если случится, что мы не найдем ее, то у нас хватит материала, чтобы до конца наших дней изучать странные капризы исторического развития, постоянно сворачивающего, подобно борзой собаке, на самые извилистые и непроходимые тропы — и никогда не сбивающегося с пути.

Спокойно покинем мы наше журналистское поприще, никем не побежденные, никем не опереженные. Никто не сражался с нами, за нашими вызовами никогда не следовала серьезная борьба. Не свинцом и не камнями бросали в нас наши противники, а чем-то отвратительным, что высыхало и опадало, не оставляя на нас пятен.

Бесцеремонность наших противников сначала удивляла нас, затем удивление это прошло. Мы ясно увидели, что они для нас не делали исключения, что и между собой они говорили на том же самом жаргоне и даже на еще более хлестком. Ибо если они ненавидят нас из зависти или за соответствующую мзду, то так же ненавидят и друг друга, да еще с порядочной дозой искреннего и обоюдного презрения.

Прекращение издания «Колокола» вызовет ликование среди наших врагов. Радость противников наших, *не состоящих на жалованье*, не будет однако столь полной, как можно было предполагать. Я обычно отчаиваюсь в людях только *in extremis*. Внутренний голос говорит мне, что к их радости примешаны будут и капли горечи*. Самые ожесточенные из наших врагов набрасывались на нас не только из-за *различия во мнениях* — мы видели это по роду их оружия и по непристойности их союзов.

Впрочем, теперь им легко будет лягать нас по-ослиному. Насколько для меня это окажется возможным — отвечать я им не стану. В случае необходимости «Полярная звезда»

облегчит нам возможность защищаться*. И, разумеется, язык *Колокола* не будет расплавлен — его только подвяжут, а конец веревки останется в наших руках.

Еще одно слово.

Год тому назад я предполагал, что французское издание сможет заменить русский «Колокол»; то была ошибка. Нашим истинным призванием было сзывать своих живых и издавать погребальный звон в память своих усопших — а не рассказывать нашим соседям историю наших могил и наших колыбелей.

Тем более, что это их не слишком-то сильно интересует.

Бернский конгресс мира еще раз показал нам, что голос русских, вообще говоря, довольно неуместен в семейных концертах Запада*. Мы мешаем им, нам присуща неуклюжая, несносная правдивость, бестактность варваров и неумолимая, дерзкая логика. Мы так долго безмолвствовали, подавленные грубой силой, что начинаем говорить слишком много, стоит только *нам вообразить*, будто мы свободны. Обо всем, чего наши старшие братья, обогащенные мудрым опытом, касались только *sub rosa**, отдаленными намеками, украшенными акантовыми и фиговыми листочками, мы готовы кричать с высоты крыш. — Это вызывает возмущение, и от наших простодушных слов отворачиваются.

В момент всеобщей озабоченности тем, как изложить теорию мира, и во время всеобщих приготовлений к войне* мы прекратим наш звон — и никто не заметит этого.

Вот, дорогой друг, мой государственный переворот. Время ему благоприятствует — теперь у нас декабрь*.

И затем — продолжим наш путь, рука об руку, так же, как мы начали его. Смена уже недалеко.

Алекс. Герцен.

1 декабря 1868.



A NOS ENNEMIS

Si nous pouvons nous permettre de quitter nos amis à la *française*, nous ne voulons pas nous séparer de nos ennemis sans adieux. Heureusement, un article publié dans une revue rédigée par le *Katkoff* de la *Gazette de Moscou* nous offre une bonne occasion. Cet article, intitulé *La presse russe à l'étranger*, faisant l'éloge d'un dernier ouvrage de N. Tourguéneff, nous rudoie et coudoie — comme il fallait s'y attendre d'un *ad latus* du rédacteur homme d'Etat.

Et bien, nous parlerons aussi de la *presse russe à l'étranger*. Malheureusement, et j'en fais toutes mes excuses possibles à nos lecteurs, je dois commencer par moi-même.

J'ai quitté la Russie en 1847. Il y avait alors un mouvement intellectuel très remarquable, qui se faisait jour par toutes les fentes, par tous les pores, à travers les doigts de Nicolas. Il n'y avait pas de littérature de dénonciation pour aider la police; le gouvernement, très ignorant, sévissait, offensait — et le mouvement allait son train. La léthargie qui pesait sur la partie éclairée de la Russie, depuis 1825, était finie — *on se réveillait*. L'Université de Moscou, rétrograde et servile maintenant, était à l'apogée de sa gloire. Les doctrines panslavistes à Moscou, le fouriérisme à Pétersbourg et les tendances de la jeunesse vers le réalisme des sciences naturelles témoignaient de ce travail intérieur comprimé, mais énergique, actif. La voix d'une ironie implacable, d'une auto-accusation dans laquelle, au milieu de reproches, de remords, d'indignation, on sentait la force, la vigueur d'une jeunesse non entamée, s'élevait dans la littérature, — irrésistible, entraînant tout.

Ce temps a commencé avec les écrits de Gogol, avec les articles de Bélinsky, vers 1840. Le mouvement actuel trouva sa racine, son germe dans cette période pleine d'activité, d'initiation, de poésie et d'entrain.

On a beau être rénégat, on n'abjure pas facilement les rêves de la jeunesse par des raisons d'Etat. Et je suis convaincu que Katkoff ne se sent pas trop à l'aise, lorsqu'il se rappelle ces années, *avant la chute*, lui si intimement lié avec Bélinsky, lui qui fréquentait si souvent notre cercle chez Ogareff. Traîner dans la boue la religion d'un autre temps, jeter l'injure et la calomnie aux hommes que l'on estimait, *et qui n'ont pas changé*, et cela non par fanatisme, mais par des considérations de position, d'office... est un chien de métier. Que de souvenirs incommodes! que de rencontres ressemblant à des remords de conscience!

Tout changea avec la Révolution de février.

Il est inutile de tracer encore une fois le triste tableau des temps sombres de la terreur noire, sans merci, mesquine et féroce qui suivirent, en Russie, 1848. Je l'ai déjà fait beaucoup de fois. La censure reçut l'ordre de refuser l'*imprimatur* à tous mes articles, sans distinction; la correspondance était impossible, les passeports pour l'étranger ne se délivraient presque pas. Isolé, désœuvré, je m'attelai, vers la fin de 1849, avec Proudhon, à la *Voix du Peuple*. — Une couple de mois plus tard elle était étouffée, on m'expulsa de France en 1850.

Ne sachant où aller, où rester, je voulais, après l'Italie, passer quelques jours en Angleterre — *et j'y restai plus de dix ans*.

C'est dans la solitude *sui generis* de Londres, dans ce désert surpeuplé, que je voyais tous les jours plus clairement que je n'avais rien à faire dans ce milieu des naufragés où le sort m'avait jeté. L'ignorance des questions sociales, l'orthodoxie formaliste des prêtres de la révolution, leurs idées arrêtées, arriérées, les utopies plus redoutables que l'insolence des conservateurs, tout ce monde qui fermentait, qui se décomposait autour de moi, me fit encore une fois penser à Proudhon. Je lui proposai de venir en Angleterre et d'y fonder ensemble une grande revue socialiste. Il acceptait le projet; mais craignant la locomotion comme tous les vrais Français, il ne voulait pas quitter Paris.

Quelques mois après il était obligé de fuir en Belgique — et moi je retrouvai enfin mon *ancree de salut*. Rien de nouveau: c'était l'idée fixe, la pensée directrice de mon adolescence, de ma jeunesse, de toute ma vie — *la propagande russe*.

J'organisai à Londres l'imprimerie libre, et dès l'automne de 1853 j'imprimais, j'imprimais sans le moindre succès. Les cartes se tournèrent avec la mort de Nicolas, le grand tué de Sébastopol.

Tout ce qui aspirait à la liberté, tout ce qui se pressait de sortir à la lumière, d'en finir avec le mutisme imposé, se tourna vers *la presse de Londres*. Son succès était colossal.

En 1857, Ogareff quitta la Russie et vint partager mes travaux. C'est lui qui proposa de publier le *Kolokol* à côté de l'*Etoile Polaire*. Dès ce moment je puis parler au nom de nous deux.

D'abord écoutons les aveux du collaborateur de Katkoff:

On se souvient certainement de l'entraînement et de l'intérêt qu'excitaient alors (1857—1863) les imprimés russes qui paraissaient à l'étranger. Ils étaient lus par les hommes des plus diverses positions sociales, par les vieux et les jeunes, par les savants et les ignorants. Les uns cherchaient en eux les résultats finals de la sagesse européenne et l'explication des questions obscures de la vie russe; d'autres, particulièrement les jeunes gens, voyaient dans ces écrits comme l'accomplissement du sacerdoce de la parole libre, l'amour pour le prochain opprimé, la lutte contre l'injuste et l'arbitraire; il y en avait qui éprouvaient un plaisir de trouver des remarques bien appointées et bien aiguës contre leurs rivaux; d'autres, enfin, qui lisaient par mode. Les libraires exploitaient d'une manière adroite la veine. Les grandes routes, à l'étranger, étaient parsemées d'éditions russes, on pouvait les avoir dans chaque librairie, dans les hôtels, les cafés, les débarcadères, même dans les voitures de chemins de fer.

Les meneurs des éditions étrangères étaient alors à l'apogée de leur gloire et de leur puissance; ils étaient entourés de l'auréole des martyrs; ils attiraient par le mystère, par la *pureté supposée des motifs et des buts*, par la nouveauté du verbe libre plein de passion et de sarcasmes allant droit au but.

Nous pourrions remercier notre éloquent adversaire, s'il n'y avait pas d'aspics cachés sous les fleurs de son bouquet.

Si nous avons eu des succès, c'est parce que nous exprimions la pensée russe, la pensée de tous les réveillés chez nous; parce

qu'on sentait le même battement de cœur. «Vous avez,— me disait un ultrapan slaviste très connu,— contrairement à l'expression de Danton, emporté à l'étranger la terre de votre patrie sous votre semelle, et c'est pour cela que, ne partageant pas vos idées, nous ne pouvons pas nous détacher de vous». Mais qui donc a soupçonné la pureté de nos motifs? qui a découvert nos buts équivoques?

Et quels pouvaient donc être ces motifs qui nous ont fait abandonner la patrie, en laissant une grande partie de nos biens dans les griffes du gouvernement et travailler pour elle une quinzaine d'années? Katkoff n'est pas assez naïf pour croire que l'imprimerie, à Londres, était une bonne affaire de finance, comme l'imprimerie du *Message russe*; ou que la rédaction du *Kolokol* était subventionnée par un comité polonais ou *un dissident russe*. Est-ce qu'il pense, par hasard, que nous avons le monopole des annonces démocratiques et sociales? Il ne le pense pas.— Eh bien! qu'il fasse un petit effort sur lui-même et qu'il nous dise la vérité; il a tant calomnié, tant inventé, noirci, qu'une faible débauche de vérité ne lui fera pas perdre ses habitudes. Qu'il nous dise donc en quoi notre pureté politique est suspecte, en quoi nos buts sont douteux?

Il est vrai que Katkoff nous a inculpés d'avoir incendié une partie de Pétersbourg et une partie de toutes les villes de la Russie; mais c'était une ruse de guerre contre nous et les nihilistes, contre nous et la jeunesse russe. C'est qu'aussi nous avons été coupables, non d'avoir brûlé la Russie, mais d'avoir ridiculisé Katkoff lorsque d'anglomane borné il devint un absolutiste effréné.

Il se vengea, et cela avec une richesse d'imagination que nous ne lui soupçonnions pas. Le roman de l'agence de Toulcha est de toute beauté — il y a là le Comité international, la révolution universelle, Mazzini et un banquier de Londres avec l'initiale T. et, par-dessus, il y a là aussi notre agent, V. Kelsieff.

Or, Katkoff ne prévoyait pas le repentir de Kelsieff. Imprimant *les articles* de Kelsieff dans sa revue, il le désignait comme un des chefs de la bande noire envoyée par nous pour incendier, je ne sais quoi — le Danube peut-être. Kelsieff, comme l'apôtre

Paul, converti sur une grande route, est retourné en Russie; il aime à bavarder de sa carrière révolutionnaire, de sa conversion miraculeuse. Mais Katkoff s'est bien gardé de le questionner sur le fond de la chose concernant l'agence de Toultscha.

Et à quoi bon? La farce a été jouée; les hommes intelligents haussèrent les épaules, mais la canaille réactionnaire le crut.

Ici je demande au lecteur la permission de faire une petite digression.

Un *rouge des rouges* me racontait un jour, à Londres, ses exploits civiques pendant la révolution de Février. Lorsque le peuple s'était installé aux Tuileries, Marrast ou Caussidière donna au rouge en question la mission de veiller sur la propriété de Louis-Philippe. Il arriva au palais, et, immédiatement, avec le coup d'œil d'un commandant et le savoir-faire d'un commissaire de police, il prend ses mesures.

Au moment où il maltraitait un homme qui avait pris un album, si je ne me trompe, et qu'il menaçait de le faire fusiller, un homme sort de la foule et prend énergiquement la défense de l'individu. Il parla si bien, que la majorité commençait à prendre parti pour lui.

«Je vis,— continua l'écarlate,— que les affaires allaient tourner. Alors tout d'un coup je m'écrie: „Ah! c'est toi, misérable!“ L'autre s'arrête tout court. „Tu oses paraître ici! Citoyens, je le connais, c'est un mouchard payé par les partisans du tyran déchu“. L'individu s'élançe contre moi, veut parler, mais la foule se jette sur lui, l'entraîne, et c'est ainsi que je parvins à rétablir l'ordre».

— Est-ce que réellement c'était un mouchard?— demandai-je avec une naïveté hyperboréenne.

— Et qu'en sais-je, moi. C'était pour la première fois que je voyais ce gaillard; il fallait me défaire de lui.

— Pourtant le peuple pouvait le pendre à la première lanterne.

— C'eût été tant pis pour lui. Dans ces bagarres-là on ne regarde pas de si près.— Et il prit une prise de tabac.

Eh bien, Katkoff était dans une de ces bagarres, il fit passer ses adversaires pour des incendiaires. Des hommes ont été per-

sécutés, envoyés en Sibérie, c'est triste, mais on ne regarde pas de si près... Et je ne sais pas si Katkoff prise.

Pendant qu'on nous faisait perdre l'haleine en soufflant sur des charbons, un autre incendie, bien plus important, s'allumait en Pologne.

— Ah! nous y sommes, diront nos adversaires en souriant.

— Oui, nous y sommes.

Nous avons écrit pour la Pologne, nous écrirons encore. Le malheur n'est pas pour nous un droit suffisant pour amener l'abandon. Chaque jour, chaque événement, chaque feuille russe, justifient la position que nous avons prise. Le système implacable d'achever la victime, de dépecer le blessé, de lui arracher tout, jusqu'à la langue, nous dégoûte, ainsi que le rôle odieux que jouent les journaux rédigés par des coquins à la solde, ou par des maniaques désintéressés, par des mouchards par position ou des *grecs* par religion. On connaît trop peu à l'étranger les détails de cette presse obscène, dans laquelle on dénonce journellement les enfants qui parlent le polonais, les jeunes filles qui ne dansent pas avec les officiers russes, dans laquelle on dénonce les larmes des femmes, la tristesse des hommes.

Nous avons protesté contre la persécution inhumaine du gouvernement, nous avons protesté contre cette littérature dépravée de sbires et d'aides-bourreaux qui n'a pas eu de précédents chez nous, et c'est un titre qui nous sera escompté lorsque la Russie se dégriserà.

Maintenant veut-on savoir quelle est notre opinion *sur le fond de la question*? Qu'on se donne la peine de parcourir la série de *Lettres sur la Russie et la Pologne*, dans le *Kolokol*, en 1859 et 1860. Nous ne voulons pas répéter à chaque éclaboussure que nous recevons, notre *credo*. Il a été imprimé, qu'on le lise.

Nous avons toujours sympathisé avec les Polonais *et jamais subi leur influence*.

C'est avec un dédain sans bornes et avec un rire fou que nous lisons les balivernes et les niaiseries d'un général russe qui, servant sa patrie par le glaive et la plume, a publié, *en exécutant la volonté* du grand exécuteur Mouravioff, une histoire détaillée de l'émigration polonaise et de la dernière insurrection. Ce brave guerrier des enquêtes nous fait jouer tantôt le rôle de je ne

sais quelles marionnettes dans les mains des Polonais, tantôt celui des dictateurs occultes.

Nous sommes trop nous-mêmes pour être facilement influencés. Notre estime pour Lelevel, notre amitié pour Worcell, n'allaient pas jusqu'à devenir leur porte-voix. Que l'homme qui me reproche les paroles prononcées sur la tombe d'un ami, me montre en quoi il a vu dans ces larmes l'influence polonaise. Est-ce que par hasard tout ce qui est humain s'appelle être polonais?

Nous avons été contre la prise d'armes en 1863. Aucun encouragement, *aucune promesse* ne sont venus de nous. Nous déitions de donner une seule preuve, une seule. — Pour tant de choses désobligeantes que nous avons dites, ce n'est pas trop demander.

Je pourrais m'arrêter ici, mais à côté des coups de massue, nos adversaires ont encore des coups d'épingles; à côté des coups de dents de loups-cerviers, des piqûres des loups de draps de lit. Nous sommes trop égalitaires pour donner toute la préférence aux mensonges de gros calibre et aux calomnies monstres.

Le grand inconvénient de ces loups domestiques, c'est qu'on descend avec eux des généralités dans les cancan. Mais aussi on ne monte pas l'échelle de Jacob avec maître Katkoff *und seine Gesellen*.

Le quidam du *Messenger* trouve que, parmi les causes qui ont fait déprécier la presse russe à l'étranger, il faut compter les révélations intimes, «qui dévoilèrent sous la couronne des martyrs¹, une forte dose d'amour-propre et d'égoïsme, qui montrèrent que l'amour pour l'opprimé et la haine pour le mal, n'empêchaient pas de rester fort confortablement à Londres ou aux bords du Léman, en envoyant tranquillement des jeunes gens à leur perte et en répondant aux reproches par des sarcasmes». Le manque de logique de la dernière accusation n'en couvre pourtant pas l'idée, et nous croyons nécessaire d'élucider un peu, non la question naïve et enfantine d'égoïsme et d'amour-propre, mais bien la seconde.

Nous n'avions pas de complot, mais une imprimerie; nous faisons tout au grand jour; nous avons *la voix russe libre* et nous

¹ Comme si nous nous faisons passer pour des martyrs? Où et quand?

tâchions de la faire entendre le plus loin possible; nous avons *la Cloche* pour sonner les matines, pour appeler les vivants, les croyants, pour réveiller les endormis.

C'est peut-être très mal que nous nous soyons bornés à ce rôle — mais c'est un fait.

Si nous en avons eu besoin, nous aurions, sans scrupule, envoyé des émissaires et cela en restant à Londres ou à Genève. C'est la plus simple division du travail, l'un va, l'autre reste... selon l'utilité, l'aptitude ou l'accord commun. Lorsque Katkoff poussait au gibet, aux travaux forcés les Polonais, les nihilistes, il n'est pas allé chez son héros à Vilna, pour tirer les jambes des pendus, ou conduire de la forteresse de Pétersbourg, le knout à la main, les déportés en Sibérie. Il se résigna au rôle du pourvoyeur du bourreau, non seulement assis confortablement non loin du «lac des patriarches», dans son cabinet, mais recevant comme récompense l'adulation du Club anglais et l'amitié du tzar russe. Et Aksakoff, le streletz-pope, lorsqu'il faisait appel aux armes, ne changea pas sa plume byzantine pour un fusil: il continua tranquillement d'officier dans le réfectoire orthodoxe de sa rédaction.

Quels sont donc ces jeunes victimes, ces missionnaires que nous avons «poussés à leur perte»? Serait-ce toujours ce pauvre Kelsieff? *Solo, solissimo*. Il a donc raconté lui-même dans son livre que nous lui avons déconseillé l'émigration, qu'il est allé de son gré à Moscou et à Toulcha, et enfin il n'a pas trouvé sa perte, mais *son salut*.

Est-ce qu'on sous-entend Mikhaïloff, le grand martyr du règne? Nous l'avons conjuré de ne pas imprimer sa proclamation. Le gouvernement l'a tué, *mais il y a des témoins vivants*.

Serait-ce le jeune officier de marine, enfant enthousiaste qui, par une délicatesse que nos adversaires ne comprendront pas, emportait *sans nous dire un mot* une masse d'imprimés?

...Avant d'inculper, avant de dénoncer, prenez quelques leçons à la préfecture de Paris, dans cette grande académie de la moucharderie.

Il y avait des imprudents, des têtes chaudes, — qui, comme Isaac, semblaient aller se sacrifier — et restaient sains et saufs. Ils en parlaient à nous comme à tout le monde.

En 1863, par exemple, un jeune officier russe vint me voir à Teddington. Après quelques paroles insignifiantes, il me dit qu'il avait un secret à me confier. «Je me suis décidé à tuer publiquement Mouravioff et à me livrer». Il s'arrêta en croisant les bras sur la poitrine.

Comme ce n'était pas mon affaire ni d'encourager les coups de justice improvisés, ni de détourner le sabre du sein de ce brave capitaine, je me bornai, voyant qu'il se taisait, à lui dire:

— Eh bien?..

— Comment, *eh bien?* — me dit l'officier un peu interdit.

— Eh bien! pourquoi venez-vous me dire cela?

— C'est que j'ai voulu savoir votre opinion à ce sujet.— Il commençait à se fâcher.

— Au lieu de faire une théorie sur l'assassinat, je vais vous raconter une anecdote très vieille, mais très bonne. (Que de fois après j'ai eu l'occasion de la citer.) Un jeune chambellan, après avoir conduit Charles Quint visiter le Panthéon de Rome, dit au souper à son père: «Lorsque j'étais sur la coupole avec l'empereur, l'idée me vint de le pousser». — «Malheureux! — s'écria son père, écumant de rage, — pas un mot de plus!» Le fils se tut. «Jeune homme, — lui dit son père lorsqu'ils furent seuls, — on peut avoir de ces idées, on peut quelquefois les exécuter, mais jamais en parler».

Mon Carl Sand *in spe* me quitta très peu édifié. Un mois après il était à Dresde (non à Vilna) et racontait mystérieusement à qui voulait l'entendre qu'il allait en Pologne avec *une mission importante qu'il tenait de nous...* Et toutes ces choses nous restaient sur le dos.

Le *Messenger* de Katkoff va plus loin. (Prenez garde, lecteurs, deux marches plus bas, et dans la boue.) Après avoir cité une brochure crasseuse, qui sent à distance l'eau-de-vie de la police et l'oignon du clergé¹ il continue: «*Dans les révélations que l'on publie à l'étranger, se trouvent à chaque pas des faits dans le genre de détournements d'argent, d'abus de confiance, de produits de collectes escamotés.*»

¹ «Нынешнее состояние России и заграничные русские деятели». Издание второе. Берлин, 1868.

Ces inculpations on les fait planer avec préméditation et assez adroitement sur toute l'émigration. Et pourtant les seules fois que nous avons été mêlés à des filouteries et à des escamotages, c'est lorsqu'on nous a *carottés*. Par exemple, le gouvernement russe s'est emparé, en 1850, d'une somme de 10 000 francs qui m'appartenait, il a pris tout mon revenu *depuis ce temps*. Un littérateur russe non émigré, étant très lié avec Ogareff, lui a *volé* une somme de plus de cent mille francs. C'est très bête d'être dupe, j'en conviens, mais on ne gagne pas pour cela l'honneur d'être escroc.

Au lieu de nous jeter la boue et les calomnies, pourquoi n'attaquent-ils pas sérieusement nos principes? Il est facile de dire d'un air de magister d'école: «Le temps du socialisme est passé». Et cela le lendemain du Congrès de Bruxelles, le lendemain de la grève de Genève, à deux pas du mouvement des ouvriers allemands, — et cela au milieu du réveil des questions sociales avec une force décuple, dans toute l'Europe, sans en excepter l'Angleterre...

Et quel moyen misérable de nous faire passer pour ennemis de la Russie, parce que nous attaquons le régime actuel. Serfs non affranchissables, ils n'ont aucune idée de l'indépendance humaine. Que de fois nous leur avons expliqué que les hommes de 93 n'étaient pas des ennemis de la France, et que nos Décembristes de 1825 aimaient passionnément la Russie. C'est du grec pour eux; le bon valet est le valet obéissant, muet, passif ou faisant l'éloge de la main qui le châtie.

En parlant de mon article sur le Congrès de Genève: «Voilà, — s'écrie le *Messenger*, — un défenseur *inattendu* de la Russie». Mais qu'ai-je donc fait pendant toute ma vie en Russie, hors de Russie? Comme si notre existence à nous, était quelque autre chose qu'une *défense non interrompue de la Russie*, du peuple russe contre ses ennemis à l'intérieur et à l'extérieur, contre les tarés, les imbéciles, les fanatiques, les gouvernants, les doctrinaires, les laquais, les vendus, les fous, les Katkoff et les autres sabots sur la roue du progrès russe?

Aimables hiboux de la volière de la Pallas classique, un peu plus d'esprit, s'il vous plaît, et allez vous coucher! — Il commence à faire jour!

НАШИМ ВРАГАМ

Если мы можем себе позволить покинуть друзей своих *на французский лад**, то не хотим расстаться со своими врагами не попрощавшись. К счастью, статья, опубликованная в журнале, редактируемом *Катковым* из «Московских ведомостей», предоставляет нам подходящий случай. Статья эта, озаглавленная «Русская печать за границей»*, восхваляя последний труд Н. Тургенева, третирует и лягает нас, как и следовало ожидать от *ad latus* редактора — государственного деятеля*.

Что ж, в таком случае и мы поговорим о *русской печати за границей*. К несчастью, — и я прошу прощения за это у наших читателей, — мне придется начать с самого себя.

Я покинул Россию в 1847 году. Тогда происходило весьма замечательное умственное движение, пробивавшееся сквозь все щели, сквозь все поры, сквозь пальцы Николая. Литературы доносов — в помощь полиции — не существовало; правительство, чрезвычайно невежественное, жестоко наказывало, оскорбляло — однако движение не прекращалось. Лютаргический сон, сковывавший просвещенную часть России с 1825 года, окончился — *началось пробуждение*. Московский университет, ныне ретроградный и раболепный, находился тогда в апогее своей славы. Панславистские учения в Москве, фурьеризм в Петербурге и тяга молодежи к реализму естественных наук свидетельствовали об этой внутренней работе, приглушенной, но энергичной, деятельной. Голос неумолимой проны, самообвинения, в котором, наряду с упреками, угрозами совести, возмущением, ощущалась мощь нетронутости юности, подымался в литературе — несокрушимый, всеувлекающий.

Период этот открылся произведениями Гоголя, статьями Белинского — около 1840 года. Современное движение обрело свое начало, свой зародыш в этом периоде, исполненном деятельности, инициативы, поэзии и увлечения.

Каким бы ренегатом вы ни были, нелегко отречься от мечтаний своей юности ради государственных соображений. И я убежден, что Катков не слишком хорошо себя чувствует, когда

вспоминает эти годы, *до падения*, — он, так тесно связанный с Белинским, так часто посещавший наш кружок в доме Огарева*. Волочить по грязи верования прежних лет, осыпать бранью и клеветой людей, которых уважал и которые не изменились, и делать это не из фанатизма, а из карьеристских, служебных побуждений... это дрянное занятие. Сколько докучных воспоминаний! Сколько встреч, похожих на угрызения совести!

Все изменилось с Февральской революцией.

Бесполезно снова рисовать печальную картину этого мрачного периода гнусного, беспощадного, мелочного и свирепого террора, наступившего в России после 1848 года. Я уже много раз делал это. Цензура получила приказ не давать *imprimatur*¹ всем моим статьям без исключения; переписка стала невозможной; заграничные паспорта почти не выдавались. Одинокий, ничем не занятый, я впрягся в конце 1849 года, вместе с Прудоном, в «*La Voix du Peuple*»*. — Несколько месяцев спустя газета была задушена; меня изгнали из Франции в 1850 году*.

Не зная, куда ехать, где оставаться, я намерен был, после Италии, провести несколько дней в Англии — и *оставался там более десяти лет**.

И в этом *sui generis*² лондонском одиночестве, в этой перенаселенной пустыне, я с каждым днем все отчетливей видел, что мне нечего делать среди потерпевших крушение, к которым меня забросила судьба. Невежество в общественных вопросах, формальное правоверие священнослужителей революции, их окостеневшие, отсталые идеи, утопии, более опасные, чем наглость консерваторов, — весь этот окружавший меня мир, находившийся в состоянии брожения и распада, заставил меня снова подумать о Прудоне. Я предложил ему переехать в Англию и основать там совместно со мной большой социалистический журнал*. Он принял этот план, но, как все истые французы, боясь перемены места, он не захотел покинуть Париж.

¹ разрешения печатать (лат.). — *Ред.*

² своеобразном (лат.). — *Ред.*

Несколько месяцев спустя он вынужден был бежать в Бельгию, а я — я обрел, наконец, свой *якорь спасения*. Ничего нового: то была навязчивая идея, руководящая мысль моей юности, моей молодости, всей моей жизни — *русская пропаганда*.

Я основал в Лондоне вольную типографию и, начиная с осени 1853 года, печатал, печатал без малейшего успеха. Все изменилось со смертью Николая, главной жертвы Севастополя.

Все, что рвалось к свободе, все, что спешило выйти к свету, покончить с насильственной немотой, обратилось к *лондонской печати*. Успех ее был огромен.

В 1857 году Огарев покинул Россию* и приехал разделить со мной мои занятия. Именно он предложил издавать «Колокол» наряду с «Полярной звездой». С той поры я могу говорить от нашего общего имени.

Послушаем же, прежде всего, признания человека, сотрудничавшего с Катковым*:

Всем, конечно, памятно увлечение и интерес, какие возбуждали тогда (в 1857—1863 гг.) русские печатные издания, появившиеся за границей. Их читали люди самого разнообразного общественного положения, старые и молодые, ученые и неучившиеся. Одни искали в них конечные результаты европейской мудрости и разъяснение темных вопросов русской жизни; другие, по преимуществу молодежь, видели в этих сочинениях как бы воплощение священнодействия свободы слова, любви к угнетенному ближнему, борьбу с неправдой и насилием; некоторые испытывали удовольствие, находя там отлично заостренные и отточенные выпады против своих соперников; другие же, наконец, читали ради моды. Книгопродавцы искусно использовали эти настроения. Основные заграничные дороги были усеяны русскими изданиями, их можно было достать в каждом книжном магазине, в отелях, в кофейнях, на станциях и даже в вагонах железных дорог.

Вожди заграничных изданий были тогда на верху своей славы и силы; их окружал ореол мученичества; они привлекали таинственностью, предполагаемую чистой побуждений и целей, новизной свободного слова, исполненного страсти и сарказмов, идущего прямо к цели.

Нам следовало бы поблагодарить нашего красноречивого противника, если б только в цветах его букета не скрывались аспиды.

Если мы имели успех, то потому, что были выразителями русской мысли, — мысли всех пробудившихся на нашей родине, потому что чувствовали то же биение сердца. «Вы, — говорил мне один весьма известный ультрапанславист, — вопреки выражению Дантона, унесли с собой за границу на подошвах землю своей родины, и вот почему, не разделяя ваших мнений, мы не можем от вас отказаться»*. Но кто же сомневался в чистоте наших побуждений? кто выведаль наши двусмысленные цели?

И каковы же могли быть побуждения, которые заставили нас покинуть родину, оставив большую часть своего состояния в когтях правительства*, и работать для нее около пятнадцати лет? Катков не так простодушен, чтобы поверить, будто типография в Лондоне была выгодным денежным предприятием — таким же, как типография «Русского вестника», — или же будто редакция «Колокола» получала денежное пособие от какого-нибудь польского комитета или какого-нибудь *русского раскольника**. Уж не думает ли он, что мы взяли на откуп демократические и социалистические объявления? Этого он не думает. — Так пусть же он сделает над собой некоторое усилие и скажет нам правду; он столько клеветал, столько измышлял, чернил, что легкая невоздержность в правде не погубит в нем его привычек. Пусть же он скажет нам, какие подозрения возбуждает наша политическая безупречность, что сомнительного в наших целях?

Действительно, Катков обвинял нас в том, что мы сожгли часть Петербурга и часть всех городов России; но то была военная хитрость против нас и нигилистов, против нас и русской молодежи. А виновны мы были не в том, что сожгли Россию, а в том, что осмеяли Каткова, когда из умеренного англомана он превратился в оголтелого абсолютиста.

Он отомстил за себя и проявил при этом такое богатство воображения, какого мы в нем и не подозревали — Роман о Тульчинском агентстве поистине великолепен: там вы найдете и международный комитет и всемирную революцию, Маццини и лондонского банкира с инициалом Т., и, сверх того, там есть наш агент В. Кельсиев*.

Да, Катков не предвидел, что Кельсиев раскается. Печатаемая статья Кельсиева в своем журнале, он называл его одним из вождей черной шайки, направленной нами для поджога не знаю чего — быть может, Дуная. Кельсиев, как апостол Павел, обращенный на большой дороге, возвратился в Россию; он любит болтать о своем революционном поприще, о своем чудесном обращении. Но Катков остерегся расспрашивать его о сущности дела, касающегося Тульчинского агентства.

И к чему это? Прodelка удалась; умные люди пожалели плечами, но реакционная сволочь в нее поверила.

Здесь я прошу читателя разрешить мне маленькое отступление.

Один *красный из красных* рассказывал мне как-то, в Лондоне, о своих гражданских подвигах во время Февральской революции. Когда народ водворился в Тюильри, Марраст или Косидьер поручил вышеупомянутому красному бдительно охранять имущество Людовика-Филиппа. Он прибыл во дворец и тотчас же, с опытным взглядом коменданта и расторопностью полицейского комиссара, принял свои меры.

В ту минуту, когда он бранил человека, который взял, если не ошибаюсь, что-то вроде альбома и которому он грозил за это расстрелом, из толпы выходит какой-то человек и энергично вступает за этого субъекта. Он говорил так хорошо, что большинство начинало склоняться на его сторону.

«Я увидел, — продолжал ярко-красный, — что дела принимают дурной оборот. Тогда я вдруг закричал: „А! это ты, негодяй!“ Тот опешил. „Ты смеешь показываться здесь! Гражданин, я знаю его, это шпион, оплачиваемый сторонниками свергнутого тирана“. Человек этот устремляется ко мне, хочет что-то сказать, но толпа набрасывается на него, тащит его за собой, и таким-то образом мне удалось восстановить порядок»

— И это действительно был шпион? — спрашиваю я с гиперборейской наивностью.

— А почему я знаю? Я встретился с этим молодчиком впервые; мне надобно было от него отделаться.

— Но ведь народ мог его повесить на первом же фонаре.

— Тем хуже было бы для него. Когда попадаешь в такую передрагу, в подробности уже не вникаешь.— И он сунул себе в нос поюшку табаку.

Так вот, Катков попал в такую передрагу, и он выдал своих противников за поджигателей. Людей преследовали, ссылали в Сибирь, это печально, но вникать в это незачем... А я и не знаю, нюхает ли Катков табак.

В то время, как нас заставляли дуть, запыхавшись, на угли, другой пожар, гораздо более значительный, вспыхнул в Польше.

— А! Наконец-то заговорили об этом,—скажут, ухмыляясь, наши противники.

— Да, мы заговорили об этом.

Мы писали в пользу Польши и будем писать еще. Несчастье еще не дает нам достаточного права покинуть ее. Каждый день, каждое событие, каждый номер русской газеты оправдывают занятую нами позицию. Неумолимая система, при которой добивают жертву, режут раненого на куски, вырывают у него все, вплоть до языка, нам столь же отвратительна, как и гнусная роль, которую играют газеты, редактируемые наемными плутами или бескорыстными маньяками, полицейскими шпионами по должности или же *греками** по религии. За границей слишком мало известна эта бессовестная пресса, в которой ежедневно доносят на детей, говорящих по-польски, на девушек, не танцующих с русскими офицерами, — пресса, в которой доносят на слезы женщин, на скорбь мужчин.

Мы протестовали против бесчеловечной травли, организованной правительством, мы протестовали против этой растленной литературы сбиров и подручных палачей, не имевшей у нас прецедентов,— и это заслуга, которая будет нам зачтена, когда Россия отрезвет.

Не хотите ли теперь узнать наше мнение *о сущности этого вопроса?* Возьмите на себя труд просмотреть серию «Писем о России и Польше» в «Колоколе» за 1859 и 1860 годы*. Мы не хотим повторять свое кредо всякий раз, когда нас обрызгивают грязью. Оно появилось в печати, пусть его читают.

Мы всегда сочувствовали полякам, *но никогда не поддавали под их влияние.*

С безграничным презрением и с безудержным смехом читаем мы вздор и нелепости одного из русских генералов, который, служа отчизне мечом и пером, опубликовал, *повинуясь воле* главного палача Муравьева, подробную историю польской эмиграции и последнего восстания*. Этот храбрый вояка на поприще дознаний заставляет нас играть роль то марионеток в руках поляков, то тайных диктаторов.

Мы слишком являемся самими собой, чтобы легко поддаваться влияниям. Наше уважение к Лелевелю, наша дружба с Ворцелем не доходили до того, чтобы мы превратились в их рупор. Пусть же человек, упрекающий меня за слова, произнесенные на могиле друга*, укажет мне, где обнаружил он в этих слезах польское влияние. Неужели все, что гуманно, называется польским?

Мы были против вооруженного восстания в 1863 году. Ни единого слова поощрения, *ни единого обещания от нас* не исходило. Мы предлагаем представить доказательство, хотя бы одно доказательство. — После стольких нелестных замечаний, высказанных нами, это предложение не так уже чрезмерно.

Я мог бы на этом кончить, но наряду с ударами дубины противники наши пускают в ход еще и булавочные уколы; наряду с укусами лесных волков—укусы волков постельных. Мы слишком стоим за равенство, чтоб отдавать все предпочтение лжи большого калибра и чудовищным клеветам.

Огромное неудобство этих домашних волков заключается в том, что с ними опускаешься от общих понятий к сплетням. Но ведь и с маэстро Катковым *und seine Gesellen*¹ тоже не подымаешься по лестнице Иакова.

Некая личность из «Вестника» находит, что к причинам, вызвавшим разочарование в русской заграничной печати, следует отнести интимные признания, «которые обличали под венцом мученичества² *сильную дозу самолюбия и эгоизма*, которые показывали, что *любовь к угнетенному и ненависть ко*

¹ и его подмастерьями (нем.).— *Ред.*

² Как будто мы когда-нибудь выдавали себя за мучеников? Где и когда?

злу не мешают самым комфортабельным образом оставаться в Лондоне или на берегах Лемана, спокойно посылая молодежь на погибель и отвечая на упреки сарказмами». Отсутствие логики в последнем обвинении не скрывает однако его смысла, и мы считаем необходимым несколько разъяснить его — не простодушный и детский вопрос об эгоизме и самолюбии, а второй.

У нас был не заговор, а типография; мы все делали открыто; мы обладали *свободным русским голосом* и старались, чтобы он был слышен возможно дальше; у нас был *Колокол*, чтобы звонить к заутрене, чтобы сзывать живых, верующих, чтобы будить уснувших.

Очень плохо, быть может, что мы ограничились одной этой ролью, но дело обстояло именно так.

Если бы нам потребовалось, мы безо всякой щепетильности отправляли бы своих эмиссаров и делали бы это, оставаясь в Лондоне или в Женеве. Это наипростейшее разделение труда — один едет, другой остается... в зависимости от полезности, способностей или же общего соглашения. Когда Катков толкал поляков, нигилистов на виселицу, на каторгу, он не отправлялся к своему герою в Вильну* — дергать за ноги повешенных, не сопровождал с кнутом в руке ссыльных из петербургской крепости в Сибирь. Он примирился с ролью поставщика палача, не только комфортабельно расположившись в своем кабинете неподалеку от Патриарших прудов, но получая в награду низкопоклонство Английского клуба и дружбу русского царя. И Аксаков, сей стрелец-поп, призывая к оружию, не сменил на ружье свое византийское перо: он спокойно продолжал совершать богослужение в православной трапезной своей редакции.

Но кто же однако эти юные жертвы, эти миссионеры, которых мы «толкали на погибель»? Идет ли речь все о том же бедняге Кельсиеве? Solo, solissimo¹. Но ведь он сам рассказал в своей книге, что мы отсоветовали ему эмигрировать, что он по собственному желанию отправился в Москву и в Тульчу и, наконец, что не гибель он там себе нашел, а *спасение**.

¹ Один-единственный (итал.). — *Ред.*

Не имеют ли в виду Михайлова, великого мученика нынешнего царствования? Мы заклинали его не печатать своей прокламации. Правительство убило его, *но остались живые свидетели**.

Не морской ли это офицер, восторженный ребенок, увезший, не *сказав нам ни слова* — из деликатности, которую противники наши не поймут, — множество печатных изданий?*

...Прежде чем обвинять, прежде чем доносить, возьмите-ка несколько уроков в парижской префектуре, в этой великой академии шпионства.

Попадались люди неосторожные, горячие головы, которые, подобно Исааку, казалось, шли на самозаклание, — и остались целы и невредимы. Они говорили об этом нам, как и всем кому придется.

В 1863 году, например, молодой русский офицер навестил меня в Теддингтоне. После нескольких незначительных слов он заявил мне, что должен посвятить меня в один секрет. «Я решил убить на глазах у всех Муравьева и сдать». Он остановился, скрестив руки на груди.

Поскольку не моим делом было поощрять импровизированные расправы правосудия или же отводить саблю от груди храброго полководца, я, увидев, что он замолчал, ограничился следующим замечанием:

— За чем же дело стало?..

— Как *за чем?* — сказал мне офицер, несколько опешив.

— Зачем вы мне сейчас это сказали?

— А затем, что мне хотелось знать ваше мнение по этому поводу. — Он начинал сердиться.

— Вместо того чтобы создавать теорию убийства, я расскажу вам очень старую, но очень хорошую историю. (Сколько раз впоследствии представлялся мне случай на нее сослаться.) Один молодой камергер, водивший Карла Пятого по римскому Пантеону, сказал потом за ужином своему отцу: «Когда я был на куполе с императором, мне пришла в голову мысль — столкнуть его вниз». — «Негодяй! — закричал его отец с пеной у рта, — ни слова больше!» Сын замолчал. «Молодой человек, — сказал ему отец, когда они остались одни, — можно иметь

такие мысли, можно иногда приводить их в исполнение, но говорить о них нельзя никогда».

Мой Карл Занд in spe покинул меня очень мало удовлетворенный. Месяц спустя он оказался в Дрездене (а не в Вильне) и с таинственным видом рассказывал всем желавшим его слушать, что он отправляется в Польшу *с важным поручением, полученным им от нас...* И за все это мы несли ответственность.

Катковский «Вестник» идет еще дальше. (Осторожней, читатели, двумя ступеньками ниже — и в самую грязь.) Процитировав одну гнусную брошюрку, от которой еще издали несет полицейской водкой и поповским луком¹, он продолжает: *«В откровениях, печатающихся за границей, на каждом шагу попадают факты вроде расхищения денежных сумм, злоупотребления доверием, кражи собранных пожертвований».*

Эти обвинения намеренно и довольно ловко распространяют на всю эмиграцию. И тем не менее мы оказывались впутанными в мошеннические и воровские проделки только в тех случаях, когда *надували* нас. Например, русское правительство захватило в 1850 году принадлежавшую мне сумму в 10 000 франков, оно забирало себе весь мой доход *с этого же времени*. Один русский литератор, не эмигрант, тесно связанный с Огаревым, *украл* у него сумму более чем в сто тысяч франков*. Чрезвычайно глупо быть одураченным, я согласен с этим, но ведь это не придает особой чести и мошеннику.

Вместо того, чтобы поливать нас грязью и клеветать на нас, почему бы им не оспорить всерьез наши принципы? Легко сказать с видом деревенского школьного учителя: «Время социализма прошло». И это на следующий день после Брюссельского конгресса, на следующий день после Женевской забастовки, в двух шагах от немецкого рабочего движения* — и это в то время, когда с удесятенной силой пробудились социальные вопросы во всей Европе, не исключая Англии...

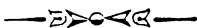
И что за жалкое средство — выдавать нас за врагов России потому, что мы нападаем на нынешний режим. Крепостные, которым не суждено стать свободными, они не имеют ни

¹ «Нынешнее состояние России и заграничные русские деятели». Издание второе. Берлин, 1868*.

малейшего представления о человеческой независимости. Сколько раз объясняли мы им, что люди 93-го года не были врагами Франции и что наши декабристы 1825 года страстно любили Россию. Для них это китайская грамота; хороший лакей — это лакей покорный, немой, пассивный или же восхваляющий наказывающую его руку.

Рассуждая о моей статье по поводу Женевского конгресса*: «Вот, — воскликнул „Вестник“, — *неожиданный* защитник России». Да что же я делал всю свою жизнь в России, вне России? Как будто наша жизнь была чем-нибудь иным, как не *постоянной защитой России*, русского народа от их внутренних и внешних врагов, от подлецов, глупцов, фанатиков, правителей, доктринеров, лакеев, продажных, безумцев, Катковых и прочих тормозов на колесе русского прогресса?

Милейшие совы из птичника классической Паллады*, помнейте же немножко и отправляйтесь-ка спать! — Начинает заниматься день!



UN METIER DE GRAND-DUC

Dans la division du travail que font ordinairement entre elles les familles régnantes, il y a toujours un prince libéral, frondeur, boudeur, mécontent; et c'est déjà un progrès lorsque le besoin de cette division du travail se fait sentir. C'est une reconnaissance négative que les affaires ne marchent pas trop bien. Sous Nicolas il n'y avait rien de pareil — son frère Michel n'avait que le droit aux calembours, et le prince d'Oldenbourg celui de ne pas les comprendre. Depuis, les événements ont marché. Au commencement du règne c'était l'empereur lui-même qui était le frondeur de la famille, qui faisait — l'auto-opposition. On peut s'imaginer le gâchis qui s'en suivait. Après lui c'était le grand-amiral Constantin, qui s'est noyé dans les eaux douces d'un *étang* d'Etat à Pétersbourg. La grande-duchesse Hélène, l'Iphigénie en Crimée (Tauride), le remplaçait quelquefois, donnant son denier de la veuve, mais cela n'allait pas. La place restait vacante; enfin, plus heureuse que la chaise d'Isabelle, elle a trouvé son homme-duc.

Ce duc, c'est prince héritier présomptif.

Les mauvaises langues disent qu'il y a un comité, composé de généraux, d'un archevêque et d'un journaliste K., qui est chargé d'élaborer les impromptus libéraux du grand-duc. Nous n'y croyons pas. D'abord, qui est le journaliste K.? Nous avons deux K. célèbres parmi nos publicistes, c'est donc un *cas* litigieux. Au reste, que nous importe lequel des K.K. a inventé une anecdote que l'on raconte partout. Elle n'est pas mauvaise.

On discutait nous ne savons quoi au Conseil d'Etat. La question était certainement portée hors de l'entendement humain. C'est tout clair pour celui qui connaît la composition de cette

académie. Naturellement le grand-duc n'avait rien compris et l'avoua. Après la séance, le grand-amiral surnage de son aquarium, s'approche de lui, le trident en main, et lui fait des reproches. Le jeune homme, pris au dépourvu, pensant que c'est sa faute, dit très naïvement:

— Et pourquoi ne m'a-t-on rien appris?

— Mais que feras-tu donc *en cas...*?

— Ne vous faites pas de mauvais sang, — répondit l'empereur *in spe*; — il y aura *alors* des ministres responsables, qui devront, bon gré, mal gré, comprendre.

Nous lui tiendrons compte de cela, *même s'il ne l'a pas dit*.

ПЕРЕВОД

РЕМЕСЛО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ

При разделении труда, которое обычно устанавливают между собой члены царствующих фамилий, всегда находится один либеральный, фрондирующий, надувшийся, недовольный принц; и в том, что ощущается необходимость подобного разделения труда, уже виден некоторый прогресс. Это негативное признание, что дела идут не блестяще. При Николае ничего подобного не было — его брат Михаил пользовался лишь правом на каламбуры, а принц Ольденбургский — правом не понимать их. С той поры многое изменилось. В начале нынешнего царствования таким фрондером в семье являлся сам император, пребывавший в самоопозиции*. Можно вообразить, какой это вызывало переполох. Вслед за тем наступил черед генерал-адмирала Константина, утонувшего в пресных водах государственного *пруд*а в Петербурге*. Великая княгиня Елена, Ифигения в Крыму (Тавриде), временами заменяла его, внося и свою лепту вдовицы*, но дело не двигалось. Место оставалось вакантным; наконец, более счастливое, чем кресло Изабеллы*, оно нашло своего князечеловека.

Этот князь — наследник-цесаревич.

Злые языки утверждают, что существует комитет, состоящий из генералов, архиепископа и журналиста К., которому поручено придумывать либеральные экспромпты для великого

князя. Мы не верим этому. Прежде всего — кто этот журналист К.? Среди наших публицистов есть *два* знаменитых К.*, следовательно, это *вопрос* спорный. Впрочем, не все ли нам равно, какой из К.К. сочинил анекдот, который рассказывают повсюду. Он совсем недурен.

В Государственном совете что-то обсуждалось, не знаем что именно. Вопрос, несомненно, был вынесен за пределы человеческого разума. Это совершенно ясно для всех, кому знаком состав этой академии. Великий князь, естественно, ничего не понял и признался в этом. После окончания заседания выплывает из своего аквариума с трезубцем в руке генерал-адмирал, приближается к наследнику-цесаревичу и начинает его распекать. Застигнутый врасплох, молодой человек, считая себя виноватым, весьма простодушно спрашивает:

— Но отчего же меня ничему не научили?

— А что же ты будешь делать в *случае если...*?

— Не стоит вам портить себе кровь, — отвечал император *in spe*, — *тогда* найдутся ответственные министры, которые волей-неволей обязаны будут понимать.

Мы ему припомним это, *даже если он этого и не сказал.*



LE BRIGANDAGE DES EMPLOYES

Les journaux russes racontent que dans le gouvernement de Novgorod, *donc à deux pas* de Pétersbourg, s'est passé le suivant acte de brigandage. Le *stanovoï* (employé de police) avec le *starost* (l'ancien du village) arrivèrent pour prendre des mesures contre l'incendie de la forêt, près d'un village. Profitant de l'occasion, ils entrèrent dans le village même, et prenant prétexte d'une petite somme qu'un paysan riche n'avait pas payée à la couronne, le *stanovoï* entra dans sa maison. Le paysan demande une heure de temps pour effectuer le paiement. Pas de quartier, le Cartouche au service impérial ordonne d'enfoncer les coffres et emporte pour *sept cents* francs de peaux de moutons (le paysan était tanneur), de bottes, pelisses, gants etc. La somme que le paysan devait à la couronne ne représentait pas même la moitié des effets pillés.

П Е Р Е В О Д

ЧИНОВНИЧИЙ РАЗБОЙ

Русские газеты рассказывают, что в Новгородской губернии, *следовательно, в двух шагах* от Петербурга, произошел следующий случай разбоя*. Становой (полицейский чиновник) и староста (деревенский старейшина) приехали принять меры против лесного пожара, случившегося недалеко от деревни. Воспользовавшись этим поводом, они заехали в самую деревню, и под предлогом взыскания небольшой суммы, не выплаченной одним богатым крестьянином в казну, становой вошел

в его дом. Крестьянин просит предоставить ему час времени для уплаты долга. Ни четверти часа. Каргуш императорской службы приказывает взломать сундуки и уносит на *семьсот* франков овчины (крестьянин этот был кожевником), сапог, тулупов, рукавиц и пр. Сумма, которую крестьянин должен был казне, не составляла и половины стоимости уворованных вещей.



L'ELOQUENCE DE LA NOBLESSE

Nous prenons dans le *Golos* du 5 novembre un exemple unique et triple de la magnanimité d'un tzar, de l'éloquence d'un noble et de la justice d'une noblesse. Un propriétaire du gouvernement de Smolensk a été, en 1852, jugé pour sa conduite barbare (и́стязание) envers un serf âgé de 60 ans qui ne lui appartenait pas. (Il l'a probablement fouetté à mort.) Le tribunal, tout inique que les tribunaux étaient alors, condamna le sauvage à une année de prison et à la perte de quelques droits. L'empereur (O Nicolas! ô mon roi!), trouvant la punition trop sévère, diminua la peine de six mois.

Cette année, le 5 septembre, le knouteur vint aux élections des propriétaires, et comme il se trouvait des membres qui contestaient son droit de prendre part aux élections (conformément à la loi), le brave membre de la digne noblesse prononça un bijou de speech. Nous donnons la conclusion telle que la donne le *Golos*, c'est réellement un chef-d'œuvre, et un chef-d'œuvre sans précédents dans les fastes d'éloquence. L'orateur, dit ce journal, pria l'assemblée de se souvenir pourquoi il avait été sous jugement. *«J'ai rossé un paysan,— s'écria-t-il. — Mais qui donc de vous n'a pas rossé les paysans au temps du servage? Il nous en conférait le droit. Ma culpabilité ne consistait que dans une faute: entraîné par le droit du servage, j'ai commis une erreur, et au lieu de verges j'ai employé un fouet de cocher qui me tomba sous les mains».*

Après cette noble allocution, le président consulta la noblesse, si elle pensait que ce Démosthènes soit digne de prendre part aux élections.—On cria de tous côtés: «Oui, oui, il est digne! il est digne!»

Vive la noblesse!

ДВОРЯНСКОЕ КРАСНОРЕЧИЕ

Мы заимствуем из «Голоса» от 5 ноября* единственный в своем роде и тройственный пример великодушия царя, красноречия некоего дворянина и справедливости дворянства. Один помещик Смоленской губернии в 1852 году был отдан под суд за варварское истязание чужого шестидесятилетнего крепостного человека. (Он, по-видимому, засек его до смерти.) Суд, столь же неправедный, как и другие суды того времени, приговорил этого дикаря к году тюрьмы с лишением некоторых прав. Император (о Николай! о государь мой!), найдя эту кару слишком суровой, сократил срок наказания до шести месяцев*.

В нынешнем году, 5 сентября, этот кнутобоец явился на помещичьи выборы, и так как нашлись члены, оспаривавшие его право на участие в выборах (в соответствии с законом), почтенный член достойного дворянского сословия произнес прелестный спич. Мы приводим заключительную часть спича в том виде, как ее передает «Голос», — это поистине шедевр, и шедевр беспримерный в летописях красноречия. Оратор, сообщает газета, попросил собрание вспомнить, за что он был отдан под суд. «Я высек мужика, — вскричал он. — Но кто ж из вас не сек мужиков во время крепостного состояния? Это право было нам даровано. Моя вина состояла лишь в одной погрешности: увлекшись крепостным правом, я точно сделал ошибку: вместо розог употребил попавшуюся мне под руку кучерскую плеть».

После сей благородной речи председатель посовещался с дворянством, не считает ли оно этого Демосфена достойным участия в выборах. — Со всех сторон раздались крики: «Да, да, он достоин! он достоин!»

Да здравствует благородное сословие!





¿EST-IL VRAI?

1° Que le grand-duc Voldémar a trouvé, à Omsk, un cosaque qui était en prison depuis *six ans*, et que personne, pas même le gouverneur, n'en connaissait la cause? On dit que ce cosaque a raconté au grand-duc comment *on assassine et on fait geler* des hommes dans les carrières des mines, et que cela se fait sous la protection et avec l'autorisation de l'*administration*.

2° Que l'archevêque de Riazan, IRINARC, est confiné dans un cloître pour avoir, par distraction, porté la main sur 17 000 roubles en argent appartenant à la cathédrale? On dit qu'il avait aussi une faiblesse pour un Moldave et pour les pierreries qui ornent les images, et que le Moldave a été pincé fouillant un peu la Vierge. On ajoute que le bon, le classique comte Tolstoï, ministre de l'instruction publique, a très bien su voiler toute l'histoire, ne voulant pas imiter le fils cynique de Noé et montrer les nudités terrestres de sa mère l'Eglise orthodoxe.

3° Que la farine que l'on vendait dans la Sibérie orientale coûte maintenant de 1 r. 50 cop. à 1 r. 80 cop. et qui ne coûtait naguère 20 et 25 cop. par poud, et cela grâce à l'intervention du général-gouverneur Korsakoff. On ajoute qu'à Irkoutsk on force les paysans à vendre leur blé non aux personnes de leur choix, mais aux personnes désignées par l'administration?

ПЕРЕВОД

¿ПРАВДА ЛИ?

1. Что великий князь Владимир обнаружил в Омске казака*, который *шесть лет* просидел в тюрьме и никто, даже сам губернатор, не знал, за что именно? Говорят, что казак

рассказал великому князю, как *убивают и замораживают* людей в рудниках и что это делается под покровительством и с разрешения *администрации*.

2. Что архиепископ рязанский ИРИНАРХ заточен в монастырь за то, что по рассеянности наложил лапу на 17 000 рублей серебром, принадлежавших кафедральному собору? Говорят, что он питал также слабость к некоему молдаванину и к драгоценным камням, украшающим иконы, и что этот молдаван был застигнут в то время, когда он легонько обшаривал пресвятую деву. К этому прибавляют, что добрый, классический граф Толстой, министр народного просвещения, отлично сумел скрыть всю эту историю, не желая подражать циничному Ноеву сыну и показывать земную наготу своей матери православной церкви.

3. Что мука, которую продавали в Восточной Сибири, стоит теперь от 1 рубля 50 копеек до 1 рубля 80 копеек и что она прежде стоила всего 20 и 25 копеек за пуд*, и это произошло вследствие вмешательства генерал-губернатора Корсакова. Прибавляют, что иркутских крестьян вынуждают продавать свой хлеб не тем, кому они хотят, а тем, на кого указывает администрация?





LES INCORRIGIBLES

Mon fils, docteur en médecine et adjoint du célèbre physiologue M. Schiff à Florence, a demandé un visa pour aller faire un voyage en Russie, auquel il a plein droit en sa qualité de citoyen suisse. Voilà la réponse:

Florence, le 19 novembre 1868.

La légation impériale de Russie, à Florence, a l'honneur d'informer M. Alexandre Herzen que, à la suite de la demande qu'il a faite, d'obtenir de la légation de l'empereur, à Berlin, un visa pour se rendre en Russie avec sa femme, la réponse de Saint-Pétersbourg a été que le gouvernement impérial *ne saurait autoriser les légations à accorder le visa sollicité.*

П Е Р Е В О Д

НЕИСПРАВИМЫЕ

Мой сын, доктор медицины и адъюнкт знаменитого физиолога г. Шиффа во Флоренции, обратился с просьбой о выдаче ему визы для поездки в Россию, на что он имеет полное право как швейцарский гражданин. Вот ответ:

Флоренция, 19 ноября 1868.

Российское императорское посольство во Флоренции имеет честь уведомить г. Александра Герцена, что, на поданную им просьбу о получении из императорского посольства в Берлине визы для поездки с женой в Россию, из Санкт-Петербурга получен ответ, гласящий, что императорское правительство *не может уполномочить посольство на выдачу испрашиваемой визы.*

〈LETTRE SUR LE LIBRE ARBITRE〉

Mon cher Alexandre,

J'ai relu avec attention ta brochure sur le système nerveux. Je t'écris non pas pour réfuter, ni pour donner une autre solution; mais seulement pour relever quelques côtés cassants de ta méthode qui me semble trop exclusive.

La différence entre nous n'est pas dans le fond, mais il me semble que tu tranches trop sommairement une question qui sort des limites de la physiologie; celle-ci a vaillamment rempli sa tâche en décomposant l'homme en une infinité d'actions et de réactions, en le réduisant à un croisement et à un tourbillon d'actions réflexes; qu'elle permette maintenant à la sociologie de restaurer l'intégral en arrachant l'homme au théâtre anatomique pour le rendre à l'histoire.

Le sens que l'on donne ordinairement au mot de *volonté* ou de *libre arbitre* appartient évidemment au dualisme religieux et idéaliste, qui sépare les choses les plus inséparables; pour lui la volonté est à l'acte ce que l'âme est au corps.

L'homme, dès qu'il raisonne, a la conscience empirique d'agir de son propre gré; il conclut de là à une détermination spontanée de ses actes, — sans réfléchir que la conscience même est la résultante d'une longue série d'antécédents oubliés par lui. Il constate l'ensemble de son organisme, l'unité de toutes ses parties et de leurs fonctions, ainsi que le centre de son activité sensitive et intellectuelle, et il en conclut à l'existence objective d'une âme indépendante de la matière et dominant le corps.

S'ensuit-il que le sentiment de liberté soit une erreur, et la notion du moi une hallucination? Je ne le pense pas.

Nier les faux dieux est une chose nécessaire, mais ce n'est pas tout: il faut chercher sous leurs masques la raison de leur existence. Un poète a dit qu'un préjugé est presque toujours la forme enfantine d'une vérité pressentie.

Dans ta brochure tout est basé sur ce principe très simple, que l'homme ne peut agir sans le corps, et que le corps est soumis aux lois générales du monde physique. Or, la vie organique ne présente qu'une série fort restreinte de phénomènes dans l'immense laboratoire chimique et physique qui l'entoure, et au sein de cette série, la place occupée par la vie développée jusqu'à la conscience est si minime, qu'il est absurde de soustraire l'homme à la loi générale et de lui supposer une spontanéité subjective *illégal*e.

Mais cela n'empêche nullement l'homme d'éduquer en lui une faculté composée de raison, de passion et de souvenir, «*peasant*» les chances et déterminant le choix de l'action, et cela non par la grâce divine, non par une spontanéité imaginaire, mais par ses organes, par ses capacités innées et acquises, formées et combinées de mille façons par la vie sociale. L'acte ainsi conçu est certainement une résultante de l'organisme et de son développement, mais il n'est pas obligatoire et involontaire comme la respiration ou la digestion.

La physiologie décompose la conscience de la liberté en ses éléments constitutifs, la simplifie pour l'expliquer par l'organisme individuel et la perd sans traces.

La sociologie au contraire l'accepte comme un résultat tout fait de l'intelligence, comme sa base et son point de départ, comme sa prémisse inaliénable et indispensable. Pour elle, l'homme est un être moral, c'est-à-dire un être social qui a la liberté de déterminer ses actes, dans les limites de sa conscience et de son intelligence.

La tâche de la physiologie est de poursuivre la vie depuis la cellule jusqu'à l'activité cérébrale; elle finit avec la conscience faite, elle s'arrête au seuil de l'histoire. L'homme social échappe à la physiologie; la sociologie au contraire s'en empare au sortir de la simple animalité.

La physiologie reste donc par rapport aux phénomènes inter-individuels dans la position de la chimie organique par

rapport à elle-même. Sans doute, en généralisant, en simplifiant, en réduisant les faits à leur plus simple expression, nous arrivons au *mouvement*, et nous sommes peut-être dans le vrai; mais nous perdons le monde phénoménisé, différencié, spécifié, détaillé,— celui dans lequel nous vivons, et qui est le seul réel.

Tous les phénomènes du monde historique, toutes les manifestations des organismes agglomérés, composites, traditionnels, organismes de la seconde puissance, ont pour base la physiologie et la dépassent.

Prenons pour exemple l'esthétique. Le beau n'échappe certainement pas aux lois de la nature; il est impossible de le produire sans matière, ni de le sentir sans organes; mais ni la physiologie, ni l'acoustique, ne peuvent donner la théorie de la création artistique, de l'art.

La mémoire héréditaire, la civilisation traditionnelle, la résultante de la cohabitation humaine et du développement historique — ont produit un milieu moral, qui a ses éléments, ses qualifications, ses lois très réelles, quoique peu accessibles aux expériences physiologiques.

Ainsi par exemple, le *moi* ne représente pour la physiologie que la forme flottante des activités d'un organisme rapportées à un centre, un point d'intersection fluctuant, qui se pose par l'habitude et se conserve par la mémoire. En sociologie le *moi* représente tout autre chose; il en est le premier élément, la *cellule du tissu social*, la condition *sine qua non*.

La conscience n'est pas du tout une nécessité pour le *moi* physiologique; il y a existence organique sans conscience, ou avec une conscience vague, réduite au sentiment de la douleur, de la faim et de la contraction musculaire. Aussi la vie, pour la physiologie, ne s'arrête-t-elle pas avec la conscience, mais continue dans les divers systèmes; l'organisme ne s'éteint pas à la fois comme une lampe, mais partiellement et consécutivement, comme les bougies d'un candélabre.

Le *moi* social au contraire suppose la conscience, et le *moi* conscient ne peut se mouvoir, ni agir, *sans se poser comme libre*, c'est-à-dire comme ayant dans de certaines limites la faculté de faire ou de ne pas faire. Sans cette croyance, l'individualité se dissout et se perd.

Dès que l'homme sort par la vie historique du sommeil animal, il s'efforce d'entrer de plus en plus dans la possession de soi-même. L'idée sociale, l'idée morale n'existent qu'à condition de l'autonomie individuelle. Aussi tout le jeu historique n'est-il qu'une émancipation constante d'un esclavage après l'autre, d'une autorité après l'autre, jusqu'à la plus grande conformité de la raison et de l'activité, — conformité dans laquelle l'homme *se sent libre*.

L'individu une fois entré, comme une note dans le concert social, on ne lui demande pas l'origine de sa conscience, mais on accepte son individualité consciente comme libre; et lui, le premier, fait de même.

Chaque son est produit par les vibrations de l'air et les réflexes de l'ouïe, mais il acquiert pour nous une autre valeur (ou existence, si tu veux) dans l'ensemble de la phrase musicale. La corde se rompt, le son disparaît; — mais tant qu'elle n'est pas rompue, il n'appartient pas exclusivement au monde des vibrations, mais aussi à celui de *l'harmonie*, au sein duquel il est une *réalité esthétique* fonctionnant dans la symphonie qui le laisse vibrer, le domine, l'absorbe et passe outre.

L'individualité sociale est un son conscient, qui résonne non seulement pour les autres, mais aussi pour soi-même. Produit d'une nécessité physiologique et d'une nécessité historique, l'individu tend à s'affirmer pendant son existence entre les deux néants: le néant avant la naissance et le néant après la mort. Tout en se développant d'après le lois de la plus fatale nécessité, il se pose constamment comme libre; c'est une condition nécessaire pour son activité, c'est un fait psychologique, c'est un fait social.

Il faut tenir grand compte de phénomènes aussi généraux; ils demandent plus qu'une négation, une fin de non-recevoir; ils demandent une enquête rigoureuse et une explication.

Il n'y a pas de religion, point de période philosophique qui n'ait tâché de résoudre cette antinomie, et qui ne l'ait trouvée insoluble.

L'homme de tous les temps cherche son autonomie, sa liberté, et — emporté par la nécessité, — *ne veut faire que ce qu'il veut*; il veut ne pas être fossoyeur passif du passé, ni accoucheur

inconscient de l'avenir, et il considère l'histoire comme son œuvre libre et nécessaire. Il croit à sa liberté comme il croit au monde extérieur tel qu'il le voit, parce qu'il a confiance en ses yeux, et parce que sans cette croyance il ne pourrait pas faire un pas. La liberté morale est donc une réalité psychologique ou, si l'on veut, anthropologique.

Et la vérité objective, diras-tu?

Tu sais que la chose en elle-même, le «*an sich*» des Allemands, est un *magnum ignotum* comme l'absolu et les causes finales; en quoi consiste l'objectivité du temps, la réalité de l'espace? Je l'ignore, mais je sais que ces coordonnées me sont nécessaires, et que sans elles je m'enfonce dans les ténèbres d'un chaos sans mesure ni suite.

L'homme a divinisé le libre arbitre comme il a divinisé l'âme; dans l'enfance de son esprit il divinisait toutes les abstractions. La physiologie arrache l'idole de son piédestal, et nie complètement la liberté. Mais il faut encore analyser l'idée de liberté comme une nécessité phénoménologique de l'intelligence humaine, comme une réalité psychologique.

Si je ne craignais la vieille langue philosophique, je répèterais que *l'histoire n'est que le développement de la liberté dans la nécessité*.

I y a pour l'homme *nécessité de se savoir libre*.

Comment sortir de ce cercle?

Il ne s'agit pas d'en sortir, il s'agit de le comprendre.

П Е Р Е В О Д

〈ПИСЬМО О СВОБОДЕ ВОЛИ〉

Дорогой Александр!

Я внимательно перечитал твою брошюру о нервной системе. Пишу тебе не для того, чтоб оспорить ее или предложить иное решение, а только для того, чтоб отметить отдельные уязвимые стороны твоего метода, который кажется мне чересчур односторонним.

Расходимся мы с тобой не в главном — однако мне кажется, что ты слишком упрощенно разрешаешь вопрос, выходящий за пределы физиологии; последняя доблестно выполнила свою задачу, разложив человека на бесчисленное множество действий и реакций, сведя его к скрещению и круговороту произвольных рефлексов; пусть же она не препятствует теперь социологии восстановить целое, вырвав человека из анатомического театра, чтобы возвратить его истории.

Смысл, который обычно вкладывают в слова *воля* или *свобода воли*, несомненно восходит к религиозному и идеалистическому дуализму, разделяющему самые неразделимые вещи; для него воля в отношении к действию — то же, что душа в отношении к телу.

Как только человек принимается рассуждать, он проникается основанным на опыте сознанием, будто он действует по своей воле; он приходит вследствие этого к выводу о самопроизвольной обусловленности своих действий — не думая о том, что само сознание является следствием длинного ряда позабытых им предшествующих поступков. Он констатирует целостность своего организма, единство всех его частей и их функций, равно как и центр своей чувственной и умственной деятельности, и делает из этого вывод об объективном существовании души, независимой от материи и господствующей над телом.

Следует ли из этого, что чувство свободы является заблуждением, а представление о своем я — галлюцинацией? Этого я не думаю.

Отрицать ложных богов необходимо, но это еще не всё: надобно искать под их масками смысл их существования. Один поэт сказал, что предрассудок почти всегда является детской формой предчувствуемой истины*.

В твоей брошюре все основано на том весьма простом принципе, что человек не может действовать без тела и что тело подчинено общим законам физического мира. Действительно, органическая жизнь представляет собой лишь весьма ограниченный ряд явлений в обширной химической и физической лаборатории, ее окружающей, и внутри этого ряда место, занимаемое жизнью, развившейся до сознания, так ничтожно, что

нелепо изымать человека из-под действия общего закона и предполагать в нем *незаконную* субъективную самопроизвольность.

Однако это нисколько не мешает человеку воспитывать в себе способность, состоящую из разума, страсти и воспоминания, «*взвешивающую*» условия и определяющую выбор действия, и все это не благодаря милости божьей, не благодаря воображаемой самопроизвольности, а благодаря своим органам, своим способностям, врожденным и приобретенным, образованным и скомбинированным на тысячи ладов общественной жизнью. *Действие*, таким образом понимаемое, несомненно является функцией организма и его развития, но оно не является обязательным и произвольным подобно дыханию или пищеварению.

Физиология разлагает сознание свободы на его составные элементы, упрощает его для того, чтобы объяснить посредством особенностей отдельного организма, и теряет его бесследно.

Социология же, напротив, принимает сознание свободы как совершенно готовый результат разума, как свое основание и свою отправную точку, как свою посылку, неотчуждаемую и необходимую. Для нее человек — это нравственное существо, то есть существо общественное и обладающее свободой располагать своими действиями в границах своего сознания и своего разума.

Задача физиологии — исследовать жизнь, от клетки и до мозговой деятельности; кончается она там, где начинается сознание, она останавливается на пороге истории. Общественный человек ускользает от физиологии; социология же, напротив, овладевает им, как только он выходит из состояния животной жизни.

Итак, физиология остается по отношению к междуличным явлениям в положении органической химии по отношению к самой физиологии. Без сомнения, обобщая, упрощая, сводя факты к их наипростейшему выражению, мы доходим до *движения*, и мы, быть может, находимся на верном пути; однако мы теряем мир отдельных явлений, многообразный, своеобразный, детализированный, — тот мир, в котором мы живем и который единственно реален.

Все явления исторического мира, все проявления агломерированных, сложных, обладающих традицией, высокоразвитых организмов имеют в своей основе физиологию, но переступают за ее пределы.

Возьмем к примеру эстетику. Прекрасное, конечно, не ускользает от законов природы; невозможно ни создать его без материи, ни ощущать его без органов чувств; но ни физиология, ни акустика не могут создать теорию художественного творчества, искусства.

Память, передающаяся от поколения к поколению, традиционная цивилизация — всё, что явилось следствием человеческого общежития и исторического развития, произвели нравственную среду, обладающую своими началами, своими оценками, своими законами, весьма реальными, хотя и мало поддающимися физиологическим опытам.

Так, например, *я* для физиологии — лишь колеблющаяся форма отнесенных к центру действий организма, зыблущаяся точка пересечения, которая ставится по привычке и сохраняется по памяти. В социологии *я* — совсем иное; оно — первый элемент, *клетка общественной ткани*, условие *sine qua non*.

Сознание вовсе не является необходимостью для физиологического *я*; существует органическая жизнь без сознания или же с сознанием смутным, сведенным к чувству боли, голода и сокращения мускулов. Поэтому для физиологии жизнь не останавливается вместе с сознанием, а продолжается в разных системах; организм не гаснет разом, как лампа, а постепенно и последовательно, как свечи в канделябре.

Общественное *я*, наоборот, предполагает сознание, а сознательное *я* не может ни двигаться, ни действовать, *не считая себя свободным*, то есть обладающим в известных границах способностью делать что-либо или не делать. Без этой веры личность растворяется и гибнет.

Как только человек выходит путем исторической жизни из животного сна, он стремится все больше и больше вступить во владение самим собою. Социальная идея, нравственная идея существуют лишь при условии личной автономии. Поэтому всякое историческое движение является не чем иным, как постоянным освобождением от одного рабства после другого, от

одного авторитета после другого, пока оно не придет к самому полному соответствию разума и деятельности, — соответствию, при котором человек *чувствует себя свободным*.

Если индивидуум однажды вступил, подобно ноте, в социальный концерт, то у него не спрашивают о происхождении его сознания, а принимают его сознательную индивидуальность как индивидуальность свободную; и он первый поступает подобным же образом.

Каждый звук производится колебаниями воздуха и рефlekсами слуха, но он приобретает для нас иную ценность (или существование, если хочешь) в единстве музыкальной фразы. Струна обрывается, звук исчезает, — но пока она не оборвалась, звук не принадлежит исключительно миру вибраций, но также и миру *гармонии*, в недрах которого он является *эстетической реальностью*, входя в состав симфонии, предоставляющей ему возможность вибрировать, доминирующей над ним, поглощающей его и продолжающейся дальше.

Социальная личность — это обладающий сознанием звук, который раздается не только для других, но и для себя самого. Продукт физиологической необходимости и необходимости исторической, личность старается утвердиться в течение своей жизни между двумя небытиями: небытием до рождения и небытием после смерти. Полностью развиваясь по законам самой роковой необходимости, она постоянно ведет себя так, словно она свободна; это необходимое условие для ее деятельности, это психологический факт, это факт социальный.

Надобно хорошо отдавать себе отчет в столь общих явлениях; они требуют большего, чем отрицание, чем непризнание; они требуют строгого исследования и объяснения.

Не было религии, не было периода в развитии философии, которые не пытались бы разрешить эту антиномию и не приходили бы к выводу, что она неразрешима.

Человек во все времена ищет своей автономии, своей свободы и, увлекаемый необходимостью, *хочет делать лишь то, что ему хочется*; он не хочет быть ни пассивным могильщиком прошлого, ни бессознательным акушером будущего, и он рассматривает историю как свое свободное и необходимое дело. Он верит в свою свободу, как верит во внешний мир — такой,

каким он его видит, потому что он доверяет своим глазам и потому что без этой веры он не мог бы сделать и шагу. Нравственная свобода, следовательно, является реальностью психологической или, если угодно, антропологической.

«А объективная истина?» — скажешь ты.

Ты знаешь, что вещь в себе, «an sich» немцев — это *magnum ignotum*¹, как абсолют и конечные причины; в чем же состоит объективность времени, реальность пространства? Я не знаю этого, но знаю, что эти координаты мне необходимы и что без них я погружаюсь во мрак безграничного и бес-связного хаоса.

Человек обожествил свободу воли, как он обожествил душу; в детстве своего духа он обожествлял все отвлеченное. Физиология сбрасывает идола с его пьедестала и полностью отрицает свободу. Но следует еще проанализировать понятие о свободе, как феноменологическую необходимость человеческого ума, как психологическую реальность.

Если бы я не боялся старого философского языка, я повторил бы, что *история является не чем иным, как развитием свободы в необходимости.*

Человеку необходимо сознавать себя свободным.

Как же выйти из этого круга?

Дело не в том, чтоб из него выйти, дело в том, чтоб его понять.

¹ великое неизвестное (лат.). — Ред.





СКУКИ РАДИ

I

Я сел в вагон в самом скверном расположении духа, — ехать в путь, когда не хочется, скучно; ехать на лечение — еще скучнее... но чувствовать себя ко всему этому совершенно здоровым... этого и выразить нельзя...

Быть не в духе, скучать, капризничать можно, когда кто-нибудь этим огорчается, занимается, когда кто-нибудь развлекает, а сидеть в вагоне и знать, что никому дела нет до этого, что никто не обращает внимания, — это выше сил человеческих.

Я попробовал придраться к соседу за то, что у него дорожный мешок велик, и нарочно сказал ему: «Ваш *чемодан* мне мешает». Дурак извинился и переложил, с кротостью, мешок на другое место.

Поэты говорят, что вынести они могут многое, но что им надобно *пропеть* свое горе... Пропеть *кому-нибудь* — петь без уха слушающего так же трудно, как легко петь без голоса... Уха-то, уха пригодного у меня не доставало. «Впрочем, — подумал я, — поэты для большего удобства поют чернилами, а я буду капризничать карандашом...» Затем я вынул из кармана только что купленный «Memorandum» и еще раз окинул взглядом соседей. Их было четверо — четыре в четырех углах. Когда это они успели забиться, сейчас нас спустили из *salle d'attente*¹. Что за безобразные рожи! Надобно правду сказать, род человеческий некрасив. Через две станции трое вышли и, едва я успел броситься в угол, взошли трое других, еще хуже, — так и видно, что череп им жмет мозг, как узкий сапог,

¹ зала ожидания (франц.). — *Ред.*

что мысль их похожа на китайские ножки, на которых ходить нельзя, — слаба, мала, тесна... А жиру вволю. Средний класс во Франции очень потолстел за последние двадцать лет.

Впрочем, на каком же основании ждал я Аполлонов Бельведерских в случайном наплыве, который зачерпывала железная дорога, *chemin faisant*¹, почти не останавливаясь.

Красота вообще редкость; есть целые народы из *меньших братий*, у которых никакой нет красоты, например, обезьяны с своими ирландскими челюстями, молодыми морщинами и выдавшимися зубами, лягушки с глазами навывкате и ртом до ушей... Да и часто ли встречается красивая лошадь, собака? Одна природа постоянно красива, потому что мы на нее смотрим издали, с благородной дистанции; к тому же она нам посторонняя и мы с ней не ведем никаких счетов, не имеем никаких личностей, смотрим на нее как чужие и просто не видим тех безобразий, которые нам бросаются в глаза в человеческих лицах и даже в звериных, имеющих с нашими родственное сходство. А присмотришься к лицам и, при всем их безобразии, не отвернешься. Лицо — послужной список, в котором все отмечено, паспорт, на котором визы остаются. И как это все умещается между темем и подбородком; все, с малейшими подробностями, нескромностями и обличениями, все вываяно бедными средствами мышц, жира, оболочек и костей! Недаром мне Фан-Муйден говорил: «Чем больше я рисую, тем больше меня занимают лица, одни лица, головы, физиономии; что за неисчерпаемое богатство оттенков выражений», — «и невольных исповедей», — прибавил я.

Решительно, я слишком строго осудил тесные лбы, теснящие черепа, толстые носы, глухие глаза, ненужные усы — всё оттого, что был не в духе. Очень много уже бед было со мной еще до вагона. Перед самым отъездом оторвалась пряжка у чемодана. Господи, как смешно, беспомощно стоит наш брат перед такой бедой... Если б нас между Расином и Шиллером немного учили шилу да игле, взял бы да починил, а тут комическое отчаяние и мрачные рассуждения. Только что я успокоился на том, что без пряжки можно обойтись, стоит запе-

¹ мимоходом (франц.). — Рсд.

реть чемодан, — ключ пропал! Сейчас был здесь, вот на этом столе, как теперь вижу; перерываю, перебрасываю всё — ключа нет, и я, утомившись, сел на стул, самоотверженно скрестив руки на груди. Рази, мол, судьба, если еще есть стрела.

Какое счастье было, в старые годы, когда при ремне, при ключе состоял камердинер и на нем можно было взыскать, зачем перегорел ремень и зачем сам потерял ключ. Ничего не может быть вреднее для здоровья, как именно то, что нельзя выместить на ком-нибудь беду, — поди тут и берегись.

Лонже, знаменитый физиолог, Лонже de l'Institut*, — его авторитета не отведают никто — раз подымался со мной в Монпелье по улице, идущей вверх от медицинской школы.

— Куда вы торопитесь? — сказал он мне, останавливаясь, — не у всех такие легкие, как у вас, я вот не могу перевести духа. погодите минуту, я вам расскажу, отчего я задыхаюсь: это очень любопытно. Вы, верно, знаете старого дурака (здесь он назвал одного академика, которого имя так громко, что я не хочу обозначить его даже предательскими заглавными буквами), *il est tout ramolli*¹, а все презлая bestia; меня он терпеть не мог и врал на меня всякую чушь: я долго спускал ему, но наконец решил ему дать урок. «Как, — говорю я ему, — вы, негодный старикашка... — и взял его за плечо (при этом он сделал на мне повторение манипуляции, — я хоть и не *ramolli*, но чуть не вскрикнул), — говорили то-то и то-то, да в заседании Института, знаете ли, что таких негодяев, клеветников, как вы...» А старик, перетрусивши, растерялся, начал извиняться, уверял, что он не то говорил, что он вперед не будет. Я бросил его и выбежал вне себя на улицу; ветер был скверный, я пришел домой, и на другой день, *monsieur*, у меня сделалась *pleurésie*, *monsieur*, и вот отчего я задыхаюсь. Не будь этот урод такой подлый, я бы ему дал пинка, два пинка, и этим вся первая буря разрешилась бы покойно и естественно, и у меня не было бы плерези, и я не задыхался бы. Экий изверг!

А ключей все нет; что же я буду делать без них? «*Sonnez pour l'homme de charge trois fois*»²; встав тихо и торжествен-

¹ он совершенно выжил из ума (франц.). — *Ред.*

² «Коридорному звоните три раза» (франц.). — *Ред.*

но, подошел я к звонку, жму три раза пуговку — входит горничная.

— Нет ли, madame, веревки перевязать чемодан?

— De la ficelle autant que monsieur voudra¹.

Она приносит веревку, я шарю в кармане, чтобы сыскать франк, и нахожу ключ. Фу, как глупо! Я с ненавистью посмотрел на его бородку, на его дырочку, даже швырнул его на пол, потом поднял и бросился в омнибус. Мелкий дождь, начавшийся с утра, продолжался.

В омнибусе, очень сальном и пропитанном особым, но скверным запахом, который распускался в весь букет в сырую погоду, были отмежеваны местечки для тощих и почти беспозвоночных французов. Втеснившись кой-как и открывая окно, я сказал молодому человеку, сидевшему против меня:

— Как это странно, что в Париже такие же скверные и неудобные омнибусы, как были лет двадцать тому назад: в Лондоне, в Швейцарии, везде омнибусы гораздо лучше.

Молодой человек сконфузился, даже покраснел.

— Да,— сказал он,— конечно, *этот* омнибус не из лучших, но есть прекрасные другой компании; впрочем, обратите внимание на лошадей: какие лошади!

Лошади были посредственные, но патриотизм велик. Что вы сделаете с страной, которая так упорно, так ревниво, так глупо, так упрямо верит, что она краса всей планеты, что Париж — «образцовый хуторок» человечества и фонарь, зажженный на планете, по свету которого она гордо несется по своей орбите? Дело вовсе не в том, чтобы быть хорошим или счастливым, а в том, чтобы веровать в свое превосходство и счастье.

II

Между тем мои соседи — не в омнибусе, а в вагоне — поговорились...

— Ну, что же скажете?

— Я боюсь одного: что Прим — un ambitieux и эгоист... *

— Это может быть. В генералах нет никогда проку... Заметьте, у нас все генералы были реакционеры: Ламорисьер,

¹ «Веревки — сколько угодно, сударь» (франц). — *Ред.*

Шангарнье — один Шаррас остался верным демократии, но зато он был полковник, а не генерал.

— Все же он будет вынужден провозгласить республику, а это что-нибудь...

— Никогда не провозгласит,— заметил третий угол несколько хриплым голосом. Голос этот издавал седой, подстриженный под гребенку господин лет пятидесяти, с лицом Пелисье.

— Да на какой им черт республика? — одно слово, название. Испании надобно *либеральную власть*, порядок и свободу, а не республику. Я знаю Испанию.

— А вы бывали там?

— Да, то есть не то чтобы в самой Испании, но бывал в Байоне. Я *работаю в Маконах* * и по этой части бывал в Байоне.

— А я так думаю, что если *только Англия*, стоящая на дороге всякого прогресса, не воспрепятствует, то испанцы провозгласят республику.

— Вы ошибаетесь самым глубочайшим образом. Испанец слишком горд, чтобы быть без короля. Гранд какой-нибудь, весь покрытый звездами, как они представляют себя на фотографических карточках, перешедши спальней Эскуриала,— никогда не согласится быть простым гражданином.

— Да ведь рано или поздно,— заметил несколько подавленный глубокими политическими знаниями говорящего молодой человек,— Европа будет же республикой.

— Европа?.. Никогда,— заметил решительно Пелисье, работавший в Маконах, и даже провел рукой, как будто срезывая всякую возможность.

— Что же вы говорите,— а Швейцария?

— Тут-то я вас и ждал. Помилуйте, будто это республика? Я сам бывал в Женеве, насчет божоле *, — черт знает что такое. Вся Швейцария — клочок земли, да и то еще негодный, покрытый горами да скалами, и этот клочок разделен на двадцать, что ли, клочочков, из которых каждый, милостивый государь, считает себя туда же самодержавным, свободным государством, имеет свой суд, свою расправу — и настоящее правительство не мешайся... Ведь это смешно. Ни силы, ни приличья, ни войска; правительство не пользуется никаким уважением.

Знаете ли, кто президент Швейцарского союза?.. наверное, нет. Да и я не знаю — вот вам и республика. Я люблю, чтобы правительство было правительством, главное — чтобы оно действовало, l'action c'est tout¹. Где же действовать, когда каждый кантон кричит о себе, тянет на свою сторону? Силы нет, воли нет. Я сам люблю свободу, но надобно признаться: республика просто не идет как-то к современным нравам, к развитию промышленности и просвещения.

— Позвольте! А Северные Штаты?

— Я их ненавижу, я... я их терпеть не могу. Для меня люди, занимающиеся одними денежными выгодами, одной наживой, — не люди. Разумеется, этим торгашам не нужно правительство: им достаточно конторы, фактории. У них нет души, сердце не бьется, нет этого élan², как у нас. Ну, что же, заступились они за Польшу?

Молодой человек, подавленный Пелисье, замолчал и взял газету; я сделал то же.

Папа зовет протестантов и католиков на вселенский собор и совет, чтобы положить предел и преграду избаловавшемуся уму человеческому; конгресс мира в Берне * кладет прочное основание... война готовится со всех сторон... Всё мой Пелисье, работающий в Маконах...

«Цуг. В высшее народное училище вызывается учитель чистой математики. Желаящий обязан представить, сверх удостоверения своих знаний, свидетельство о католическом вероисповедании». Вот это хорошо.

«Франция. Две женщины — мать и дочь, обвиняемые содержательницей пансиона, у которой они жили на харчах, в том, что они, вопреки условия, взяли с собой, на работу, съестные припасы (те, которые они имели право съесть), — были, несмотря на честное поведение и крайнюю бедность, осуждены на три месяца тюремного заключения... И это недурно... но скучно, однообразно. Великий Пелисье! Действительно, республика не идет к современным нравам. Il faut de l'action!³

¹ действие — это всё (франц.).— *Ред.*

² порыва (франц.).— *Ред.*

³ Нужны действия! (франц.).— *Ред.*

— Все по глупости-с,— оправдывается русский человек, когда ему решительно оправдаться нельзя.

— Ты, стало быть, дурак! — говорит ему на это власть имущий.

— Не всем быть умным, надобно кому-нибудь быть «дураком»,— отвечает он, если имущий власть без боя.

Хотя, собственно, настоящей крайности в дураках нет, но, пожалуй, можно согласиться с этим извинением. Только отчего же в свою очередь нет такой ясно сознанной потребности *в умных?* Мудрено ли, после этого, что миром владеют «нищие духом», там — как большинство, тут — как один за всех.

В сущности, все делается по глупости, только никто не признается в этом, кроме русского человека, и все ищут всегда и во всем умных причин и объяснений и потому идут всякий раз направо, когда следует идти налево,— и запутываются дальше и дальше в безвыходных соображениях и затемняющих объяснениях.

Люди выбиваются из сил, отыскивая тайные пружины, спрятанные причины, глубокие замыслы, сокровенные связи, злостные цели, коварные планы, обдуманное ковы,— всего этого *вовсе нет* и придумано после. Мир идет гораздо наивнее и проще, чем кажется сквозь призму критики и рефлексий.

Девять десятых всех злодейств делаются по глупости и наказываются по двойной, и это — не особенность злодейств, а вообще всех поступков, особенно крупных. В самых решительных событиях жизни ум не участвует или участвует, помогая глупости. Не по уму же люди, например, играют в карты — в карты *по уму* играют одни шулеры, оттого-то они и выигрывают всегда, пока их кто-нибудь не поколотит по глупости. Не умом же собирал Споржен и легион других торговых богословов в Лондоне тысячи занятых англичан на слушание невероятнейшего вздора, проповедуемого ими.

«Вы,— кричал Споржен в Crystal Palace,— вы, ищущие со вниманием и за дорогую цену ягненка для питания вашего тела и часто обманутые корыстным торговцем,— мы вам предлагаем агнца, вечно свежего, в питание души вашей, и предлагаем даром (он забыл цену за вход)...»

Где же тут искра ума?

Где искра ума в гомеопатии?

Где искра ума в юмопатии* и всех заклинателях, вызывателях?

Отчего весь мир видит ясно, просто, что война — величайшая глупость, и идет резаться?..

Мудрено понять, и мудрено-то именно потому, что глупо!

Свет стоит между не дошедшими до ума и перешедшими его, между глупыми и сумасшедшими, и стоит довольно давно и прочно, если же и не устоит, так не ум же будет в этом участвовать, а бессмысленные физические силы.

Действуют страсти, страхи, предрассудки, привычки, неведение, фанатизм, увлечение, а ум является на другой день, как квартальный после события; производит следствие, делает опись и в этом еще останавливается на полдороге: ограниченный там — вперед идущими обязательными статьями закона, тут — опасностью далеко уйти по неизвестной дороге, всего больше — ленью, происходящей, может быть, от инстинктивного сознания, что делу не поможешь, что вся работа все же сводится на патологическую анатомию, а не на лечение!

От этой лени и небрежности мы всю жизнь бродим в каком-то приятном полумраке и умираем в сумрачном мерцании. Все мы ужасно похожи на докторов, довольствующихся знанием, что они не знают, что делают, но что снадобья хороши.

Мы повторяем сто лет, двести лет какой-нибудь вздор и чувствуем, что что-то неладно, да так и идем мимо, за недосугом, страшно озабоченные чем-то другим.

Что же это за другое дело?..

Об этом люди еще не подумали, а, должно быть, *дело нештучное!*..

IV

Поезд остановился. Кто-то стал отворять дверцы вагона; сначала взорвался громкий смех, вслед за ним явился небольшого роста свеженький старичок, почти совершенно плешивый, с мягкими щеками, тонкими морщинами и очками, из-за которых продолжали смеяться серые, прищуренные глаза. На нем было два черных сюртука: один весь застегнутый, другой

весь расстегнутый; он бросил небольшой мешок в угол и махнул рукой провожавшему его товарищу; тот, все еще смеясь, прокричал: «Вы большой чудак, доктор. *Von voyage, docteur!*» — и ушел.

Доктор протер очки, устроился, протянулся, потянулся и приготовился соснуть, как вдруг мой Пелисье разразился рядом ругательств и, бросая газету, обратился к доктору и ко мне, как к старейшим по летам, с словами:

— Это возмутительно, это черт знает что такое; вот вам французские судьи, которым завидует вся Европа. Представьте себе: этих арабов, людоедов, извергов приговорили не к гильотине, не к смерти, а к каторжной работе. *C'est trop fort, ça n'a pas de nom*¹.

Доктор улыбнулся и прибавил:

— Я по профессии за лечение, а не за убийство.

— Да-с, но позвольте: есть справедливость или нет? есть казнь в законе или нет? Если есть, то после этого примера кого же прикажете казнить?

— Что за беда, — заметил доктор, — если после этого никого не будут казнить? Людоедство — вещь печальная, но очень редкая, кроме Африки, а казнят беспрестанно во всем образованном мире и во всем необразованном. Ведь, коли на то пошло, все же больше смысла в том, чтоб убить человека в безумии голода, для того чтоб его съесть, чем убить его на сытый желудок и для того, чтоб бросить в яму и залить известью.

«Ну, это радикал и в самом деле чудак», — подумал я и сложил газету.

На этот раз сконфузился Пелисье. Он долго смотрел вылупя глаза на улыбающегося доктора и наконец вымолвил:

— Я вас не понимаю; по-вашему, этим диким зверям так и позволить есть котлеты из убитых детей?

— Я этого не говорил. Да, сверх того, они, наверно, отказались бы от этих котлет, если б у них были бараньи. Когда человек несколько дней ничего не ел, он ест без спроса.

— Голод — не оправдание.

— Нет, но облегчает виновность, пока нет средств отучить голодных от привычки есть.

¹ Это уж слишком; этому нет названия (франц.). — *Ред.*

— А до тех пор как же прикажете наказывать таких извергов?

— Как волков; вы сами называете их дикими зверями, а наказывать хотите как образованных людей.

— Я никогда не слышивал ничего подобного,— заметил совсем сбитый с толку Пелисье.— После этого страшно по улице ходить: встретится голодный и откусит палец.

— Полноте. Ведь мы не в Алжире, а во Франции. На что же централизация, цивилизация, полиция, юстиция, администрация? Разве мы не затем жертвуем волей, словом, умом, платим налоги, содержим духовное воинство и светскую армию, чтоб они нас защищали от голодных, диких, воров, безумных людей и бешеных собак? Если человек и умрет где-нибудь на чердаке или в подвале, то он падает жертвой для поддержания порядка. Ни в чем торжество общественного строя не выражается так мощно, как в перенесении нужд до последнего предела. И если у нас умирающий с голода похож на *съеденного* по иному способу, то он никогда не лишен духовной пищи и похож на тех мучеников, которых нам представляют великие художники,— снизу его обдирают, а сверху его зовет хор летающих ангелов, так что вы по лицу видите, что операция ему скорее доставляет удовольствие. Ну, а в Алжире, чем вы украсите, выкупите голодную смерть? Там наши французы и те дичают в зуавов.

— Я в такие тонкости не вхожу. Если их религия не удерживает, долг не удерживает, пусть страх казни удержит.

— Пристращать виселицей умирающего с голода трудно, одно — *embarras du choix*¹.

— А позор?

— Это еще мудренее растолковать полудиким. Сегодня одного расстреливают за побег из какого-нибудь легиона, куда его взяли насильно с обязанностью убивать кого попало. Завтра будут вешать Фатиму за людоедство,— толкуй им различие. Для их тупости им все кажется, что они побежденные, и падают на поле сражения.

¹ затруднение из-за большого выбора (франц.).— *Ред.*

— Vous vous moquez du monde¹. Нашли что защищать,— заметил уже взволнованным голосом Пелисье.

— Я согласен с вами,— отвечал, смеясь, доктор,— что лучше было бы всей семье, проголодавши месяцы и ничего не евши четыре дня, завернуть головы в бурнусы и умереть. Да как им растолковать корнелевское «qu'il mourût!» * Для того, чтоб они поняли, надобно их непременно откормить, а откормишь их — они не станут есть соседних детей. Это логический круг! — И веселый доктор опять расхохотался.— Посмотрели бы вы своими глазами на этих урабов, как их называл один солдат, которому я резал ногу.

— А вы бывали в Алжире? — спросил Пелисье, усталый и очень встревоженный болтовней доктора.

— Лет десять жил там полковым врачом сначала, потом в лазарете. Кстати, я вспомнил этого солдата, расскажу вам лучше пресмешной анекдот сб нем. Старый солдат — он еще при Бюжо делал всякие экспедиции — наконец-таки потерял ногу. Долго лежал он в лазарете и ужасно любил рассказывать свои похождения. Прихожу я раз в палату, фельдшер катается — хохочет. «Доктор, — говорит, — сделайте одолжение, попросите ветерана рассказать историю, которую сейчас кончил». — «Eh bien, mon vieux»², — говорю я и сел возле койки. Он поломался, как вызванная певица. — «Самая обыкновенная история: это молодежь все хохочет, неопытность, ничего еще не видела». — «Ну, да вы историю-то», — говорю я ему. «Это было уже давненько. Мы стояли близ Орана; дела никакого не было... Люди сильно скучали; продовольствие было скверное. Капитану жаль нас стало. Хотел позабавить солдат и велел охотникам сделать небольшую gazzia³ на урабскую деревушку и тем способом отогнать баранов. Деревушка не то чтоб бунтовала — так, не любила нас, ну, мы, разумеется, и усмирили. Урабы — это народ коварный, лукавый; силой не взяли, а внутри хранили злобу. Недели через две они подстерегли одного из наших, который баран отгонял; веревку ему на шею да на большой дороге и повесили. Капитан, разумеется, делает

¹ Вы издеваетесь над людьми (франц.). — *Ред.*

² «Ну-ка, старина» (франц.). — *Ред.*

³ набег (франц.). — *Ред.*

рапорт полковнику. Полковник взбесился; приказывает отыскать во что бы ни стало убийцу. Ну, где его сыщешь; все эти урабы на одно лицо и не то, что наши, — не выдают друг друга, — к тому же уйдет в горы, и поминай как звали. Посылает капитан меня и двоих солдат: „Приведите непременно убийцу; хоть из земли достаньте“. Походили мы день, другой — ни слуху, ни духу. С пустыми руками возвращаться к начальству неловко. Сели мы эдак на дороге и рассуждаем. Вдруг нам навстречу спускается какой-то ураб. Один из товарищей — проказник был большой — и говорит: „Бог нам послал его на выручку“, — да с тем бросился на ураба; за горло его и кричать: „Зачем убил нашего солдата?“ Ураб — руками, ногами; мы его повалили, связали и представили. Капитан доволен, нас с убийцей к полковнику, полковник сам вышел: „Люблю, — говорит, — молодцы!..“ Нарядили тотчас суд. Привели нашего ураба. Полковник рассвирепел, кричит на него: „Зачем ты, собака, убил фузильера?“ Тот ему отвечает — т. е. ничего не отвечает: он по-французски ни слова не знал, а бормочет что-то да руками разводит и показывает на небо. „А, — говорит полковник, — так он еще запирается“, взял да и приговорил его к расстрелянию. Ну, его и расстреляли. А уж потом как мы хохотали — убил-то фузильера не он, а совсем другой» *.

— Ну, господа, извините, одиннадцать часов, пора спать... — и доктор задернул лампочку, освещавшую вагон.

V

В казино, под пенье чувствительного и разбитого тенора, под говор играющих в карты, под шелест женских платьев и шум бегающих гарсонов, какой-то господин спал за листом газеты. Над газетой было видно что-то вроде лоснящегося страусового яйца, и по нем-то я узнал защитника алжирских людоедов, ехавшего со мной в вагоне.

Когда доктор проснулся, я завел с ним речь и, между прочим, напомнил ему о том, как он встревожил Пелисье, «работающего в Маконах».

— У меня такая глупая привычка, — сказал доктор; — я, несмотря на лета, она не проходит. Меня сердит театральное

негодование и грошова нравственность этих господ. Долею все это ложь, комедия, а долею — того хуже: они сами себя уважают за то, что не надсали уголовщины; им кажется достоинством, что, выходя от Вефура *, они не едят детей и, получая десять процентов с капитала, не воруют платки. Вы иностранец, вы мало знаете наших буржуа *pur sang*¹.

— Догадываюсь, впрочем.

— Я в вагоне рассказал алжирскую шалость, когда-нибудь я вам расскажу и не такие проказы парижан. Тут поневоле забудешь Фатиму и ее голодную семью... Мне, на старости лет, всего лучше идет роль того доктора, который ходил в романе Алфреда де Виньи лечить рассказами своего нервного пациента от «синих чертиков» *. Жаль, что я не так серьезен, как мой собрат.

— Я лечусь у вас у одного, доктор, к тому же и у меня головные боли без нервности и без всяких голубых и синих чертей.

VI

...Семь часов утра. Проклятый дождь, не перестает четвертый день, мелкий, английский, с туманом... воздух точно распух. Здесь такой дождь не на месте — сердит.

И какая скверная привычка у кошек петь ночью свои нежности; истинная любовь должна быть скромнее.

А может, доктор столько же виноват в моей бессоннице, сколько кошки и дождь.

Порассказал он мне вчера удивительные вещи. Какой шут однако ж человек: живет себе припеваючи, зная очень хорошо, что за картонными и дурно намалеванными кулисами совершаются вещи, от которых волосы не станут дыбом — разве у плешивых, у прежних наших помещиков и у юго-американских охотников по беглым неграм. Много он видел и много думал, его несколько угловатый юмор ему достался не даром. Когда другой доктор, и именно Трела, был министром внутренних дел, он его посылал по тюрьмам, где содержались побеж-

¹ чистокровных (франц.). — *Ред.*

денные работники в ожидании ссылки без суда. Он с Корменей был в тюльерийских подвалах, в фортах и один в марсельском Шато д'Иф. В декабрьские дни 1851* он попался, неосторожно перевязывая своему товарищу рану, нанесенную жандармом, и за это был приговорен к Кайене. В понтонах военного корабля, стоявшего наготове в Брест, его случайно нашел адмирал, у которого он спас дочь, и выхлопотал ему дозволение ехать в Алжир. Его рассказ я непременно запишу, но не сегодня, — сегодня я в дурном расположении, скажешь что-нибудь лишнее, а это грешно.

Пойду обедать в маленький ресторан напротив.

Надобно сказать, что здесь *обедают* под скромным названием *завтрака* в *одиннадцатом* часу — не вечера, а утра! И, может, это меньше удивительно, чем то, что я ем, как будто всю жизнь прямо с постели садился за стол. А говорят, что болен!

Меня одно лишает аппетита — это *table d'hôte*, затем-то я и хочу идти в небольшой ресторанчик. Мне за *table d'hôte*'ом все ненавистно, начиная с крошечных кусочков мяса, которые нарезывает скупой за хозяина, намаженный и важный обер-форшнейдер, до гарсонов, разодетых, как будто они на чьих-нибудь похоронах или на своей свадьбе, до огромных кусков живого, но попорченного мяса (дело на водах), одетых в пальто и поглощающих маленькие кусочки, одетые в соус... Мне совсем не нужно знать, как ест этот худой, желтый, с какой-то чернью на лице нотариус из Лиона, ни того, что синяя бархатная дама в критических случаях вынимает целую челюсть зубов, жевавших когда-то пищу другому желудку. А тут еще англичанин, который за десертом полощет рот с такими взрывами гаргаризаций, что кажется, будто в огромном котле закипает смола или какой-нибудь металл... Словом сказать, я ненавижу *table d'hôte*. И в ресторане едят другие, но они сами по себе, а я сам по себе; а за *table d'hôte*'ом есть круговая порука, какое-то соучастие, прикосновенность, незнакомое знакомство и в силу его разговор и взаимные любезности.

Два часа. День на день не приходится. Сегодня я и в маленьком ресторане почти ничего не ел. Стыдно сказать отчего. Я всегда завидовал поэтам, особенно «антологическим»:

напишет контурчики, чтоб было плавно, выпукло, округло, звучно, без малейшего смысла: «Рододендрон — Рододендрон» * — и хорошо. В прозе люди требовательнее, и если нет ни таланта, ни мысли, то требуют хоть какого-нибудь *доноса*. А мне именно приходится написать такую «антологическую прозу».

Передо мной в ресторан вошла женщина с двумя детьми в трауре и с ними высокий господин тоже в черном.

Возле столика, за который я сел, обедали четыре *commis voyageurs* из Парижа; они толковали свысока о казино и снисхождением о певицах, в которых ценили вовсе не голос, — они говорили что-то друг другу на ухо и раздражались вдруг громким хохотом.

Слушать и смотреть на *комми еп négligé* между собой — моя страсть, но мне не долго пришлось питать ее.

— Ты плачешь? — спросила женщина в трауре.

Мальчик лет восьми-девяти поднял на нее глаза, полные слез, и сказал:

— Нет, нет!

Мать взглянула на мужчину улыбаясь, — она, видимо, извинялась за слезы ребенка. Мужчина положил ему большой кусок чего-то на тарелку и прибавил:

— Будь же умен и ешь.

— Я не хочу есть, — отвечал мальчик.

— Мой друг, это глупо, — сказал мужчина.

— Ты с утра ничего не ел, кроме молока, — прибавила мать и просила взглядом, чтоб мальчик ел. Мальчик принялся за котлету, взглянув на мать с невыразимым горем, — крупная слеза капнула в тарелку. Женщина и господин сделали вид, что не заметили, и начали говорить между собой. Другой ребенок — гораздо моложе — болтал, шумел и ел. Мать погладила старшего, он взял ее руку и поцеловал, задержав слезы.

«Башмаков не успела она износить» — и маленький Гамлет это понял *.

Господин велел подать какого-то особенного вина, чокнулся с матерью и, наливая детям, улыбаясь, сказал старшему:

— Не будь же плаксивой девочкой и выпей браво твоё вино.

Мальчик выпил.

Когда они пошли, мать надела на мальчика шарф, чтоб он не простудился, и обняла его. В ее заботе было раскаянье и примирение с собой,— она, казалось, просила прощенья, пощады — у него и у него.

И может, она во всем права.

Но мальчик не виноват, что помнит *другого*, что ему хотелось *доносить башмаки* и что новые его жали, так, как не виноват в том, что испортил мне обед.

Пойду в казино искать доктора — он, наверное, спит или читает какую-нибудь газету.

VII

— Скажите, доктор, как вы при всем этом сохранили столько здоровья, свежести, сил, смеха?

— Всё от пищеваренья. Я с ребячества не помню, чтоб у меня сильно живот болел, разве, бывало, объешься незрелых ягод. С таким фундаментом нетрудно устроить психическую диету, особенно с склонностью смеяться, о которой вы говорили. Человек я одинокий, семьи нет. Это с своей стороны очень сохраняет здоровье и аппетит. Я всегда считал людей, которые женятся без крайней надобности, героями или сумасшедшими. Нашли геройство — лечить чумных да под пулями перевязывать раны. Во-первых, это всякий человек с здоровыми нервами сделает, а потом выждал час, другой — перестанут стрелять, прошло недели две — нет чумы, аппетит хорош, — ну и кончено. А ведь это подумать страшно, на веки вечные, хуже конскрипции — та все же имеет срок. Я рано смекнул это и решил, пока розы любви окружены такими бесчеловечными шипами, которыми их оградил, по папскому оригиналу, гражданский кодекс, я своего палисадника не заведу. Охотников продолжать род человеческий всегда найдется много и без меня. Да и кто же мне поручил продолжать его, и нужно ли вообще, чтоб он продолжался и плодился, как пески морские, — все это дело темное, а беда семейного счастья очевидна.

— Что вы на это решились, дело не хитрое, — хитрое дело в том, что вы выдержали. Впрочем, тут темперамент.

— Темперамент — темпераментом... ну однако без воли ничего не сделаешь. Вы, может, думаете, что монахи первых

веков были холодного темперамента? Все зависит от того, что приму играет, да от воспитания воли.

— Однако, доктор, вы верите, кажется, в *libre arbitre* *, — это почти ересь?

— *Libre arbitre*, воля — все это слова. Я не верю, а вижу, что если человек захочет стоять на столбу — простоят; захочет есть траву и хлеб — и ест одну траву да хлеб, возле жареных рябчиков. А *чем* он хочет, волей или неволей, это все равно. Конечно, воля не с неба падает, а так же из нерв растет и воспитывается, как память и ум; главное дело в том, *что она воспитывается*. Человек привыкает попридерживать себя или распускаться, давать отпор внешнему толчку или пасовать перед каждым. Всякий может сделаться нравственным Митридатом и выносить яды жизни *, лишь бы *оба* пищеварения были исправны.

— Как, уж два пищеварения?

— Непременно! *желудочное и мозговое*. Без хорошего мозгового претворенья и с хорошим желудком далеко не уедешь. Без него нельзя понять, что съедобно и что несъедобно, что существенно и что нет, что необходимо и что безразлично, наконец — что возможно и что невозможно. Без здорового мозга мелочи и призраки заедают людей и портят им желудок. Мелочам конца нет, как мухам, прогнал одних — другие надели; а призраки хуже мух: это мухи внутри, их и прогнать нельзя, разве одним смехом. Но люди непонимающие — больше люди угрюмые, серьезные — всё берут к сердцу, всем обижаются, ни через что не умеют переступить, ни над чем не умеют смеяться, смех просто их оскорбляет. Года два тому назад умер один из старых товарищей моих, известный хирург, и умер оттого, что его не позвали к принцессе, сломавшей ногу. В начале его болезни я зашел к нему. Два часа битых толковал мне, желтый, исхудалый, о своих правах на принцессину ногу и все повторял одно и то же на сто ладов. Человек лет семидесяти, большая репутация, большое состояние — ну что ему было так сокрушаться о принцессиною ноге; сломит еще кто-нибудь из них ногу или руку — они же теперь все сами кучерами ездят, — пришлют и за ним. Я постарался навести его на другой разговор — куда, все свое говорит. А тут вошел маль-

чик и подал газету; больной взял ее, что-то прочел, глаза его сверкнули, губы затряслись, и он, улыбаясь, ткнул пальцем в газету и сунул мне ее в руку. Лента почетного легиона была дана хирургу, починившему ногу принцессы. Чтоб бедняка как-нибудь рассеять, я ему говорю: «Погода сегодня славная, поедете-ка в Анвер, у меня там есть знакомый chef, отлично делает булябес и котлеты à la Soubise». — «Что вы, говорит, смеетесь надо мной, у меня желудок ничего не варит, а вы потчуете провансальской кухней? Это вы, cher ami, уж не утешаете ли меня в ленте... ха-ха-ха!.. Нужно очень мне ленту, мне досадно, мне больно, что во мне оскорблены права, заслуги тридцатилетней деятельности... а лента... ха-ха-ха... Хорошо выдумали: à la Soubise... чеснок — это почетный легион провинциальных cordon bleu! *», — и он расхохотался, уверенный, что сделал чрезвычайно ядовитый и удачный каламбур. Дело пропащее: ни мозг, ни желудок не находятся в исправности, какой же тут может быть выход. Заметьте мимоходом патологическую особенность, что люди большей частью выносят гораздо легче настоящие беды, чем фантастические, и это оттого, что настоящими бедами редко бывает задето самолюбие, а в самолюбии источник болезненных страданий. Наши братья обыкновенно мало обращают внимания на душевную причину болезней, да если и обращают, то очень неловко, оттого и лечение не идет. Для меня тип докторского вмешательства в психическую сторону пациентов составляет серьезный совет человеку, дрожащему и обезумевшему от страха, — *не бояться заразы*. Настоящий врач, милостивый государь, должен быть и повар, и духовник, и судья, — все эти должности врозь — нелепы, а соедините их — и выйдет что-нибудь путное, пока люди остаются недорослями.

— Итак, после теократии — атрократия *; вы не метите ли, как ваш предшественник, доктор Франсия, в генерал-штаб-архиадры врачедержавной империи? Человек наделал мерзостей, его отдают в судебную лечебницу, и дежурный врач приговаривает его к двум ложкам рицинового масла, к овсяному супу на неделю или, в важном случае, к ссылке месяца на три в Карлсбад. Осужденный протестует, дело идет в кассационный медицинский совет, и он смягчает Карлсбад на Виши.

— Смейтесь сколько хотите, а что же, лучше, что ли, запирать в Мазас, посылать в Кайену и вместо рицинового масла прописывать денежные штрафы? Но до пришествия царства врачебного далеко, а лечить приходится беспрерывно, и я на долгой практике испытал, что знай себе, как хочешь, терапию, без — как бы это сказать — без своего рода философии...

— У вас она есть, доктор, это я еще в вагоне заметил, и преоригинальная.

— Худа ли, хороша ли, но я не нахожу надобности менять ее.

— Как же вы дошли до нее?

— Это длинная песня.

— Да ведь времени довольно до второго стакана.

— Вы подметили, что я люблю поболтать, и эксплуатируете меня.

— Лучше же болтать, чем играть целое утро и целый вечер в домино, как наши соседи.

— Эге, так вы еще не освободились от порицаний и пересуд безразличных действий людских. Не играй они в домино, что же бы они делали? Жизнь дала им много досуга и мало содержания, надобно чем-нибудь заткнуть время утром до обеда, вечером до постели. Моя философия все принимает.

— Даже алжирское людоедство?

— Она только зацепляется за европейское. Дошел я до моей философии не в один день, да и не то чтобы вчера. Первый раз я порядком подумал о жизни лет сорок тому назад, шедши от Шарьера; фирма его и теперь делает превосходные хирургические инструменты, может, лучше английских, — вы это на всякий случай заметьте — прямо по Rue de l'École de Médecine, в окнах увидите всевозможные пилы, ножницы. От Шарьера я вышел часов в пять с сильным аппетитом и пошел «Au bœuf à la mode»*, возле «Одеона», да вдруг, среди дороги, остановился и, вместо «Au bœuf à la mode», повернул в Люксембургский сад. У меня в кармане не было ни одного су! Какое варварство, что часть этого сада уничтожают; ведь в таком городе, как Париж, такие сады — прибежища, лодки спасения для утопающих. Иной, без сада, походит по узким

переулкам, вонючим, неприятным, да прямо и пойдет в Сену; а тут по дороге сад, воробьи летают, деревья шумят, трава пахнет; ну, бедняк и не пойдет топиться. Вот тут-то, в саду, на пустой желудок, я и расфилософствовался. Ну,— думаю,— почтенные родители очень бесцеремонно надули тебя в жизнь; без твоего спроса и ведома втолкнули тебя в какой-то омут, как щенят толкают в воду: «Спасайся как знаешь, а не то — тони». Как я ни думал, вижу, выплывать надобно. Надобно затем, зачем и щенок барахтается, чтобы не идти ко дну, просто привык жить. До этого случая нужда меня не очень давила. Прежде мне из дому посылали немного денег. Отец мой умер года четыре тому назад, все поправлял какие-то бреши в состоянии, сделанные спекуляциями, и кончил свои поправки тем, что ничего не оставил. У него был брат, старый полковник, обогатившийся на войне и имевший деньги в Амстердамском банке; он помогал нашей семье и радовался моей карьере, говоря, что Наполеон уважал Ларре и Корвизара. Разумеется, он мысленно меня назначал в полковые доктора. О дяде я должен вам рассказать кое-что. Меньше меня ростом, с огромной львиной головой, седыми всклокоченными волосами и черными усами, которые он подстригал под щетку, он был отчаянный бонапартист, никогда не давая себе никакого отчета, что, собственно, было хорошего в империи. Подумать об этом ему казалось бы святотатством. После Июльской революции он с презрительной улыбкой говорил:

— Это все не то, это ненадолго, — пристегивая толстую трость с белым набалдашником к верхней пуговице сюртука, застегнутого по горло. — Мы этих *barbouilleurs de lois*¹, этих подъячих, адвокатов в Сену бросим; люди без сердца, без достоинства; нам надобно империю, чтобы отомстить за 1814 и 1815 годы *.

— И,— заметил я,— утратить те небольшие свободы, которые приобрели на баррикадах.

— Что? — закричал дядя, и лицо его побагровело. — Что? Как, у меня в доме!.. Что ты сказал?

Я с ним никогда не спорил и тут уступил бы, если б он не взбесил меня криком, а потому я повторил сказанное.

¹ горе-законников (франц.). — *Ред.*

— Кто ты такой? — кричал полковник, свирепо подходя ко мне и отвязывая палку от пуговицы совершенно безуспешно, палка вертелась, как веретено, и все ту же прикреплялась к пуговице. — Ты сын моего брата или чей ты сын? чей?.. Развратили мальчишку эти доктринеры. Неужели ты не чувствуешь кровавую обиду вторжения варваров в Париж, *des Kalmuck*, *des Kaiserlich**, и проклятый день ватерлооской битвы?

— Нет, не чувствую! — сказал я хладнокровно и совершенно искренно.

Лев отпрянул, отдулся и тем голосом, которым командовал «*en avant*»¹ своему отступившему полку под Лейпцигом *, закричал: «Вон, вон из моего дома!»

Я вышел — и с тех пор от дяди ни гроша. Он только матери написал письмо, исполненное сожаления (а отчасти и упреков), что она родила и воспитала изверга, который не принимает ватерлооскую битву за лично ему данную пощечину и не стремится ее отомстить. «Куда мы идем с такой негодной молодежи?» — заключил лев. Мать моя могла что-нибудь послать иной раз, но я не хотел: у нее самой едва в хозяйстве концы сводились.

Походил я в саду на тощий желудок и вспомнил старого фармацевта, искавшего помощника. Я прямо к нему, нанялся из-за обеда и постели, стоявшей между кухней и лабораторией. Месяца четыре я вынес, но потом терпенье лопнуло. Старик, полуслепой, полуглухой, с деньгами и без наследников, дрожащими руками обвешивал на всех медикаментах; ну, на какой-нибудь соли, которой унц стоит двадцать сантимов, и на той украдет на полсантима. Мне было это очень противно, и я только скрепя сердце молчал. Наконец, старый отравитель говорит мне и раз и два: «Вы вешаете без всякого расчета, вы меня разоряете! Вы должны с меня пример брать». — «Послушайте, почтенный *règè Philippe*, я глухие микстуры делать готов, а воровать на весе не хочу; разве не довольно с лишком 50% да *taxa laborum*?»² «А я,— сказал старик, кашляя, задыхаясь и утирая грязным платком давно вертевшуюся та-

¹ «вперед» (франц.).— *Рсд*.

² плата за труд (лат.).— *Ред*.

бачную каплю на конце носа,— а я у себя в доме хочу быть хозяином и всякому студенту *bon à rien*¹ не позволю делать дерзкие замечания.— «Особенно,— заметил я,— когда они справедливы». Затем я взял шляпу и, насвистывая песню, пошел вон. Это был второй урок философии.

VIII

— Третий урок образовал меня по сердечной части.

— Тут-то я вас и ждал.

— И совершенно ошибаетесь. В моей жизни все было очень просто, и роман мой меньше сложен, чем все повести, перемежающиеся по фельетонам газет. Года три после того, как я бросил старого отравителя, был я интерном в *Maternité*² и на дежурстве.

— Помилуйте, доктор, там часто оканчиваются романы, но ни один, сколько я знаю, не начинался.

— А мой не только начался, но почти и кончился в этом «арьергарде любви», как ее называла *m-me* Обержин, с которой я вас сейчас познакомлю. Провозился я целый день и, усталый, как собака, бросился на диван, закурив трубку и взяв книгу Сивьяля о болезнях мочевых путей. Едва я успел заснуть и вырывать трубку и книгу, кто-то дернул за колокольчик.

— Это вы, бригадье? — кричу я ему, т. е. нашему сторожу, или консьержу, которого, шутя, мы называли «бригадье» за его необыкновенно военную и суровую посадку. Мы, смеясь, говорили, что правительство его намеренно посадило консьержем в *Maternité* для того, чтоб отстрашивать родильниц и делать их больше осторожными.

— Я,— говорит,— я.

— Что у вас?

— Пожалуйте сейчас в № 21.

— Не дадут, проклятые, уснуть. Вы бы прикрикнули, бригадир, куда торопится, могла бы подождать до утра. А что, *m-me* Обержин там?

— Она-то и послала за вами.

¹ никчемному (франц.).— *Ред.*

² родильном доме (франц.).— *Ред.*

Я вытер лицо мокрым полотенцем и побежал в № 21. М-те Обержин сидит, по обыкновению, расставивши ноги. Она столько учила своих пациенток сидеть на больничных креслах, что сама приняла эту посадку. За занавесью, слышно, что-то охает и стонет слабо, очень слабо. «Никакой силы нет,— говорит шепотом м-те Обержин,— и ребенок неправильно лежит». — «А вот мы его научим шалить до рожденья»,— говорю я ей. М-те Обержин, старшая повивальная бабка наша, была отличнейшая женщина и со всеми нами приятель и товарищ. Через ее руки прошли не только несколько поколений, нечаянно родившись в Париже, но два, три выпуска интернов. Жирная, рослая, сильная, всегда готовая врать вздор, смешить и хохотать, никогда не заспанная и всегда готовая уснуть, она, как нарочно, была создана для своей должности. Смолоду, вероятно, она не только принимала детей, но страсти мало-помалу ушли в жир, и если случались кой-какие безделицы, то это уж, как *hors d'œvre*¹. Удивляться нечему, самые наши занятия наводили на щекотливые предметы, да и потом ночи, целые ночи, просиживаемые в ожидании... Как живая, она передо мной, с ее серыми, смеющимися глазами, с белокурым усом на одной губе и клоком таких же волос на противоположной стороне подбородка; этот клочок она любила крутить, как гусар,— славная была женщина!

Подхожу я к кровати, отдернул немного занавес и говорю:

— Извините, сударыня, я пришел подать вам нужную помощь! — Молодая женщина закрыла лицо и рыдала. — Успокойтесь,— говорю я ей,— хлебните немного воды.

— Я очень страдаю,— отвечала она едва внятнм образом,— и очень боюсь.

— Верю, верю — но это гораздо легче, чем вы думаете; не вы первая, не вы последняя, *du courage*²; дайте-ка вашу руку; эге, да у вас препорядочная лихорадочка.— И я попросил м-те Обержин приблизить свечу. Испуганное, болезненное лицо больной каким-то гаснущим взглядом просило у меня помощи... и... и прощенья. Такого выраженья я никогда не

¹ вводный эпизод (франц.).— *Ред.*

² смелей (франц.).— *Ред.*

видывал, я даже смутился. Роды были тяжелы, мучительны, долги. Наконец «рекрут», как м-ше Обержин называла всех новорожденных мужского пола, хлебнул воздуха и запищал.

— Что, кисло и холодно? — проговорила м-ше Обержин, пошлепывая его и повертывая с необыкновенной ловкостью, — приучись и кислым дышать. — Ну, — прибавила она, обращаясь ко мне, — что вы устали глаза на родильницу, осматривайте, годный ли рекрут.

— Он-то годен, а вы посмотрите сами на больную: как свеча на дворе, того и гляди потухнет при легчайшем ветерке.

— Да она и то чуть ли не умирает, — сказала м-ше Обержин и сама взяла ее руку, чтоб узнать, как бьется пульс.

Мы сделали что могли, чтоб задержать отлетающую жизнь; наконец она раскрыла глаза — слабые, мутные, — долго вглядывалась и потом едва внятно спросила:

— Где?

Я взял у м-ше Обержин «рекрута» и поднес ей; она зарыдала и опять лишилась чувств. Умиравшая, хрупкая, тщедушная женщина сильно потрясла меня. Видал я и прежде нее и родильниц, и красавиц. Какие красавицы лежали у нас в Отель Дье* — была одна креолка — фу!

Я невольно улыбнулся, думая, в каких необычных местах доктор мой изучал прекрасный пол и его красоты.

— Словом, видал довольно, но ни одна не сделала на меня такого впечатленья. Я почти не отходил от больной. Старуха наша все заметила и дня через два говорит мне, ущипнув в плечо: «Вероломный Артюрь! И ты туда же, хочешь фуражировать в нашем арьергарде, glaner¹ на поле битвы, между ранеными и убитыми — ха-ха-ха!» И смех, и слова неприятно подействовали на меня, я как-то отшутился и ушел в свою комнату — хотел позаняться, отдохнуть и, не знаю как, часа через два очутился опять в № 21. М-ше Обержин спала на кушетке, окончив свою третью чашку кофе, в который она прибавляла, чтоб не сильно действовал на нервы, бенедиктинской водки; я обрадовался ее сну и на цыпочках подошел к больной. Спала и она, — если б не легкое, едва уловимое дыханье — можно

¹ подбирать колосья (франц.). — Ред.

бы положить в гроб. Я скрестил руки и смотрел, смотрел — что за чистые линии, что за профиль! После я видел что-то такое в картинах Ван-Дика, в головках Андрея дель Сарто — красота вообще сила, но она действует по какому-то избирательному средству.

Я магнетизм отрицаю, а, пожалуй, тут есть что-нибудь похожее на магнетизм. Красота и звук голоса — принадлежности чисто личные и действуют тоже совсем лично; ум, знание и все такое — мое и не мое, а черты мои, мой голос — совершенно мои. Мне всегда казалось, что именно по их личности и переходимости они и действуют так неотразимо на нашу страстную, т. е. тоже личную сторону. Пока я стоял и смотрел, т. е. все больше и больше подвергался влиянию магнетизма, м-ше Обержин подкралась ко мне и говорит: «*Tu es donc bien rincé, mon petit chat?*¹ Придется мне тебе помогать, коварный изменник!» Я взял ее руку и в каком-то азарте отвечал ей: «Помощи мне никакой не надобно, но я чувствую, что стою на краю пропасти!» Добрая женщина посмотрела на меня с каким-то материнским участием и с тех пор ни разу не заикалась об этом. Больная поправлялась медленно. Тяжелая плита лежала на ее груди, и, по мере того как грудь становилась крепче, плита давила тяжелее. Никто не приходил навестить бедняжку, справиться, жива ли она; никто не писал, не сделал опыта что-нибудь прислать, как обыкновенно делают, — варенья, конфет. Между тем подошло время выписываться. Тревога и горе росли. После долгих усилий она мне призналась, что ей просто некуда идти, что матери ее нет в Париже, а что он оставил ее — «не по моей вине», прибавила она, заливаясь слезами. Что тут было делать? Спасти ее надобно было — я предложил ей переехать к знакомой мне старушке. Не принять она не могла, иначе ей пришлось бы переехать на улицу. В небольшом переулке Латинского квартала вылечил я как-то, случайно, долго пичкая, одну старушку; она была одинокая, вся в ревматизмах, но умереть боялась ужасно. Она имела ко мне собачью привязанность и была уверена, что я один могу еще раз вылечить от смерти. Она отдавала внаймы довольно

¹ Значит, тебя здорово зацепило, мой котик? (франц.).— *Ред.*

удобную и светлую мансарду. Ходить в нее надобно было через какой-то чердак, в котором вечно висело сырое белье и пахло щелоком, — но на войне как на войне — в самой комнате было недурно. Перевез я туда мою вандиковскую головку и ее рекрута. Что же, в самом деле, родился без отца, так и погибать? Вы, пожалуйста, не полагайте, что я хочу похвастаться особенной доблестью, — все такого рода подвиги подтасованы, по пристрастью к матери одни без смысла любят ее детей, другие ненавидят. Вандиковская головка никогда, ни разу не поминала даже издали об отце ребенка. Я ни одним словом не заикался о моей любви. Она удивляла меня: в ней все было полно такта, грации, чуткости. Только в Париже, и притом в прежнем, неперестроенном, не в вновь крещенном, а в старом, полуязыческом Париже, встречались такие чудеса. Я проводил с ней вечера, читал ей Бальзака и Гюго; чуть ли это не было лучшее время моей жизни, вроде весеннего утра — теплого, светлого, но в котором еще чувствуется свежесть; да оно и прошло, как мартовское солнце. — Доктор приостановился. — Вы, верно, не ждете, что мы при развязке?

— Конечно, нет.

— Прошло около месяца. Маргарита, так звали вандиковскую головку, настолько оправилась и окрепла, что стала выходить в хорошую погоду. Раз возвращается она домой страшно расстроенная, на лице мертвая бледность и пятна, руки дрожат. Я хотел спросить, но, взглядевшись, до того испугался, что не нашел слов. Она бросилась к люльке, взяла рекрута и зарыдала истерически. Теперь, думаю, будет легче. И, в самом деле, она через две, три минуты взяла мою руку и сказала: «Я видела его... он... он требует, чтоб я малютку отдала в воспитательный дом; он прежде говорил это, с этого началась наша ссора. Будто малютка может мешать. Он его даже не видел ни разу и говорил об нем так холодно, так равнодушно. Он негодяй!» — вскрикнула она и прижала к себе ребенка, как будто его вырывали у ней силой. Потом бросилась на колени передо мной и, захлебываясь слезами, говорила: «Ты, ты меня не разлучишь с ним, ты так добр, — о, я тебя знаю, я все оценила, я оценила твое молчание. Ты меня любишь, возьми меня, спаси меня и его, я буду тебя любить, не отнимай

у меня ребенка!» — и она положила его мне на колени и рыдала, ухватившись обеими руками за меня. Я взял малютку, слезы катились из глаз моих. Она встала, взглянула на меня, улыбнулась, да, улыбнулась с каким-то торжеством и бросилась ко мне на шею. Я уложил ее в постель, укрыл и вышел на улицу, — я не мог не выйти. Прощаясь, она мне сказала: «Ты мне прости, не сердись, ведь я сумасшедшая!» И вот я опять очутился в пустынных аллеях Люксембургского сада; свежий, ночной ветер пронимал, но мне было не до того; я сел на скамью: что происходило во мне — это, я думаю, и Бальзак не мог бы описать, а у него именно был талант описывать эти сложные мудреные блаженства, сбивающиеся на страдания, и страдания, сбивающиеся на блаженства. Для меня было ясно, что в ней говорило *dépit*¹ — оскорбленная мать, она бежала от него ко мне, она пряталась за меня с своим рекрутом, но горячие губы ее горели на моей щеке, но горячие слезы едва обсохли на ней, но она улыбалась мне, и — будто можно любить такого *негодяя*? — она его так называла. Когда я пришел к ней, было уже утро. Дело приняло плохой оборот. Лихорадочное молоко отравило ребенка, он кричал и бился в корчах; выбившись из сил, он уснул; уснула и мать. Я взял ребенка на руки — он все спал, долго спал; потянулся раза два и стал тяжелее и холоднее. Тихо, тихо положил я его в люльку, покрыл и сел у изголовья матери. Она проснулась — мое лицо, тишина — она бросилась к люльке и с криком грохнулась без чувств на землю. На другой день она была в белой горячке.

— И умерла? — спросил я.

— Нет, она выздоровела и потом ушла к «отцу рекрута», выбывшего из строя, — препятствий больше не было. Ей не легко было покинуть меня, она писала мне письмо — Ж. Санд такого не напишет, — потом забыла, да и я ее потом забыл.

IX

И вот мы опять несемся, поправивши и укрепивши наши пищеварения и кровотоения, в обратный путь, и я с ужасом думаю, что в Лионе придется расстаться с доктором: он поедет направо, я — налево. Со мной целая тетрадь, в которую

¹ досада (франц.). — *Ред.*

я внес половину его рассказов и, главное, его подстрочных замечаний к ним. Со временем и я издам *«Слышанное и забытое, записанное и непечатанное, — из воспоминаний другого»*.

— Вы зачем это записывали? — спросил доктор.

— Такая мода теперь у нас. С тех пор как суд из письменного сделался словесным, мы все словесное записываем.

— И печатаете потом?

— Отчасти, отобравши плевелы.

— Какая же польза от этого? Совсем не нужно печатать так много.

— Все для исправления нравов.

— Книгами-то! Хорошо выдумали. Во-первых, книг никто не читает.

— А во-вторых, любезный доктор, книг читают очень много.

— Ну, то есть «никто» в пропорции к вовсе неграмотному большинству, к большинству едва грамотному и к большинству грамотному, но не берущему никаких книг в руки, кроме прихода-расходных. А во-вторых, хотел я сказать, людей совсем не надобно исправлять и переиначивать. Оно же и не удастся никогда. Умнее станут — сами кое в чем поисправятся, хотя все же останутся людьми, а так с чего же? Для удовольствия моралистов? И то нет. Начни люди в самом деле исправляться, моралисты первые останутся в дураках — кого же тогда исправлять?

— Отчего же вы не можете допустить, что иной раз человек, просто жалея других, любя их, старается их исправить по крайнему разумению?

— Мудрено что-то. Не спрашивая человека, хочет ли он, может ли он измениться, говорят ему: «Видишь, мол, какой ты негодяй, тебе надобно сделаться вот таким отличным, как я, развившийся под другими условиями, в другом нравственном климате, в другом историческом кряже, достигай же до меня, и, когда достигнешь, я тебя в награду назову *меньшим* братом, и притом братом бескорыстным, титулярным, потому что наследством я буду все-таки пользоваться один. Хороша любовь! Животных люди считают больше посторонними или уж очень дальними родственниками и с ними умнее обходятся или просто напросто их едят или пользуются их глупостью, не стараясь

искажить их самобытности и характера, а скорее признавая его. Иногда берут крутые меры, когда звери на нас смотрят, как мы на них, и принимают нас тоже за съестной припас, но, вообще, откровенно пользуются их особенностями и кабальят их в свою крепостную работу. Весь прием не тот. От лошади мы требуем, чтоб она была хорошей лошадью, и вовсе не стремимся стереть ее характер, воспитывая в ней ее общеживотную натуру и стараясь из нее сначала образовать хорошего зверя вообще, а потом ее специальность. Немцу же или англичанину толкуют, что он прежде всего *человек*, он и старается с самого начала не походить на себя. Животных мы наблюдаем, а людям всё внушаем, ну, и выходит вздор. Примеры на всяком шагу. Мы знаем, что кошка личной собственности не признает, авторитетов — еще меньше, что она ни к полицейским должностям, ни к военной дисциплине собачьей страсти не имеет, и не ходим с ней на охоту, не ставим ее сторожем при вещах, кварталным при стаде, а, напротив, соглашая ее эгоистические вкусы с нашей потребностью, предоставляем ей удовольствие охотиться по мышам, которые нам почему-то всегда мешают. Отчего же никто не исправляет кошки, не прививает ей голубиных добродетелей, не внушает ей любовь к мышам и птицам, не внушает даже военного духа, вследствие которого загрызть мышей должно, но есть унизительно, а следует после сраженья набрать побольше мышиных трупов и зарыть в яму...

— Ха-ха-ха! Я, доктор, и это запишу.

— И это будет так же бесполезно, разве для препровождения времени.

— Вы мне напоминаете одного нашего генерала, который, рассуждая о революционных движениях 1848 года, говорил, что, по его мнению, вся эта кутерьма была сделана для «изощрения в стиле журналистов».

— Не помните ли вы его фамилию?

— Нет.

— Экая досада, я записал бы ее. Это умнейший генерал у вас после Суворова; а вы хотели над ним посмеяться!

— Нет пророка в своем отечестве!

— Lyon Perrache — Lyon Perrache! Les voyageurs pour Ambérieux Culòs, ligne de Chambery, ligne de Genève! Changement

de voiture. Les voyageurs de l'express Arseille — Lyon contiennent immédiatement¹.

Я вышел из кареты, люди выгружали багаж. Я подошел еще раз к окну — доктор протянул обе ноги на мое место и повязал себе на голову фуляр.

Экспресс двинулся.

Досадно, запрут меня теперь в ящик с какими-нибудь часовщиками из Шо-де-Фона или с лионскими комми, «работающими в шелках», или, чего боже сохрани, с путешествующими дамами, которые закроют все окна, займут все места необычайным количеством *ручного* добра, который они таскают с собой...

... С тех пор, как поднялся вопрос об освобождении женщин от супружеской зависимости, они вовсе *не крепки* дома и ужасно легко отрываются от «ложа и стола», как выражается римское право. Встреч они никаких не боятся, мы их боимся. Сама природа, кажется мне, споспешествует к уравнению прекрасного пола с просто полом; Швейцария, например, окружает по крайней мере городскую часть женского населения каким-то нимбом, удаляющим всякую опасность временного перемирия и *entente cordiale*² между враждебными станами.

Я заметил это (в другой форме) ехавшему со мной члену женеvского Большого совета. Он не то чтоб очень доволен был моим замечанием и совершенно неожиданно возразил:

— Но зато, как они *свежи*.

В этом неоспоримом достоинстве устриц и сливочного масла искал он облегчающей причины.

Х

Последний туннель — и *post tenebras lux*³.

Женеvу я знаю с давних лет. Я ее слишком знаю.

— Скажите, пожалуйста, как бы мне сделать, — говорила одна дама, соотечественница наша, не без угрызения

¹ Лион Перраш — Лион Перраш! Едущие на Амберье Кюло, линию Шамбери, линию Женеvы! Пересадка. Пассажиры экспресса — Арсель-Лион продолжают путь (франц.).— *Ред.*

² сердечного согласия (франц.).— *Ред.*

³ после мрака свет (лат.).— *Ред.*

совести. — Как бы мне сделать, чтоб полюбить Швейцарию?

Задача была нелегкая, несмотря на то, что есть множество причин, по которым Швейцарию следует любить.

— А вы куда едете? — спросил я ее.

— В Женеву.

— Как можно, вы уж лучше поезжайте в другое место.

— Куда же?

— В Люцерн или что-нибудь такое.

— Неужели там лучше?

— Нет, гораздо хуже, но там вы скорее дойдете до разрешения вашей задачи.

В самом деле, в Женеве все хорошо и прекрасно, умно и чисто, а живется туго. Начнешь рассуждать — ясно, как дважды два, что в наше серенькое время мало мест лучше в Европе, а наймешь квартиру — так и тянет куда-нибудь, лишь бы из Женевы вон.

Достоинств Женевы кто не знает. Каподистрия в те веселые времена, когда Европа танцевала свою историю на конгрессах и вся пахла fleur d'orange'ем и белыми лилиями, сравнивал Женеву с ладанкой, в которой бережется *кабардинская струя*, напоминающая *что-то* Европе своим запахом. Каподистрия был правее покойного императора Павла I, называвшего движения в Женеве «бурями в стакане»*. Конечно, привыкнув брать за единицу меры пространства от Петербурга до Камчатки — Женева может показаться не только стаканом, но и рюмкой, — но одной рюмки мохуса было действительно достаточно, чтоб во всей Европе помнили, что известный мохус существует. В ней, как в фокусе, усиленно и сокращенно отражается все движение и все движения современной истории с тем преувеличением, которое имеют Альпы на выпуклых картах и капли под микроскопом.

Вы видите — я далек от того, чтобы клеветать на рюмку, служившую века целые гаванью всем преследуемым за грех мысли, бежавшим в нее с четырех сторон, — на рюмку, из которой вышел Руссо и со дна которой Вольтер мучил Европу. Но что же мне делать, когда при всем этом *чего-то в ней не достаёт*.

Наружно женеvцы давно бросили свой отталкивающий лиетизм, свою канцелярскую, педантскую обрядность. Женева в этом даже опередила Англию — в ней человек может, не теряя честного имени, кредита, места, уроков и приглашений на обеды, не явиться несколько воскресений к предике. Но за спавшей с души коростой кальвинизма осталась постно сморщенная кожа. Эти формы без содержания, эти рябины прошлой болезни уцелели вместе с сухой раздражительностью, с приемами прежней нетерпимости. Женева похожа на расстриженного патера, потерявшего веру, но не потерявшего клерикальные манеры.

Кто-то сказал, что в каждом женеvце остается на веки веков след двух простуд, двух холодных дуновений: *бизы* и *Кальвина* — и, кто бы ни сказал, это совершенно верно, но он забыл прибавить, что к двум прирожденным простудам прибавляются разные пограничные оттенки и осложнения: савойские — немного с зобом внутри, французские — с *сoup d'Etat*скими поползновениями и централизационными стремлениями. Все это вместе составляет в общем швейцарском характере — тоже больше свежем, чем любезном, — особый оттенок женеvский, конечно, очень хороший, но не то чтоб чрезвычайно приятный.

Женевец — гражданин и буржуа, гражданин раздражительный, буржуа агрессивный, несколько хищный и всегда готовый сдать сдачу — крупной, медной монетой дурного чекана. Между собой у них расплата идет свирепее и быстрее, чем с нашим братом. Иностранца, особенно туриста, пока не замечают в нем склонности к оседлой жизни, шадят как хорошую оброчную статью и выгодный транзитный товар. Таких соображений между жителями быть не может. На другие кантоны женеvцы смотрят свысока, они *нарочно* не знают по-немецки. Вообще надобно заметить, что у швейцарцев два, три, даже четыре патриотизма и, стало быть, столько же ненавистей. Есть патриотизм федеральный — и есть кантональный; федеральный, в свою очередь, раздвоен на романский и германский. Как добрые родственники, граждане разных кантонов любят собираться на семейные праздники, вместе покушать и попить, пострелять в цель, попеть духовную музыку и послушать светских речей, после чего, как *настоящие* родственники, они

возвращаются по домам с той же завистью и нелюбовью друг к другу, с которой пришли, с теми же пересудами и взаимными антипатиями.

В Германской Швейцарии вы встречаете на каждом шагу природную, наивную англосаксонскую грубость и бессознательную неотесанность, которая очень неприятна, но не оскорбительна, которая сердит, не озлобляя, так, как сердит неповоротливость осла, слона. Женевец, заимствуя у немецких кантонов это патриархальное свойство, усложняет его, переводя на французский язык, не имеющий столько емкости или выразительности по этой части, и, мало этого, он возводит простодушную соседскую грубость в квадрат преднамеренной дерзостью и сознательным *sans façon*¹. Он наступает на ногу, зная, что это очень больно; он скорее потому-то и позволяет себе это маленькое удовольствие, что знает.

То, что у немецкого немца идет до приторности, чем он производит в непривычном морскую болезнь и что называется словом, не переводимым ни на какой язык, — словом *Gemütlichkeit** — это до такой степени отсутствует в женевце, что вы от него бежите и без морской болезни. К тому же женевец особенно скучен, когда он весел, и пуще всего, когда разодрится. Вероятно, во времена женевских *либертинов* они были размашистее, смеялись смешно и остряли не тупым концом ума — но они выродились.

Так, как у женевцев следа нет немецкой *задушевности*, так у них нет признака сельского, горного элемента, сохранившегося в других местах Швейцарии; женевцам не нужно ни полей, ни деревьев, им за все и про все служит издали *Mont Blanc* и вблизи озеро. Если он хочет гулять за городом, у него есть на то пароходы с фальшивящей музыкой идвигающимся рестораном. Богатые уезжают в загородные дома, но бедное население женевское не имеет ничего, подобного маленьким местечкам возле Берна, Люцерна, разным Шенцли, Гютчли, Ютли; есть кое-где несчастные пивные с кеглями — вот и все. Впрочем, надобно и то сказать, женевцу некогда много ездить *ins Grüne*; все время, остающееся от промысла, он посвящает делам оте-

¹ бесцеремонностью (франц.). — *Ред.*

чества, выбирает, выбирается, поддерживает одних, топит других и постоянно сердится. К тому же его торговые дела именно и идут бойко только в то время, когда людям в городе душно. Главный промысел Женевы, так же, как и всей городской Швейцарии, — стада туристов, прогоняемые горами и озерами из Англии в Италию и из Италии в Англию. Наших соотечественников, делающих также свои два пути по Швейцарии, и больше, чем когда-нибудь, не так дорого ценят, — «не стоят столько», по американскому выражению, — как прежде, до 19 февраля 1861 г. Англичане и американцы *котируются* выше. Женева к торговле пространствами, вершинами и долинами, водами и водопадами, пропастями и утесами прибавляет торговлю временем и продает каждому путешественнику часы и даже запястьи, несмотря на то что у всякого есть свои¹.

В отпращивании своей коммерции с иностранцами женевский торговец является во всей своей оригинальности, он сердится на свою жертву за ее опыты самосохранения, и мало что сердится — в случае упорства оскорбляет бранью и криком. Иностранец, который не поддается, в глазах женева что-то вроде вора.

XI

Чтоб подражать в болтовне моему уехавшему доктору и быть истым туристом, я должен бросить, заговоривши о женевцах, взгляд на их историю. Дальше 1789 г. мы, разумеется, не пойдем, — скучно и не очень нужно. Резче этой черты история на Западе не проводила, это своего рода экватор.

Перед этим годом генерального межевания Женева жила набожной и скупой семьей, двери держала назаперти и без большого шума, но с большой упорностью; молилась богу по Кальвину и копила деньги. Опекуны и пастыри много переливали из пустого в порожнее по части богословских препинаний

¹ В Женеве до того усовершенствовали теперь измерение времени, что узнать, который час если не невозможно, то чрезвычайно трудно. Как ни посмотришь — все разный час, один циферблат показывает парижское время (оно, верно, отстаёт au jour d'aujourd'hui <в настоящее время>), другое бернское (полагать надобно, совсем нейдет), наконец, женевское (по карманным часам Кальвина на том свете).

с католиками. Католики меньше болтали, больше интриговали, и, когда отчаянные кальвинисты торжественно их побили в контроверзе, католики уже обзавелись землицей и всяким добром. Известно, что католические клерикалы имеют при своей бездетности то драгоценное свойство хрена, что, где они пустят корни, их выхолотить трудно. Кальвинисты побились побились да так и оставили хрен в своем огороде.

В те времена в Швейцарии было много добродушно-патриархального; несколько семейств, перероднившихся, покумившихся друг с другом, пасли кантоны тихо и выгодно для себя, как свои собственные стада. Разные почтенные старички с клюками, так, как они являются в свят день после обеда потолковать нараспев, — не в гётевском «Фаусте», а в «Фосте Гуно*», — заведовали Женевой, как своей кладовой, распоряжаясь всем и употребляя на себя все рабочие силы своих племянников, дальних родственников и меньших братий. К роскоши они их не приучили, а работать заставляли до изнеможения, «в поте, мол, лица твоего снискивай хлеб» — всё по писаниям. Метода эта к концу XVIII века перестала особенно нравиться племянникам, потому что дяди богатели, а они исполняли писания. Как дяди ни доказывали, что женевец женеvcу розь, что одни женеvцы — граждане, другие — *мещане*, а третьи — только *уроженцы*, племянники не верили и начинали поговаривать, что они равны дядям. «Вы правы, мы все равны перед богом, — отвечали дяди, — а о суетных, земных различиях, если они и есть, стоит ли толковать!» — «Стоит, и очень», — отвечали те из племянников, которых старые скряги не совсем сломали, — и стали отлынивать от благочестивого острога. «Вы люди свободные, — толковали им дяди, — не нравятся дома — свет велик, ступайте искать хлеба, где хотите, а мы вас даром кормить не будем, а будем молиться за вас богу, чтоб очистил души ваши от наваждения общего врага нашего».

«Ничего, — думали про себя старички, — пусть помяются да поучатся, пусть поголодают да перебесятся, воротятся и опять будут работать на ниве нашей».

Взяли племяннички котомки и длинные палки и пошли смотреть свет. Кто с запяток, кто с козел, кто с булавой *швейцара* в руке, кто с бурбонским ружьем на плече, кто с историей.

и географией под мышкой, кто кондитером, кто часовщиком, кто трактирным слугой, кто слугой вообще, жены и сестры их шли в *французенки*, по части выкроек и воспитания.

Те, которым повезло, весело ехали домой и сами зачислялись в дяди, но не все остальные возвращались, к особенному удовольствию набожных сродников. Жившие в Вене и в Москве, в Неаполе и Петербурге конфетчиками и буфетчиками, гувернерами в России или «свиццерами»* в Риме,— еще ничего. Но другие, встретившиеся в Париже с беспорядками, и притом не с той стороны, с которой были их храбрые соотечественники, стрелявшие по народу из окон тюльерийского дворца 10-го августа 1792 года*, возвратились никуда не годными. Вместо молитвенников в черных переплетах с золотым обрезом они начитались гневного «Père Duchesne» и мягкого «Друга народа». Старые родственники, сделавшиеся еще закоснелейшими раскольниками, так и ахнули. «Ах, говорят, вы богоотступники, мошенники, вот мы вас!»— «Вы погодите ругаться, благочестные старцы,— отвечают племянники,— мы ведь не прежние, мы раскусили вас, pas si bœuf¹, давайте-ка прежде делить наследство, Liberté, Fraternité, Egalité ou...²» Старики и кончить не дали. Давно отупевшие от ханжества и стяжания, они совсем рехнулись при виде такой черной неблагодарности племянников. Страх на них нашел такой; вспомнили площадь, на которой они поджарили и отляпали невинную голову Серве,— ну, думают, как «наши-то» с бесстыжих глаз ограбят, потузят да еще, пожалуй... фу! как от бизы, так мороз по коже и дерет.

По счастью, Франция явилась на выручку. Первому консулу было как-то нечего делать, за неимением двух, трех тысяч какой-нибудь армии Sambre-et-Meuse*, для гуртового отправления на тот свет, он вдруг отдал следующий приказ:

«Article I. Женевская республика перестала существовать.

Article II. Департамент Лемана начал существовать. Vive la France!»

Великая армия, *освобождавшая* народы, заняла Женеву и тотчас освободила ее от всех свобод. Пользуясь досугом, старички стали забираться и прятаться все выше и выше,

¹ Истое женевское выражение*.

² Свобода, Братство, Равенство или...(франц.).— *Ред.*

запираться все крепче и крепче в неприступных домах, в узких и вонючих переулках... другие, посмышленнее, принялись укладываться — да, не говоря худого слова... за Альпы да за Альпы.

Хорошим людям все на пользу — добровольное заключение и добровольное бегство послужило старичкам как нельзя лучше. Оставшися, желая отомстить за порабощение отечества, принялись продавать неприятелю военные и съестные припасы по страшно патриотическим ценам. Во время Империи никто не торговался (кроме Талейрана, и то только когда он продавал свои ноты и мнения). Недостало денег в одном месте — контрибуцию в другом, две контрибуции в третьем; ясно, что комиссарятские Вильгельмы Телли в убытке не остались. Освобожденные в свою очередь реакцией 1815 года от своих страхов, эмигранты возвращались (точно так же разжившись разными дипломатическими и другими аферами) к затворникам, и давай друг на друге жениться, для того чтоб составить плотную аристократию.

Какой ветер веял тогда, вы знаете: Байрон чуть от него не задохнулся, Штейны и Канинги казались якобинцами, и Меттерних был *человек минуты*.

Объявляя, обратно первому консулу, о том, что департамент Лемана перестал существовать, а женевская республика снова начала существовать, Священный союз резонно потребовал, чтобы во вновь воскресающей республике ничего не было республиканского. Это-то старикам и было на руку. Для либерально-учено-литературной наружности им за глаза было довольно мадам Сталь в Коппете *, де Кандоля в ботанике и Росси в политической экономии... Снова принялись они общипывать и брать голодом понуривших голову племянников, снова завели богословские скачки и беги с католиками, которые еще больше накупили земель. Скражническую жизнь свою старики выдавали за олигархическую неприступность — мы-де имеем наши знакомства при разных дворах, а по другую сторону Pont des Bergues * никого не знаем. Замкнутые в горной части и лепясь около собора, они не спускались вниз, предоставляя черни селиться в С.-Жерве. Как всегда бывает, взявши все меры, они не взяли самой важной: не стро-

ить им надобно было Pont des Bergues, не поправлять, а подорвать его порохом, — не подорвали.

По этому мосту прошла революция 1846 года*.

II

Знаменитый граф Остерман-Толстой, сердясь на двор и царя, жил последние годы свои в Женеве*, — аристократ по всему, он не был большой охотник до женевских патрициев и олигархов.

— Ну, помилуйте, сударь мой, — говорил он мне в 1849, — какая же это аристократия — будто делать часы и ловить форель несколько поколений больше, чем сосед, дает *des titres*¹... и *origine*² богатства какой — один торговал контрабандой, другой был дантистом при принцессе...

— Вы забываете, граф, — отвечал я ему, — что женевские аристократы имеют и другие права. Разве они не находились в бегах и разве не возвратились восвояси — отчасти благодаря вам, сопровождаемые казаками и кроатами, как другие венценосцы и великие имена...

Блудные племянники точно так, как кулмский герой*, понимали значение *высокого* патрициата женевского, и в особенности так понимал блуднейший из них *Джемс Фази**.

Джемс Фази — это смертная кара женевского патрициата, ее мука перед гробом, ее позорный столб, палач, прозектор и гробокопатель. Кровь от крови их, плоть от их плоти, потомок одной из старинных фамилий, о боге скучавших с Кальвином, — и у него-то поднялись руки на беззащитные, но не бессребренные седины. Он «дядей отечества», выбранных собственными батраками и кортомниками в верховный совет, прогнал в 1846 году в три шеи и сам себя выбрал на их место, вверяя себе почти диктаторскую власть. Сен-Жерве и вся бедная Женеве с восторгом рукоплескала ему.

От него старики спрятались этажом выше и повесили к дверям по замку больше, от него они отупели еще на степень, мозги стали быстрее размягчаться, а сердца каменеть.

¹ права (франц.). — *Ред.*

² источник (франц.). — *Ред.*

Умных людей между ними больше не было. Вообще Джемс Фази чуть ли не последний умный человек в Женеве. Глупое озлобление, с которым они повели войну, было худшее оружие с таким врагом.

Фази похож на хищную птицу, и теперь, состарившись и сторбившись, он напоминает еще исхудалого кобчика — и злым клювом и пронизывающим взглядом. И теперь он еще полон проектов и деятельности, кипучей отваги, готовности рисковать, бросать перчатку и поднимать две... он все еще задорен и дерзок, он все еще молод, а ему семьдесят два года — подумайте, что он был в пятьдесят.

Ему все шло впрок, больше всего недостатки и пороки. Среди удушающей скуки женевской жизни с ее протестантски-монашеским, постным лицемерием его разгульное спустя рукава, его веселое беспутство, его блестящие, шипучие пороки, опрокидывавшие на него удесятеренную ненависть святош, привязывали к нему всю молодежь, с которой он жил запанибрата, никогда не позволяя себе наступить на ногу. Фази стоял головой выше своего хора и тремя — своих врагов. Добавьте к этому большую сметливость в делах, верный и решительный взгляд, неутомимость в работе, настойчивость, не останавливавшуюся ни перед каким препятствием, гнувшую и ломавшую всякую оппозицию, — и вы поймете, что не женевскому патрициату было бороться с ним. Дипломат и демагог, конспиратор и комиссар полиции, президент республики и гуляка, он все еще находил в себе бездну лишних сил, которая разъедала его своей незанятой праздностью. Этому человеку очевидно недоставало широкой рамы, Женева была не по его росту... вытягиваться точно так же вредно, как съеживаться. Фази в Лондоне, в Нью-Йорке, в освобожденном Париже был бы великим государственным деятелем. В женевской тесноте он испортился — привык кричать и бить кулаками по столу, беситься от возражений, привык видеть против себя и за себя людей ниже его ростом. Отсюда страсть к тратам и наживам, привычка бросать деньги и недостаток их... ажиотаж... потери... долги. Долги — наше национально-экономическое средство, наша хозяйственная уловка, — именно долги-то в глазах

женевских гарпагонов должны были уронить Фази больше, чем все семь смертных грехов вместе.

Что ему было за дело до их ненависти, пока вся Женева — небогатая, молодая, рабочая, *католическая* — подавала за него голос... и кулак.

Но *tempora mutantur**.

Около пятнадцати лет диктаторствовал тиран Лемана над женевскими старцами... город удвоил, крепостные стены сломал, сады разбил, дворцы построил, мосты перекинул, игровой дом открыл и *других* домов не закрывал... но Кащей бессмертные таки подсадили его. У них явился отрицательный союзник.

К борьбе Фази привык, он жил в ней, и, когда не тотчас случалось ему одолеть, он раненым львом отступал в свое С.-Жерве и выходил вдвое яростнее и сильнее из своей берлоги.

С таким неприятелем, как Фази с своими молодцами, старикам-формалистам и легистам нечего было делать, как тотчас опять отступать. Они воевали парламентскими средствами и исподволь распускаемыми клеветами. А с какой стороны он хватит — как было знать? С таким нечестливым противником всего можно было ждать. Пока масса была за него, сила его была несокрушима, а переманить ее на свою сторону воспоминанием прежнего патриархального закрепощения было дело не особенно легкое. Помощь должна была явиться из среды *по ту сторону* Фази.

Время шло исподволь, меняя умы и мысли в Женеве, как и на всех точках земного шара, где история еще делается... Опираясь на свою живую стену, Фази, наконец, почувствовал, что стена холоднее... что она не так плотна и не так сплошно поддерживает его... Он годы старался не верить, но вот там... тут ропот или, хуже, равнодушие. И уязвленный своими, гладиатор-вождь обернулся назад с раздраженным лицом... «Кто бунтует против прежнего агитатора... Неужели он?..» Укоряющая, печальная тень Алберта Галера сумрачно качала головой и указывала с упреком на работников, как будто говоря: «Они не твои больше». Галер был суровый проповедник — Фази боялся его социальных идей и гнал его...

гнал до гробовой доски, — в могиле он вырос и окреп. Теперь наступало утро его дня... солнце Фази садилось.

Старый боец не оробел, он снова ринулся вперед, но силы бить на две стороны не хватило, и он бил зря. Нанося удары консерваторам, он в то же время хотел левой рукой держать за горло «гидру» социализма — на таком противуестественном раздвоении нельзя было надолго удержаться.

Действительно, Швейцария, Женева — микрокосмы. Разве в моем беглом рассказе не вся современная драма человеческого развития с 1789... до нынешнего дня? Не все ее действующие элементы?

Радикальная партия раскололась на две партии — без всякого повода. Одна часть бросила старого вождя — другая несла его с криком на прежних местах. Земля терялась под их ногами, и озлобление росло. Возле огороженного поля для травли ходили безучастные работники — у старых племянников явились свои племянники. Новый бой не имел для них смысла — они не верили ни тем, ни другим. Оставленные противники вцепились друг другу в волосы... С этих пор, т. е. с начала шестидесятих годов, озлобление борющихся партий приняло форму периодического членовредительства. Женевцы пользуются каждым общественным делом, чтоб *почистить друг другу предместья*. *Labourer les faubourgs* — гениальное женеvское выражение, не уступающее гоголевскому «съездить под никитки»*. После каждых выборов победители и побежденные ходят татуированные, как ирокезы; у кого синий глаз, у кого ссадина на лбу, у кого нос отделан под грушу. Столько мышечного усердия и фонарей ни одна страна не приносит на алтарь отечества, как цивическая весь Кальвина.

Нигде в мире не занимаются с такой рьяностью и так часто выборами, как в Женеве; месяцы прежде — только об них и говорят, месяцы после — только об них и спорят. Отчасти это происходит от чрезвычайной важности, которую женеvцы им придают. Консерваторы и радикалы, не согласные ни в чем, согласны в огромном значении Женевы в всемирном хозяйстве и развитии. Для одних это Рим «очищенного протестантизма», для других — исправляющий должность

Парижа во время его тяжелой умственной болезни и горькой доли. Женевцы уверены, что как весь мир, чтоб знать время, смотрит на женевские часы, так все политические партии смотрят на них самих. Как же им не заниматься после этого — дню и ночью — выборами; они выбирают некоторым образом не только за кантон, но и за вселенную.

...Запершись на ключ и спустивши сторы, конспирируют на тощий желудок консерваторы в пользу старого порядка вещей, соображая подкупы подешевле и даровые влияния — в виду будущей подачи голосов. Конспирируют и радикалы, заперши свою дверь тоже на ключ, но не с внутренней стороны, а снаружи; la démocratie permanente et militante ¹ конспирирует не натощак, а на абсинт и кирш — она шумит в душных кофейнях, самоотверженно морщась от невозможного пива и не смея заикнуться об этом, потому что хозяин — не только радикал, а голос, власть и центр.

В сущности, все это делается бескорыстно. Ни «ficelle»*, ни радикалов сущность дел не заботит, они занимаются торжеством общих мест и победой или поражением частных лиц. Остальное, т. е. вся реальность жизни, администрация, опускается как мелочь... а иногда и так, что радикалы делают консервативное дело, а консерваторы — радикальное.

Это удовлетворение политической гимнастикой подорвало старые радикальные и либеральные партии. Новые люди потеряли интерес к их препинаниям.

Да и как было его не потерять?

В пятнадцать лет радикального владычества в Женеве ее законодатели не коснулись до целого ряда готически-патриархальных узаконений, пропитанных крепостничеством и неуважением к самым элементарным правам лица.

Чтоб убедиться в этом, не угодно ли взглянуть на текст «книжонок», или permis de séjour², выдаваемых всем иностранцам — и в том числе швейцарам других кантонов. Каждый «неженевец» безапелляционно отдан во власть того часовщика,

¹ перманентная и вопиющая демократия (франц.). — *Ред.*

² видов на жительство (франц.). — *Ред.*

которому на ту минуту вверен полицейский хронометр. Он может иностранца *выслать за дурное поведение*. Законодателям не пришлось даже в голову определить, что такое дурное поведение, — для кальвиниста, например, ходить в католическую церковь — самое скверное поведение. Далее штрафы за просроченные дни, поборы *за житье* в Женеве — сверх всякого рода поборов за дом, мастерскую, за то и се. Вот тебе и *post tenebras lux!*

Я указал, например, одному из старых правительственных радикалов унижительный текст, который жег мне руки.

— Все это или совсем не исполняется, или *on fait semblant!*

— Что же вы это храните как приятный сувенир — и вам это было не гадко?

— Если б вы знали, сколько мы выбросили старого хлама.

— Чего же было жалеть остальной?..

— Вы знаете наше положение — особенно какое оно было после 1848... Франция, Австрия, Пруссия.

— Это другое дело. Стало быть, вам было нужно, *нравилось* иметь в ваших руках — знаете — такую... эдакую власть...

— Что же, мы злоупотребляли ей?..

— Не знаю, вероятно, что да. Знаете, что вы эдак из приличия бы ввели в дело высылки суд присяжных. Если двенадцать женеvцев, которых иностранец не знает, приговорят выслать, высылайте — все ж лучше, чем один часовщик.

— А вы думаете, что мы до вас об этом не думали?

— За чем же дело стало?

— Если б мы остались в власти...

— *Ничего* бы не сделали... С 1846 было довольно времени...

«Думали — да не отменили». О Селифан, Селифан... по крайней мере ты сам удивлялся, что, видевши необходимость починить колесо, ты не сказал об этом! *

Долею в этом холодном пренебрежении к ближнему и в этой черствой неприхотливости опять-таки следы бизы и Кальвина. В угловатости и бесцеремонности женеvца есть непременно что-то чисто архипротестантское, пережившее религию. Фази, составляющий яркое исключение, старался

¹ делают вид, что исполняют (франц.). — *Ред.*

украсить пуританский фон... полинялыми французскими обоями с двусмысленными картинками, из-за которых все-таки так и торчат постные кости. Пасторская нетерпимость и скучные тексты заменились скучными общими местами и юридическими сентенциями... Церковь без украшений, демократия без равенства, женщины без красоты, пиво без вкуса или, хуже, с прескверным вкусом — все сведено на простую несложность, которая идет человеку, пуще всего спасающему душу. Самый разврат в Женеве до того прост, до того сведен на крайне необходимое, что больше отстрашивает, чем привлекает. «Ты, мол, греша, коли надобно, но не наслаждайся, единое наслаждение там, где тело оканчивается и дух на воле».

От этого происходят удивительные контрасты. Полуповрежденная Лозанна считает театр грехом и никак не дает деньги на возобновление погорелой оперы... и все неповрежденные в ней только и мечтают о постройке нового театра. Театр занимает воображение — отвлекает от последних новостей библии и от болтовни празднующихся и вольнопрактикующихся пасторов. В Женеве два театра, но они до того наводнены элементом *простой* камелии и элементом *voeuu**, что солидные мужчины и особенно женщины (не из иностранок) без крайней необходимости их не посещают.

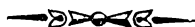
Зато если есть какое послабление и распушение — по поводу французской близости и пены, прибываемой к ее границам, есть и полиция. Женева любит круто распорядиться. Куда остальным кантонам, с своими допотопными жандармами, в киверах, напоминающих картины войн 1814 и баварские каски времен фельдмаршала Вреде... Стоит эдакий увалень, — стоит да вдруг от скуки или как спросонья спрашивает у гуляющего: «Фо бапье»... и готов сдуру вести *au poste**, где ему же и достанется за это.

Женевский жандарм разит Парижем, это уж отчасти *sergent de ville*, охотник своего дела... * Чтоб это увидеть, не нужно въезжать в город, а достаточно приехать в женевский амбаркадер — с швейцарской стороны. После итальянской учтивости и простоты в других кантонах перед вами круто раскрывается преддверие Франции — страны регламентации,

администрации, надзора, опеки, предупреждения, внушения. Кондукторы и сторожа железной дороги наглазно превращаются в самодержавных приставов, вагонных тюремщиков и прежде всего в ваших личных врагов и строгих начальников, с которыми говорить и рассуждать не советую.

Франция так нахлороформизировала собою Женеву, что она и не почувствует сначала операции de l'annexion. Хотя и найдется меньшинство, которое наделает в желудке галльского кита хлопот не меньше Ионы... но Франция — не кит: что ей проглочено, то она не скоро выбросит...

Не странно ли, что первый человек, который хотел предать Женеву французам, был сам Кальвин. Найдя, впрочем, что в случае нужды и в Женеве можно зажарить еретика Серве, он примирился с независимостью республиканской веси.





СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

А. И. Герцен. С фотографии 1869 г. Государственный литературный музей. Москва	4
Первая страница № 1 газеты «Kolokol». 1 января 1868 г.	16
La femme et le prêtre admis au droit de l'homme. Автограф Герцена. Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Москва	328
Скуки ради. Автограф Герцена. Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Москва	480



И С П Р А В Л Е Н И Я

Страница	Строка	Напечатано	Следует читать
214	7 св.	<i>Michel et Conrad</i>	<i>Michel, Pierre et Conrad</i>
259	18—19 св.	<i>Михаила и Кондратия</i>	<i>Михаила, Петра и Кондратия</i>

СОДЕРЖАНИЕ
первой книги

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1867—1868 ГОДОВ

1867

« <i>Le Kolokol</i> paraîtra le 1 ^{er} janvier 1868 en français...»	7
«Колокол» с 1 января 1868 года будет выходить на французском языке...» (перевод)	8
«О выходе «Колокола» на французском языке»	9
<i>Un fait personnel</i>	15
Личный вопрос (перевод)	18
<i>Prolegomena</i>	22
<i>Prolegomena</i> (перевод)	50
В. И. Кельсиев	80
«Голос» получил предостережение за свой либерализм...»	82
<i>Réponse à l'appel du centre républicain polonais aux Russes</i>	83
Ответ на призыв к русским польского республиканского центра (перевод)	88
<i>La loi générale et le général Potapoff</i>	94
Генеральный закон и генерал Потапов (перевод)	94

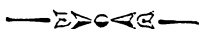
1868

<i>Sommes-nous pour la guerre?</i>	96
За войну ли мы? (перевод)	98
<i>Les feuilles de vigne du Nord et les branches de bouleau de l'administration russe</i>	101
Фиговые листки «Le Nord» и березовые прутья русской администрации (перевод)	102
«Примечание к французскому переводу «Доктора Крупова»»	104
« <i>Vers la fin de l'année 1867...</i> »	105
«В конце 1867 года...» (перевод)	105
« <i>Nous lisons aussi dans la Gasette de la Bourse...</i> »	106
«В «Биржевых ведомостях» мы читаем также...» (перевод)	106

<L'empereur a fait cadeau de diverses propriétés foncières...>	107
<Император подарил несколько имений...> (перевод)	107
Aphorismata по поводу психиатрической теории д-ра Крупова	109
L'imbroglio	119
Путаница (перевод)	120
Communisme russe	123
Русский коммунизм (перевод)	127
Arthur Beni	132
Артур Бени (перевод)	132
Le mal des passeports	134
Паспортная болезнь (перевод)	135
Письмо не для печати	137
<La Gazette de la bourse, de Saint-Petersbourg>	138
<Санктпетербургские «Биржевые ведомости»> (перевод)	141
Etudes historiques sur les héros de 1825 et leurs prédécesseurs, d'après leurs mémoires.	146
Исторические очерки о героях 1825 года и их предшественниках, по их воспоминаниям (перевод)	227
La librairie en Russie	273
Книжная торговля в России (перевод)	274
Assassinat juridique	276
Юридическое убийство (перевод)	276
Exemple des débats parlementaires	277
Образец парламентских прений (перевод)	277
Un post-scriptum	279
Постскриптум (перевод)	280
Frisant la question polonaise	281
К польскому вопросу (перевод)	290
<La famine continue à sévir en Russie...>	301
<В России продолжает свирепствовать голод...> (перевод)	302
Rien n'est impossible pour le tzar	303
Нет ничего невозможного для царя (перевод)	303
Le Golos est arrivé!	305
«Голос» прибыл! (перевод)	305
L'article de M. Charles Mazade	306
Статья г. Шарля Мазада (перевод)	309
Un nouveau journal russe à Genève	313
Новая русская газета в Женеве (перевод)	313
L'éclipse de Budberg	314
Затмение Будберга (перевод)	315
Дуван	317
Nos grands morts commencent à revenir	318
Наши великие покойники начинают возвращаться (пере- вод)	319
La Démocratie et Michel Bakounine	321
«La Démocratie» и Михаил Бакунин (перевод)	322

Le Tchèques étonnent aussi par leur ingratitude	323
Чехи также удивляют своей неблагодарностью (перевод) . . .	324
La femme et le prêtre admis au droit de l'homme	325
Женщина и священник, за которыми признали права человека (перевод)	327
L'ennemi vaincu	330
Побежденный враг (перевод)	331
Mesquinerie	332
Мелочность (перевод)	333
Groméka le persécuteur, Groméka l'orthodoxe et furieux byzantin	334
Громека-преследователь, Громека правоверный и неистовый византиец (перевод)	334
Еще раз Базаров	335
<Un certain monsieur a été condamné...>	351
<Некий господин был приговорен...> (перевод)	351
Une victoire du comte Chériméteff	352
Победа графа Шереметева (перевод)	352
Assassinat d'un mineur	353
Убийство несовершеннолетнего (перевод)	353
A nos lecteurs	354
Нашим читателям (перевод)	355
La manie de délation	356
Мания доносов (перевод)	359
<L'ex-réfugié V. Kelsieff...>	364
<Экс-эмигрант В. Кельсиев...> (перевод)	364
Le littérateur <i>Boulantzoff</i>	365
Литератор <i>Буланцов</i> (перевод)	365
Mazzini aux polonais	367
Маццини — полякам (перевод)	368
Bonne nouvelle!	370
Добрая весть! (перевод)	371
Les dames russes	373
Русские дамы (перевод)	373
Dévoilez-nous donc! Démasquez-nous donc!	374
Так разоблачите же нас! Сорвите же с нас маску! (перевод)	374
Pissareff	376
Писарев (перевод)	377
Le prince Pierre Dolgoroukoff	378
Князь Петр Долгоруков (перевод)	378
L'abus de Charles le Téméraire	379
Злоупотребление Карлом Смелым (перевод)	379
Les Russes au Congrès de Berne	380
Русские на Бернском конгрессе (перевод)	381
Le Schédo-Ferrotu panslaviste et les horreurs russes	383
Панславистский Шедо-Ферроти и русские ужасы (перевод) . . .	387

Les lévites russes	392
Русские левиты (перевод)	392
<La <i>Bank- und Handelszeitung</i> du 22 septembre donne une étrange nouvelle...>	393
<«Bank- und Handelszeitung» от 22 сентября сообщает странное известие...> (перевод)	393
<On s'inquiète en Russie des sourdes rumeurs...>	394
<В России вызывают беспокойство глухие толки...> (перевод)	394
Lettre à N. Ogareff	395
Письмо к Н. Огареву (перевод)	399
A nos ennemis	403
Нашим врагам (перевод)	413
Un métier de grand-duc	424
Ремесло великого князя (перевод)	425
Le brigandage des employés	427
Чинovníчий разбой (перевод)	427
L'éloquence de la noblesse	429
Дворянское красноречие (перевод)	430
¿Est-il vrai?	431
¿Правда ли? (перевод)	431
Les incorrigibles	433
Неисправимые (перевод)	433
<Lettre sur le libre arbitre>	434
<Письмо о свободе воли> (перевод)	438
Скуки ради	444
С п и с о к и л л ю с т р а ц и й	489



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

В. П. ВОЛГИН (главный редактор), И. И. АНИСИМОВ, Д. Д. БЛАГОЙ,
В. В. ВИНОГРАДОВ, Н. М. ДРУЖИНИН, С. А. МАКАШИН,
Ю. Г. ОКСМАН (зам. главного редактора), В. А. ПУТИНЦЕВ,
З. В. СМИРНОВА, Д. И. ЧЕСНОКОВ, А. Б. ШАПИРО,
Я. Е. ЗЛЬСБЕРГ

•

Подготовка текста и перевод статей с французского *Л. Р. Ланского*
Лингвистическая редакция французских текстов *И. Д. Постоловой*. Редакция
переводов с французского *М. Н. Черневич*; подстрочных переводов —
О. В. Моисеенко (франц.), *Н. Г. Елиной* (итал.), *О. Н. Михеевой* (нем.),
Ф. А. Петровского (лат.)

Редакторы тома — З. В. СМИРНОВА и И. Г. ПТУШКИНА

•

Редакторы издательства *М. Б. Покровская* и *Л. М. Тимофеева*

Переплет и титул художника *А. П. Радищева*

Технические редакторы *Е. В. Зеленкова* и *Е. В. Макуни*

Корректор *В. К. Гарди*

•

РИСО АН СССР № 1-10В. Сдано в набор 20/XII 1959 г.

Подп. в печать 19/IV 1960 г. Формат бум. 60×92¹/₁₆.

Печ. л. 31+4 вкл. Уч.-изд. лист. 21,6. Тираж 19 000.

Изд. № 4488. Тип. зак. 2554

Цена 15 руб.

Издательство Академии наук СССР.
Москва, Б-62, Подсосенский пер., д. 21

2-я типография Издательства АН СССР.
Москва, Г-99, Шубинский пер., д. 10

